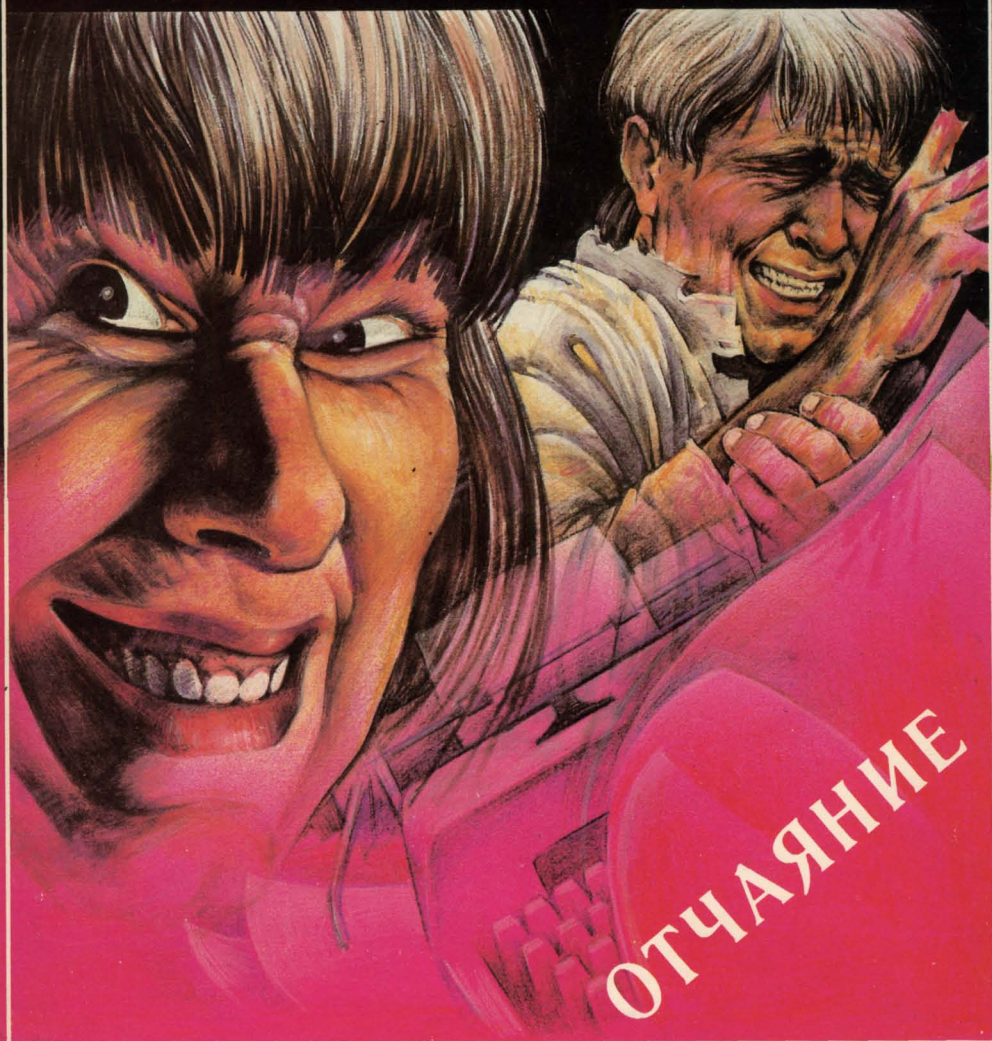


СТИВЕН КИНГ

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ



**МАСТЕРА
ОСТРОСЮЖЕТНОЙ
МИСТИКИ**

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ

Стивен Кинг

ОТЧАЯНИЕ



Львов
СИГМА
1994

Мастера остросюжетной мистики

Выпуск 22

Stephen KING

MISERY

Стивен Кинг

Отчаяние: роман

Солнечный пес: повесть

Copyright © by Stephen King
ISBN 0-425-09725-0

ОТЧАЯНИЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

*Стефани и Джиму Леонардам,
они сами знают почему.
Да, уж ОНИ-ТО знают!*

Конечно, такого лекарства, как Новрил, не существует, но имеются некоторые другие препараты на кодеиновой основе, которые имеют подобные свойства. К сожалению, эти препараты зачастую весьма небрежно хранятся в лечебных заведениях, что может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Место действия и персонажи вымышлены.

С. К.

I

умбер вхунннн
йеррннн умбер вхунннн
О, эти звуки: даже в тумане.

II

Но иногда звуки, как боль, постепенно затихали, и тогда в голове оставался только туман. Он помнил темноту: сплошная темнота наступила перед туманом. Означало ли это, что болезнь прогрессировала? Хорошо бы был свет (даже в виде тумана), свет всегда приятен... Действительно ли существовали эти звуки в темноте? У него не было ответа ни на один из этих вопросов. Имело ли смысл задавать их? И на этот вопрос он также не знал ответа.

Боль была где-то в звуках. Боль была восточнее солнца и южнее его ушей. Вот все, что он знал наверняка.

В определенный промежуток времени, показавшийся очень длинным (так это и было, поскольку существовали только две вещи — боль и густой туман), эти звуки были единственной внешней реальностью. Он не имел понятия, кем он был и где находился, и не желал этого знать. Ему хотелось умереть, но из-за пропитанного болью тумана, наполнявшего его мозг, как летнюю грозовую тучу, он не осознавал, что желал этого.

По прошествии времени он начал понимать, что были периоды без боли и что они носили циклический характер. В первый раз после выхода из полной темноты, которая предшествовала туману, у него появилась мысль, которая существовала вне реального состояния. Это была мысль о сломанных сваях, выступающих из песка на пляжах Ривьеры. Когда он был ребенком, мать и отец часто брали его на Ривьеру, и он настаивал, чтобы одеяло расстилалось там, откуда он мог видеть эти сваи, которые напоминали ему одиноко торчащий клык похороненного монстра. Он любил сидеть и наблюдать за тем, как подступала вода, пока она не скрывала сваи. Затем несколько часов спустя, когда были съедены сэндвичи и картофельный салат, когда из большого папиного термоса добыты последние капли Кул-Эйда, и перед тем как мама скажет, что пора собираться домой, снова начинала появляться верхушка сгнившей сваи — сначала на мгновение между набегавшими волнами, а затем все больше и больше. К тому времени, когда мусор и объедки, оставшиеся после завтрака, были запрятаны в большой барабан с надписью на боку «Сохраним наш пляж чистым», пляжные игрушки Паули поднимались над водой.

Это меня зовут Паули, я — Паули, и сегодня вечером мама положит детский крем Джонсона на мой загар, — промелькнула мысль внутри грозового облака, в котором он теперь жил.

Одеяло снова было сложено, свая почти полностью появилась над водой, ее скользкие от слизи почерневшие бока окружала мыльная пена. «Это был прилив», — пытался объяснить ему отец, но он всегда знал, что это была свая. Прилив приносил воду, отлив уносил, а свая оставалась. Иногда, правда, вы не могли ее видеть. Без сваи не было прилива.

Эти воспоминания кружились и кружились в голове, сводя с ума, как назойливая муха. Он доискивался, что бы это могло значить, но на длительное время звуки прекратились.

файуинн

ред эврисинггг

умберррр увхуинн

Иногда звуки замирали. Иногда замирал он сам. Его первым действительно ясным воспоминанием ТЕПЕРЬ, ТЕПЕРЬ вне штормового тумана, была эта остановка, когда он неожиданно осознал, что просто не может сделать ни единого вдоха, и это было хорошо, это было замечательно, это было действительно потрясающе; он мог воспринимать определенный уровень боли, но всему есть предел, и он был рад выйти из игры.

Затем был рот, плотно прижатый к его рту, рот, который несомненно принадлежал женщине, несмотря на его грубые сухие губы,

воздух из женского рта вдувался в его собственный рот и далее в горло, наполняя легкие; и когда губы оторвались от него, он впервые почувствовал своего стража, почувствовал стремительность, с которой она насильно вдувала в него воздух, точно как мужчина пытается насильно овладеть нежелающей его женщиной, почувствовал зловонную смесь ванильных печений, шоколадного мороженого, жареных цыплят и арахисовых ирисок.

Он услышал пронзительный голос: «Дыши! О, проклятье! Дыши, Пол!» Губы прижались снова. Он снова почувствовал воздух, вдуваемый в его горло. Он напоминал сырой затхлый ветер, летящий за скоростным поездом метро, увлекающий за собой листы газет и конфетные обертки; губы оторзались, и он подумал: «Боже, не допусти, чтобы хоть часть его попала в нос», но ничего не помогло, и эта вонь. О, эта вонь...

«Дыши, будь ты проклят!» — взвизгнул невидимый голос, и он подумал: «Я буду... только, пожалуйста, не делай больше этого, не заражай меня больше». И он попытался, но прежде чем он смог вздохнуть, ее губы снова прижались к его губам, таким сухим и мертвым, как полоски соленой кожи, и она со всей силой выдохнула в него воздух.

В тот момент, когда она оторвала свои губы, он не выпустил, а вытолкнул ее дыхание с такой силой и воплем, что этот толчок превратился в его собственный гигантский выдох. Вон! Он ожидал, что его невидимая грудь поднимется сама, как она это делала всю его жизнь, без всякой помощи с его стороны. Когда же этого не произошло, он сделал еще один гигантский визгливый вздох и задышал самостоятельно. Он делал это так быстро, как только мог, чтобы скорее очистить себя от ощущения ее запаха.

Обычный воздух никогда не казался ему столь прекрасным. Сознание его опять начало угасать, заволакивая туманом мысли, но прежде чем он полностью погрузился в тусклый мир, он услышал бормотание женского голоса: «Фу! Он был на волосок от смерти!»

«Не так уж близко», — подумал он и заснул.

Ему снилась свая, такая реальная, что порой казалось, протяни он руку и сможет провести ладонью по ее зеленовато-черной растресканной округлости.

Когда он вернулся в прежнее полусознание, он смог обнаружить связь между сваяей и своим настоящим состоянием — она казалось сама приплыла к нему в руки. Боль не была связана с приливом и отливом. Это предостережение во сне на самом деле было памятью. Боль только КАЗАЛОСЬ приходила и уходила. Боль, как свай, иногда скрывалась из виду, а иногда была очевидна, но всегда там. Когда боль не мучила,

его через глубокую каменную серость его облака, он был безмолвно благодарен, но больше не обманывал себя — она была там и ожидала возвращения. И свая была не одна — их было две; боль была сваями, и часть его знала еще задолго до того, как его разум осознал, что разрушенными сваями были его собственные раздробленные ноги.

Должно было пройти еще много времени, прежде чем он смог разорвать засохшую пену слюны, склеившую его губы, и прохрипеть «Где я?» женщине, сидевшей у его кровати с книгой в руках. Автором книги был Пол Шелдон. Он узнал свою книгу без удивления.

— Сайдуиндер, Колорадо, — сказала она после того, как он смог наконец задать этот вопрос. — Меня зовут Энни Уилкз. И я...

— Я знаю, — сказал он, — вы моя самая большая поклонница.

— Да, — ответила она, улыбаясь. — Именно таковой я и являюсь.

III

Темнота. Снова боль и туман. Затем осознание того, что хотя боль и постоянна, она иногда идет на нелегкий компромисс, который он принимал за облегчение. Первое реальное воспоминание — остановка сердца и насильное возвращение в жизнь женским зловонным дыханием.

Следующее реальное воспоминание — ее пальцы, проталкивающие что-то ему в рот через регулярные промежутки времени, что-то, напоминающее капсулы Контэк; из-за отсутствия воды они лежали во рту и по мере таяния оставляли невероятно горький вкус, немного похожий на вкус аспирина. Хорошо было бы выплюнуть эту горечь, но он понимал, что лучше не делать этого. Вероятно, именно этот горький вкус вызывал высокие приливы, затопляющие сваю...

(свай... свай... их две о'кей две прекрасно теперь только ты знаешь тишееее)

... и заставляющие ее ненадолго исчезнуть.

Все эти мысли приходили через большие промежутки времени, но затем, так как сама боль начинала не то чтобы утихать, а постепенно разрушаться, он все чаще начал наталкиваться на понятия внешнего мира, пока в достаточной степени не восстановился объективный мир со всем его грузом памяти, опыта и предрассудков.

«Должно быть эта свая на пляже Ривьеры сама разрушилась, так как нет ничего вечного», — подумал он, хотя ребенок, каким он был, поднял бы на смех эту ересь)

Он был Полом Шелдоном, который писал два вида романов: хорошие и бестселлеры. Он дважды был женат и разведен. Он слишком много курил (или делал это до всего того, что с ним произошло, чем

бы «все это» ни было). С ним случилось что-то очень плохое, но он остался жив. Темно-серое облако начало рассеиваться все быстрее и быстрее. Задолго до того, как его самая большая поклонница принесла ему старый трещащий «Ройал» с широко улыбающимся ртом и голосом Даки Дэддлз, Пол понял, что попал в чертовский переплет.

IV

Эта наделенная даром предвидения часть его мозга обнаруживала ее раньше, чем он осознавал, что видит ее, и, должно быть, раньше воспринимала ее, чем он понимал это, — почему же он ассоциировал с ней такой мрачный зловещий мысленный образ? Как только она входила в комнату, он начинал думать об идолах, которым поклонялись суеверные африканские племена в романах Г. Райдера Хаггарда, камнях и роке.

Представление Энни Уилкз африканским идиолом из «Она» или «Копи короля Соломона» с одной стороны было смехотворно нелепым, а с другой — странно подходило ей. Она была крупной женщиной, которая, кроме большой и неприятной груди под обычно серой кофтой, казалось, совсем не имела женских округлостей — ни бедер, ни ягодиц, ни даже икр под бесконечным количеством шерстяных юбок, которые она носила дома (она удалялась в невидимую спальню, чтобы надеть джинсы перед работой вне дома). Ее тело было крупным, но небольшим. Она скорее ассоциировалась с заторами и заграждениями на дорогах, чем с открытыми проездами или даже пространствами.

Больше всего его беспокоило чувство цельности, которое она вызывала в нем, как будто у нее не было кровяных сосудов или даже внутренних органов, как будто она была твердая сверху донизу. Он все больше и больше убеждался в том, что ее глаза, которые иногда двигались, на самом деле были просто нарисованы и двигались не больше, чем глаза портретов, которые, кажется, следят за вами, куда бы вы ни следовали в комнате, где они висят. Ему казалось, что если он сложит первые два пальца руки в знак V и постарается просунуть их ей в ноздри, то они не пройдут и восьмую часть дюйма, как наткнутся на твердую (может, немного податливую) преграду; что даже серая кофта, безвкусные домашние юбки и выгоревшие джинсы были частью этого твердого волокнистого тела. Итак, то, что она напоминала идола из романов, было совсем неудивительно. Подобно идолу, она вызывала только одно чувство — чувство ужаса.

Нет, подождите, это было не совсем справедливо. Она давала ему что-то. Она давала ему пилюли, которые вызывали прилив и затопление свай.

Пилюли были приливом; Энни Уилкз была луной, которая силой своего воздействия толкала их ему в рот. Она приносила по две штуки через каждые шесть часов, сначала обнаруживая свое присутствие только парой пальцев, всовывая их в рот (довольно скоро он научился энергично сосать эти пальцы назло горькому вкусу), а затем появлением в серой кофте и в одной из полдюжины юбок обычно с одним из его романов, зажатым под мышкой. По вечерам она появлялась перед ним в ворсистой розовой робе, с лицом, намазанным каким-то кремом (он мог бы с легкостью назвать основной ингредиент, хотя никогда не видел пузырька, из которого она выдавила его, так как запах ланолина был резким и говорил сам за себя), и вытрясала его из богатого сновидениями забытья пилюлями, которые удобно гнездились у нее в руке, а сифилисная луна заглядывала в окно из-за ее твердого плеча.

Через некоторое время — когда его тревога настолько усилилась, что ее невозможно было игнорировать, — он был способен выяснить, чем она кормила его. Это было обезболивающее средство с большим содержанием кодеина под названием Новрил. Причина, по которой она редко приносила ему подкладное судно, была не только в том, что он был на диете, состоящей в основном из жидкости и желатина (раньше, когда он был в облаках, она кормила его внутривенно), но также и в том, что Новрил имел тенденцию вызывать запор у больных, принимающих его. Другим побочным и довольно серьезным эффектом была дыхательная депрессия у чувствительных пациентов. Пол не был особенно чувствительным, хотя слыл заядлым курильщиком почти восемнадцать лет. Тем не менее его дыхание остановилось по крайней мере по одной из причин (могли быть и другие, которые он не помнил в тумане). Именно в это время она делала ему искусственное дыхание. Такие вещи случались, но позднее он начал подозревать, что она чуть не убила его случайной передозировкой. Она многого не знала о том, что делала, но полагала, что знала.

Через 10 дней после выхода из темного облака он почти одновременно сделал три открытия: первое, что Энни Уилкз имела большое количество Новрила (она действительно имела очень много разных лекарств); второе, что он был пойман на крючок на Новрил; и третье, что Энни Уилкз была сумасшедшей.

V

Темнота продлила боль и грозовую тучу; он начал вспоминать, что продлило темноту, когда она сказала ему, что с ним случилось. Это было вскоре после того, как он задал ей традиционный неожиданный вопрос, и она ответила, что он был в маленьком городке Саидуиндер,

Колорадо. Кроме того, она сказала, что прочитала каждый из его восьми романов по крайней мере дважды, а самый любимый сериал Мизери — четыре, пять, а может быть, и шесть раз. Ей хотелось только, чтобы он поскорее написал продолжение. Она сказала, что с трудом могла поверить, даже после проверки его документов в бумажнике, что ее пациентом был тот самый Пол Шелдон.

— А где мой бумажник, между прочим? — спросил он.

— Я сохранила его для вас, — сказала она. Ее улыбка неожиданно выразила настороженность, которая ему не понравилась. Это напоминало неожиданное открытие глубокой расселины, почти скрытой летними цветами, среди улыбающегося веселого луга.

— Неужели вы думаете, что я украла что-нибудь из него?

— Нет, конечно нет. Дело в том, что... *(Дело в том, что вся моя оставшаяся жизнь заключается в нем, — подумал он. — Моя жена вне этой комнаты. Вне моей боли. Вне времени, которое кажется растягивается как длинная разовая резинка-жвачка, вытягиваемая ребенком изо рта, когда она ему надоела. Потому что это, как в последний час или перед принятием пилюль).*

— Так в чем же дело, мистер Мэн? — настаивала она, и он с тревогой заметил, что ее узкий взгляд становится все темнее и темнее. Расселина раскрывалась, как будто за ее бровями было землетрясение. Он услышал ровный, резкий, пронзительный вой ветра и вдруг представил себе, как она поднимает его и закидывает на твердое плечо, где он лежит подобно джутовому мешку на каменной стене, как выносит его на улицу и с силой швыряет в сугроб. Он замерз бы насмерть, но прежде чем это произошло, его ноги бы болезненно пульсировали и пронзительно кричали.

— Дело в том, что мой отец учил меня всегда следить за бумажником, — сказал он, изумившись, как легко слетела эта ложь. Его отец сделал карьеру на том, что не уделял Полу внимания больше, чем было абсолютно необходимо, и, насколько Пол мог помнить, только раз дал ему совет за всю его жизнь. Когда Полу исполнилось четырнадцать лет, отец подарил ему презерватив в конверте из фольги.

— Положи это в свой бумажник, — сказал Роджер Шелдон. — Если ты когда-нибудь так возбудишься, что не сможешь устоять перед желанием и тебе будут безразличны последствия, улучи момент и надень это, пока не разберешься, куда ты влип. В мире и так слишком много незаконнорожденных детей, и я не хочу увидеть тебя в Армии в 16 лет.

Теперь Пол продолжал: — Я полагаю, что он так часто учил меня следить за бумажником, что это прочно застряло во мне. Если я обидел вас, я искренне сожалею.

Она расслабилась. Улыбнулась. Расселина закрылась. Летние цветы снова весело кивали головами. Он подумал, что если запустить руку в эту улыбку, то ничего не встретишь, кроме гибкой темноты.

— Никаких обид. Он в надежном месте. Подождите — у меня что-то для вас есть.

Она исчезла и вернулась с чашкой парящего бульона. В нем плавали овощи. Он не мог много есть, но съел больше, чем сначала думал. Она казалась довольной. Пока он ел суп, она рассказывала, что с ним произошло, и он вспоминал все, о чем она говорила. Он полагал, что неплохо узнать, как ты остался с раздробленными ногами, но то, как он подходил к этому знанию, беспокоило его: как будто он был героем романа или пьесы, чья история подробно излагается не как история, а как фантастика.

Она отправилась в Сайдуиндер на машине, чтобы закупить корма для скота и немного бакалейных товаров, а также проверить, не появилось ли что-нибудь новенькое среди дешевых книг в мягких переплетах в торговом центре Уилсона. Была среда, почти две недели назад, а новые издания всегда приходили по вторникам.

— Я думала о вас, — сказала она, отправляя ложку супа ему в рот и профессионально вытирая каплю с губ салфеткой. — Не правда ли, это такое замечательное совпадение? Я надеялась, что наконец выйдет книга «Ребенок Мизери», но не на такую удачу.

— По дороге началась гроза, — продолжала она, — но вплоть до полудня метеопрогноз утверждал, что она повернет на юг в сторону Нью-Мехико и Сангре де Кристос.

— Да, — сказал он, вспоминая, — говорили, она повернет. Вот почему я и отправился в путь.

Он попытался передвинуть ногу — в результате страшная боль молнией пронзила его; он застонал.

— Не делайте этого, — сказала она. — Если вы не оставите свои ноги в покое во время нашего разговора, Пол, они не успокоятся... а я не смогу дать вам больше пилюль в течение следующих двух часов. Я и так даю вам слишком много.

— Почему я не в больнице? — Это был вопрос, который нужно было задать, но он не был уверен, что кто-нибудь из них хотел, чтобы он был задан. Не сейчас во всяком случае.

— Когда я приехала в магазин, Тони Робертс сказал мне, что лучше мне поторопиться, если я собираюсь вернуться сюда до грозы, и я сказала...

— Как далеко мы от этого города? — спросил он.

— Далеко, — сказала она неопределенно, глядя в окно. Последовало странное молчание, и Пол испугался того, что увидел на ее лице,

потому что он не увидел ничего: черное НИЧЕГО расселины, завернутое в альпийский луг, черноту, где не росли цветы, и падение в которую казалось слишком долгим. Это было лицо женщины, которая моментально оторвалась от всего житейского и земных ориентиров ее жизни, женщины, которая забыла не только то, что она находилась в процессе воспоминания, но и то, что она должна была подробно излагать. Однажды он посетил психиатрическую больницу. Это было несколько лет назад, когда он работал над «Мизери», первой из четырех книг, которая оказалась основным источником его доходов за последние восемь лет. И он видел этот взгляд там... или вернее отсутствие его. Это определялось словом «кататония»; но то, что испугало его, не имело точного названия — это было скорее неточное сравнение. В этот момент он подумал, что ее мысли стали такими, какой он воображал ее физическую сущность: твердыми, волокнистыми монолитами без каких-либо пробелов.

Затем медленно ее лицо прояснилось. Казалось, мысли снова потекли к ней. Он ясно представил это ТЕЧЕНИЕ, оно было немного непривычным. Она не наполнялась ими подобно пруду или водоему во время прилива, она нагревалась. *Да... она нагревалась, как маленький электрический прибор тостер или, может быть, нагревательная подушка.*

— Я сказала Тони, что та гроза идет на юг. — Сначала она говорила медленно, почти слабо, но затем ее слова начали звучать ритмично и наполняться нормальной разговорной ясностью. Но теперь он был начеку. ВСЕ, что она сказала, было немного странным, немного не в ритме. Слушать Энни — все равно, что слушать песню, исполняемую в другом ключе.

— Но он сказал: гроза переменила направление.

— Ох, олух! — сказала я. — Я лучше сяду на машину и поеду.

— Вы бы лучше остались в городе, мисс Уилкз, — посоветовал он. — По радио говорят, что надвигается черт знает что и никто не готов к этому.

— Но я обязательно должна была вернуться, так как некому покормить животных, кроме меня. Ближайшие соседи Ройдманы находятся в нескольких милях отсюда. Кроме того, они не любят меня.

Она украдкой бросила взгляд на него после последнего слова, и когда он не ответил, повелительно постучала ложечкой по краю чашки.

— Все?

— Да, я сыт, спасибо. Это было вкусно. У вас много животных?

Потому что он уже подумал, если «да», то это значит, что ты нуждаешься в помощи. По крайней мере наемного рабочего, правиль-

нее сказать — помощника; он также заметил, что у нее не было на руке обручального кольца.

— Не очень много, — сказала она. — Полдюжины несущек. Две коровы и Мизери.

Он заморгал.

Она засмеялась.

— Вы подумали, что не очень мило с моей стороны называть свинью именем смелой и прекрасной женщины, которую вы создали. Но так ее зовут, и это не означает неуважения. — Минуту подумав, она добавила: — Она очень дружелюбна.

Женщина сморщила нос и на какой-то момент превратилась в свинью, сходство с которой усиливалось несколькими колючими волосками, которые росли у нее на подбородке. Она прохрюкала: «Хрюк! Хрюк! Хрюик-к!»

Пол посмотрел на нее широко раскрытыми глазами.

Она не заметила этого, она снова отсутствовала: ее взгляд был туманным и задумчивым. В глазах ничего не отражалось, кроме лампы на прикроватном столике, которая слабо мерцала в каждом из них. Наконец она с трудом продолжила:

— Я проехала пять миль, когда начал падать снег. Затем он пошел сильнее — здесь всегда так. Я медленно продвигалась с зажженными фарами и вдруг увидела вашу машину, перевернутую на дороге. — Она посмотрела на него неодобрительно:

— Фары машины не горели.

— Меня захватило врасплох, — сказал он, только в этот момент вспоминая, как был захвачен врасплох. Он даже не помнил, чтобы был сильно пьяным.

— Я остановилась, — продолжала она. — Если бы это было на подъеме, я не смогла бы этого сделать. Я знаю — не очень по-христиански, но даже с полноприводной машиной вы не можете быть уверенным, что вам снова удастся продолжить подъем, если вы остановились. Гораздо легче сказать себе: о, они вероятно выбрались, спаслись и т.д. Но это произошло на плоской вершине третьего большого холма за домом Ройдманов. Итак, я вытянула свою машину на холм, и как только вышла из нее, сразу услышала стон. Это стонал ты, Пол.

Она странно, по-матерински, ухмыльнулась.

Впервые в мозгу Пола Шелдона отчетливо проявилась мысль:

Я в беде. Эта женщина права.

Она сидела около него в спальне в течение последующих двадцати минут и разговаривала с ним. После супа боль в ногах возобновилась. Он заставлял себя сосредоточиться на том, что она говорила, но не мог полностью преуспеть в этом. Его сознание раздваивалось. С одной стороны, он слушал ее рассказ о том, как она тащила его из-под обломков его «Камаро» — это была сторона, где боль пульсировала и свербела, как пара старых разбитых свай, начинающих мигать и вспыхивать между приливом и отливом.

С другой стороны, он видел себя в отеле «Бульдерадо», заканчивающим его новый роман, который, слава Богу за малые милости, не имел ничего общего с Мизери Честейн.

У него была масса причин не писать о Мизери, но одна выделялась из всех остальных своей жестокостью и непоколебимостью: Мизери, слава Богу за большие милости, была мертва. Она умерла за пять страниц до конца книги «Ребенок Мизери». В доме все рыдали, когда это произошло, включая самого Пола, — только пот, струившийся из-под его очков, был результатом истерического смеха.

Заканчивая новую книгу, современный роман об угонщике машин, он вспомнил, как печатал последнее предложение книги «Ребенок Мизери»:

«Итак, Ян и Джеффри покинули церковный дворик в Литтл Данторп, поддерживая друг друга в глубокой скорби, полные решимости снова обрести жизнь».

Пока он писал эту строчку, он так безумно хихикал, что никак не мог попасть на нужную клавишу машинки и должен был возвращаться несколько раз назад. Спасибо старой хорошей корректировочной ленте! Ниже он напечатал слово «Конец» и затем начал скакать по комнате, дурачась и выкрикивая:

— Свободен наконец! Свободен наконец! Глупая сука наконец откинула копыта!

Новый роман назывался «Скоростные машины», и он не смеялся, когда завершал его. Он только замер перед машинкой на какой-то миг и подумал:

«А у тебя, мой друг, шанс получить премию за лучшую американскую книгу в будущем году».

Затем он поднял трубку телефона...

— ...небольшой синяк на твоём правом виске, но он не выглядел, как нечто особенное. Это были твои ноги... я сразу смогла увидеть, даже при тусклом свете, что твои ноги не были...

...и позвонил в бюро обслуживания, чтобы заказать бутылку Дом Периньон. Он вспомнил, как ходил взад и вперед по комнате, в которой завершал все свои книги с 1974 года, ожидая ее; он вспомнил, как постучал официант с пятидесятидолларовым счетом и как он спросил его о прогнозе погоды; он вспомнил, как довольный суетливый и ухмыляющийся официант сообщил ему, что надвигающийся ураган свернет на юг в сторону Нью-Мехико; он вспомнил прохладу бутылки, сдержанный звук высвобождаемой пробки; он вспомнил сухой, терпко-кислый вкус первого стакана вина и себя, открывающего дорожную сумку и разглядывающего билет на самолет до Нью-Йорка. Он неожиданно вспомнил, как мгновенно решил...

— ...я лучше отвезу тебя домой сразу! Мне пришлось потрудиться, втаскивая тебя в машину, но я сильная женщина, как ты уже мог заметить, и у меня куча одеял в багажнике. Я втащила тебя вовнутрь, обернула тебя и только тогда при тусклом свете ты показался мне ЗНАКОМЫМ. Я подумала, может быть...

— ...вывести свой старый «Камаро» из гаража и просто поехать на запад, вместо того, чтобы сесть в самолет. А, черт возьми, что ждало его в Нью-Йорке? Городской дом, пустой, унылый, негостеприимный, возможно разграбленный! «Смываюсь! — подумал он и выпил еще шампанского. — Отправляйся на запад, молодой человек, давай на запад!»

Эта идея была достаточно сумасбродной, чтобы иметь смысл. Ничего не брать с собой, кроме смены белья и его...

— ...сумка, которую я нашла. Я положила ее в машину тоже; больше там ничего не было видно. Я боялась, что ты можешь умереть, и поэтому погнала Старую Бесси...

...рукописи «Скоростных машин», и выступить в поход в Вегас, или Рено, или, может быть, даже в ... Он вспомнил, что идея эта сначала тоже показалась немного глупой — такое путешествие мог предпринять двадцатичетырехлетний юнец, каким он был, когда продал свой первый роман, но не зрелый мужчина, два года назад отметивший свое сорокалетие. Еще несколько бокалов шампанского — и эта идея совсем не казалась глупой. Напротив, она казалась замечательной. Разновидность Грандиозной Одиссеи Куда-то, способ заново ознакомиться с реальностью после фантастического действия романа. Итак, он отправляется...

— ...молнией! Я была уверена, что ты умираешь... Да, я была уверена! Итак, я вытащила твой бумажник из заднего кармана и посмотрела твои водительские права. Когда я увидела фамилию Пол Шелдон, я подумала, что это должно быть совпадение. Но человек на фотографии был также похож на тебя, и тогда я чуть не лишилась чувств, я так испугалась, что вынуждена была сесть за кухонный стол. Через некоторое время я подумала, что фотография может быть совпадает — эти фото на водительских правах никуда не годятся, но затем я обнаружила твое писательское удостоверение и еще одно из ПЕН и я узнала, кто ты...

...в беду, когда начинается снегопад, но задолго до этого он заскочил в «Бульдерадо» в бар, дал Джорджу двадцать долларов «на чай», чтобы тот снабдил его второй бутылкой шампанского, и выпил ее по дороге в Рокиз, наматывая сто семьдесят миль под серым небом с красноватым отливом. А где-то восточнее тоннеля Эйзенхауэра он свернул с шоссе, потому что дороги были пустые и сухие, ураган уносился на юг, а изгороди и проклятый тоннель заставляли его нервничать. Он слушал кассету с записью старого Бо Диддlea и ни разу не включил радио, пока «Камаро» не начал скользить и замедлять ход. Тут он начал понимать, что это не внезапный снегопад, а нечто более серьезное. Может быть, ураган совсем и не сворачивал на юг, может быть, он надвигался прямо на него, и он со своим старым автомобилем оказался с эпицентре беды.

(положение, в котором ты находишься теперь)

Но он слишком много выпил, чтобы подумать о спасении. И вместо того, чтобы остановиться в Кана и попросить пристанища, он поехал дальше. Он вспомнил, как день становился уныло серым. Он вспомнил, как шампанское начало выветриваться. Он вспомнил, как наклонился вперед, чтобы достать сигареты из бардачка, и в этот момент машину занесло в последний раз; он попытался выровнять ее, но положение еще больше осложнилось. Он вспомнил сильный, глухой удар и... он полетел кувирком. Он...

— ...пронзительно закричал! И когда я услышала твой крик, я поняла, что ты будешь жить. Умиравшие люди редко кричат, у них нет сил. Я знаю. Я решила, что заставлю тебя жить. Итак, я взяла некоторые мои болеутоляющие и заставила тебя принять их. Затем ты заснул. Когда ты проснулся и начал опять кричать, я дала тебе еще дозу. Некоторое время у тебя был жар, но я сбивала температуру. Я дала тебе Нефлекс. Тебя пару раз разыскивали по местному телефону, но сейчас с этим покончено. Я обещаю. — Она

поднялась. — А теперь пора отдыхать, Пол. Тебе следует набираться сил.

— У меня что-то с ногами.

— Да, я тоже так думаю. Через час ты получишь лекарство.

— Нет, пожалуйста. — Ему стыдно было умолять, но он не мог не делать этого. Отлив кончился, и расщепленные сваи стояли голыми, реально зазубренными, и с этим ничего нельзя было поделать.

— Через час. — Она двинулась к двери с ложкой и суповой чашкой в руке.

— Подождите!

Она обернулась, глядя на него с угрюмым и любящим выражением. Ему не понравилось это выражение. Совсем не понравилось.

— Прошло две недели с тех пор как меня спасли?

Она снова выглядела отсутствующей и недовольной. Ему стало казаться, что она как-то неправильно понимала время.

— Что-то вроде этого.

— Я был без памяти?

— Почти все время.

— Что я ел?

Она уставилась на него.

— ВВ, — сказала она кратко.

— ВВ? — повторил он, а она неправильно истолковала его ошеломленный вид как незнание.

— Я кормила тебя внутривенно, — сказала она. — Через трубочки. Вот что означают следы на твоих руках.

Она посмотрела на него глазами, которые вдруг стали тусклыми и оценивающими.

— Ты обязан мне своей жизнью, Пол. Я надеюсь, ты запомнишь это. Я надеюсь, ты всегда будешь помнить это.

Она повернулась и вышла.

VII

Прошел час, так или иначе, но прошел. Он лежал в постели, потя и трясаясь одновременно. Из другой комнаты сначала доносились звуки Хоки и Хот Липс, а затем записи бардов, транслируемые этой дикой и сумасшедшей радиостанцией Цинциннати.

Появился голос диктора, расхваливающий ножи Гинсу, и сообщил тем слушателям Колорадо, которые просто жаждали иметь хороший набор ножей Гинсу, что владельцы предприятий готовы помочь им в этом.

Пол Шелдон также был готов.

Она снова появилась с двумя капсулами и стаканом воды, когда часы в соседней комнате пробили восемь.

Он с усилием приподнялся на локте, когда она присела к нему на кровать.

— Я наконец два дня назад достала твою книгу, — сказала она. Лед звякнул в стакане. Это был сводящий с ума звук... — «Ребенок Мизери». Я люблю эту книгу... Она так же хороша, как и все остальные. Нет, лучше! Самая лучшая!

— Спасибо, — выдавил он. На лбу у него выступил пот. — Пожалуйста, мои ноги... очень больно...

— Я знала, что она выйдет замуж за Яна, — сказала она, задумчиво улыбаясь, — и я полагаю, Джеффри и Ян со временем снова станут друзьями. Не так ли?

Но немедленно спохватилась:

— Нет, не говори! Я хочу это выяснить сама. Я делала это прежде. Всегда кажется так долго ждать появления новой книги.

Боль пронзила его ноги и обхватила промежность стальным обручем. Он ощупал себя там и убедился, что его таз был целым и невредимым, но он почувствовал его искривленным и странным. Ниже колен, казалось, ничего не осталось целым. Он не хотел смотреть туда. Он мог видеть искривленные, грузные формы, очерченные постельным бельем, и этого было достаточно.

— Пожалуйста? Мисс Уилкс? Боль...

— Зови меня Энни. Все мои друзья так делают.

Она подала ему стакан. Он был холодным и покрыт пузырьками влаги. Она держала капсулы. Капсулы в ее руке были морским приливом. Она была луной и вызывала прилив, который покрывал сваи. Она протянула свою руку с капсулами к его рту, который немедленно широко открылся, но затем снова отдернула ее.

— Я взяла на себя смелость заглянуть в твою маленькую сумку. Ты не возражаешь, не правда ли?

— Нет, нет. Конечно нет. Лекарство!..

Капли пота на лбу казались то холодными, то горячими. Мог он закричать? Он решил, что да.

— Я вижу, там есть рукопись, — сказала она. Она держала капсулы в правой руке, которую теперь медленно поднимала и поворачивала. Капсулы упали в левую руку. Она проследил глазами за ними. — Она называется «Скоростные машины», а не «Мизери». Я знаю это.

Она взглянула на него со слабым неодобрением — но, как и раньше, оно было смешано с любовью. Это был МАТЕРИНСКИЙ взгляд.

— В девятнадцатом столетии не было машин — ни скоростных, никаких других!

Она хихикнула над этой маленькой шуткой.

— Я также позволила себе просмотреть ее... Ты не возражаешь, не правда ли?

— Пожалуйста, — простонал он, — нет, но пожалуйста...

Ее левая рука повернулась, и капсулы покатались, некоторое время колеблясь, а затем упали обратно в ее правую руку, немного позванивая.

— И если я прочту ее? Ты не будешь возражать, если я прочту ее?

— Нет. — Его кости вдребезги раскололись, его ноги наполнились гноющимися осколками разбитого стекла. — Нет... — Он выдавил из себя нечто похожее, как он надеялся, на улыбку. — Нет, конечно, нет.

— Потому что я никогда не позволила бы себе сделать подобное без твоего разрешения, — сказала она. — Я слишком тебя уважаю. Я люблю тебя, Пол.

Действительно, она неожиданно густо покраснела. Одна из капсул упала с руки на покрывало. Пол рванулся к ней, но она была проворней. Он застонал, но она не заметила этого. После захвата капсулы она снова стала отсутствующей, рассеянно глядела в окно.

— Твой мозг, — сказала она. — Творческое начало. Вот, что я имею в виду.

В отчаянии, потому что он мог думать только об одном, он сказал:

— Я знаю. Ты моя поклонница номер один.

Она даже не нагрелась в это время, она засияла, засветилась.

— Вот именно! — закричала она. — Это действительно так! И ты не будешь возражать, если я прочитаю рукопись в этой роли, не правда ли? Как твоя... обожательница? Хотя я не так люблю твои другие книги, как «Мизери».

— Нет, — сказал он и закрыл глаза. — Нет, можешь наделать из страниц рукописи бумажных шляп, если тебе захочется, только... пожалуйста... я умираю...

— Ты прелесть, — сказала она мягко. — Я знала, ты должен быть таким. Читая твои книги, я поняла, что ты такой. Человек, который мог создать Мизери Честейн, сначала придумать ее, а затем вдохнуть ЖИЗНЬ в нее, не мог быть другим.

Ее пальцы неожиданно оказались у него во рту, шокирующе интимные, грязно желанные. Он сосал капсулы вместе с ними и торопился проглотить их даже прежде, чем неловко поднес расплывающийся стакан воды ко рту.

— Совсем как ребенок, — сказала она, но он не мог ее видеть, потому что его глаза были крепко закрыты и слезы обжигали его.

— Ну, хорошо. Я так много хотела узнать у тебя, так много спросить. Пружины скрипнули, когда она вставала.

— Мы будем очень счастливы здесь, — сказала она, и хотя ужас пронзил его сердце, Пол не открыл глаза.

VIII

Он медленно плыл по течению. Начался прилив, и он дрейфовал. Некоторое время из другой комнаты доносилось звучание телевизора, а затем оно прекратилось. Иногда били часы, и он старался сосчитать количество ударов, но сбивался со счета.

ВВ. Через трубочки! Вот что означают отметки на твоих руках.

Он приподнялся на локте и пошарил рукой в поисках лампы, наконец нащупал и включил ее. Он посмотрел на свои руки и в складках локтей обнаружил поблекшие, налагающиеся друг на друга пятна красного и коричнево-желтого оттенков, и отверстия, наполненные черной кровью, в центре каждого кровоподтека.

Он лег на спину, глядя в потолок и прислушиваясь к ветру. Он был почти на краю смерти, в сердце зимы, был с женщиной, которая кормила его внутривенными вливаниями, когда он был без сознания, с женщиной, которая, очевидно, имела нескончаемый запас наркотиков, с женщиной, которая никому не рассказала, что он здесь.

Это было важным, но он начал понимать, что существовало еще нечто более важное: снова начался отлив. Теперь он ждал боя ее часов наверху. Он еще не протянул ноги, но настало время для него начать ждать этого.

Она была сумасшедшая, но он нуждался в ней.

О, я попал в очень большую беду, — подумал он и слепо уставился в потолок, в то время как капли пота снова начали выступать у него на лбу.

IX

На следующее утро она принесла ему побольше супа и сказала, что прочитала сорок страниц того, что он называл рукописью. Она сказала, что не считает ее такой же хорошей, как его другие книги.

— Она трудна для понимания. В ней постоянны скачки во времени вперед и назад.

— Техника, — сказал он. Боль немного отпустила, и поэтому он мог порассуждать о том, что она говорила.

— Техника, вот и все. Тема диктует форму. — Некоторым странным образом он полагал, что такие трюки его ремесла могли заинте-

ресовать и даже восхитить ее. Бог свидетель, они оказывали такое зачаровывающее действие на слушателей писательских семинаров, на которых он иногда выступал, когда был помоложе. — Видите ли, молодой человек в замешательстве.

— Да! Он **ОЧЕНЬ** запутался и это делает его менее интересным. Не интересным, а **МЕНЕЕ** интересным. А эта профанация! Каждое второе слово — ругательство! Это...

Она задумалась, автоматически кормя его супом, вытирая ему рот почти не глядя, как опытная машинистка редко смотрит на руки; он начал понимать без усилий, что она была нянькой-сиделкой. Не врачом — нет, врач не знал бы, когда будут стекать капли или не смог бы предугадать направление каждой из них с такой точностью.

«Если бы метеоролог, составляющий прогноз этого урагана, был хоть наполовину также добросовестен в своей работе, как Энни Уилкс в ее, я не попал бы в этот ужасный переплет», — подумал он с горечью.

— В нем нет благородства! — закричала она неожиданно, подпрыгивая и почти проливая ячменный суп на говяжьем бульоне на его белое, обращенное кверху лицо.

— Да, — сказал он терпеливо. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, Энни. Это правда, что Тони Бонасаро неблагороден. Он — дитя трущоб, пытающийся вырваться из плохого окружения, понимаешь, и те слова... все используют те слова...

— Нет! — прервала его она, бросая вызывающий взгляд. — Что, ты думаешь, я делаю, когда езжу в магазин в город? Что, ты думаешь, я говорю? Теперь, Тони, дай мне пакет этого... корма для свиней, или пакет того... комбикорма для коров, или ушные капли Кристинга? А что, ты думаешь, он отвечает мне? «Ты чертовски права, Энни, придя прямо к...?»

Он лежал перепуганный на спине. Чашка опрокинулась у нее в руках, и одна, а затем две капли супа упали на покрывало.

— И потом я иду в банк и говорю миссис Боллингер: «Вот один убудюк-чек и лучше дайте мне пятьдесят вонючих долларов как можно быстрее?»

Мутный ручеек говяжьего бульона полился на покрывало. Она взглянула на него, затем на Пола и ее лицо исказилось:

— Вот, посмотри, что я наделала из-за тебя!

— Мне очень жаль.

— Конечно! Тебе! Жаль! — закричала она и швырнула чашку в угол, где та вдребезги разбилась. Брызги супа разлетелись по стене. Она задыхалась от ярости.

Затем она отвернулась. Так она просидела секунд тридцать. Во время этой сцены сердце Пола, казалось, остановилось.

Через некоторое время она пробудилась и неожиданно приснула со смеху.

— У меня такой характер.

— Мне очень жаль, — выдавил он из пересохшего горла.

— Да, уж, вам следовало бы.

Ее лицо обмякло, и она угрюмо уставилась в стену. Он подумал, что она собирается снова отгородиться, но вместо этого она перевела дух и подняла свое тело с кровати.

— У тебя не было ни малейшей необходимости использовать такие слова в книгах «Мизери», потому что они не знали таких слов тогда. Их тогда еще не придумали. Скотские времена требуют скотских слов, я полагаю, но это было лучшее время. Ты не должен отвлекаться от историй «Мизери», Пол. Я говорю это искренне. Как твоя верная поклонница.

Она подошла к двери и оглянулась на него.

— Я положу эту рукопись обратно в твою сумку и закончу «Ребенок Мизери». Я, может, вернусь к рукописи позднее, после «Мизери».

— Не делай этого, если она сводит тебя с ума, — сказал он и попытался улыбнуться. — Я предпочел бы не огорчать тебя. Я ведь полностью завишу от тебя, ты же знаешь.

Она не вернула ему улыбку.

— Да, ты зависишь, — сказала она и вышла.

Х

Был отлив. Сваи оголились. Он начал дожидаться боя часов. Два удара. Он лежал подпертый подушками, наблюдая за дверью. Она вошла. Поверх кофты и одной из ее юбок на ней был фартук. В одной руке она держала ведро для мытья полов.

— Я полагаю, ты хочешь твое петушиное лекарство, — сказала она.

— Да, пожалуйста.

Он попытался улыбнуться ей обворожительно и снова почувствовал стыд. Он чувствовал себя нелепо, чуждо.

— Оно у меня, — сказала она, — но сначала я должна вымыть угол. Убрать то, что произошло по ТВОЕЙ вине. Тебе придется подождать, пока я не кончу.

Он лежал на постели, вытянув ноги под покрывалом в виде сломанных ветвей, холодный пот медленно струился по его лицу; он лежал и наблюдал, как она направилась к углу, поставила ведро на пол, подняла осколки чашки, выбросила их, вернулась обратно, встала на колени перед ведром, запустила в него руку и выловила намыленную тряпку, отжала ее и начала оттирать засохший суп со стены. Он

лежал и наблюдал, пока наконец его не начало трясти; эта дрожь усилила боль, но он ничего не мог поделать. Однажды она обернулась и увидела его дрожащим и промачивающим постельное белье потом; она любезно улыбнулась ему такой хитрой и все понимающей улыбкой, что он с легкостью убил бы ее.

— Все присохло, — произнесла она, отворачиваясь в угол. — Боюсь, тебе придется потерпеть немного.

Она заскребла. Пятно медленно исчезало со штукатурки, но она продолжала погружать тряпку в ведро, выжимать ее и тереть стену; весь процесс повторялся снова. Он не мог видеть ее лица, но сама мысль — ВЕРОЯТНОСТЬ, — что она пришла пустой и может продолжать тереть стену часами, мучила его.

Наконец — как раз перед тем, как часы пробили два тридцать, — она поднялась и бросила тряпку в ведро. Затем она без единого слова вынесла ведро из комнаты.

Он лежал в постели, прислушиваясь к скрипу половиц под ее тяжелой, твердой поступью, прислушиваясь, как она вылиwała воду из ведра и, — невероятно! — к звуку водопровода, когда она налиwała еще. Он начал беззвучно плакать. Отлив никогда не уходил так далеко; он ничего не видел кроме размытых контуров высыхающих разбитых свай, которые отбрасывали свою вечно изуродованную тень.

Она появилась снова и застыла на момент в проеме двери, наблюдая за его мокрым лицом с той же смесью стойкости и материнской любви. Затем ее глаза обратились в угол, где не осталось и следа разлитого супа.

— Теперь я могу сполоснуть, — сказала она, — иначе суп оставит слабое пятно. Я должна все доделать до конца, я должна все привести в порядок. То, что ты живешь одна, как это делаю я, не является оправданием безделья. У моей матери был девиз, Пол, и я живу, придерживаясь его: «Один раз грязный, всю жизнь неаккуратный».

— Пожалуйста, — простонал он, — пожалуйста, мне больно, я умираю.

— Нет, ты не умрешь.

— Я закричу, — сказал он, начиная громче кричать. Но кричать было больно. Крик причинял боль ногам и сердцу.

— Тогда кричи, — сказала она. — Но помни — это Ты заставил меня пролить суп. Не я. Никто не виноват, кроме тебя.

Кое-как ему удалось удержаться от крика. Он следил, как она погружала тряпку в ведро, как отжимала ее, ополаскивала стену, погружала — отжимала — ополаскивала. Наконец, когда часы в комнате, которую он представлял гостиной, пробили три, она поднялась и подняла ведро.

Она собирается уходить сейчас. Она уйдет и я услышу, как она выливает воду в раковину и, может быть, она не вернется сразу, а заставит ждать себя часами, потому что еще недостаточно наказала меня.

Но вместо этого она направилась к кровати и извлекла из кармана фартука не две, а три капсулы.

— Вот, — сказала она ласково.

Он быстро и жадно схватил их в рот, и когда взглянул вверх, то увидел, как она поднимает желтое пластиковое ведро над ним. Оно заполнило его поле зрения как падающая луна. Сероватая вода полилась через край ведра на покрывало.

— Запей их, — сказала она. Ее голос был все еще нежным.

Он уставился на нее во все глаза.

— Ну, — повторила она. — Я знаю, ты можешь проглотить их без воды, но, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что могу заставить их вернуться назад. Это только вода для полоскания. Она не причинит тебе вреда.

Она навалилась на него, как монолит, ведро слегка наклонено. Он мог видеть тряпку, медленно крутящуюся в его темной глубине подобно утопленнику; он мог видеть тонкую мыльную пленку на поверхности. Часть его воспротивилась, но он не засомневался. Он быстро глотнул воду, запивая таблетки, и во рту у него остался такой же вкус, как если бы мама заставила его чистить зубы мылом. Его желудок подтянуло, и он рыгнул.

— Я не буду делать так, чтобы тебя вырвало, Пол. Но больше ни одной капсулы до девяти часов вечера.

Она посмотрела на него пустым взглядом, затем лицо ее засветилось, и она улыбнулась.

— Ты не будешь злить меня больше, не так ли?

— Нет, — прошептал он. Сердить луну, которая приносит прилив? Что за мысль! Глупая мысль!

— Я люблю тебя, — сказала она и поцеловала в щеку. Она направилась к выходу, не оглядываясь, неся ведро так, как сильная деревенская женщина носит ведро с молоком, слегка отстранив его от туловища и не допуская мысли, что может пролить его.

Он лежал на спине, ощущая во рту песок и штукатурку, чувствуя мыльный вкус.

Я не выкину... не выкину... меня не вырвет!

Наконец острота этой мысли стала сглаживаться, и он понял, что засыпает. Он удержал все в себе достаточно долго, чтобы лекарство начало действовать. Он выиграл.

На этот раз.

XI

Ему снилось, что его поедала птица. Это был нехороший сон. Затем прозвучал выстрел, и он подумал: Да, хорошо, все в порядке! Застрели ее! Застрели проклятую тварь!

Затем его разбудил (это могла быть только Энни Уилкз) стук закрывающейся двери. Она отправилась выполнять повседневные домашние дела. Он услышал неясный скрип снега у нее под ногами. Она прошла мимо его окна в белом халате с поднятым капюшоном. В прохладном воздухе был виден след ее дыхания. Она не взглянула на него, сосредоточенная на своих домашних заботах: кормлении животных, чистке хлева.

Небо становилось темно-красным — восход солнца. Пять тридцать, может быть, шесть часов!

Прилив все еще был с ним, и он не мог снова заснуть — ХОТЕЛ заснуть, но вынужден был обдумывать эту странную эксцентричную ситуацию, пока был способен разумно мыслить.

Как он обнаружил, хуже всего было то, что он не хотел думать об этом даже пока мог, даже когда знал, что не может найти выход из сложившегося положения, не обдумав его. Его мозг постоянно старался отбросить эту мысль подобно тому, как ребенок отстраняет от себя еду, хотя ему было сказано, что он не встанет из-за стола, пока все не съест.

Он не хотел думать об этом, потому что ЖИТЬ ТОЛЬКО ЭТИМ было слишком тяжело. Он не хотел думать об этом, потому что, когда бы ни начинал, сразу же возникали неприятные ассоциации: то как становится бессмысленным ее лицо, то как она заставляет его думать об идолах и камнях и, наконец, как желтое пластиковое ведро быстро надвигается на него, подобно обвалившейся луне. Само обдумывание ЭТИХ вещей не изменило бы его положения и было хуже, чем отсутствие мыслей; но поскольку он обратил свои мысли к Энни Уилкз и направил их на свое положение в ее доме, то эти мысли приходили одна за другой, роясь и вытесняя одна другую. Его сердце начинало учащенно биться главным образом из страха, но также из-за стыда. Он видел себя прикладывающим губы к краю желтого ведра, видел грязную воду с мыльной пленкой и плавающей в ней тряпкой, видел все это, и тем не менее пил ее не колеблясь. Он никогда не расскажет об этом никому, надеясь, что выберется из этого кошмара. Он полагал, что попытается лгать даже самому себе, но он никогда не сможет сделать этого.

Несчастный или нет (а он был таковым), он все же хотел жить.

Думай об этом, черт побери! Господи, неужели ты так запуган, что не можешь даже попытаться? Нет, но почти так.

Затем случайная, сердитая мысль неожиданно пришла ему в голову: Ей не нравится новая книга, потому что она слишком глупа, чтобы понимать, что в ней происходит.

Мысль не была странной, но при данных обстоятельствах то, что она думала о «Скоростных машинах», не имело значения. Но обдумывание ею сказанного по крайней мере представляло собой нечто новое, а чувство злости НА нее было лучше чувства страха ПЕРЕД ней; итак, он с рвением пустился в размышления.

Слишком глупая! Нет. Слишком упрямая и неизменная. Не только не желающая изменить что-либо, но враждебно относящаяся даже к самой идее изменения!

Да. И будучи сумасшедшей, неужели она совершенно по-другому оценивала его работу, чем сотни тысяч людей по всей стране — девяносто процентов из них женщины, — которые с трудом дожидались каждого нового описания из пятисот страниц бурной жизни подкидыша, которой удалось возвыситься и выйти замуж за пэра Англии? Нет, совсем нет. Они хотели Мизери. Мизери и только Мизери. Каждый раз на написание нового романа у него уходил год или два. Это было то, что он сначала считал «серьезной» работой, затем надеялся на это и, наконец, относился к ней с чувством ужасного отчаяния. Он получал поток протестующих писем от женщин, которые в большинстве случаев подписывались «Ваша самая большая поклонница». Тон этих писем варьировал от полного замешательства (что обычно было наиболее болезненно) до упреков, до прямой озлобленности, но суть посланий была одна и та же: «Это не то, что я ожидала, не то, чего я хотела. Пожалуйста, вернитесь к Мизери. Я хочу знать, чем занимается Мизери!» Он мог написать современные книги «Под вулканом», «Тэсс из рода Д'Эбервиллей», «Пустые слова», но это ничего не значило. Они по-прежнему желали Мизери, Мизери, Мизери.

Его трудно читать... он неинтересен... и эта профанация!

Гнев вспыхнул в нем с новой силой. Гнев на ее закоснелую, беспросветную глупость, гнев на то, что она практически похитила его — держала здесь узником, заставляя его выбирать между питьем грязной воды из ведра и жутким страданием от раздробленных ног. Но сверх всего имела нахальство КРИТИКОВАТЬ его лучшую вещь.

— Ну и хамка же ты! Пошла ты со своим сквернословием! — сказал он, и неожиданно почувствовал себя лучше, снова стал самим собой, хотя знал, что его мятеж был мелким, жалким и бессмысленным — она была в хлеву, откуда не могла слышать его, и прилив был благополучно на месте под разбитыми сваями. И все же...

Он вспомнил ее, входящую сюда, отказывающую ему в капсулах, принуждающую дать ей разрешение на прочтение рукописи «Скоро-

стных машин». Он почувствовал краску стыда и унижения, согревающую его лицо, но теперь они перемешивались с НАСТОЯЩИМ гневом: он расцвел из искры в угасающее пламя. Он НИКОГДА никому не показывал рукопись, пока не откорректирует и не перепечатает ее. НИКОГДА. Никому, даже Брайсу, его поверенному. Почему же он даже не...

На мгновение его мысли были прерваны. Он услышал приглушенное мычание коровы.

...почему он даже не сделал КОПИИ, пока не готов второй вариант?

Рукопись «Скоростных машин», находящаяся сейчас в распоряжении Энни Уилкз, была единственным экземпляром во всем мире. Он сжег даже свои записи. Плод двухлетней напряженной работы ей не понравился — да она сумасшедшая!

Мизери — вот, что ЕЙ нравилось; Мизери — вот, КОГО она любила, а не какого-то сквернословящего молчаливого угонщика машин из испанского Гарлема.

Он продолжал вспоминать: Можешь использовать страницы рукописи на бумажные шляпы, если хочешь, только... пожалуйста...

Гнев и унижение нахлынули вновь, пробуждая первую ответную тупую боль в ногах. Да. Работа. Чувство гордости за свою работу, ценность самой работы... все эти понятия постепенно исчезали во мраке, когда боль становилась нестерпимой. То, что она будет делать это для него — человека, который большую часть своей взрослой жизни думал, что слово ПИСАТЕЛЬ являлось наиболее важным определением его самого, казалось, превращало ее в какое-то чудовище, от которого он ДОЛЖЕН убежать. Она действительно БЫЛА идиолом, и если она не убьет его, то она может убить то, что было в нем.

Теперь он услышал нетерпеливый визг поросенка. Она думала, что он будет возражать, но он считал Мизери замечательным именем для поросенка. Он вспомнил, как она имитировала его, как ее верхняя губа сморщилась к носу, а щеки разгладились, как она действительно БЫЛА ПОХОЖА на поросенка: Уинк! Уинк!

Из хлева донесся ее голос: «Соо-ей пиг, пиг, пиг!»

Он лежал на спине, прикрыв рукой глаза, и старался удержать гнев, потому что гнев помогал ему чувствовать себя храбрым. А храбрый человек мог думать. Трус — не мог.

Вот женщина, которая была нянькой, — он был уверен в этом. Была ли она все еще нянькой? Нет, потому что она не ходила на работу. Почему она больше не работала по профессии? Это казалось очевидным. Не все ее барахло было убрано в сундук, многие вещи болтались на вешалках. Если это было очевидно для него, даже

несмотря на болевой туман, в котором он жил, это, конечно, было очевидно для ее коллег. А он имел немного больше информации, с помощью которой можно было судить, СКОЛЬКО ее шмоток не было убрано, не правда ли? Она вытащила его из-под обломков машины и вместо того, чтобы вызвать полицию или «Скорую помощь», она водворила его в свою гостиную, сделала внутривенное вливание в руку и уколола наркотиком. Наконец он впал, как она называла, в респираторную депрессию. Она никому не сказала, что он был у нее, и если она не сделала этого до сих пор, значит, она не собиралась делать этого вообще.

Вела бы она себя так же, если бы на его месте был Джо Блоу из Кокомо? Нет, он так не думал. Она скрывала ЕГО, потому что он был Пол Шелдон и ОНА...

— Она моя самая большая поклонница, — промямлил Пол и положил руку на глаза.

Ужасное воспоминание всплыло в темноте: мать повела его в Бостонский зоопарк посмотреть на большую величественную птицу. У нее было самое красивое, какое он когда-либо видел, оперенье — красное и пурпурное, а также королевское голубое — и самые грустные глаза.

Он спросил мать, откуда родом эта птица, и когда она сказала АФРИКА, он понял, что птица была обречена умереть в клетке, в которой она жила далеко от того места, где Бог предназначил ей быть, и заплакал. А мать купила ему мороженое и на некоторое время он прекратил плакать; затем он вспомнил птицу и начал снова плакать. Тогда мать забрала его домой, выговаривая ему по дороге в Гинн, что он капризный ребенок и маменькин сынок.

Это оперенье. Эти глаза.

Боль в ногах начала опоясывать его.

Нет, нет, нет.

Он с силой прижал свой локоть к глазам. Из хлева доносились отдаленные глухие звуки. Конечно, невозможно было сказать, что это было, но в своем воображении...

(твой мозг, твоё творческое начало — вот, что я имею в виду)

...он представлял, как она сбрасывает охапки сена с сеновала прямо к ногам, представляя, как они катаются по полу хлева.

Африка. Эта птица родом из Африки. Из...

Затем словно острый нож в тишину вонзился ее раздраженный, крикливый голос: «Ты думаешь, что, когда они поставят меня на место для дачи свидетельских показаний в Ден...»

На место. Когда они поставят меня на место для дачи свидетельских показаний в Денвере.

— Клянетесь говорить правду и только правду и ничего кроме правды? Да поможет вам Бог!

(Я не знаю, откуда он берет это)

— Я знаю.

(Он ВСЕГДА пишет подобные вещи)

— Ваше имя.

(Никто в моей семье не имел такого воображения, как он)

— Энни Уилкз.

(Яркая личность!)

— Меня зовут Энни Уилкз.

Он хотел, чтобы она сказала еще что-нибудь, но она промолчала.

— Ну, давай, — пробормотал он; его рука лежала на глазах — так ему всегда лучше думалось, лучше **ВООБРАЖАЛОСЬ**.

Его мать любила рассказывать миссис Малваней — соседке через забор, — какое удивительное у него было воображение, какое яркое и какие замечательные короткие рассказы он всегда писал (за исключением, конечно, когда она называла его капризулей).

Он представлял помещение суда в Денвере, видел Энни Уилкз в выцветшем красно-черном платье и ужасной шляпе. Он представлял переполненный зеваками зал, лысого судью в очках. У судьи были белые усы, под которыми виднелась родинка; белые усы закрывали большую ее часть, но не всю.

Энни Уилкз.

(Он прочитал точно в три! Можете вообразить!)

Этот дух... почитательства...

(Он всегда излагает все письменно)

Теперь я должна ополоснуть.

(Африка. Эта птица родом из...)

— Давай, — прошептал он, но не мог уловить дальнейшее. Судебный пристав все просил и просил ее назвать свое имя; она сказала, что ее звали Энни Уилкз, но больше она не сказала ничего. Она сидела там и своим жилистым, твердым, зловещим телом вытесняла воздух; она назвала свое имя, а затем повторяла его все снова и снова, но ничего больше.

Все еще пытаясь представить, почему бывшая нянька, которая держала его в заключении, могла однажды подняться на трибуну Денверского суда, Пол заснул.

XII

Он находился под опекой. Громадное облегчение охватило его — настолько большое, что он готов был расплакаться. Что-то случилось

пока он спал, кто-то приходил или, может, в сердце или душе Энни произошли изменения. Но это неважно. Он заснул в доме женщины-монстра, а проснулся в больнице.

Но не может же быть, чтобы они поместили его под такую опеку на долгое время? Больница напоминала ангар для самолетов. Одинаковые койки с мужчинами на них заполняли помещение (одинаковые бутылочки с физиологическим раствором свисали с одинаковых штативов для внутривенного вливания, стоящих у кроватей). Он сел и увидел, что мужчины были все одинаковые — все они были ИМ. Затем где-то вдалеке он услышал бой часов и понял, что он спит и слышит его сквозь сон. Это был сон. Грусть заняла место облегчения.

Дверь в дальнем углу громадной палаты открылась и вошла Энни Уилкз. На ней было длинное платье с фартуком, а на голове домашний чепец; она была одета как Мизери Честейн в «Любви Мизери». В руке у нее была плетеная корзинка. Поверх ее содержимого лежало полотенце. Пока он разглядывал ее, она сложила полотенце. Затем она засунула руку в корзину, вынула пригоршню чего-то и швырнула в лицо первого спящего Пола Шелдона. Он увидел, что это был песок. Так Энни Уилкз притворялась Мизери Честейн, которая в свою очередь изображала из себя дрему, который сыплет в глаза песок, чтобы хотелось спать.

Затем он увидел, что лицо первого Пола Шелдона стало страшно бледным, как только песок ударил его в лицо.

Ужас резко вытолкнул его из сна, и он очнулся в постели. Над ним стояла Энни Уилкз. Она держала в руке толстую книгу «Ребенок Мизери» в мягкой дешевой обложке. Закладка в ней говорила о том, что две трети ее уже прочитано.

— Ты стонал, — сказала она.

— Я видел плохой сон.

— Что это было?

Он ответил первое, что ему пришло в голову, но только не правду: — Африка.

ХІІІ

Она пришла к нему поздно утром с лицом землистого цвета. Он дремал, но сразу же проснулся и рывком приподнялся на локоть.

— Мисс Уилкз? Энни? С тобой все в порядке?

— Нет.

Боже, у нее был сердечный приступ, подумал он, и мгновенная тревога моментально уступила место радости. Пусть у нее будет приступ! И сильный приступ! Что-то сногшибательное! Он был бы

более чем счастлив доползти до телефона — неважно насколько это было бы больно. Он пополз бы к телефону даже по битым стеклам.

Да, это БЫЛ сердечный приступ...

Но не в обычном смысле.

Она направилась к нему, не шатаясь, а вразвалку, как это обычно делают моряки, только что сошедшие с корабля на землю после длительного похода.

— Что... — Он попытался уклониться от нее, но было некуда: только изголовье кровати, за которым была стена.

— Нет! — Она достигла кровати, ударила ее и начала раскачивать: в какой-то момент ему показалось, что она была на грани падения прямо на него. Затем она резко поднялась, глядя на его мертвенно-белое лицо сверху вниз, голосовые связки на ее шее выступали, по середине лба пульсировала вена. Она крепко сжала твердые как скала кулаки, затем разжала их снова.

— Ты... ты... грязная тварь!

— Что... я не... — Но неожиданно догадка осенила его, и одна его половина сначала стала пустой, а затем полностью исчезла. Он вспомнил, где была ее закладка вчера вечером: две трети от начала книги. Теперь она ее прочла. Она узнала все, что должна была узнать. Она узнала, что Мизери в конце концов не была бесплодной — бесплодным был Ян. Сидела ли она в своей все еще невидимой для него гостиной с открытым ртом и расширенными глазами, когда наконец Мизери осознала правду и решила улизнуть к Джеффри? Наполнились ли ее глаза слезами, когда Мизери и Джеффри, будучи далеки от того, чтобы скрывать что-либо от любимого ими человека, подарили ему самый замечательный подарок, какой только могли, — ребенка, которого он будет считать своим собственным? И екнуло ли ее сердце, когда Мизери сообщила Яну о своей беременности, когда Ян прижал ее к себе, обливаясь слезами и бормоча «моя дорогая, о, моя дорогая»? Несколько секунд он был уверен, что все это было. Но вместо того, чтобы рыдать с восторженным облегчением, как она должна была бы делать, когда Мизери испустила последний вздох, разродившись мальчиком, к появлению на свет которого вероятно были причастны оба — и Ян, и Джеффри, — она была в неистовстве.

— Она не может умереть! — Энни Уилкз зыркнула на него, Она все быстрее и быстрее сжимала и разжимала кулаки. — Мизери Честейн не должна умереть!

— Энни... Энни, пожалуйста...

На столе стоял стеклянный кувшин с водой. Она схватила его и угрожающе замахнулась. Холодная вода брызнула ему в лицо. Кубик льда упал ему за левое ухо и соскользнул с подушки во впадину плеча.

В уме (так живо!) он увидел ее, бросающую кувшин ему в лицо, представил себя умирающим от пролома черепа и обильного мозгового кровотечения, пока его руки покрывались мурашками.

Она хотела сделать это, в этом не было сомнения. Но в самый последний момент она отвернулась и швырнула кувшин в дверь, о которую он вдребезги разбился, как это на днях было с чашкой супа.

Она оглянулась на него и откинула волосы с лица — два маленьких пятнышка отчетливо выделялись на белой внутренней стороне ее рук.

— Дрянь! — Она тяжело дышала. — Ты грязная тварь... как ты мог!

Он заговорил быстро, настойчиво, глаза блстели, устремленные на ее лицо — в тот момент он не сомневался, что его жизнь зависит от того, что он скажет в следующие двадцать секунд.

— Энни, в 1871 году женщины часто умирали при родах. Мизери отдала свою жизнь за мужа, за ее лучшего друга и ее ребенка. Душа Мизери всегда будет...

— Я не хочу ее душу, — закричала она, потрясая кулаками перед ним, как будто собираясь выцарапать ему глаза. — Я хочу ее! Ты убил ее!

Она сжала кулаки и с силой ударила ими, как поршнями, с обеих сторон его головы. Они глубоко вдавились в подушку, и он подпрыгнул, как тряпичная кукла. Его ноги запылали, и он выкрикнул:

— Я не убивал ее!

Она застыла, уставившись на него с этим узким черным рассеянным выражением.

— Конечно, нет, — сказала она с горьким сарказмом. — Но если это сделал не Пол Шелдон, тогда кто?

— Никто, — сказал он более спокойно. — Она просто умерла.

В конце концов он знал, что это была правда. Если бы Мизери Честейн была реальным человеком, его могли вызвать в полицию «помочь полиции в наведении справок». Прежде всего у него был мотив — он ее ненавидел. С третьей книги он ее ненавидел. Четыре года назад на первое апреля он разослал дюжине своих близких знакомых по маленькому частно отпечатанному буклету. Он назывался «Хобби Мизери». В нем Мизери весело проводила уик-энд вместе с Гроулером, ирландским сеттером Яна.

Он мог убить ее... но он этого не сделал. И наконец, несмотря на усилившееся презрение к ней, смерть Мизери была чем-то вроде сюрприза для него. Он остался достаточно преданным своим принципам — искусству импровизировать жизнь вплоть до самого конца приключений Мизери. Она умерла наиболее неожиданной смертью. Его веселое дурачение ни в коем случае не изменило действительность.

— Ты лжешь, — прошептала Энни. — Я думала, что ты хороший. Но ты нехороший. Ты только завравшаяся старая дрянь. Мизери только ушла, не прощаясь. Иногда это случается. Это вроде жизни, когда кто-нибудь...

Она опрокинула прикроватный столик. Один неглубокий ящик вывалился из него. Вместе с ним выпали наручные часы и карманная мелочь. Он даже не знал, что они были там. Он весь сжегился.

— Ты должно быть думаешь, что я родилась вчера, — сказала она, оскалившись. — В моей работе я повидала, как умирали десятки людей, сотни; теперь вот что я думаю об этом. Иногда они уходят крича, а иногда они засыпают — они просто уходят не прощаясь, конечно, тем способом, о котором ты говорил.

Но действующие лица в романах так просто не уходят! Бог забирает нас, когда считает, что нам пора; а писатель — Бог для людей в романе, он создал их точно также, как Бог создал нас, и никто не может схватить Бога и заставить объяснять: все в порядке, о'кей. Что касается Мизери, то я скажу тебе одно — ты грязная тварь, я скажу тебе, случается, что Бог ломает пару ног, и случается, что Бог находится в моем доме и ест мою пищу... и...

Она побелела, выпрямилась, руки ее вяло повисли по бокам; она уставилась на стену со старой фотографией Триумфальной Арки. Она продолжала стоять так, а Пол лежал на кровати с круглым мокрым пятном на подушке рядом с ухом и смотрел на нее. Он слышал, как вода из кувшина капала на пол, и ему пришла мысль, что он мог совершить убийство. Это был вопрос, который время от времени вставал перед ним чисто теоретически конечно, но теперь он знал ответ. Если бы она не швырнула кувшин, он разбил бы его об пол сам и попытался бы засунуть один из осколков ей в горло, пока она стояла так — инертная, как стойка для зонтиков.

Он взглянул вниз на рассыпавшиеся из ящика вещи, но там была только мелочь: ручка, расческа и его часы. Но ни бумажника, ни швейцарского военного ножа.

Через некоторое время она немного пришла в себя и ее гнев наконец улетучился. Она грустно посмотрела на него.

— Я лучше пойду. Я думаю, что мне лучше оставить тебя на некоторое время. Я не думаю, что это... разумно.

— Уйдешь? Куда?

— Не имеет значения. Я знаю место. Если я останусь здесь, я сделаю что-нибудь предусмотрительное. Я должна подумать. До свидания, Пол.

Она зашагала через комнату.

— Ты вернешься, чтобы дать мне мое лекарство? — спросил он встревожено.

Она ухватила за дверную ручку и захлопнула дверь, не ответив. Впервые он услышал, как повернулся ключ.

Он услышал ее шаги, спускающиеся в холл, вздрогнул, когда она со злобой выкрикнула что-то, чего он не мог разобрать, затем что-то еще упало и разбилось. Она со стуком захлопнула дверь.

Затрещал и зашелся мотор машины. Послышался тихий хруст утрамбовываемого шинами снега. Теперь звук мотора начал удаляться. Сначала он уменьшился до храпа, затем до гула и наконец совсем исчез.

Он остался один.

Один в доме Энни Уилкз, запертый в этой комнате. Прикованный к постели. Расстояние между домом и Денвером было примерно... как расстояние между Бостонским зоопарком и Африкой.

Он лежал в кровати, глядя в потолок, с пересохшим горлом и часто бьющимся сердцем.

Через некоторое время часы в гостиной пробили полдень и начался отлив.

XIV

Пятьдесят один час.

Он точно знал, сколько прошло времени, благодаря ручке, которая была у него в кармане во время крушения. Он смог дотянуться до нее и ухватить. Каждый раз, когда били часы, он делал метки на руке — четыре вертикальные и одна диагональная, соединяющая квинтет. Когда она вернулась, то на руке было десять групп из пяти меток и одна экстра. Маленькие группы, сначала аккуратные, все больше становились неровными, так как его руки начали трястись. Он не поверил, что пропустил один час. Он дремал, но никогда по-настоящему не спал. Бой часов будил его каждый раз, когда проходил час.

Через некоторое время он начал ощущать голод и жажду — даже через боль. Это становилось чем-то вроде скачек. Сначала Король Боль был далеко впереди, а Я Хочу Есть было где-то на 12 фарлонгов сзади. Прекрасная Жажда почти потерялась в пыли. Затем, когда солнце поднялось еще раз, она пропала, а Я Хочу Есть дал Королю Боль небольшую фору за его деньги.

Он провел большую часть ночи и дремля, и просыпаясь в холодном поту, уверенный, что умирает. Через некоторое время он начал НАДЕЯТЬСЯ, что умирает. Что угодно, только бы выбраться отсюда. Он уже видел усоногих раков, коркой покрывающих сваи, видел бледные утонувшие существа, размягченно лежавшие в расщелинах

дерева. Это были счастливики: для них все было кончено. Около трех часов на него напал приступ бессмысленного крика.

К полудню второго дня — двадцать четыре часа спустя — он понял, что, кроме боли в ногах и тазу, еще что-то причиняло ему страдания. Ему недоставало чего-то. Назовите эту лошадь Месть Янки, если хотите. Он нуждался в капсулах больше, чем в чем-то другом.

Он подумывал о попытке вылезти из кровати, но мысль об ударе и падении и сопровождающей их боли постоянно устрашала его. Он слишком хорошо представлял их.

В любом случае он мог бы попытаться, но она заперла дверь. Что еще мог он сделать, кроме как переползти змеей через комнату и лечь у двери?

В отчаянии он впервые сбросил одеяло, надеясь вопреки всему, что все было не так плохо, как на то указывали формы, скрытые под одеялом. Но это было не ТАК плохо, это было хуже. Он с ужасом устоялся на то, что осталось ниже колен. В уме у него звучал голос Рональда Рейгана в «Королевской Сcore», пронзительно кричащий: «А где остальное от меня?»

Остальное у него было здесь, и он мог бы выздороветь, но надежда на это казалась маловероятной, хотя он предполагал это технически возможным... однако была вероятность, что он никогда больше не сможет ходить до тех пор, пока каждая его нога не будет повторно сломана (и, может, в нескольких местах) и затем скреплена стальной спицей, немилосердно реконструирована и подвергнута полусотне болезненных процедур.

Она наложила шины — конечно он знал это, чувствуя жесткие, негнущиеся формы, но до сих пор он не знал, как она это сделала. Нижние части ног были закручены стальными прутьями и напоминали срезанные ножовкой алюминиевые костыли. Прутья были усердно связаны тесьмой, поэтому ниже колен он был немного похож на Им-Го-Тепу, когда тот был обнаружен в своей гробнице. Сами ноги странно загибались вверх к его коленам, выворачиваясь наружу тут и заворачиваясь вовнутрь там. Его левое колено — пульсирующий фокус боли — казалось, вообще не существовало. Были икра и бедро, а между ними опухоль, похожая на горку соли. Верхние части ног были сильно опухшими и, казалось, слегка выгибались наружу. Его бедра, промежность и даже таз были все еще испещрены поблекшими синяками.

Он думал, что нижние части ног были раздроблены, но, как выяснилось, это было не так. Они были РАЗМОЛОТЫ В ПОРОШОК.

Стеная и крича, он натянул обратно одеяло. Никакого скатывания с постели. Лучше лежать здесь, лучше терпеть эту боль, какая бы ужасная она ни была.

Около четырех часов второго дня Прекрасная Жажда дала о себе знать. Он ощущал сухость во рту и в горле, но теперь она начала более настойчиво проявляться. Его язык стал толстым, слишком большим. Сглатывание причиняло боль. Он начал думать о кувшине с водой, который она разбила.

Он дремал, просыпался, дремал.

Прошел день. Наступила ночь.

Он вынужден был помочиться. Он положил верхнюю простыню на пенис, надеясь создать фильтр, и помочился через него в сложенные чашкой трясущиеся руки. Он подумал о рециркулировании и выпил то, что ему удалось удержать в руках, а затем облизал мокрые ладони. Это был еще один эпизод, о котором он решил никому не рассказывать, если у него еще будет возможность рассказывать людям что-нибудь.

Он начал верить, что она умерла. Она была крайне неустойчива, а неустойчивые люди часто сами кончают с собой. Он видел ее (так живо!) подъезжающую к краю дороги в Старой Бесси, вынимающую из-под сиденья пистолет, вставляющую его в рот и выстреливающую в себя.

«Если Мизери умерла, то я не хочу жить. Прощай, жестокий мир!» — прокричала Энни через поток слез и нажала курок.

Он фыркнул, затем застонал, затем закричал. Ветер завыл вместе с ним... но этого никто не заметил.

Или несчастный случай? Разве это невозможно? О да, сэр! Он представил, как она решительно ведет машину слишком быстро, а затем едет вслепую и направляет машину прямо в кювет. Все ниже, ниже и ниже. Один удар, и машина объята пламенем. Она умирает, даже не осознав это.

Если она мертва, он умрет здесь как крыса в капкане.

Он продолжал представлять, как наступит бессознательное состояние и освободит его; но потеря сознания не наступала, вместо этого пришли Час Тридцать и Час Сорок. Теперь Король Боль и Прекрасная Жажда мчались на одной единственной лошади (Я Хочу Есть остался где-то в пыли), и он начал чувствовать себя ничем другим, как кусочком живой ткани под микроскопом или червяком на крючке — чем-то бесконечно дергающимся с единственным желанием — УМЕРЕТЬ.

XV

Когда она наконец появилась в доме, он сначала подумал, что это сон, но затем реальность или чисто животный инстинкт выживания взяли верх и он начал стонать, умолять и просить все разрушенное, все, что брало начало в глубоком роднике нереальности. Единственное, что он разглядел ясно, это то, что на ней было темно-синее платье

■ шляпа с цветком — именно в таком наряде он воображал ее на трибуне в Денвере. ✓

У нее был хороший цвет лица, а глаза искрились жизнью и энергией. Она была настолько хороша, насколько Энни Уилкс вообще могла быть таковой, и когда он пытался вспомнить эту сцену позднее, он мог представить ясно только ее пылающие щеки и шляпу с цветком.

Трезвый ум и способность ясно оценивать обстановку подсказали ему мысль: Она напоминает вдову, которую только что трахнули после десяти лет воздержания.

В ее руке был стакан с водой — высокий стакан, наполненный водой.

— Вот выпей, — сказала она и приподняла его голову так, чтобы он мог выпить, не захлебнувшись. Он почувствовал на шее все еще холодную с улицы руку. Он быстро сделал три больших глотка, поры на пересохшем языке расширились от шока и потребовали еще воды; часть воды пролилась на подбородок и на рубашку, в которой он был. Она ласково и ловко смахнула с него воду.

Он захныкал, протягивая свои трясущиеся руки к стакану.

— Нет, — сказала она. — Нет, Пол. Немного погодя, иначе тебя вырвет.

Через некоторое время она снова протянула ему стакан и позволила сделать еще два глотка.

— Лекарство, — произнес он, закашлявшись. Он обсосал свои губы и облизнул их языком, а затем обсосал язык. Он смутно помнил, как пил свою собственную мочу, какая она была горячая и соленая.

— Капсулы, больно, пожалуйста, Энни, пожалуйста, ради Бога помоги мне... так больно...

— Я знаю, но ты должен слушаться меня, — сказала она, глядя на него с твердым материнским выражением. — Я должна была покинуть тебя и подумать. Я все хорошо обдумала и надеюсь, ты тоже. Я не была вполне уверена; мои мысли часто путаются, я знаю, я согласна с этим. Вот почему я не могла вспомнить, где я была все это время, когда меня спрашивали об этом. Итак, я молилась. Есть Бог, ты знаешь, и он отвечает на молитвы. Он всегда так делает. Итак, я молилась. Я сказала: «Господи, Пол Шелдон может быть уже мертвым, когда я вернусь». Но Бог сказал: «Он не умрет. Я храню его, поэтому ты можешь направлять его».

Но Пол едва слышал ее слова, его взгляд был прикован к стакану с водой. Она дала ему выпить еще три глотка. Он фыркнул подобно лошади, рыгнул и затем закричал от коликов, пронзивших его.

Все это время она смотрела на него ласково и кротко.

— Я дам тебе твоё лекарство и облегчу твои страдания, — сказала она, — но сначала ты должен сделать одну работу. Я сейчас вернусь.

Она поднялась и направилась к двери.

— Нет! — закричал он.

Она не обратила на это никакого внимания. Он остался в постели, обернутый в боль, стараясь не стонать.

XVI

Сначала он думал, что впал в беспамятство. То, что он видел, было слишком странно, эксцентрично, чтобы быть нормальным. Энни вернулась в комнату, толкая перед собой рашпер на древесном угле.

— Энни, я ужасно страдаю, — слезы катились по его щекам.

— Я знаю, мой дорогой. — Она поцеловала его в щеку. Прикосновение ее губ было такое же, как падение пера. — Скоро.

Она ушла, а он глупо уставился на рашпер, предназначенный для использования летом на открытом воздухе внутреннего дворика; теперь он стоял в его комнате, вызывая жестокие образы идолов и жертвоприношений.

Конечно же она надумала жертвоприношение: когда она вошла в комнату, в одной руке у нее была рукопись «Скоростных машин» — единственный экземпляр, результат его двухлетней работы. В другой руке у нее была коробка спичек.

XVII

— Нет, — закричал он и затрясся. Одна мысль работала в нем, обжигая, как кислота: он мог сделать фотокопию рукописи в Боулдере менее чем за 100 долларов. Люди — Брайс, обе его жены, черт возьми, даже его мать — всегда говорили ему, что неразумно не делать хотя бы одну копию его работы и сохранить ее на случай пожара в «Бульдерадо» или его нью-йоркского городского дома, на случай урагана или наводнения или еще каких-нибудь стихийных бедствий. Он постоянно беспричинно отказывался: просто копирование, казалось, могло принести несчастье.

Ну вот, несчастье и стихийное бедствие — все здесь. Здесь была Энни Уилкз. При всей ее глупости ей, видимо, никогда не приходило в голову, что может быть еще экземпляр «Скоростных машин», и если бы он ПОСЛУШАЛСЯ, если бы он потратил эти вшивые сто долларов...

— Да, — ответила она, протягивая ему спички. Рукопись чистая, белая с титульным листом сверху лежала у нее на коленях. Ее лицо было все еще ясным и умиротворенным.

— Нет, — сказал он, отворачивая от нее свое горящее лицо.

— Да. Это грязно, непристойно. Это отступничество. Кроме того, в нем нет ничего хорошего.

— Да ты не увидишь хорошее, — завопил он, — если оно будет у тебя перед носом или даже укусит за нос!

Она нежно улыбнулась. Ее крутой нрав, очевидно, взял отпуск. Но Пол подумал, зная Энни Уилкз, что он может в любой момент вернуться:

— Я не мог долго быть без вас. Как у вас дела?

— Во-первых, — сказала она, — если это хорошее и будет у меня под носом, то не навредит мне. Иначе какое же это хорошее? Зло — может, но не добро. Во-вторых, я сразу отличаю хорошее от плохого. Ты — это хорошее, Пол. Все, что тебе нужно, это немного помощи. Ну, возьми спички.

Он затряс головой:

— Нет.

— Да.

— Нет!

— Да.

— Нет, черт возьми!

— Можешь ругаться, сколько хочешь. Я уже раньше слышала все это.

— Я не сделаю этого. — Он закрыл глаза.

Когда он открыл их, она протягивала ему картонку, на которой сверху яркими синими буквами было напечатано: НОВРИЛ. Затем ниже красными буквами: ОБРАЗЕЦ. НЕ ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВО БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА. Ниже предупреждения находились четыре капсулы. Он ринулся к ним. Она резко отдернула руку с лекарством вне его досягаемости.

— Только после того, как ты сожжешь рукопись, — сказала она. — Тогда я дам тебе капсулы — все четыре, и боль прекратится. Ты снова будешь спокойным и безмятежным, а когда ты совладаешь с собой, я поменяю тебе постель — посмотри, ты ведь намочил ее, и не очень приятно лежать в мокрой постели. Я также переодену тебя. К этому времени ты проголодаешься, и я дам тебе немного супу. Может, и гренки без масла. Но пока ты не сжиг это, Пол, я, к сожалению, ничего не могу сделать.

Его язык хотел сказать «Да! Хорошо!», но он прикусил его. Он снова отодвинулся от нее — прочь от соблазнительной, сводящей с ума картонки, от белых капсул в ромбовидных прозрачных облатках.

— Ты дьявол, — сказал он.

Он ожидал гнев в ответ, но получил снисходительный смех со скрытой грустью.

— О, да! Да! Именно так думает ребенок, когда мама входит в кухню и застаёт его играющим с чистящей жидкостью из-под раковины. Он, конечно, так не говорит, потому что у него нет твоего образования. Он только говорит: «Мам, ты плохая».

Она отбросила волосы с его горячего лба. Ее пальцы соскользнули по его щеке, по шее и затем легко с сочувствием пожали его плечо.

— Мать чувствует себя хуже, когда ее ребенок говорит, что она плохая, или если он плачет, когда у него что-то отбирают, как это делаешь сейчас ты. Но она знает, что права и выполняет свой долг. Я тоже выполняю мой.

Три быстрых глухих звука от ударов костяшками пальцев по рукописи — 190000 слов и 5 жизней, о которых очень заботился сильный и здоровый Пол Шелдон, 190000 слов и 5 жизней, которые по прошествии времени он считал более несущественными.

Пилюли. Пилюли. Он должен иметь эти проклятые пилюли. Жизни героев были во мраке, пилюли нет. ОНИ были реальными.

— Пол?

— Нет. — Он всхлипнул.

Слабый перестук капсул в их облатках... тишина... затем тасование спичек в коробке.

— Пол?

— Нет!

— Я жду, Пол.

О, почему, ради Христа, ты делаешь, эту сцену с Горацием на мосту через задницу? И кого, ради Христа, ты собираешься поразить? Ты что думаешь, это кино или ТВ-шоу и твою храбрость оценит какая-нибудь аудитория? Ты должен делать, что она хочет, или ты должен продержаться без лекарства. Если ты откажешься от лекарства, ты умрешь, и она все равно сожжет рукопись. Итак, ты собираешься лежать здесь и страдать за книгу, которая будет продана в половину меньшем количестве экземпляров, чем наименее успешная книга о Мизери, и которую Ритер Проскотт вымажет дерьмом в своей лучшей нарочито вежливой, пренебрежительной манере в этом великом литературном оракуле Ньюс-Уик? Ну давай, давай, соображай! Даже Галилей отрекся бы, если бы понял, что значит на самом деле идти напролом!

— Пол? Я жду. Я могу ждать целый день. Хотя я подозреваю, что у тебя скоро может наступить состояние комы... Я думаю, что ты теперь в предкомадном состоянии и у меня было много...

Да, дай мне спички! Дай мне реактивный двигатель! Дай мне напалмовый заряд! Я брошу тактическую ракету на нее, если ты этого хочешь, ты — старая карга! — Так говорил оппортунист, оставшийся

в живых. И все же другая часть, слабеющая теперь, близкая к коматозу, начала стенать в темноту: 190000 слов! Пять жизней! Два года работы! И какова была подоплека: правда! Что ты знаешь о проклятой правде!

Раздался скрип пружин — она поднялась.

— Хорошо! Ты очень упрямый маленький мальчик, я должна сказать. А я не могу сидеть у твоей кровати всю ночь, как бы мне это ни нравилось! Прежде всего я потратила почти час на дорогу, торопясь вернуться сюда. Я загляну через некоторое время и посмотрю, не изменил ли ты...

— Сожги ее тогда САМА! — завопил он на нее.

Она повернулась и посмотрела на него.

— Нет, — сказала она, — я не могу сделать этого, как бы я ни хотела уберечь тебя от агонии.

— Почему нет?

— Потому что, — сказала она, воспламеняясь, — ты должен сделать это по своей собственной воле.

Тогда он начал смеяться, а ее лицо потемнело в первый раз после возвращения, и она покинула комнату с рукописью под мышкой

XVIII

Когда она вернулась через час, он взял спички. Она положила титульный лист на рашпер. Он попытался зажечь спичку, но не смог, потому что либо не попадал на серную полоску, либо ронял ее из рук.

Тогда Энни взяла коробок, зажгла спичку и вложила в его руку. Он коснулся ею угла бумаги, затем бросил спичку в пепельницу и зачарованно наблюдал, как пламя съедало ее. У Энни была вилка для жаркого, и когда страница начала закручиваться, она протолкнула ее в отверстие решетки.

— О, на это потребуется вечность, — сказал он, — я не могу...

— Нет, мы быстро справимся с этим, — сказала она, — но ты должен сжечь несколько страниц, Пол, как символ твоего согласия.

Теперь она положила на рашпер первую страницу «Скоростных машин». Он вспомнил слова, написанные двадцать четыре месяца назад в нью-йоркском доме: «У меня нет колес, — сказал Тони Бонасаро, направляясь к девушке, спускающейся по лестнице, — и я неспособный ученик, но я приспособлен для быстрой езды».

О, воспоминания того дня нахлынули на него. Он вспомнил, как бродил по комнатам, переполненной книгой, более чем наполненный — беременный, и это были муки творчества. Он вспомнил, как нашел утром этого дня под диванной подушкой один из бюстгальтеров

Джоаны, оставленный там три месяца тому назад. Это еще раз показало важность уборки в доме. Он вспомнил шум нью-йоркского транспорта и слабый, монотонный звон церковного колокола, зовущий верующих к мессе.

Он вспомнил, как принимался за работу, как всегда испытывая благословенное облегчение от зачатия; это чувство напоминало падение в яму, наполненную ярким светом.

Как всегда мрачное опасение, что он не напишет так хорошо, как хотел написать.

Как всегда страх, что не сможет завершить работу, страх перед глухой стеной, встающей перед ним.

Как всегда великолепное радостное нервное чувство НАЧАЛА путешествия.

Он взглянул на Энни Уилкз и сказал отчетливо, но негромко:

— Энни, пожалуйста, но заставляй меня делать это.

Она неподвижно держала спички перед ним. Затем сказала:

— Ты волен делать, как тебе заблагорассудится.

Итак, он сжег свою рукопись.

XIX

Она заставила его сжечь первую страницу, последнюю и девять пар страниц из различных мест рукописи, потому что девять — число силы, а удвоенное девять было счастливым числом. Он видел, что она вычеркнула ругательства черным фломастером.

— Итак, — сказала она после уничтожения девятой пары страниц, — ты был хорошим мальчиком, молодчиной. И я знаю, как тебе было больно... почти так же, как ногам, и я не стану больше продлевать твои мученья.

Она отодвинула рашпер и положила оставшуюся рукопись в горшок, раздавливая хрустящие черные завитки сгоревших страниц. Комната смердела спичками и горящей бумагой,

«Пахнет, как в дьявольской уборной», — подумал он иступленно, и если бы что-нибудь было в сморщенной ореховой скорлупе, какой являлся его желудок, его бы непременно вырвало.

Она зажгла еще одну спичку и вложила в его руку. Ему как-то удалось дотянуться до горшка и бросить туда спичку. Это уже ничего не значило. Уже не имело значения.

Она слегка подталкивала его.

Утомленный, он открыл глаза.

— Она погасла, — Энни снова чиркнула спичкой и вложила ее в его руку.

Он снова подался вперед, что вызвало резкую боль в ногах, и коснулся спичкой угла листа. На этот раз пламя охватило бумагу вместо того, чтобы осесть и погаснуть на спичке.

Он откинулся назад, закрыв глаза, прислушиваясь к потрескиванию пламени и ощущая сильный обжигающий жар.

— Боже! — воскликнула она с тревогой.

Он открыл глаза и увидел, что обуглившиеся кусочки бумаги носились в разогретом воздухе.

Энни грузно поспешила из комнаты. Он услышал звук наливающейся в ведро воды. Он беспечно наблюдал, как темный кусок рукописи пролетел по комнате и коснулся газовых занавесок. Легкая вспышка — у него не было времени подумать, что может загореться комната, — мигнула разок и погасла, оставив крошечную дырочку подобно сигарете. Пепел посыпался на кровать, попал ему на руки. Но это его несколько не беспокоило.

Энни появилась снова. Ее глаза старались охватить все сразу, пытались проследить путь каждой обугленной страницы. Пламя трещало и дрожало над краями горшка.

— Боже! — произнесла она снова, держа ведро с водой и пытаясь определить, куда плеснуть ее и нужно ли ее использовать вообще. Губы ее тряслись и были все в слюнях.

Пол заметил, как она облизнула их.

— Боже! Боже!

Казалось, это было все, что она могла произнести.

Даже в тисках боли Пол почувствовал мгновение истинного удовольствия — именно так Энни Уилкс выглядела, когда была напугана. Вот это ему понравилось!

Взлетела еще одна страница; она спокойно летала с маленькими завитками голубого огня. И тут она решилась. С криком «Боже!» она осторожно вылила воду в горшок для жаркого. Раздалось чудовищное шипение и взвился султан дыма. Запах был влажный и отвратительный, пахло углем и чем-то жирным.

Когда она вышла из комнаты, Пол приподнялся на локте. Он заглянул в горшок и увидел что-то, напоминающее обугленный кусок бревна, плавающего в пруду.

Через некоторое время возвратилась Энни. Несомненно, она ухмылялась.

Она приподняла его и всунула в рот капсулы.

Он проглотил их и откинулся назад, думая: «Я убью ее».

— Кушать, — сказала она издалека, и он почувствовал жгучую боль. Он открыл глаза и увидел, что она сидит рядом с ним. Впервые он был на одном уровне с ней, глядел ей в лицо. И тут он понял со смутным легким удивлением, что сидел... да, в первый раз за целую вечность он по-настоящему сидел.

«Что за черт?» — подумал он и снова закрыл глаза. Начался прилив. Сваи были закрыты. Прилив был в разгаре, и в следующий момент он мог исчезнуть, причем навсегда. Поэтому он собирался покататься на волнах, пока еще было на чем, а о сидении он мог подумать позднее...

— Кушать! — сказала она снова, и за этим последовало возвращение боли в левой части головы, заставляя его хныкать.

— Пол, ты достаточно пришел в себя, чтобы поесть или...

зззз...! Его ушная мочка. Она щипала ее.

— О'кей, — промямлил он. — О'кей! Не оторви ее, ради Бога!

Он заставил себя открыть глаза. На каждом веке, казалось, лежало по цементному блоку. Сразу же у себя во рту он почувствовал ложку, из которой в горло выливался горячий суп.

Неожиданно ниоткуда — наиболее изумительное возвращение, какое он когда-либо наблюдал! — в поле зрения появился Я Хочу Есть. Это произошло так, как будто первая ложка супа разбудила его желудок от гипнотического транса.

Как только ложка с супом оказывалась у него во рту, он с жадностью проглатывал его и, казалось, становился все более голодным с каждым новым глотком.

Он смутно помнил, как она выкатила дымящуюся жаровню, а затем вкатила в комнату что-то, напоминающее тележку для розничной торговли. Он не почувствовал ни удивления, ни заинтересованности; в конце концов его навещала Энни Уилкз. Жаровни, тележки, а завтра может быть счетчик оплачиваемого времени стоянки автомобилей или ядерная боеголовка. Когда ты живешь в доме смеха, развлекательные аттракционы никогда не прекращаются.

Раньше он находился в тумане, но сейчас понял, что тележкой было складное кресло-каталка. Он сидел в нем, а ноги в лубке торчали впереди; его тазовая область, сильно опухшая, чувствовала себя не очень счастливо в новом положении.

«Она перетащила меня сюда, когда я отключился, — подумал он. — Подняла меня. Такую тяжесть. Боже, она должна быть очень сильной».

— Все, — сказала она. — Мне нравится, как ты справился с этим супом, Пол. Я верю, ты собираешься поправиться. Мы не скажем, что

ты станешь как новенький, — увы, нет! — но если у нас не будет больше этих... этих НЕОЖИДАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ... Я думаю, ты вполне прилично выздоровеешь. А теперь я собираюсь поменять твою ужасную старую постель, и когда мы справимся с этим, я хочу поменять белье на ТЕБЕ. Затем, если у тебя не будет слишком сильных болей и ты все еще будешь ощущать голод, я дам тебе немного гренков.

— Спасибо, Энни, — сказал он робко и подумал: «Твое горло. Если бы я мог, я дал бы тебе возможность облизнуть губы и сказать «Боже!» Но только однажды, Энни.

Только однажды».

XXI

Четыре часа спустя он снова лежал в своей постели и сжег бы ВСЕ свои книги даже за одну пилюлю НОВРИЛА. Сидение нисколько не беспокоило его, пока он сидел, — в его крови было достаточно дерьма, чтобы заставить заснуть половину Прусской Армии, — но теперь он чувствовал, как будто в нижнюю часть его тела был выпущен рой пчел.

Он очень громко вскрикнул — ПИЩА, должно быть, сделала ЧТО-ТО с ним, потому что он не помнил, чтобы кричал когда-либо так громко с тех пор, как вышел из темного облака.

Он чувствовал, как она подолгу стоит за дверью в спальню, прежде чем войти, неподвижная, отключенная, тупо уставившись на дверную ручку или, может, изучая линии на своих руках.

— Вот, — она протянула ему лекарство, — две капсулы.

Он проглотил их, держась за ее запястье, чтобы не пролить воду.

— Я привезла тебе два подарка из города, — сказала она поднимаясь.

— Да? — прокаркал он.

Она указала на кресло-каталку, которое гнездилось в углу с расставленными металлическими упорами для ног.

— Другой я покажу тебе завтра... А теперь поспи, Пол.

XXII

Но сон долгое время не приходил. Он находился под воздействием наркотика и думал о положении, в котором оказался. Теперь было немного легче. Легче думать о книге, которую он создал, а затем уничтожил.

Явления... отдельные события, подобно кускам ткани, можно соединить вместе и получить лоскутное одеяло.

Энни сказала, что соседи, которые не любили ее, жили в нескольких милях отсюда. Как их фамилия? Бойтон? Нет, Ройдман. Да, именно Ройдманы. А как далеко от города? Уверен, не слишком далеко. Он был в округе, чей диаметр мог быть по меньшей мере сорок пять. Дом Энни Уилкз был в этой округе, и дом Ройдманов, и городишко Сайдуиндер, однако ничтожно маленький...

И моя машина. Мой «Камаро» тоже в этом округе. Нашла ли его полиция?

Он думал, что нет. Он был известным человеком: если бы нашли машину с номерами, зарегистрированными на его имя, элементарная проверка показала бы, что он был в Боулдере и затем пропал без вести. Обнаружение его покалеченной и пустой машины заставило бы начать поиск, сообщения в новостях...

Но она никогда не будет смотреть новости по телевидению и никогда не будет слушать радио без наушников...

Это все немного напоминало историю с собакой Шерлока Холмса — собакой, которая не лаяла. Его машина не была найдена, потому что не приходили полицейские. Если бы она БЫЛА найдена, они бы проверили каждого в этом гипотетическом округе, не так ли? Сколько же людей могло быть в подобном округе, здесь, близко к вершине западного склона? Ройдманы, Энни Уилкз, может быть еще десять-двенадцать человек?

И то, что он не был до сих пор обнаружен, не значит, что он не БУДЕТ обнаружен.

Его живое воображение (какого не было ни у кого в семье, по мнению его матери) теперь приступило к работе. Полицейский был высоким и по-своему симпатичным человеком с бачками, вероятно, немного длиннее, чем позволяет устав. Он носил темные солнцезащитные очки, в которых допрашиваемый мог видеть свое собственное отражение. Он гнусавил, как все жители Среднего Запада.

— Мы обнаружили перевернутую машину на полпути к горе Хамбагги, принадлежащую знаменитому писателю Полу Шелдону. На сидениях и бардачке несколько капель крови, но его самого нигде нет. Он мог уползти, мог даже заблудиться в тумане...

Они могли только предполагать, что, если его нет в машине, то, значит, он был достаточно сильным, чтобы проделать по крайней мере небольшой путь. Направление их рассуждений не способно привести к такому невероятному предположению, как похищение.

— Вы кого-нибудь видели на дороге в день урагана? Высокого мужчину сорока двух лет с рыжеватыми волосами? Вероятно в голубых джинсах и клетчатой фланелевой рубашке, в парке? Мог быть забинтованным? Черт, мог даже не знать, кто он?

Энни обязательно предложит полицейскому кофе на кухне; она будет предусмотрительной и закроет все двери между кухней и свободной комнатой. На случай, если он застанет.

— Нет, офицер, я не видела ни души. Я действительно поехала домой из города так быстро, как могла, когда Тони Робертс сказал мне, что страшный ураган вовсе не повернул на юг.

Полицейский, ставя чашку и поднимаясь:

— Ладно, если вы увидите кого-нибудь, соответствующего нашему описанию, мадам, я надеюсь, вы сразу же свяжетесь с нами. Он знаменитая личность. Публиковался в журнале «Люди». А также в некоторых других.

— Я обязательно сообщу, офицер!

И он удалится.

Может что-либо подобное УЖЕ случилось, и он только не знал об этом. Может быть реальный двойник его воображаемого полицейского посещал Энни, когда он отключился под наркотиком. Бог свидетель, он отсутствовал значительное время. Следующая мысль убедила его в невозможности этого. Он НЕ БЫЛ Джо Блоу из Кокомо. Он работал в журнале «Пипл» (первый бестселлер) и «Ви» (первый разрыв); о нем писали однажды в «Параде известностей» Уолтера Скотта. Должны быть повторные проверки, может, по телефону, вероятны новые посещения полицейских... Когда исчезает знаменитость, даже полузнаменитый писатель, поднимается шум.

О тебе только догадываются, парень.

Может быть, догадываются, может вычисляют. В любом случае это лучше, чем просто валяться здесь, ничего не делая.

А что насчет поручней?

Он попытался вспомнить, но не смог. Он помнил только, как потянулся за сигаретами, затем удивительным образом земля и небо поменялись местами и все потемнело. И опять-таки дедукция (или развитые догадки) облегчила понимание того, что их не было. Снесенные перила и разорванные провода должны были поднять по тревоге дорожников.

Что же произошло на самом деле?

Он потерял управление в том месте, где не было крутого спуска, только уклон, позволяющий машине двигаться рывками. Если бы спуск был круче, были бы перила. Если бы уклон был круче, Энни Уилкс было бы трудно или даже невозможно добраться до него и затем вытащить одной на дорогу.

Итак, где его машина? Засыпана снегом, конечно.

Пол положил руку на глаза и представил снегоочиститель, поднимающийся по дороге, где он разбился два часа назад. Снегоочисти-

тель — неясное оранжевое пятно в движущемся снегу в конце этого дня. Водитель закутан по самые глаза, на голове у него старомодная шапочка проводника из бело-голубого тика. Справа, в середине неглубокого склона, который вскоре переходит в более типичное для высокогорья ущелье, лежит «Камаро» Пола Шелдона со стертой голубой наклейкой на заднем бампере. Водитель снегоочистителя не замечает машину, бампер слишком потерт и не блестит, чтобы привлечь внимание. Крыло снегоочистителя закрывает большую часть обзора, кроме того, стало почти темно и водитель очень устал и уже собрался уносить ноги. Он хочет поскорее завершить последнюю езду с тем, чтобы поставить машину на отдых и самому вкусить чашку горячего кофе.

Он проезжает мимо, снегоочиститель сбрасывает облако снега в лошину. «Камаро», уже засыпанный по окна, теперь погребен до крыши. Позднее, в глубоких сумерках, когда находящиеся в непосредственной близости предметы кажутся нереальными, водитель второй смены проезжает мимо в обратном направлении и полностью засыпает машину.

Пол открыл глаза и посмотрел на оштукатуренный потолок. Его покрывала мелкая сеть трещин, которые, соединяясь, образовывали букву W. Он очень хорошо изучил их за бесконечные дни, проведенные здесь после выхода из облака. Теперь он снова прослеживал их, лениво думая о словах на букву W, таких, как злобный, гнусный, ведьма и т.д.

Да. Могло быть так. Могло.

Думала ли она о том, что будет, когда обнаружится машина? Она ДОЛЖНА была. Она была крепкий орешек, но не глупый.

И все же ей никогда не приходило в голову, что у него могла быть копия «Скоростных машин».

Да. И она была права. Сука была права. Я не сделал копии.

Он представил плавающие в воздухе остатки почерневших страниц, пламя, звуки, запах горящей бумаги — и заскрежетал зубами, сиюсья оградить себя от этих воспоминаний: не всегда ПОЛЕЗНО очень живо воскрешать прошлое.

Нет, ты неправ: девять из десяти писателей сделали бы это — по крайней мере они сделали бы, если бы им нужно было заплатить столько, сколько тебе, даже за книги не о Мизери. Она никогда не думала об этом.

Она не писатель.

Она также не дура, как я думаю. Она наполнена собой — у нее не просто большое, а ГРАНДИОЗНОЕ эго. Уничтожение рукописи казалось ей правильным делом, и мысль, что выполнению ее правильного замысла может помешать что-то такое пустячное, как ксерокс

или несколько долларов... такой сигнал никогда не появлялся у нее на экране, мой друг.

Его другие дедукции напоминали дома, построенные на зыбучих песках, но он представлял Энни Уилкз такой же твердой, как скала Гибралтара. Благодаря исследованиям, проведенным для «Мизери», он обладал большими знаниями в области невроза и психоза, чем обычный непрофессионал. Он знал, что пограничное состояние психоза может принимать разные формы, начиная от глубокой депрессии и кончая бурной, почти агрессивной веселостью. Но подо всем этим лежит раздутье и зараженное это; несомненно, что все глаза устремлены на него или нее; несомненно, что он или она является звездой в великой драме, развязку которой, затаив дыхание, ожидают бессчетные миллионы.

Подобное это препятствует или просто не дает возможности зародиться определенным мыслям. Такие мысли прогнозируемы, потому что все всегда направлено в одном и том же направлении: от нестабильной личности к объектам, ситуациям или другим личностям за пределами контроля субъекта (или фантазии: для неврастеников может существовать какая-то разница, но для психопатов они являются одними и теми же).

Энни Уилкз хотела уничтожить «Скоростные машины», поэтому ей не приходила в голову мысль о другой копии.

Может, мне удалось бы спасти рукопись, если бы я сказал, что их две. Она бы поняла, что уничтожение рукописи бессмысленно. Она...

У него неожиданно перехватило дыхание в горле и расширились глаза.

Да, она бы поняла всю бесполезность уничтожения. Она вынуждена была бы признать одну из тех мыслей, которая ведет за пределы ее контроля. Это было бы ущемлено, пронзительно вопя:

У меня такой характер!

Если бы она предстала перед фактом невозможности уничтожения его «грязной книги», не пришло бы ей в голову уничтожить самого СОЗДАТЕЛЯ этой книги? Копии Пола Шелдона ведь не существовало.

Его сердце учащенно забилося. В другой комнате начали бить часы, а наверху над головой он услышал звук ее шагов. Слабый звук мочеиспускания. Внезапный шум спускаемой воды в туалете. Тяжелая поступь ее ног на обратном пути в спальню. Скрип пружин.

Ты не будешь снова сводить меня с ума, не так ли?

Его мысли-неожиданно перешли в галоп, рысистая лошадь пыталась бежать крупным шагом. А что весь этот неясный психоанализ означает в терминах его машины? Когда она была обнаружена? Что это значило для НЕГО?

«Подождите минутку, — прошептал он в темноту. — Подождите минутку, подождите, не кладите трубку. Сбавьте скорость».

Он снова положил руки на глаза и снова вызвал в памяти образ полицейского в темных очках со слишком длинными бачками. «Мы нашли перевернутую машину на полпути к горе Хамбагги», — говорил полицейский.

Только на этот раз Энни не предлагает ему кофе. На этот раз она не чувствует себя в безопасности, пока он не покинет ее дом и не будет далеко на дороге. Даже в кухне, даже за двумя закрытыми дверями между ними и гостиной, даже когда гость напичкан по уши наркотиком полицейский мог слышать его стон.

Если машина будет найдена, Энни Уилкз поймет, что попала в беду, не правда ли?

«Да», — прошептал Пол. Его ноги опять начинали болеть, но он едва заметил это в пробуждающемся ужасе осознания всего этого.

У нее будут большие неприятности не потому, что она забрала его к себе в дом, особенно если он был ближе, чем Сайдуиндер (в этом Пол не сомневался); за это они, вероятно, наградили бы ее медалью и сделали бы пожизненным членом клуба поклонников Мизери Честейн (к великому огорчению Пола такой клуб существовал).

Проблема ЗАКЛЮЧАЛАСЬ в том, что она забрала его в дом и никому не сказала об этом. Не вызвала местную медицинскую помощь: «Говорит Энни... на дороге к Хамбагги я подобрала человека, слегка напоминающего Кинг Конга... Проблема ЗАКЛЮЧАЛАСЬ в том, что она напичкала его наркотиками, доступ к которым не должна иметь. Проблема БЫЛА в том, что она диким способом лечила его, вкалывала ему в руки иглы для внутривенного вливания, накладывала шину на ноги из кусков распиленных алюминиевых костылей. Проблема ЗАКЛЮЧАЛАСЬ в том, что Энни Уилкз была на трибуне в Денвере... и не в качестве свидетеля, — подумал Пол. — Держу пари на дом и участок.

Итак, она следит, как полицейский спускается по дороге к своему аккумулятору, чистенькому «Крайслеру» (чистый за исключением спрессовавшихся глыб снега и соли на колесах и под бамперами), и она снова чувствует себя в безопасности... но не СЛИШКОМ безопасно, потому что теперь она как зверь держит нос по ветру.

Полицейские будут искать, искать и искать, потому что он не просто хороший Джо Блоу из Кокомо, он — Пол Шелдон, литературный Зевс, из чела которого возникла Мизери Честейн, любимица лавочек и больших магазинов. Может, когда они не найдут его, они перестанут искать или по крайней мере будут искать где-нибудь еще. Но, может быть, один из Ройдманов видел, как она возвращалась домой тем

вечером, и заметил что-то странное сзади на сиденьи старой машины, что-то обернутое в одеяло, что-то едва напоминающее человека. Даже если они не видели предмет, то она не упустит случая придумать для Ройдманов историю, как она попала в беду; они не любили ее.

Полицейские могут вернуться, и в следующий раз ее гость может быть не столь спокойным. Он вспомнил, как ее глаза бесцельно метали молнии вокруг, когда огонь в жаровне был на грани выхода из-под контроля. Он мог видеть ее язык, облизывающий губы. Он мог видеть, как она шагала взад и вперед по комнате, сжимая и разжимая руки, то и дело заглядывала в гостиную, где лежал он, потерянный в тумане. Время от времени она бросала «Боже!» в пустые комнаты.

Она украдала редкую птицу с прекрасным оперением — редкую птицу родом из Африки!

И что бы они делали, если бы выяснили все?

Ну, конечно, поставили бы ее снова на трибуну. Поставили бы ее на трибуну в Денвере. И в это время она не должна быть свободной.

Он убрал руку с глаз. Затем посмотрел на сцепляющиеся в W линии, пьяно раскачивающиеся на потолке. Ему не нужен был локоть на глазах, чтобы предвидеть остальное. Она могла не отпускать его день или неделю. Но затем неожиданный визит или телефонный звонок могли заставить ее избавиться от редкостного человека. И в конце концов она сделает это точно так же, как дикие собаки начинают закапывать свою добычу после того, как немного поохотились за ней.

Она даст ему пять пилюль вместо двух или, может быть, задушит его подушкой; возможно, она просто пристрелит его. Конечно же у нее есть ружье — почти все жители высокогорья имеют ружья, — и это решит проблему.

Нет, не огнестрельное оружие.

Слишком грязно. Могут остаться улики.

Ничего подобного еще не случилось, потому что никто не нашел его машину. Они могли искать его в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но никому не пришлось в голову искать его в Сайдуиндере, Колорадо.

Но весной...

W линии беспорядочно раскинулись по потолку. Смытые. Стертые. Разрушенные.

Пульсация в ногах стала более настойчивой; после следующего удара часов она войдет в комнату, и он почти испугался, что она прочтет его мысли на лице, подобно явной предпосылке истории, которую слишком страшно писать. Он покосился налево. На стене висел календарь. На нем был изображен мальчик, съезжающий на санях с горы. На календаре был февраль, но если его расчеты верны, было уже начало марта. Просто Энни забыла перевернуть листок.

Сколько еще времени пройдет, прежде чем тающий снег обнажит его «Камаро» с нью-йоркскими номерами и его регистрационным номером в перчаточном ящике, по которому можно определить, что хозяином машины является Пол Шелдон? Сколько времени пройдет, прежде чем полицейский зайдет к ней или пока она не прочтет об этом в газете? Как долго до весеннего таяния снегов?

Шесть недель? Пять?

«Столько может быть я проживу», — подумал Пол и начал содрогаться. Но к этому времени его ноги полностью проснулись, и он не мог заснуть, пока она не вошла в комнату и не дала ему еще одну дозу лекарств.

XXIII

На следующий вечер она принесла ему пишущую машинку «Ройал». Это была модель, предназначенная для офисов, выпущенная, наверное, в то время, когда электрические машинки, цветные телевизоры и кнопочные телефоны относились к области научной фантастики. Она была такая черная и такая правильная, как пара ботинок на высокой шнуровке. По бокам были вставлены стеклянные панели, через которые виднелись рычаги, пружины, храповики и прутики. Металлический рычаг возврата каретки, неповоротливый от редкого употребления, крепился (с одной стороны) как большой палец в жесте остановки попутных машин. Валик был пыльным, а его твердая резина обезображена рубцами, которые оставляли следы на бумаге. Надпись «Ройал» полукругом располагалась на передней панели. Бормоча что-то под нос, она поставила машинку на кровать между его ног, предварительно приподняв ее так, чтобы он мог ее рассмотреть.

Он уставился на нее.

Она ухмылялась?

Боже, так оно и было!

Во всяком случае она выглядела, как несчастье. Потертая лента была двухцветной: красной и черной. Он уже успел забыть, что когда-то были такие ленты. Вид машинки не вызвал у него чувства ностальгии.

— Ну? — Она нетерпеливо улыбнулась. — Что ты думаешь?

— Замечательно, — сказал он сразу, — настоящий антик.

Улыбка ее завяла. Она помрачнела.

— Я купила ее не как антик. Я купила ее как подержанную вещь. Вещь бывшую в употреблении, но все еще в хорошем состоянии.

Он бойко ответил.

— Хей! Это не то, что антикварная машинка. Нет, если приглядеться поближе. Хорошая машинка почти вечна. Эти старые дети офисов — настоящие танки!

Если бы он мог дотянуться, он погладил бы ее. Если бы он мог дотянуться, он поцеловал бы ее.

Улыбка вернулась на ее лицо. Его сердце стало биться немного спокойнее.

— Я приобрела ее в «Старых Новшествах». Не глупое название для магазина? Но Нанси Дартмонгер, хозяйка магазина, самая глупая женщина на свете.

Энни помрачнела немного, но он сразу же увидел, что она хмурится не на него — инстинкт выживания, который он в себе обнаружил, мог оставаться всего лишь инстинктом, но он выработал поистине изумительные способы сопереживания. Он почувствовал, что подстраивается под ее настроения, ее циклы, он слышал биение ее сердца, подобное неровному стуку неисправных часов.

— Она не только глупа, но и распутна. Дартмонгер! Распутница! Дважды разведена, а сейчас живет с барменом. Вот почему, когда ты сказал антик...

— Но она выглядит прекрасно, — сказал он.

Она помолчала немного, а затем произнесла, как бы признаваясь:

— В ней нет буквы «н».

— Неужели?

— Да, — вот видишь?

Она приподняла машинку так, чтобы он мог рассмотреть клавиатуру и увидеть в ней брешь, подобно недостающему коренному зубу во рту, где все зубы искрошены, но все же на месте.

— Я вижу.

Она поставила машинку на место. Кровать слегка закачалась. Пол подумал, что машинка должна весить не менее 50 фунтов. Она пришла из того времени, когда не было ни сплавов, ни пластика... ни шести-значного опережения, ни кино с навязываемыми в принудительном порядке изданиями, ни «США сегодня», ни «Вечерних развлечений», ни знаменитостей, рекламирующих кредитные карточки или водку.

«Ройал» ухмыльнулась ему, обещая беду.

— Она просила сорок пять долларов, но продала мне на пять дешевле! Из-за нехватки «н». — Она хитро улыбнулась. — Я не дура.

Он вернул ей улыбку. Начался прилив. Улыбаться и лгать становилось легче.

— Отдала машинку тебе? Ты имеешь в виду, что не заключила сделку?

Энни возгордилась собой.

— Я сказала ей, что «н» важная буква, — призналась она.

— Bravo! Черт!

Это было новое открытие. Лыстить становилось легко, когда вы «раскусите» человека.

Она застенчиво заулыбалась, как бы приглашая поделиться с ним деликатным секретом.

— Я сказала ей, что «н» была одной из букв в фамилии моего любимого писателя.

— В фамилии моей любимой НЯНЬКИ-сиделки ДВЕ такие буквы.

Ее улыбка засветилась. Нёсомненно на ее твердых щеках вспыхнул румянец. «Вот именно так будет выглядеть идол из романов Г. Райдера Хаггарда, — подумал он, — если встроить печь в рот одного из них. Так он будет выглядеть ночью».

— Ты дурачок! — она жеманно и глупо ухмылялась.

— Я нет! — сказал он. — Совсем нет.

— Ладно.

Она на минуту отвела взор — не пустой, а довольный, немного взволнованный, пользуясь моментом собраться с мыслями. Пол мог бы получить некоторое удовольствие от того, как развивался их разговор, если бы не тяжесть машинки, такой же твердой, как женщина, да к тому же еще поломанной; она лежала на кровати, ухмыляясь и обещая беду.

— Кресло-каталка обошлась значительно дороже, — сказала она. — «Остони» снабженцы просто пропали из виду с тех пор как я...

Она оборвала фразу, нахмурилась, откашлялась. Затем снова с улыбкой посмотрела на него.

— Но тебе ПОРА было начинать садиться, и я ни чуточки не жалела денег. И, конечно же, ты не можешь печатать лежа, не так ли?

— Нет...

— Я достала доску... обрезала ее по размеру... и бумагу... Подожди!

Она стремительно, как девочка, бросилась из комнаты, оставляя Пола и машинку внимательно рассматривать друг друга. Его ухмылка моментально слетела с лица, как только она повернулась спиной. «Ройал» никогда не менялась. Позднее он предположил, что очень хорошо знал о ней все: он знал, например, как она будет звучать, как она будет стрекотать, ухмыляясь, подобно старому Даки Дэддлз на страничке юмора в журнале.

Она вернулась с пачкой бумаги в помятой обертке и доской три на четыре фута.

— Посмотри!

Она положила доску на ручки кресла, стоящего у кровати, подобно напыщенному скелетообразному посетителю. Он увидел свой собственный призрак, плененный за этой доской.

Она поставила машинку на доску клавиатурой к призраку и положила рядом пачку бумаги «Коррасабл Бонд» — бумаги, которую он больше всего ненавидел, потому что напечатанное стиралось при перетасовке страниц.

— Ну, что ты скажешь?

— Выглядит хорошо, — самозабвенно произнесла самую большую ложь в его жизни, он затем задал ей вопрос, на который заранее знал ответ.

— И что же, ты думаешь, я должен писать здесь?

— О, Пол! — сказала она, обращая на него оживленный взор. Лицо ее пылало. — Я не думаю. Я знаю! Ты напишешь на этой машинке новый роман! Твой лучший роман! «Возвращение Мизери»!

XXIV

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИЗЕРИ. Он ничего не почувствовал. Он представил, что подобное ничего мог ощущать человек, только что отрезавший себе электрической пилой руки и с тупым изумлением взиравший на свои кровоточащие запястья.

— Да!

Ее лицо засветилось как прожектор, а сильные руки сцепились между грудями.

— Это будет книга для меня, Пол! Плата за то, что я выходила тебя... вернула здоровье! Одна и единственная копия последней книги «Мизери»! У меня будет то, чего нет больше ни у кого на свете, как бы они того ни желали! Подумай об этом!

— Энни, Мизери умерла.

Но невероятно! Он уже думал: «Я мог бы вернуть ее». Эта мысль переполнила его с внезапным резким намерением, но не вызвала удивления. В конце концов почему бы человеку, который мог пить из грязного ведра, не попробовать писать под наставления?

— Нет, она не умерла, — задумчиво ответила Энни. — Даже, когда я была в бешенстве на тебя, я знала, что Мизери не умерла. Я знала, ты не мог по-настоящему убить ее. Потому что ты ХОРОШИЙ.

— Я? — сказал он и посмотрел на машинку. Та ухмыльнулась ему. Мы сначала попробуем выяснить, насколько хорош ты, старая подлиза, — прошептала она.

— Да!

— Энни, я не знаю, смогу ли я сидеть в этом кресле. Прошлый раз...

— Прошлый раз тебе было больно. И больно будет в следующий раз. Может быть, немного даже сильнее. Но придет день — и это будет скоро, хотя тебе может показаться дольше, чем на самом деле, — когда болеть будет немного меньше. И еще меньше. Затем еще меньше.

— Энни, скажи мне одну вещь!

— Конечно, дорогой!

— Если я напишу этот рассказ для тебя...

— Роман! Большой прекрасный роман, как и все другие, — может быть, даже больше!

Он на минуту закрыл глаза, затем открыл их.

— О'кей. Если я напишу этот роман для тебя, ты отпустишь меня?

На какое-то время облачко беспокойства проскользнуло по ее лицу, однако затем она посмотрела на него осторожно, изучающе.

— Ты говоришь так, как будто я держу тебя в заключении, Пол.

Он ничего не ответил, только взглянул на нее.

— Я думаю, к тому времени, когда ты закончишь книгу, ты сможешь... ты снова будешь склонен к встрече с людьми, — сказала она. — Ты это хотел услышать?

— Да, именно это я и хотел услышать.

— Ладно, честно! Считается, что писатели большие эгоисты, но я полагаю, это не означает также, что они неблагодарны.

Он продолжал смотреть на нее, и через минуту она отвернулась раздраженная и немного разочарованная.

Наконец он произнес:

— Мне нужны все книги «Мизери», если они у тебя есть, потому что у меня нет моего указателя.

— Конечно они у меня есть, — быстро ответила она. Затем: — Что за указатель?

— Это блокнот с отрывными листами, где я храню весь мой материал для Мизери, — сказал он. — Главным образом характеры и местоописания, но помеченные двумя или тремя различными способами. Время, род занятий, область интересов. Исторические образы...

Он увидел, что она едва слушает. Это был второй раз, когда она не проявила ни малейшего интереса к профессиональному трюку, который помогает писателю создавать неповторимые, увлекательные произведения. Он считал, что причиной этого являлась простота. Энни Уидкз была великолепным представителем читательской массы, женщиной, которая любила рассказы, не имея ни малейшего интереса к механизму их создания. Она была олицетворением Викторианского

архитипа, Постоянного Читателя. Она не желала слышать о его указателе и индексации, потому что для нее Мизери и окружающие ее персонажи были реальными людьми. Индексация ничего для нее не значила. Если бы он заговорил о переписи населения в деревне, она проявила бы больший интерес.

— Я прослежу, чтобы у тебя были книги. Они немного помяты, в них загнуты уголки, но это значит, что книгу много раз читали и любят, не правда ли?

— Да, — сказал он. На этот раз не было необходимости лгать. — Да, это так.

— Я собираюсь изучить переплетное дело, — сказала она мечтательно. — Я хочу сама переплести «Возвращение Мизери». За исключением Библии моей матери, это будет единственная НАСТОЯЩАЯ книга, которой я буду обладать.

— Это здорово, — произнес он только для того, чтобы сказать что-нибудь. Он чувствовал небольшую боль в желудке.

— Я сейчас пойду, а ты можешь немного подумать, — сказала она. — Это очень волнительно! Ты так не думаешь?

— Да, Энни. Это так.

— Я вернусь через полчаса с цыплячьей грудкой и картофельным пюре. Принесу даже немного желе, потому что ты был молодчиной. И я уверена, ты получишь свое болеутоляющее точно вовремя. Ты даже можешь рассчитывать на дополнительную пилюлю вечером, если тебе потребуется. Я хочу, чтобы ты заснул, потому что тебе придется завтра приступить к работе. Ты быстрее поправишься, когда будешь работать. Клянусь!

Она направилась к двери, задержалась у нее немного и затем послала ему гротескный поцелуй.

Дверь за ней закрылась. Ему не хотелось смотреть на машинку, и он некоторое время сопротивлялся, но наконец его глаза беспомощно обратились к ней. Она стояла на бюро, ухмыляясь. Глядеть на нее было все равно, что глядеть на орудие пытки — сапог, дыбу, которые бездействовали, но только временно.

Я думаю, что к тому времени, как ты кончишь книгу, ты будешь... склонен к встрече с людьми.

Ах, Энни, ты лгала нам обоим. Я понял это и ты тоже. Я увидел это в твоих глазах.

Открывающаяся теперь перед ним ограниченная перспектива на будущее была чрезвычайно неприятной: шесть недель, которые он должен провести, страдая от сломанных костей и возобновления знакомства с Мизери Честейн, урожденной Кармичил, за которыми последует ужасное погребение на заднем дворе. Или, возможно, она

скормит его останки свинье по имени Мизери — ЭТО будет расправа самая черная и страшная, какая только может быть.

Тогда не пиши. Заставь ее беситься. Она подобна ходячей бутылке с глицерином. Взорви ее. Заставь ее взорваться. Лучше, чем лежать здесь, страдая.

Он попытался отыскать на потолке переплетение W, но очень скоро снова устался на машинку. Она стояла наверху бюро безмолвная и тяжеленная, полная слов, которые он не хотел писать, ухмыляясь ртом без одного недостающего зуба.

Я думаю, ты не согласишься этому, старая дрянь. Я думаю, ты хочешь остаться в живых, даже если это больно. Если это значит возвращение Мизери на бис, ты сделаешь это. Во всяком случае ты постарайся, но сначала ты собираешься заключить сделку со мной... а я не думаю, что мне нравится твое лицо.

— Это делает нас честными, — прокаркал он.

В это время он пытался выглянуть в окно, за которым падал свежий снег. Однако вскоре он снова смотрел на машинку явно очарованно; он даже не заметил, когда перевел свой взгляд.

XXV

Переход в кресло не был столь болезненным, как он опасался, и это было хорошо, потому что предыдущий эксперимент показал, что впредь будет ОЧЕНЬ больно.

Она поставила на бюро поднос с едой, затем подкатила кресло к кровати. Помогла ему сесть — последовала вспышка тупой боли в тазобедренной области, но вскоре утихла. Затем она нагнулась, ее шея, прижимающаяся к его плечу, напоминала шею лошади. Он, например, мог чувствовать биение ее пульса, и его лицо искривилось от отвращения. Затем ее правая рука крепко обхватила его спину, а левая — ягодицы.

— Постарайся не шевелить ногами, пока я делаю это, — сказала она и затем плавно опустила его в кресло. Она проделала это с такой легкостью, как будто поставила книгу в пустую щель в книжном шкафу. Да, она была сильна. Даже в хорошей форме исход борьбы между ним и Энни был бы сомнительным. А с таким, каким он был теперь, это напомнило бы борьбу Уолли Кокса с Бум Бум Манчини.

Она поставила перед ним доску.

— Посмотри, как хорошо подходит? — сказала она и направилась к бюро за едой.

— Энни?

— Да.

— Не могла бы ты отвернуть эту машинку к стене?

Потому что я не хочу, чтобы она ухмылялась мне всю ночь.

— Старое суеверие, — сказал он. — Я всегда поворачиваю машинку к стене, прежде чем начну писать. — Он помедлил и добавил: — Точнее, каждую ночь, пока я пишу.

— Я никогда не рискую, если могу избежать этого, — сказала она и отвернула машинку; теперь та ухмылялась голой стене.

— Лучше?

— Значительно.

— Господи, какой ты глупый, — вздохнула она, подошла к нему и начала кормить.

XXVI

Он видел сон, как Энни Уилкз при дворе сказочного арабского халифа занимается магией, вызывает бесов и джиннов из бутылок, а затем облетает на ковре-самолете вокруг двора. Когда ковер пролетал мимо него (ее волосы развевались, а глаза были такие блестящие и суровые, как у капитана, проводящего судно среди айсбергов), он увидел, что последний был соткан из зеленых и белых нитей и имел лицензионную этикетку Колорадо.

— Однажды, — кричала Энни. — Однажды случилось.

Это случилось тогда, когда мой прапрадедущка был мальчиком. Это рассказ о том, как бедный мальчик... Я слышала его от человека, который... Однажды. Однажды.

XXVII

Он проснулся от того, что Энни Уилкз трясла его за плечо, а яркое солнце посылало косые утренние лучи в окно — снегопад кончился.

— Просыпайся, соня!

Энни почти вибрировала звук «р».

— У меня есть для тебя йогурт и вареное яйцо. Тебе пора приступить к работе.

Он взглянул ей в лицо и почувствовал нечто странное — надежду. Он видел во сне Энни Уилкз как Шехерезаду, ее крепкое тело было окутано прозрачными одеждами, на больших ногах красовались розовые расшитые блестками туфли без птоков с загнутыми вверх носами. Она носилась на ковре-самолете и произносила заклинания, открывающие двери. Но, конечно, это была не Энни, это была Шехерезада. Это был ОН. И если написанное им было достаточно хорошо, она не могла убить его до тех пор, пока не узнает, чем все кончилось,

независимо от того, насколько сильно животные инстинкты заставляли ее сделать это, потому что она ДОЛЖНА сделать это...

Неужели у него не было шанса?

Он посмотрел мимо нее и увидел, что она снова развернула машинку перед тем, как разбудить его; машинка ослепительно ухмылялась ему своей беззубой улыбкой, как бы говоря, что есть надежда и стоит приложить усилия, но в конце концов от своей судьбы не уйдешь.

XXVIII

Она подкатила его к окну так, что лучи солнца впервые попали на него, и казалось он почувствовал, как его болезненная белая кожа, усеянная тут и там крохотными пролежнями, тихо шепчет от удовольствия свою признательность. Оконные стекла с внутренней стороны были обрамлены морозными узорами, и когда он протянул руку, то ощутил холод вокруг окна. Это чувство, с одной стороны, освежало, а с другой, вызывало ностальгию, как письмо от старого друга.

Впервые за эти недели — а казалось, что прошли годы — он смог посмотреть на другую географию, нежели в его комнате с неизменными голубыми обоями, картиной «Триумфальная арка» и календарем с длинным, длинным месяцем февраль, символизируемым катающимся на санках мальчиком (он подумал, что каждый раз с наступлением февраля он будет вспоминать лицо мальчика и эластичную шапочку, даже если ему предстоит быть свидетелем смены месяцев еще 50 раз). Он смотрел на этот новый мир с таким волнением, с каким смотрел в детстве свой первый фильм «Бэмби».

Горизонт был рядом в Скалистых горах, где великолепные виды неизбежно обрзались выступающими вверх горными породами. Утреннее небо было совершенно голубым и безоблачным. Ковер зеленого леса взбирался вверх по склону ближайшей горы. Однако между домом и краем леса виднелись примерно 70 акров открытой земли под абсолютно белым, ярко сверкающим на солнце снежным покрывалом. Невозможно было сказать, какая под ним земля: пашня или луг. Весь этот прекрасный открытый пейзаж нарушался только одним зданием: аккуратным красным сараем. Когда она говорила о своей скотине или когда он видел, как она устало тащилась мимо его окон, отбрасывая следы дыхания на свое непроницаемое лицо, он представлял себе ветхую постройку, как на иллюстрации к детской книге о привидениях — погнутые за многие годы под тяжестью снега стропила, непроницаемые грязные окна, местами разбитые и заделанные листами картона, большие двойные двери. Это аккуратное, чистенькое

строение, покрашенное в темно-красный цвет с кремовой отделкой, выглядело как пятиместный гараж в богатом поместье, замаскированный под сарай. Перед ним стоял джип «Чероки» — старенький, но хорошо ухоженный. Сбоку плуг Фишера с самодельной деревянной рамой. Чтобы подцепить плуг к джипу, ей нужно было только осторожно подогнать машину к раме так, чтобы крюки на раме точно подошли к зажиму на плуге и опустить замок на панели. Великолепное приспособление для одинокой женщины, которая не имеет рядом никого, кто бы мог помочь ей (за исключением «тех грязных тварей» Ройдманов, у которых Энни, конечно, не взяла бы и тарелки свиных котлет, если бы даже умирала с голоду). Подъездная аллея была аккуратно перепажана подтверждая, что плугом действительно пользовались, но он не мог найти дорогу — дом был полностью отрезан от остального мира.

— Я вижу ты восхищаешься моим сараем, Пол.

Он изумленно осмотрелся вокруг. Быстрое и нерассчитанное движение пробудило боль ото сна. Она тупо перебралась туда, где что-то осталось от его голеней, в соляной купол, который заменил его левое колено. Она перевернулась, пронзая иглой в том месте, где была заточена, и затем снова уснула.

Энни держала еду на подносе: нежную пищу, пищу инвалида... но его желудок заурчал при виде ее. Когда она направилась к нему, Пол увидел белые туфли на каучуковой подошве у нее на ногах.

— Да, — сказал он. — Он очень красивый.

Она положила доску на ручки кресла и затем поставила на нее поднос. Она подтащила стул и села на него, наблюдая, как он начал есть.

— Фидл-ди-фуф! Моя мама всегда говорила: вещь будет такой красивой, какой ее сделают. Я соержу его таким красивым, потому что в противном случае соседи бы забрежали. Они всегда ищут повод придратсья ко мне или распустить слухи обо мне. Поэтому я все держу в порядке. Это очень и очень важно — поддерживать внешний вид. Что касается сарая, то для этого не требуется особого труда, пока ты не запускаешь его. Самое главное, не позволить снегу разрушать крышу.

«Фидл-ди-фуф! — подумал он. — Сохрани это выражение в памяти для описания лексикона Энни Уилкз, если у тебя когда-нибудь будет возможность записать твои воспоминания. Вместе с «грязной тварью» и многими другими, я уверен — они пригодятся в свое время».

— Два года назад я попросила Билли Хавершама положить специальные нагревательные ленты на крышу. Вы нажимаете выключатель и они становятся горячими, а лед тает. ЭТОЙ зимой мне не пришлось ими долго пользоваться — посмотри, как снег тает сам!

В этот момент он подносил ко рту яйцо на вилке. Яйцо замерло на полпути, так как он отвернулся к сараю. Вдоль карниза виднелся ряд сосулек. С кончиков сосулек капала вода. Капель была частой. Каждая капля искрилась, когда попадала в узкий ледяной канал у фундамента сарая.

— Почти 45 градусов, а еще нет и девяти часов! — весело продолжала Энни, а Пол вдруг представил задний бампер «Камаро», всплывающий на поверхность тающего под солнцем снега, чтобы передать сообщение световыми сигналами.

— Конечно, это ненадолго. Будут еще резкие похолодания, а может быть, и сильный ураган, но весна идет, Пол. И как обычно говорила моя мама, надежда на весну — как надежда на небеса.

Он опустил вилку с яйцом обратно на тарелку.

— Не хочешь последний кусочек? Наелся?

— Наелся, — согласился он и в уме представил Ройдманов, выезжающих из Сайдуиндера, увидел яркую стрелу света, ударившую в лицо миссис Ройдман и заставившую ее вздрогнуть и поднять к глазам руку. «А что там внизу, Хэм?.. Не говори, что я сошла с ума, там что-то есть! Отражение чего-то чуть не ослепило меня! Подай назад, я хочу взглянуть еще раз!»

— Ну тогда я уберу поднос, — сказала она, — и ты сможешь приступить к работе.

Она бросила на него теплый ободряющий взгляд.

— Я просто не могу выразить, как я взволнована, Пол.

Она вышла, оставив его в кресле любоваться на капель с сосулек, свисавших с крыши сарая.

XXIX

— Не могла бы ты раздобыть другой бумаги? — спросил он, когда она вернулась, чтобы поставить машинку на доску.

— Другой? — переспросила она, сдирая целлофановую ленточку с упаковки. — Но это самая дорогая! Я спрашивала, когда заходила в магазин!

— Разве твоя мать не говорила тебе, что самое дорогое еще не значит самое лучшее?

Энни нахмурилась. Из обороны она переходила в наступление. Пол решил, что вряд ли ему стоит продолжать.

— Нет, не говорила! И если она вообще мне что-нибудь говорила, так это то, мистер Красавчик, что если ты покупаешь дешежку, то ты дешежку и получишь.

Ее внутренний климат, как он обнаружил, напоминал весну на Среднем Западе. Она была полна буранами, которые вот-вот разразятся, и если бы он был фермером и увидел на небе то, что сейчас видел на лице у Энни, он немедленно отправил бы семью в подвал для укрытия. Ее лоб был слишком бледным. Ее ноздри раздувались, как у зверя, почуявшего огонь. Руки сжимались и разжимались, как бы хватая и разрывая воздух.

Его беспомощность и незащитность перед ней требовали успокоить ее, пока есть время (если оно еще осталось), как в романах Хаггарда племена успокаивали разгневанную богиню, совершая жертвоприношение перед ее изображением.

Но другая его часть, более расчетливая и менее запуганная, удерживала его от роли Шехерезады и Утешителя, потому что стоит ему один раз взять на себя эту роль и она будет бушевать еще больше.

Если бы у тебя не было того, чего ей очень хочется, — урезонивала его эта часть, — она бы сразу отвезла тебя в больницу или убила бы тебя позже, чтобы защититься от Ройдманов, потому что для Энни мир полон Ройдманами, они подстерегают ее за каждым углом. И если ты сейчас не заткнешь пасть этой суке, то ты уже никогда не сможешь сделать этого.

Дыхание ее участилось, ритм сжатия кулаков как будто подгонял его, и он знал, что в определенный момент она будет вне себя.

Собрав все остатки своего мужества, отчаянно пытаясь изобразить раздражение, он сказал:

— Не надо, пожалуйста, ничего изображать и безумствовать. Это ничего не изменит.

Она застыла словно от шлепка и оскорбленно посмотрела на него.

— Энни, — сказал он терпеливо, — это не большая проблема.

— Это хитрость, — сказала она, — ты не хочешь писать мою книгу и пускаешься на всякие хитрости. Я так и знала. О, Боже! Но это у тебя не выйдет...

— Глупости, — сказал он. — Разве я говорил, что не буду начинать работать?

— Нет... не говорил... но...

— Правильно. Не говорил, потому что я буду писать. И если ты подойдешь поближе и согласишься взглянуть, то я покажу тебе, в чем проблема. Возьми стаканчик, пожалуйста.

— Стаканчик?

— Ну да, стаканчик для ручек и карандашей. В газете его еще называют Вебстер, в честь Дэниэла Вебстера.

Он солгал, чтобы подзадорить ее, и это произвело желанный эффект: она выглядела смущенной и потерянной в мире специали-

ста — в мире никогда прежде ей не встречавшемся. Смущение еще больше рассеяло ее ярость; он видел теперь, что она даже не знает, имеет ли она вообще право сердиться.

Она принесла стаканчик с ручками и карандашами, высыпала их перед ним.

«Черт побери! — подумал он, — я выиграл. Нет, неверно. Мизери выиграла. Нет, это тоже неверно. Это Шехерезада. Выиграла Шехерезада».

— Вот, — сказала она сварливо.

— Смотри.

Он открыл упаковку и вынул один лист. Затем взял остро отточенный карандаш и провел линию на бумаге. То же проделал шариковой ручкой. Затем большим пальцем провел по чуть лоснящейся поверхности бумаги. Обе линии смазались по направлению движения пальца: карандашная линия немного сильнее, чем шариковая.

— Видишь?

— Ну и что?

— Типографская краска тоже будет смазываться, — сказал он, — не так сильно, как карандашная, но гораздо хуже, чем от шариковой ручки.

— Ты что, собираешься сидеть и тереть бумагу пальцем?

— Даже от простого соприкосновения листов друг с другом все написанное размазывается, а когда ты работаешь с рукописью, ты ее все время берешь в руки и она быстро пачкается. Ты все время должен возвращаться назад, чтобы сверить время или дату. Господи, Энни, первое, что ты обнаруживаешь в этом бизнесе, это то, что редакторы также ненавидят читать рукописи на лощеной бумаге, как написанные от руки.

— Не называй это так. Я ненавижу, когда ты так это называешь.

Он посмотрел на нее искренне озадаченный.

— Что и как я называю?

— Я ненавижу, когда ты называешь талант, данный тебе Богом, бизнесом.

— Извини.

— Тебе должно быть стыдно, — сказала она с каменным лицом. — С таким же успехом ты можешь называть себя шлюхой.

«Нет, Энни, я не шлюха, — подумал он, чувствуя, как ярость закипает в нем. — Я не шлюха. «Скоростные машины» были о том, как не быть шлюхой. Именно это убила чертова сука Мизери. Я ехал на Западное побережье отпраздновать свое освобождение от статуса шлюхи. Все, что ты сделала — это вытащила меня из аварии и засунула обратно в бордель. Я по твоим глазам вижу, что в глубине

души ты чувствуешь это. Суд тебя может и оправдает по состоянию здоровья, но не я, Энни».

— Хорошая точка зрения, — сказал он. — А теперь вернемся к разговору о бумаге...

— Достану я тебе твою вонючую бумагу, — сказала она угрюмо. — Скажи мне, что надо, и я достану.

— Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне...

— Не смей меня. Никто не был на моей стороне с тех пор, как двадцать лет назад умерла моя мама.

— Ну как знаешь тогда, — сказал он. — Это твои проблемы, если ты не веришь в мою благодарность за спасение жизни.

Он взглянул на нее мельком и снова заметил огонек неуверенности в ее глазах, желание поверить. Он посмотрел на нее со всей искренностью, какую только мог изобразить, и снова представил себе, как запикивает ей в горло кусок стекла, раз и навсегда выпускающая кровь, которая питала ее безумный мозг.

— По крайней мере ты можешь поверить, что я на стороне книги. Ты говорила о том, чтобы переплести ее. Я полагаю, что ты имела в виду переплести рукопись, напечатанные страницы?

— Конечно. Это я и имела в виду.

«Еще бы. Потому что, если ты понесешь рукопись в типографию, то могут возникнуть вопросы. Ты можешь быть наивной в вопросах книгоиздательства, но не в этом.

Пол Шелдон пропал и твой типограф может вспомнить, что ему присылали рукопись, касающуюся самых знаменитых действующих лиц в книгах Пола Шелдона, причем рукопись присылали уже после того, как писатель исчез, не так ли? Любой запомнил бы такой странный заказ: кто-то печатает копию рукописи романа.

Это будет вот как:

— Как она выглядела? Ну, она была, такой крупной женщиной. Такого типа как каменные идола в романах Г.Райдер Хаггарда. Сейчас, минуточку, я нашел ее имя и адрес, тут в записях... Дайте только взглянуть на копируку от счета...»

— Идея совершенно правильная, — сказал он. — Рукопись в переплете может быть чертовски хороша. Выглядит как хороший фолиант. Однако книга должна сохраниться надолго, не так ли, Энни? Если же я буду писать на этой бумаге, то лет через десять, если не раньше, у тебя останется только пачка пустых грязных страниц. Если, конечно, ты не поставишь ее просто на полку, чтобы только любоваться ею.

«Нет, она не захочет этого, не так ли? Клянусь Богом, нет. Ей захочется полистать ее каждый день, может быть, по несколько раз. Листать и радоваться».

Лицо ее приняло странное каменное выражение. Ему не понравилось это ослиное упрямство, это почти нарочитое выражение ожесточения. Оно заставляло его нервничать. Он мог высчитать ее ярость, но это по-детски тупое выражение непробиваемости на ее лице было чем-то новым.

— Не надо больше ничего говорить, — произнесла она. — Я уже сказала, что достану твою бумагу. Какая она должна быть?

— В канцелярском магазине, куда ты...

— Куда я ходила?

— Да, вот именно. Ты скажешь, что тебе нужно две пачки, пачка — это упаковка по пятьсот листов...

— Я знаю. Я еще не совсем дура, Пол.

— Я знаю, что ты не дура, — сказал он, нервничая все больше и больше. Боль в ногах снова глухо зарокотала. В тазу этот шум был погромче — ведь он сидел уже почти час.

«Сохрани спокойствие, ради Бога! — иначе все, чего тебе удалось добиться, пойдет насмарку! Но неужели мне что-то удалось или я выдаю желаемое за действительность».

— Попроси две пачки шершавой бумаги. «Хаммервиль Бонд» — хорошая марка и «Триод Модерн» тоже. Две пачки шершавой бумаги стоят меньше, чем одна пачка лощеной. И этого хватит на всю работу: на черновик и на чистовик тоже.

— Я прямо сейчас и пойду, — сказала она, внезапно вскакивая.

Он посмотрел на нее, встревоженный тем, что понял. Она собиралась снова бросить его без лекарства, сидящим в кресле. Сидеть уже было больно, а к тому времени, как она вернется, боль станет чудовищной, даже если она очень поторопится.

— Тебе не нужно делать этого, — сказал он быстро. — Начать я могу и на этой бумаге. В конце концов мне все равно придется переписывать...

— Только глупец начал бы хорошую работу плохим инструментом.

Она взяла пачку лощеной бумаги, вытянула лист с двумя смазанными линиями, скомкала его. Швырнув его в корзину для бумаги, она повернулась к нему. Лицо ее словно свело в маску окаменелого ожесточения. Глаза ее мерцали, как потускневшие двадцатицентовики.

— Я поеду в город сейчас, — сказала она. — Я знаю, ты хочешь приступить к работе как можно скорее, тем более что ты «на моей стороне»...

Она произнесла эти слова с намеренно подчеркнутым сарказмом (и с такой ненавистью к самой себе!)

...так что я даже не хочу тратить время на то, чтобы уложить тебя обратно в постель.

Она улыбнулась напускной улыбкой и лицо ее приобрело кукольно-гротесковое выражение, затем она скользнула к нему в своих бесшумных белых туфлях медсестры. Ее пальцы коснулись его волос. Он вздрогнул. Он не хотел, но не смог удержаться. Она заулыбалась еще шире. Это была улыбка живого трупа.

— Как бы то ни было, я подозреваю, что нам придется отложить начало работы над «Возвращением Мизери» на день... или два... возможно даже на три. Да, может пройти целых три дня, прежде чем ты сможешь сесть. Из-за боли. Слишком сильной боли. У меня там шампанское охлаждалось в холодильнике. Придется поставить его обратно в кладовку.

— Энни, правда, я могу начинать, если ты просто...

— Нет, Пол.

Она направилась к двери, затем повернулась и посмотрела на него с каменным лицом. Только глаза ее оставались живыми: два тусклых двадцатипенсовика на неподвижном лице.

— Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Возможно ты думаешь, что можешь обдурить меня или выкинуть какой-нибудь трюк. Я знаю, я выгляжу тупой и медлительной. Но я не тупая, Пол, и не медлительная.

Внезапно лицо ее раскололось. Каменное выражение разбилось вдребезги и вместо него засветилось лицо безумно злого ребенка. Сначала Пол подумал, что он умрет от внезапно охватившего его ужаса. А он-то думал, что взял верх, не так ли? Разве можно играть роль Шехерезады перед своим безумным тюремщиком?!

Она рванулась к нему, толстые ноги напоминали насосы, колени сгибались и разгибались, локти двигались вперед и назад, как поршни машины, перекачивающей спертый воздух комнаты. Волосы подпрыгивали вокруг ее лица, высвободившись из-под державшей их заколки. Теперь ее движения не были бесшумными, это была поступь Голиафа в Долине Костей. Картинка с Триумфальной Аркой со звоном закачалась на стене.

— Иии-йех! — взвизгнула она и с силой опустила свой кулак на соляной купол, который был теперь левым коленом Пола Шелдона.

Он откинул назад голову и взвыл, вены вздулись у него на шее и на лбу. Взорвавшись, боль вырвалась из колена и окутала всего его бледным сиянием новой звезды.

Она схватила пишущую машинку с доски и швырнула ее на камни, так легко подняв мертвый вес металла, словно это была пустая картонка.

— Вот и сиди там, — сказала она и на губах ее снова появилась мертвенная улыбка, — и подумай о том, кто здесь главный; вспомни

также все способы, которыми я могу сделать тебе больно, если ты будешь плохо себя вести или попытаешься обдурить меня. Сиди здесь и кричи, если тебе хочется, потому что никто тебя не услышит. Здесь никто не останавливается, здесь все знают, что Энни Уилкз сумасшедшая; они все признали бы меня невиновной, чем бы я ни занималась.

Она пошла обратно к двери и повернулась снова. Он закричал, предчувствуя еще одно проявление превосходства. Этот крик вызвал ее кривую усмешку.

— Я скажу тебе еще кое-что, — сказала она мягко. — Они думают, что я совершила что-то незаконное, криминальное, и они правы. Подумай об этом, Пол, пока я буду доставать твою вонючую бумагу.

Она вышла, хлопнув дверью так, что дом задрожал. Затем послышалось, как щелкнул замок.

Он откинулся на спинку кресла, стараясь унять дрожь в теле, потому что от этого усиливалась боль. Слезы текли по его щекам. Вновь и вновь он видел ее несущуюся через комнату, вновь и вновь ее кулак опускался на остатки его колена со стремительностью и яростью молота, опускающегося на наковальню, вновь и вновь его обволакивало жуткое бело-голубое сияние боли.

— Прошу тебя, Господи, прошу тебя, — стонал он, — прошу, Господи, избавь меня от этого или убей... избавь от этого или убей.

Вниз по дороге с грохотом промчался автомобиль, а Бог не остался безучастным. Пол остался наедине со слезами и болью, которая пробудилась и начала прогрызаться через его тело.

XXX

Позже он подумал, что общество с его неодолимой страстью к громким названиям обязательно назвало бы то, что он сделал, героизмом. Он вряд ли стал бы возражать, хотя на самом деле это было не более чем последняя судорожная попытка выжить.

Ему смутно казалось, что он слышит голос одного из этих полумных восторженных спортивных ведущих — Ховарда Козелла или Уорнера Вольфа, или, может быть, этого совсем сумасшедшего Джона Моуста, который комментирует все происходящее, словно его отчаянная попытка достать лекарство всего лишь какое-то спортивное соревнование, событие, вроде Вечернего Воскресного Футбола. Интересно, как бы назывался этот спорт? Бег за наркотиками?

«Мне просто не верится, какую выдержку проявляет сегодня Шелдон, — восторженно орал комментатор в голове Пола Шелдона. — Уверен, что никто на стадионе Энни Уилкз, не говоря уже о миллионах телезрителей, не думал, что у него есть хоть малейший

шанс заставить двигаться свое кресло, после того, что с ним сегодня приключилось. Но я верил в него... и вот кресло начало двигаться. Да! Оно двигается! Давайте посмотрим повтор!»

Пот стекал со лба и щипал ему глаза. Он облизнул соленые от слез и пота губы. Дрожь не унималась. Боль была такой, что, казалось, наступает конец света. Он подумал: «Приближается точка, когда любые мысли о боли становятся кошунством. Никто не знает, что такое боль, занимающая вселенную, что такое боль величиной в жизнь. Это как одержимость дьяволом».

Единственная мысль, заставившая его двигаться, была мысль о таблетках, о Новриле, который она держит где-то в доме. Запертая дверь спальни... вероятность того, что наркотики могут быть не в ванной внизу, как он предполагает, а где-нибудь еще... Возможность, что она вернется и схватит его... все это ничего не значило... только слабая тень позади боли. Или он должен что-то предпринимать или он умрет. Все, третьего не дано.

Ниже пояса тело его было обернуто огнем, который при каждом движении стягивался все туже и туже, глубже и глубже впивались в ноги ремни, усаженные раскаленными шипами. Но кресло все же двигалось. Очень медленно, но оно начало двигаться.

Он одолел около четырех дюймов прежде чем понял, что если не сможет повернуть, то ему удастся только проехать в дальний угол комнаты, но ни на дюйм не приблизиться к двери.

Дрожа, он схватил правое колесо (думай о таблетках, думай об облегчении, которое они приносят!) и навалился на него всей своей тяжестью. Резина поминутно скрипела о деревянный пол, подобно мышьиному пisku. Он наваливался на колесо изо всех сил, его мускулы, когда-то сильные и крепкие, а теперь дряблые, тряслись как желе, губы обнажили скрежещущие зубы и кресло медленно повернулось.

Он вцепился в оба колеса, снова и снова пытаюсь двигать кресло. На этот раз он проехал около пяти футов, прежде чем остановился, чтобы выпрямиться.

Сделав это, он поседел.

Пять минут спустя он вернулся в реальность слыша смутный, подбадривающий голос комментатора: «Он пытается двигаться дальше! Да я просто поверить не могу в такую силу воли, как у Шелдона!»

Разум его осознавал боль и только боль и лишь крохотная часть его управляла глазами. Он увидел ЭТО возле двери и покати туда. Он потянулся вниз, но кончики пальцев повисли буквально в трех дюймах от пола, где лежали две или три шпильки, выпавшие из ее волос, когда она тут выдвигала ему свои обвинения. Он закусил губу,

не замечая пота, градом стекающего по лицу и шее, его пижама потемнела от влаги.

(Не думаю, что ему удастся достать эту штуковину, ребята, все, что он сделал до сих пор, было ФАНТАСТИЧНО, но, боюсь, это предел).

Ну, погоди, а может быть еще не предел.

Он наклонился вправо, сначала стараясь не обращать внимания на боль в правом боку, — боль, которая была как растущий пузырь давления, а потом давая волю своему крику. Как она и говорила, вокруг не было никого, кто бы услышал его.

Кончики пальцев продолжали висеть в дюйме от пола, покачиваясь прямо над шпилькой, и он почувствовал, что правое бедро может попросту лопнуть и оттуда струйкой потечет отвратительный белый костный кисель.

«О, господи, прошу тебя, пожалуйста, помоги мне», — он резко подался вбок и нагнулся еще сильнее, несмотря на боль. Он легко коснулся шпильки, но от этого она только отлетела примерно на четверть дюйма в сторону. Пол сполз по креслу, все также наклонившись вправо и опять закричал от боли в нижней части голени. Глаза его выкатывались из орбит, рот был открыт, язык свисал между зубами, как шпингалет между оконными ставнями. Маленькие капли слюны сбегали по кончику языка и падали на пол.

Он зашипел шпильку кончиками пальцев... осторожно ухватил ее... чуть было не потерял... и вот она зажата у него в кулаке.

Выпрямившись, он почувствовал еще один всплеск боли, но когда он все же сделал это, то некоторое время мог только сидеть, часто и тяжело дыша, откинув голову назад, насколько позволяла бескомпромиссная спинка кресла, шпилька лежала на доске перед ним. В какой-то момент он был уверен, что сейчас начнет блевать, но это скоро прошло.

Что ты делаешь? — нудно брюзжала часть его разума. — Неужели ты ждешь, что боль пройдет? Но этого не будет. Она все время цитирует свою мамочку, но ведь и твоя мамочка знала кое-какие поговорки, не так ли?

Да. Знала.

Сидя в кресле, уронив голову на спинку, с блестящим от пота лицом, с прилипшими ко лбу волосами, Пол произнес одну из них вслух и с выражением: «На Бога надейся, а сам не плошай».

(Вот именно! Так что кончай ждать, Полли, единственный божий ангел, который может тебе явиться здесь — это чемпион в тяжелом весе Энни Уилкз.)

Он снова начал двигаться, медленно подкатывая кресло к двери. Она заперла ее, но он верил, что, может быть, сумеет отпереть. Тони

Бонасаро, который теперь был только множеством черных хлопьев пепла, был когда-то угонщиком автомобилей. Как бы подготавливая себя к написанию «Скоростных машин», Пол изучал технику угона автомобилей со старым полицейским в отставке по имени Том Твиффорд. Том показывал ему, как напрямую замкнуть зажигание и без ключа завести машину, как с помощью тонкого и гибкого металлического прутика, который угонщики называют Тоший Джим, взламывать замки на дверцах и отрубать сигнализацию.

«Или, — сказал ему Том однажды весенним днем в Нью-Йорке два с половиной года назад, — допустим, ты вовсе не хочешь красть машину. Но машину ты взял и у тебя с бензинчиком туговато. Ты берешь шланг, чтобы подзаправить автомобиль, взятый в свободное пользование, и обнаруживаешь, что бак заперт. Проблема? Никакой проблемы нет, если ты знаешь что делаешь, потому что замки на баках устроены не сложнее детских игрушек. Все, что тебе действительно понадобится — это шпилька».

Пять бесконечных минут у него ушло на то, чтобы подогнать кресло именно так, как он хотел, — левое колесо почти касалось двери.

Замочная скважина была весьма старомодна, она напомнила Полу иллюстрации Джона Тэнниэла к «Алисе в Стране Чудес», и была вырезана на середине тусклой металлической пластинки.

Он немного сполз по креслу — всего один раз сдавленно застонав — и посмотрел в скважину. Он мог видеть маленький коридорчик, который вел прямо в прихожую, темно-красную половицу, старомодный диван, обитый похожей тканью, старый абажур с кисточками. Слева, в середине коридорчика, была дверь. Пульс его учащенно забился. Это, несомненно, была нижняя ванная. Он часто слышал, как она набирала воду здесь, в тот раз, когда он с таким удовольствием пил воду из пологого ведра, она тоже набирала ее здесь... И разве не отсюда выходила она каждый раз, когда давала ему лекарство?

Он был совершенно уверен. Она выходила отсюда.

Он схватил шпильку. Она выскользнула из пальцев и покатилась по доске, неумолимо приближаясь к краю.

— Нет! — хрипло закричал он и накрыл ее ладонью как раз в тот момент, когда она собиралась упасть. Он зажал ее в кулаке и посидел еще сильнее.

Хотя он не был уверен, но ему показалось, что на этот раз он отключился на более длительное время, чем в первый раз. Боль — если не считать мучительной агонии в левом колене — казалось, начала понемногу утихать. На этот раз он пошевелил для гибкости пальцами, прежде чем взять шпильку с доски.

«Теперь, — подумал он, разгибая и держа ее в правой руке, — не дрожать! Постарайся удержать эту мысль в голове. ТЫ НЕ ДОЛЖЕН ДРОЖАТЬ!»

Он подался вперед всем телом и потихоньку всунул шпильку в замочную скважину, слушая, как ведущий в его голове (очень живо) описывает происходящее.

Пот бежал по его лицу, словно нефть. Он прислушивался... нет, он ЧУВСТВОВАЛ звуки в скважине.

«Рычаг в дешевых замках — это обыкновенный конек, изогнутый полоз, — говорил ему Том Твифорд, для наглядности выгибая кисть руки и поворачивая ее. — Ты хочешь перевернуть кресло-качалку? Нет ничего легче, правда? Хватаешься за полозья и встряхиваешь мамулю... То же самое ты проделываешь вот с таким замком. Тянешь за собачку вверх и быстренько открываешь, пока рычажок не защелкнулся обратно».

Он дважды цеплял собачку, но оба раза шпилька соскакивала и рычаг защелкивался прежде, чем Пол успевал открыть дверь. Шпилька начала сгибаться. Пол подумал, что через две-три попытки она сломается.

— Прошу тебя, Боже, — сказал он, вставляя шпильку снова. — Пожалуйста, ну что тебе стоит. Прошу только, сжался надо мной.

(Ну что, ребята, Шелдон сегодня держался героически, но это, кажется, будет последней попыткой. Толпа замерла в ожидании.)

Он закрыл глаза, голос комментатора затих, когда он жадно прислушивался к царапанью шпильки в скважине. Вот! Здесь чувствуется препятствие! Собачка! Он мог видеть ее в замке, похожую на изогнутый полоз кресла-качалки, прижимающую язычок замка, удерживающую запор на месте и удерживающую ЕГО САМОГО в этом аду.

«Это устроено не сложнее детской игрушки, Пол, но сохраняй спокойствие, только будь спокоен».

Да уж! Думаешь, легко сохранять спокойствие при такой жуткой боли.

Он ухватился левой рукой за дверную ручку, а правой стал потихоньку давить на шпильку. Так... еще чуть-чуть... еще немного.

В своем воображении он видел, как полоз качалки начинает медленно двигаться в маленькой пыльной нише; видел, как язычок замка медленно вытягивается. Слава Богу, что ему не надо, чтобы он втянулся до конца... он не собирается встряхивать мамулю из кресла, как говаривал Том Твифорд. Достаточно только язычку выйти из углубления в дверном косяке и толчок и...

Шпилька начала гнуться и заскользила. Он почувствовал это и в отчаянии дернул так сильно, как только мог, повернул ручку и

толкнул дверь. Раздался щелчок и шпилька сломалась пополам. Та часть, которая была в замке, упала на пол и он уже решил, что попытка провалилась, прежде чем увидел, что дверь медленно открывается и язычок торчит из нее как стальной палец.

— Господи, — прошептал он, — благодарю тебя, Господи!

«Давайте посмотрим замедленную съемку», — заорал, нет, завизжал ликующий Уорнер Вольф, в то время как тысячи людей на стадионе, не говоря уже о миллионах телезрителей, разразились громовыми криками.

— Не сейчас, Уорнер, не сейчас, — проворчал он и начал изнурительную борьбу, чтобы протиснуть кресло в дверной проем.

XXXI

В один неприятный — нет, не только неприятный, — ужасный, страшный момент ему показалось, что кресло не проходит в дверь. Оно было всего на два дюйма шире, но это были два лишних дюйма.

«Она внесла его сложенным, вот почему ты сначала принял его за тележку», — мрачно сообщил ему внутренний голос.

В конце концов ему удалось сжаться и с большим трудом протиснуться сквозь дверной проем. Наклонившись вперед, он ухватился за дверные косяки. Оси колес пронзительно завизжали, царапая дерево, но он все же проскочил.

После этого он еще больше поседел.

XXXII

Ее голос заставил его очнуться. Он открыл глаза и с ужасом увидел, что она направила на него дуло пистолета. Глаза ее бешено сверкали. На зубах блестела слюна.

— Если тебе так хочется свободы, Пол, я буду счастлива предоставить ее тебе.

Она взвела оба курка.

XXXIII

Он вздрогнул, ожидая выстрела. Но его не было, и он понял, что это был сон.

Нет, не сон — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Она могла вернуться в любое время. В любой момент.

Свет, просачивающийся через полуоткрытую дверь в ванную, изменился, стал ярче. Он выглядел, как дневной. Он хотел, чтобы

часы своим боем сообщили ему, насколько он был прав, но часы упрямо молчали.

В прошлый раз она бросила меня на пятьдесят часов. Так она сделала тогда. А сейчас она может пропадать восемьдесят часов. Разве ты не знаешь, что метеослужба может посылать по почте предупреждение о грозящем урагане, но когда дело доходит до точного определения местонахождения урагана и даты, они ничего не знают, черт их подери.

— Совершенно верно, — сказал он и покатиł кресло в ванную комнату. Заглянув в нее, он обнаружил простую комнату, выложенную белым шестиугольным кафелем. Ванна с ржавыми вентилями ниже водопроводных кранов стояла на ножках в виде лап. Рядом размещался шкаф для белья. Напротив ванны — раковина. Над ней аптечка. Ведро для мытья полов стояло в ванне — он увидел его пластиковую крышку.

Холл был достаточно широким, чтобы Пол мог развернуть кресло и направить его в дверь, но теперь его руки тряслись от усталости.

В детстве он был слабым ребенком и поэтому во взрослом возрасте всегда благоразумно старался заботиться о своем здоровье. Но теперь его мускулы были мускулами инвалида, и он снова чувствовал себя слабым ребенком, как будто все это время провел, держась за мамочкин подол, качаясь у нее на коленях и мечтая о создании Наутилуса.

Этот дверной проем был по крайней мере шире — не намного конечно, но все же было вполне достаточно места, чтобы проскочить через него. Внезапно он налетел на перемычку двери, и после удара колеса кресла на упругих шинах мягко покатались по кафельному полу. Он почувствовал запах чего-то кислого, что он автоматически ассоциировал с больницами, — лизоль, может быть. Здесь не было туалета, он уже подозревал, что звуки внезапно хлынувшей жидкости доносились только сверху, и теперь, вспомнив об этом, он понял, что один из этих потоков всегда следовал за использованием им подкладного судна. Здесь была только ванна, таз и шкаф для белья с открытой дверью.

Он мельком взглянул на аккуратные стопки голубых полотенец и простыней — они ему были знакомы по обтираниям губкой, которые она ему устраивала; и затем обратил внимание на аптечку, висющую над умывальником.

Она была вне досягаемости.

Как бы он ни старался дотянуться, оставалось еще добрых девять дюймов от кончиков пальцев до аптечки. Он видел это и тем не менее продолжал тянуться, не желая поверить, что Судьба или Бог или Кто-то еще могут быть такими жестокими по отношению к нему. Он

напоминал игрока в дальней части поля, безнадежно пытающегося достать посланный в его сторону мяч.

Пол издал обиженный, недоуменный звук, опустил руку и затем откинулся пыхтя назад. Серое облако снижалось. Он заставил его силой воли отступить и осмотрелся вокруг, ища что-нибудь, чем можно было бы открыть дверцу аптечки, и увидел в углу швабру на длинной голубой палке.

«Ты собираешься воспользоваться ею? Не так ли? Да, я полагаю ты мог бы. Взломай дверцу аптечки и вытряхни ее содержимое в таз. Но пузырьки разобьются и, даже если там нет пузырьков, каждый имеет в своей аптечке что-то, что вы не сможете положить обратно. Итак, когда она вернется и увидит разгром, что тогда?»

— Я скажу, что это сделала Мизери, — прохрипел он. — Я скажу ей, что она уронила все, пытаясь найти тонизирующее, которое бы оживило ее.

Затем он разразился рыданиями... но даже сквозь слезы его глаза шарили по комнате, ища что-нибудь, идею, шанс, благоприятные обстоятельства...

Он снова заглянул в шкафчик для белья и у него неожиданно перехватило дыхание. Его глаза широко раскрылись. Он обвел беглым взглядом полки со стопками сложенных простыней и наволочек, банных простыней и полотенец. Теперь он смотрел на пол, где стояли квадратные картонные коробки. На некоторых было написано АПДЖОН. На других — ЛИЛЛИ. А на третьих — ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ.

Он резко повернул кресло-каталку, ударился, но не обратил на это внимание.

Не дай бог, чтобы там были ее запасы шампуня или тампонов, или портреты ее старой дорогой мамочки или...

Он нащупал одну из коробок, вытащил ее и открыл крышку. Никакого шампуня, никаких образцов АВОН. Ничего подобного. Там была беспорядочная смесь лекарств на картонках; большинство из них в маленьких коробочках с пометкой «Образцы». На дне рассыпалось несколько пилюль и капсул различного цвета. Некоторые были ему знакомы, как например Мотрим и Лопрессор — лекарства от гипертонии, которые принимал в последние годы жизни его отец. Другие он никогда не встречал.

— Новрил, — пробормотал он, дико шаря по коробке, в то время как по его лицу струился пот, а в ногах билась и пульсировала боль. — Новрил, где этот проклятый Новрил?

Но Новрила не было. Он захлопнул крышку коробки и затолкнул ее обратно в шкаф, стараясь поставить ее на то же самое место, где

она была. Чтобы все было как прежде, место должно было выглядеть как свалка наркотиков.

Сильно перегнувшись влево, он ухватка вторую коробку, открыл ее и едва смог поверить тому, что там увидел.

Дарвон. Дарвоцет. Дарвон Сомпаунд. Морфоз и Морфоз Комплекс. Либрум. И Новрил. Множество и множество коробочек. Любимых коробочек. Дорогих коробочек... О, любимые, дорогие, благословенные коробочки! Он схватил одну открытую и увидел капсулы в маленьких блистерах, которые она давала ему каждые шесть часов.

Надпись на коробке предупреждала: «Не отпускать без рецепта врача».

— О, Господи, доктор здесь! — вскрикнул Пол. Он зубами надорвал целлофановую упаковку и сжевал три капсулы, едва ощущая их горький вкус. Затем он остановился, задумчиво посмотрел на оставшиеся пять, упакованные в многослойные целлофановые листы, и с жадностью схватил четвертую.

Он быстро посмотрел вокруг, опустил подбородок на грудь, глаза хитрые и испуганные. Хотя он знал, что для того, чтобы почувствовать облегчение, прошло слишком мало времени, он ПОЧУВСТВОВАЛ его — НАЛИЧИЕ пилюль оказалось даже более важным, чем их ПРИЕМ. Ощущение было такое, как если бы он находился под влиянием луны или приливов, или как будто он достиг ее. Это была громадная мысль, трепетная и все же пугающая, с оттенками вины и богохульства.

Если она вернется сейчас...

— Хорошо, ладно. Я получил сообщение.

Он заглянул в коробки, стараясь определить, сколько упаковок он МОГ БЫ УТАЩИТЬ, чтобы она не заметила, что маленький мышон по имени Пол Шелдон побывал в ее кладовке.

Он пронзительно хихикнул при этой мысли и вспомнил, что лекарство не сразу действует на его ноги. Он попросту привык к нему, если объяснять доступным языком.

Действуй, идиот. У тебя нет времени наслаждаться бездействием.

Он схватил пять упаковок — всего тридцать капсул. Он вынужден был удерживать себя от того, чтобы не взять больше. Он перемешал оставшиеся пузырьки и упаковки, надеясь, что в результате здесь все будет выглядеть более или менее также беспорядочно, как было, когда он впервые заглянул сюда. Он закрыл крышку и закинул коробку обратно в шкаф.

Послышалось приближение машины.

Он выпрямился, глаза расширились. Руки упали на ручки кресла и вцепились в них с панической силой. Если это Энни, то он пропал,

всему конец. Он никогда не сможет добраться до своей спальни вовремя на своем норовистом, слишком большом рысаке. Может быть, ему удастся прибить ее шваброй или еще чем-нибудь, прежде чем она свернет ему шею, как цыпленку.

Он сидел в кресле-каталке с упаковками Новрила на коленях, со сломанными и твердо торчащими перед ним ногами и прислушивался, проедет ли машина мимо или завернет.

Звук бесконечно усиливался, а затем начал утихать.

О'кей. Тебе нужно еще графическое предупреждение, Пол-детка?

В самом деле он не желал этого. Он бросил последний взгляд на коробки. Они смотрелись примерно так же, как когда он увидел их впервые — хотя он глядел на них сквозь болевой туман и не мог быть полностью уверен. Но он знал, что упаковки лекарств могли лежать совсем не произвольно, как ему сначала показалось. У нее была повышенная чувствительность неврастеника, и она могла точно помнить местонахождение каждой коробки. Она могла бросить случайный взгляд сюда и сразу же понять каким-то необъяснимым способом, что произошло. Это предположение вызвало не чувство страха, а скорее покорность, смирение — ему нужно было лекарство и ему как-то удалось сбежать из комнаты и заполучить его. Если за этим последует наказание, он его примет по крайней мере с пониманием, так как ничего другого он не мог делать, кроме того, что сделал. Из всего того, что она сделала ему, это смирение было, конечно, симптомом самого худшего: она превратила его в сломленное болью животное совсем без морального права выбора.

Он медленно направил каталку через ванную, оглядываясь назад и убеждаясь, что не сбился с пути. Раньше такое путешествие заставило бы его кричать от боли, но сейчас боль исчезала, как бы сглаживалась.

Он въехал в холл и остановился, так как ужасная мысль внезапно осенила его: а что, если пол в комнате был немного влажным или даже слегка запахался...

Он пристально уставился прямо перед собой. Через минуту мысль, что он мог оставить следы на чистом белом кафельном полу, стала так навязчива, что он действительно УВИДЕЛ их. Он встряхнул головой и посмотрел снова. Никаких следов. Но дверь была открыта больше, чем раньше. Он покатил вперед, развернул кресло немного вправо, чтобы можно было перегнуться и ухватить ручку двери; и слегка прикрыл ее. Пригляделся, затем еще немного подтянул ее к косяку. Вот так. Теперь все в порядке.

Он потянулся к колесам, намереваясь развернуть кресло и направить его обратно в свою комнату, когда неожиданно понял, что

находится поблизости гостиной, а в гостиной у большинства людей телефон и...

Внезапная мысль, как вспышка молнии над туманным лугом, озарила его.

— Алло, Сайдуиндер. Полицейский участок. Дежурный офицер Хамбагги слушает...

— Послушайте меня, офицер Хамбагги. Послушайте очень внимательно и не перебивайте, потому что я не знаю, как долго смогу говорить. Я — Пол Шелдон. Я звоню вам из дома Энни Уилкз. Я нахожусь у нее в заточении по меньшей мере две недели, а может быть, и месяц. Я...

— Энни Уилкз?!

— Немедленно приезжайте. Пошлите машину «Скорой помощи». И ради Бога, приезжайте сюда раньше, чем она вернется...

— Раньше, чем она вернется. О, да. Замечательно.

Что заставляет тебя думать, что у нее есть телефон? Кто когда-либо слышал, как она говорила по телефону? Кто-нибудь звонил ей? Ее добрые друзья Ройдманы?

То, что ей не с кем болтать по телефону целый день, не означает, что она не способна понять, что бывают несчастные случаи; она может упасть и сломать руку или ногу, сарай может загореться...

Сколько раз ты слышал, чтобы звонил этот телефон?

Но в наше время это необходимость? Телефон должен звонить по меньшей мере раз в день, в противном случае его отбирают? Кроме того, большую часть времени я был без сознания.

Ты упускаешь свое счастье. Ты упускаешь свое счастье и ты знаешь это.

Да, он знал это; но мысль о телефоне, воображаемое ощущение прохладного черного пластика под пальцами, щелчок вращаемого диска или непрерывный гудок после набора «0» — перед этим соблазном очень трудно устоять.

Он манипулировал на своем кресле до тех пор, пока не изловчился поставить его точно напротив гостиной, и затем въехал в нее.

Воздух в комнате был затхлый, пахло плесенью. Хотя шторы на полукруглых окнах, из которых открывался прекрасный вид на горы, были опущены только наполовину, комната казалась слишком темной. Преобладал темно-красный цвет, как будто кто-то пролил здесь большое количество венозной крови.

Над камином висела затусованная фотография женщины отталяющего, неприятного вида с крошечными глазками, глубоко посаженными на мясистом лице. Розовые с синеватым отливом губы

поджаты. Фотография, вставленная в позолоченную рамку стиля рококо, была размером с портрет президента, какой обычно висит в вестибюле почтамта в крупном городе. Полу не нужно было удостоверение личности, чтобы узнать в нем мать Энни.

Он покатил дальше в комнату. Левое колесо каталки задело маленький столик, на котором стояли безделушки. Они зазвенели, ударяясь друг о друга, и одна из них — керамический пингвин на керамическом куске льда — упала на бок.

Не задумываясь, он бросился и подхватил ее. Жест был почти нечаянный... и затем последовала реакция. Он крепко сжал пингвина в кулаке, пытаясь унять дрожь.

Ты подхватил его без труда, хотя на полу лежал коврик и, вероятно, пингвин не разбился бы...

А если разбился? — в ответ закричал его внутренний голос. — Если разбился?! Пожалуй, тебе лучше уйти в твою комнату, прежде чем ты оставишь здесь... след...

Нет. Еще нет. Еще нет, как бы он ни был напуган. Потому что это стоило ему слишком дорого. Если за это следовала расплата, он готов был заплатить.

Он оглядел комнату, уставленную тяжелой, громоздкой мебелью. Казалось, основное внимание в ней должны были привлекать арочные окна с великолепными видами за ними, но вместо этого здесь доминировала фотография этой толстой женщины в страшной раме с завитками и замороженными позолоченными фестонами.

На столе у дальнего конца кушетки, где она должна сидеть перед телевизором, стоял простой дисковый телефон.

Осторожно, едва сдерживая дыхание, он поставил керамического пингвина на столик («Теперь моя песенка спета!» — гласила надпись на глыбе льда) и покатил к телефону.

Перед диваном стоял маленький журнальный столик, он постарался объехать его. На столе стояла уродливая зеленая ваза с букетом засохших цветов; и все это выглядело неустойчиво, в любой момент готовое упасть.

Никаких приближающихся машин — только шум ветра.

Он схватил телефонную трубку и медленно поднял ее.

Слабое предчувствие неудачи наполнило его до того, как он поднес трубку к уху. Он ничего не услышал. Никаких звуков. Телефон был мертв. Он медленно положил трубку; перед ним всплывала строчка из песни старика Роджера Миллера, казалось, имеющая определенный жестокий смысл: «Ни телефона, ни бассейна, ни любимцев животных... У меня нет сигарет...»

Он проследил глазами за телефонным проводом, увидел маленький квадратный модуль на панели, увидел подсоединенное штепсельное гнездо. Все выглядело абсолютно в рабочем состоянии.

Подобно сараю с нагревателями на крыше.

Очень, очень важно поддерживать внешний вид.

Он закрыл глаза и представил Энни, вынимающую штепсель и заливающую клей Элмера в отверстие модуля. Представил, как она вставляет штепсель в мертвенно-белый клей, где он затвердеет и навсегда примерзнет. Телефонной компании и в голову не придет, что здесь что-то не так, пока кто-нибудь не попытается позвонить Энни и не сообщит в бюро ремонта, что линия не в порядке. Но никто не звонил Энни, не так ли? Она регулярно получала ежемесячные счета и правильно оплачивала их, но телефон был только бутафорией, частью ее никогда не прекращающейся борьбы за сохранение внешнего вида, наподобие свежеевыкрашенного красной и кремовой красками сарая с нагревательными приспособлениями для таяния льда зимой. Кастрировала ли она телефон в предвидении подобного случая, как этот? Предвидела ли она возможность того, что он выберется из комнаты? Он сомневался в этом. Телефон — РАБОТАЮЩИЙ телефон — действовал ей на нервы задолго до его появления. Она лежала без сна ночами, глядя в потолок своей спальни, прислушиваясь к завыванию ветра, представляя людей, которые думали о ней либо с нелюбовью, либо с откровенной злобой. Весь мир состоял из Ройдманов — из людей, которые могли в любое время позвонить ей и прокричать: «Это сделала ты, Энни! Они все равно заберут тебя в Денвер, и мы знаем, что это сделала ты! Они не забрали бы тебя в Денвер, если ты невиновна!» Она просила и получила не внесенный в телефонный справочник номер. Конечно, любой человек, признанный невинным в совершении серьезного преступления (а если это было в Денвере, то преступление было серьезным), поступил бы также, но даже не занесенный в справочник телефон не устраивал такую невзрастеничку, какой была Энни. ОНИ все были против нее, ОНИ могли набрать номер, если ОНИ хотели: наверное, юристы, настроенные против нее, были бы рады передать номер нуждающимся в нем людям; а люди ПРОСИЛИ телефон!!! О да, она видела мир как темное море с движущимися человеческими массами, как злобный мир, окружающий маленькую сцену, на которой ярким пятном выделялась... только она. Поэтому лучше ликвидировать телефон, заставить его молчать; она заставила бы молчать Пола, если бы узнала, насколько далеко он забрался.

Внезапная паника овладела им; внутренний голос подсказывал ему, что пора выбираться отсюда, спрятать где-нибудь пилюли,

вернуться на место у окна и выглядеть так же НЕИЗМЕННО, как она оставила его. В этом он вполне был согласен с голосом. Он осторожно отъехал задом от телефона и, выбравшись на свободное место в комнате, начал энергично работать, разворачивая колеса каталки. Он был очень осторожен, чтобы не задеть маленький столик, как он уже однажды сделал.

Он уже почти закончил разворот, когда услышал шум приближающейся машины; он понял, он просто ЗНАЛ, что это она возвратилась из города.

XXXIV

Охваченный ужасом — самым большим ужасом, какой он когда-либо испытывал, ужасом, наполненным глубокой виной невоспитанного человека, — он чуть не потерял сознание. Он вдруг вспомнил единственный в жизни случай, очень похожий на этот по эмоциональному напряжению. Ему было двенадцать лет. Были летние каникулы, его отец был на работе, а мать отправилась в Бостон вместе с соседкой миссис Каспбрак. Он увидел пачку ее сигарет и закурил одну из них. Он курил с энтузиазмом, одновременно испытывая наслаждение и тошноту, чувствуя так, как он представлял, должны чувствовать себя грабители, обчищающие банк. Искурив половину сигареты и наполнив комнату дымом, он услышал, как мать открыла входную дверь: «Пол? Это я. Я забыла мой кошелек!» Он судорожно начал размахивать руками, разгоняя дым, понимая, что это ничего не даст, что он попался, что его отшлепают.

На этот раз наказание будет посильнее шлепков.

Он вспомнил свой сон. Энни взводит курки пистолета и говорит: «Если тебе так хочется свободы, Пол, я предоставлю тебе ее».

Шум мотора начал стихать по мере замедления хода. Это БЫЛА она.

Пол положил едва ощущаемые руки на колеса и покатил кресло в холл, бросив быстрый взгляд на керамического пингвина. Был ли он на том же месте, где она его поставила? Он не мог сказать. Он мог только надеяться на это.

Он покатил в холл по направлению к двери в спальню, увеличивая скорость. Он надеялся сразу проскочить его, но цель была немного в стороне. Только немного... но пригонка была настолько впорядок, что немного означало достаточно. Кресло глухо ударилось о правый дверной косяк и отскочило назад.

Ты поцарапал краску? — закричал его внутренний голос. — О боже, ты отколол краску, ты оставил след?

Никаких царапин. Маленькая вмятина была, но не царапина. Слава Богу! Он подал назад и неистово задвигал колеса, стараясь точно попасть в дверной проем.

Шум мотора нарастал, приближаясь. Теперь он мог слышать хруст снега под колесами при торможении.

Легче... легче... ну...

Он покатил кресло вперед, и втулки колес накрепко уперлись в косяки двери. Он толкал сильнее, понимая, что от этого не будет толку: он застрял в двери, как пробка в винной бутылке — ни вперед, ни назад...

Он поднатужился в последний раз, мускулы на его руках дрожали мелкой дрожью, как струны скрипки, и кресло пролезло через дверь с низким пронзительным визгом.

«Чероки» свернул на подъездную аллею.

У нее будут пакеты, — невнятно и быстро произнес его внутренний голос, — машинописная бумага, может быть, несколько других вещей, и она будет идти осторожно по обледенелой скользкой дорожке, а ты уже здесь, худшее позади, у тебя еще есть время...

Он въехал дальше в комнату и неуклюжим полукругом завернул кресло. Когда он катил параллельно открытой двери спальни, он услышал, что заглох мотор «Чероки».

Он перегнулся, ухватился за дверную ручку и попытался захлопнуть дверь. Но язычок замка, все еще торчащий как твердый металлический палец, глухо ударился о косяк. Он надавил на него большим пальцем. Он начал поддаваться. Затем остановился. Остановился намертво, не давая двери закрыться.

На какой-то момент он глупо уставился на нее, вспоминая старый морской афоризм: «Если МОЖЕТ пойти неправильно, ПОЙДЕТ неправильно».

Смилуйся боже, неужели мало того, что она убила телефон?

Он освободил язык и тот снова весь выскочил наружу. Он опять начал заталкивать его вовнутрь и почувствовал, что язык наталкивался на ту же преграду. Внутри замка он услышал странное дребезжание и понял. Это была часть сломанной шпильки. Она как-то упала туда и не давала теперь язычку полностью убраться вовнутрь.

Он услышал, как открылась входная дверь. Он даже услышал, как она ворчала при этом. Он услышал шелест бумажных пакетов, когда она собирала свои кульки.

— Ну, давай, — прошептал он и начал мучить язык взад и вперед. Каждый раз язык продвигался примерно на шестнадцатую часть дюйма и вдруг остановился. Пол уже не слышал дребезжание шпильки.

— Ну, давай... давай... давай...

Он снова плакал, не осознавая этого, пот и слезы текли по его щекам, он все еще чувствовал сильную боль, несмотря на проглоченные лекарства. Он понимал, что ему придется дорого заплатить за эту работу.

Но не такую высокую цену, какую она заставит тебя платить в случае, если тебе не удастся снова закрыть эту проклятую дверь, Пол.

Он услышал, как она крадется, осторожно ступая по дорожке. Шелест пакетов... и теперь дребезжание ее ключей, когда она вынимала их из сумки.

— Давай... давай... давай...

В этот раз, когда он толкнул язык, внутри замка раздался глухой щелчок и металлический выступ проскользнул на четверть дюйма в дверь. Недостаточно, чтобы не задеть косяк, но все же... почти...

— Пожалуйста, давай...

Он начал шевелить язык быстрее, дергая из стороны в сторону, прислушиваясь, как она открыла кухонную дверь. Затем подобно ужасной ретроспективе того дня, когда мать застала его курящим, Энни весело закричала: «Пол? Это я! Я принесла твою бумагу!»

Пойман! Я пойман! Пожалуйста, боже, не дай ей ударить меня...

Его палец конвульсивно крепко нажал на язык замка и прозвучал резкий щелчок — это сломалась шпилька. Язык полностью зашел в дверь. Из кухни донесся звук расстегиваемой на куртке молнии.

Он закрыл дверь спальни. Щелчок запора прозвучал так же громко, как выстрел стартового пистолета (слышала ли она это? должна, должна была услышать!)

Он направил кресло-каталку к окну и все еще катился, когда ее шаги раздались уже в холле.

— Я принесла тебе бумагу, Пол! Ты спишь?

Никогда... никогда вовремя... Она услышит...

Он в последний раз потянул рулевой рычаг и поставил кресло на место у окна как раз в тот момент, когда ее ключ поворачивался в замке.

Ключ не сработает... шпилька... и у нее возникнет подозрение.

Но кусок инородного металла должно быть весь провалился в замок, потому что ключ прекрасно сработал. Пол сидел в своем кресле с полузакрытыми глазами, безумно надеясь, что он точно поставил кресло на прежнее место (или по крайней мере достаточно близко к тому месту, чтобы она заметила), надеясь, что она примет пот на лице и трясущееся тело просто как реакцию на отсутствие лекарства, и больше всего надеясь, что он не наследил...

В тот момент, когда дверь распахнулась, он опустил глаза и увидел, что был так поглощен поисками отдельных следов, что совсем проигнорировал главное: упаковки с Новрилом все еще лежали у него на коленях.

В каждой руке она держала, улыбаясь, по пачке бумаг.

— То, что ты просил, не так ли? «Трайд Модерн». Две пачки и еще две на всякий случай в кухне. Итак ты видишь...

Она прервала фразу, хмурясь, глядя на него.

— Ты весь мокрый от пота и у тебя **ОЧЕНЬ** чахоточный румянец. — Она помолчала. — Что с тобой происходит?

И хотя это заставило его панический внутренний голос снова пронзительно закричать, что его поймали и он может отказаться от всего, может также признаться во всем в надежде на ее милость, ему удалось встретить ее подозрительный взгляд с иронической утомленностью.

— Я думаю, ты знаешь, что я делал, — сказал он. — Страдал.

Она вынула из кармана юбки бумажную салфетку «Клинекс» и вытерла ему лоб. Салфетка вся промокла. Она улыбнулась ему с ужасным фальшивым вниманием.

— Очень было плохо?

— Да, да. Теперь могу я...

— Я **ГОВОРИЛА** тебе о том, что ты сводишь меня с ума. Век живи, век учись, не так ли? Ладно, пока ты жив, я полагаю, ты будешь учиться.

— Могу я получить мои пилюли теперь?

— Минуточку, — сказала она, не спуская глаз с его потного лица, его восковой бледности и красных пятен. — Сначала я хочу убедиться, что тебе **БОЛЬШЕ** ничего не надо. Ничего больше, что могла бы забыть старая глупая Энни Уилкз, потому что она не разбирается, как мистер Красавчик пишет книги. Я хочу убедиться, что ты не хочешь, чтобы я снова поехала в город и привезла тебе магнитофон или, может быть, пару специальных шлепанцев или что-то вроде этого. Потому что, если ты хочешь, я пойду. Твое желание — приказ для меня. Я даже не задержусь, чтобы дать тебе твоё лекарство. Я снова впрыгну в Старую Бесси и поеду. Итак, что ты скажешь, мистер Красавчик? Ты все понял?

— Я все понял, — сказал он. — Энни, пожалуйста...

— И ты больше не будешь бесить меня?

— Нет. Я больше не буду тебя бесить.

— Потому что, когда я злюсь, я теряю над собой контроль.

Она опустила глаза. И усталилась туда, где были плотно сжаты вместе его руки, под которыми он прятал упаковки с Новилом. Она продолжала смотреть в течение очень долгого времени.

— Пол? — спросила она его мягко. — Пол, почему ты так держишь руки?

Он начал плакать. Он плакал из-за своей вины, и именно это он ненавидел больше всего. Кроме всего прочего, что эта ужасная женщина сделала с ним, она заставила его также почувствовать себя виноватым. И так, — он плакал из-за своей вины... но еще из-за простой детской злобы.

Он взглянул на нее, слезы текли по его щекам, и он разыграл абсолютно последнюю карту у него на руках.

— Я хочу мои пилюли, — сказал он, — и мне нужен мочеприемник. Я терпел все время, пока тебя не было, Энни, но больше я не могу терпеть и я не хочу снова обмочиться.

Она улыбнулась нежно, лучисто и откинула упавшие волосы с его лба.

— Ты, мой дорогой бедняжка. Из-за Энни ты много натерпелся, не правда ли? Слишком много! Гадкая старая Энни!

XXXVI

Он не посмел бы положить пилюли под коврик даже, если у него было бы достаточно времени сделать это до ее возвращения — упаковки были маленькие, но выпуклости на ковре были бы слишком заметными. Как только он услышал, что она вошла в ванную комнату внизу, он достал их, обвел болезненно вокруг тела и положил их сзади в трусы. Острые углы упаковок вонзились ему в ягодицы.

Она вернулась с мочеприемником в одной руке — старомодным жестяным приспособлением, которое выглядело абсурдно, как сушилка. В другой руке она держала две капсулы Новрила и стакан воды.

«Еще две капсулы из тех, которые ты взял полчаса назад, могут привести тебя в состояние комы и затем убить», — подумал он. Его внутренний голос сразу же ответил: Ну и отлично.

Он взял пилюли и проглотил их с водой.

Она протянула мочеприемник.

— Тебе помочь?

— Я сам справлюсь, — ответил он.

Она тактично отвернулась, пока он неловко пристраивал свой пенис в холодную трубку и мочился. Он случайно взглянул на нее, когда слышались глухие всплески, и увидел, что она улыбалась.

— Все? — спросила она немного спустя.

— Да.

Он действительно очень хотел помочиться — при всем волнении у него не было времени подумать о таких вещах,

Она забрала у него мочеприемник и осторожно поставила на пол.

— Теперь давай вернемся в постель, — сказала она. — Ты наверное измучился... и твои ноги должно быть поют гранд опера.

Он кивнул, хотя правда заключалась в том, что он не мог НИЧЕГО чувствовать — полученное от нее лекарство дополнительно к тому, как он вылил сам, действовало с ужасающей скоростью, заставляя его терять сознание. Он начал видеть комнату через тонкую серую дымку. Он уцепился только за одну мысль — она собиралась перенести его в кровать; при этом нужно быть слепой и немой, чтобы не заметить небольшие упаковки с лекарством, торчащим из-под его нижнего белья.

Она подкатила его к краю кровати.

— Еще минуточку, Пол, и ты немного поспишь.

— Энни, не могла бы ты подождать минут пять? — взмолился он, Она взглянула на него, туман понемногу сгущался.

— Я думала, что ты очень страдаешь, забуддыга.

— Да, так и есть, — сказал он. — Очень больно... главным образом болят мои колени, где ты... ох, где ты ударила, потеряв самообладание. Я готов, чтобы ты перетащила меня! Но мне нужно пять минут, чтобы... чтобы...

Он знал, что хотел сказать, но это улетучилось из головы... в туман. Он смотрел беспомощно на нее, понимая, что она его в конце концов уличит.

— Дать лекарству подействовать? — спросила она. Он с благодарностью закивал головой.

— Конечно. Я сейчас только унесу кой-какие вещи и сразу же вернусь.

Как только она вышла из комнаты, он полез за спину, вытащил упаковки и засунул их по одной под матрац. Дымка сгущалась, постепенно переходя из серой в черную.

«Засунь их как можно дальше, — слепо подумал он. — Проверь, чтобы она не смогла вытащить их вместе с нижней простыней, когда будет менять постельное белье. Положи их как можно дальше...»

Он протолкнул последнюю картонку под матрац, затем откинулся назад и посмотрел на потолок, где пьяно танцевали на штукатурке трещины в виде

Африка, — подумал он.

Теперь я должна смыть, — подумал он.

О, я здесь в тюрьме, — подумал он.

Следы, — подумал он. — Оставил ли я следы?

Пол Шелдон потерял сознание. Когда он проснулся четырнадцать часов спустя, за окном снова падал снег.

ЧАСТЬ II МИЗЕРИ

*Литературное творчество не причиняет
страданий, оно несет в себе страдание.*

Монтейн

I

Пол Шелдон
ВОЗВРАЩЕНИЕ МИЗЕРИ

Посвящается Энни Уилкз

Часть I

Хотя Ян Кермайкл ни за какие сокровища мира не уехал бы из Литл Данторпа, но тут уж ему пришлось признать, что если где-нибудь в мире просто ИДЕТ дождь, то здесь, в Корнуолле, дождь ХЛЕЩЕТ.

На крючке около входа висело какое-то старое полотенце, не полотенце даже, а просто широкая полоса полотеничной ткани, и он воспользовался ею, чтобы высушить свои темно-русые волосы.

Издалека доносились в прихожую серебристые струнные звуки — играли Шопена; он замер с полотенцем в руке, прислушиваясь.

Влага стекала по его щекам, но не дождевые капли, а слезы.

Он вспомнил, как говорил Джеффри: «Ты не должен плакать перед ней, старик. Никогда не показывай слез».

Конечно, он был прав — старича Джеффри редко ошибался, но сейчас, когда уход Мизери был так близок, сдерживать слезы было порой совершенно невозможно. Он так любил ее, что без нее просто умер бы. Без Мизери жизнь просто остановилась бы в нем самом и вокруг него.

«Роды у нее были долгими и тяжелыми, хотя не дольше и не тяжелее, чем у других молодых леди, а я их повидала немало на своем веку», — как заявила акушерка. Это случилось около полуночи, как раз через час после того, как Джеффри ускакал навстречу собирающейся грозе, чтобы попытаться найти врача, о котором все настойчивее говорила акушерка. Как раз, когда началось кровотечение.

«Старича Джеффри!» — он произнес это вслух, входя в громадную кухню, где оцепеневшим облаком висел горячий воздух.

— Вы что-то сказали, молодой хозяин? — спросила его миссис Ремидж, экономка Кермайклов, капризная, но в общем-то добрая и любящая старушонка, когда он вошел в буфетную. Как обычно ее домашний чепец был перекошен и от нее несло табаком, но, несмотря на что, она все эти годы была твердо убеждена, что никто не догадывается об этой ее маленькой слабости.

— Да так, ничего, миссис Ремидж, — сказал Ян.

— Пальто небось промокло-то. Почитай от сарая и до дома все затопило во дворе!

— Я и сам чуть не утонул, — сказал Ян и подумал: «Если бы Джеффри с доктором опоздали всего на десять минут, она бы точно умерла». Он сознательно отгонял от себя эту мысль — она казалась ему жестокой и отвратительной, но другая мысль, мысль о том, как жить без Мизери, была еще ужасней, и потому первая частенько выползала откуда-то, поражая его собственной мерзостью.

Детский плач прервал его мрачные размышления. Нормальный, здоровый детский плач его сына, который про-

снулся и был весьма не прочь перекусить. Едва слышался голос Энни Уилкс, нянечки Томаса, которая слегка прикрывает на него, пока меняет пеленки.

— Ишь, какой голосок у нас нынче прорезался, — заметила миссис Ремидж.

На мгновение Ян подумал о том, что он теперь отец ребенка, и мысль эта безмерно удивила его. А потом он услышал, как его жена сказала:

— Привет, милый!

Он повернулся и посмотрел на Мизери, свою любимую. Она стояла на пороге, слегка покачиваясь, ее каштановые волосы неповторимого, удивительного оттенка, красноватые, как чуть тлеющие угольки, рассыпались и текли по плечам в совсем блистательном изобилии. Она все еще была бледна, но Ян заметил, что на щеках проступает возвращающийся румянец. Глаза у нее темные и глубокие и отблеск лампы вспыхивает над не зрачка, словно маленький бриллиант на темном бархате футляра.

— Дорогая! — воскликнул он и бросился к ней, как тогда в Ливерпуле, когда все думали, что ее похитили разбойники. Чокнутый Джек Уикерсон еще клялся в этом.

Миссис Ремидж вдруг вспомнила, что что-то забыла в прихожей и, тихонько улыбаясь, ушла, оставив их вдвоем.

Она и сама иногда думала о том, как повернулась бы их жизнь, появившись Джеффри с доктором на час позже в ту темную грозовую ночь, два месяца назад. Или если бы этот эксперимент с переливанием крови, когда молодой хозяин так смело отдал свою кровь Мизери, не удался.

— Эх, жизнь-жизнь... — пробормотала она и начала то-ропливо спускаться в циз, в холл. «О некоторых вещах лучше не думать», — хорошая мысль. Ее хозяин сам частенько повторял это, но оба они знали, что давать хорошие советы куда легче, чем следовать им.

Ян крепко прижал Мизери к себе, ему казалось, что он сейчас умрет, задохнувшись сладким запахом ее теплой и нежной кожи.

Рука его скользнула по ее груди, и он ощутил быстрое горячее биение ее сердца.

— Если бы ты умерла, я бы умер вместе с тобой, — шепнул он.

Она обвила руками его шею и теснее прижалась к нему грудью.

— Перестань, милый, — зашептала Мизери, — не говори глупостей. Я здесь, с тобой. Ну поцелуй же меня. Если я и умру, то только оттого, что слишком сильно хочу тебя.

Он прижался своими губами к ее и его руки окунулись в мягкие волны этих дивных волос. На мгновение все исчезло куда-то и они были в целом мире одни.

II

Энни положила страницы, исписанные на машинке, на ночной столик подле него. Он посмотрел на нее ожидая, что она скажет. И хотя его снедало любопытство, он совершенно не нервничал, только удивлялся, до чего оказалось легко вернуться обратно в мир Мизери. Это был старомодный мир мелодрамы, но тем не менее возвращение в него ни в коей мере не было, как он того ожидал, неприятным — напротив, это действовало успокаивающе, словно ты надеваешь старые и удобные комнатные туфли.

Потому у него просто челюсть отвисла, когда Энни сказала:

— Это неправильно.

— Ты... тебе что, не понравилось?

Он не верил своим ушам. Как ей могли другие рассказы про Мизери нравиться, а этот нет?! Он так выдержан в манере «Мизери», иногда до карикатурности, в том месте, например, где старая миссис Ремидж, так похожая на мать, тайком нюхает табак в кладовой; или когда Ян и Мизери лапают друг друга как два старомодных ребенка, возвращающихся домой после танцев в школе, да и все остальное тоже...

Теперь уже она выглядела сбитой с толку.

— Нравится ли мне? Конечно, нравится. Это прекрасно. Когда Ян заключил ее в объятия, я просто не смогла сдержаться и разрыдалась, — ее глаза и вправду покраснели. — И ты назвал нянечку Томаса в честь меня... Это так мило...

Он подумал: «Да, это шикарно, надеюсь. И, кстати, милочка, первоначально ребенка звали Син, если тебя это интересует, и я изменил имя только потому, что получалось слишком много «н», это не очень звучит».

— Тогда я боюсь, что не понимаю в чем дело.

— Да, ты не понимаешь. Я не сказала, что мне не понравилось, я сказала, что это неправильно. Это вранье. Тебе придется изменить кое-что.

Да... А когда-то он решил, что она прекрасный слушатель. Бог ты мой! Надо отдать тебе должное, Пол, если ты ошибаешься, то уж делаешь это на все сто. Выходит, что Постоянный Читатель превратился в Бессердечного Редактора.

Хотя никакого редактора и в помине не было, и Пол прекрасно это понимал, но лицо его само по себе приобрело выражение искреннего и сосредоточенного внимания, как бывало всегда, когда он выслушивал редакторов. Он сам называл это выражение ЧЕМ-МОГУ-БЫТЬ-ПОЛЕЗЕН-СУДАРЫНЯ?. Потому что большинство редакторов похожи на женщин, которые прикатывают на станцию техобслуживания и просят механика закрепить ту штуковину, что грохочет под капотом, или исправить то, что цепляется под крылом и издает ужасный скрежет, причем все должно быть готово через час. Выражение «искренней сосредоточенности» — то самое, что надо, потому что это льстит им, а когда редактор польщен, он иногда даже может отступить от какой-нибудь своей полоумной идеи.

— Каким образом это может быть враньем? — спросил он.

— А вот каким. Джеффри поехал за доктором, — сказала она. — Тут все нормально. Он действительно поехал. Это произошло в 38 главе. Но все дело в том, что доктор ведь не приехал, как это прекрасно тебе известно, потому что лошадь понесла, когда Джеффри пытался перескочить на ней эту дурацкую ограду мистера Крентропа, — я очень надеюсь, что этот мерзавец получит по заслугам в «Возвращении Мизери», — так вот, Джеффри упал с лошади и сломал плечо и несколько ребер. Он пролежал всю ночь под дождем, пока мимо не прошел мальчик со стадом и не подобрал его. Так что доктор и не приходил вовсе. Понимаешь?

— Да. — Он вдруг обнаружил, что не в силах оторвать от нее взгляда. Он думал, что она пытается изображать из себя редактора или даже соавтора, объясняя ему, что писать и как писать, но оказалось, что это не так. Взять хотя бы этого мистера Крентропа и его дурацкую ограду. Она НАДЕЯЛАСЬ, что он получит по заслугам, но она не требовала этого. Энни смотрела на процесс создания рассказа, как на нечто объективно происходящее, несмотря на очевидный контроль с его стороны. Но некоторые вещи просто невыполнимы. Чтобы ты при этом ни предпринимал, это будет не умнее, чем издавать прокламации, отменяющие законы притяжения, или играть в пинг-понг кирпичом.

Она действительно была и оставалась Постоянным Читателем, но даже постоянный Читатель это еще не Постоянная Поддержка.

Она не позволит ему убить Мизери, но она и не позволит ему вернуть ее к жизни с помощью обмана.

«Господи, но ведь я уже убил ее, — подумал он утомленно, — и что же мне теперь делать?»

— Когда я была маленькой, — сказала она, — были такие кино-сериалы, по одной серии в неделю. Про Таинственного Мстителя и Флеш Гордона, один еще про Френка Бака, который охотился в Африке на диких зверей и мог укрощать взглядом львов и тигров. Помнишь киносериалы?

— Я-то помню, но вот ты не можешь их помнить, это было слишком давно, Энни, — ты, наверное, видела их по телевидению, или у тебя был старший брат или сестра, которые рассказывали тебе про них.

Она обиженно сжала губы и ее подбородок на мгновение покрылся ямочками.

— Ну-ну, продолжай, идиот! Да, у меня был старший брат, и мы вместе ходили в кино по субботам. Это было в Бейкерфилде, в Калифорнии, где я выросла. И мне всегда очень нравилась кинохроника, и мультики, и полнометражки тоже, которые я смотрела перед очередной серией. И потом я целую неделю думала о ней до следующей серии, если мне школа надоедала или приходилось сидеть с детьми миссис Кренмиц, которая жила под нами. Я просто ненавидела ее детей.

Энни устала в угол и погрузилась в задумчивую тишину. Она словно отключилась, это случилось впервые за несколько дней, и он почувствовал себя неуютно — если это значит, что у нее плохое настроение, то ему лучше задраить люки.

Через некоторое время она очнулась и посмотрела вокруг как всегда с выражением некоторого изумления, словно не ожидала увидеть этот мир вновь.

— Больше всего я любила про Человека-Ракету. Он мог потерять сознание в небе, когда его воздушный корабль совершает энергетический прыжок в конце шестой серии «Смерть в небесах» или в конце девятой части «Огненная погибель». Он мог быть привязанным к стулу в горящем здании; иногда это был автомобиль без тормозов, иногда — ядовитый газ или электричество...

Энни говорила обо всем этом с просто потрясающей нежностью, которая выглядела весьма эксцентрично для нее.

— Его называли Клифф-вешатель, — осмелился было он.

Она нахмурилась:

— Я не знаю, хамло ты несчастное, черт побери! А я-то дура, думала, что ты должен доверять мне.

— Я верю тебе, Энни, правда, верю.

Она со злостью махнула на него рукой, и он понял, что не будет перебивать ее, по крайней мере сегодня.

— Здорово было придумывать, как ему удалось бы оттуда выбраться. Иногда у меня получалось, иногда — нет.

Она зорко глянула на него, убедиться, что он следит за ее рассказом. Пол подумал, что слушает ее достаточно внимательно, чтобы ничего не пропустить.

— Например, он теряет сознание в самолете. Потом он очнулся, а под его сиденьем был старый парашют, он надел его и выпрыгнул из самолета, и этого было достаточно.

«Тысячи учителей английского языка и литературы не согласились бы с тобой, милочка, — подумал Пол. — То, о чем ты говоришь, не что иное, как всего-навсего *deus ex machina*. Бог из машины, которого использовали в древнем греческом амфитеатре. Когда герой по вине автора оказывается в безвыходной ситуации, то с неба спускается трон, увитый цветами, героя усаживают в него и уносят на безопасное расстояние. И самому тупому ясно, что герой спасен Богом, хотя сей Бог из машины — на современном жаргоне его еще называют «старый-парашют-под-сиденьем-в-самолете» — вышел из моды примерно в 1700 году. Так, что милая Энни, ты, кажется, не следила за новостями. Впрочем, такие шедевры, как сериал про Человека-ракету или книги Ненси Дрю, несомненно, являются исключением».

И тут, Пол никогда не забудет этот жуткий момент, он чуть не взорвался хохотом. Если учитывать ее настроение этим утром, это могло повлечь за собой весьма неприятные последствия. Поэтому он прикрыл рот рукой, чтобы скрыть улыбку, которая буквально раздирала рот от уха до уха, и попытался изобразить приступ кашля.

Она стала колотить его по спине до боли.

— Лучше?

— Да, спасибо.

— Мне продолжать, Пол, или ты собираешься еще почихать немного? Может быть, принести ведро на тот случай, если тебя блевать потянет?

— Нет, Энни. Прошу тебя, продолжай. Все, что ты говоришь, — просто великолепно.

Она вроде бы успокоилась.

— Когда он находил парашют под сиденьем, то это было честно. Может быть, не слишком реалистично, но уж по всем правилам.

Он немного испугался — такая тонкая проницательность с ее стороны не могла не испугать. Но потом подумал, что в идеале слова «честно» и «реалистично» могут быть синонимами, но это только в идеале.

— Но у тебя другой случай, — сказала она, — то, что ты писал вчера, совершенно не согласуется с тем, что ты дал мне сегодня. Прощай тебя, Пол, послушай.

— Я весь внимание.

Она внимательно взглянула на него, не шутит ли он. Но лицо его оставалось бледным и серьезным лицом добросовестного студента. От смеха и следа не осталось. Он понял, что она знает все о *deus ex machina*, ну, разве кроме названия.

— Хорошо, — сказала она, — то была серия, где сломанные тормоза. Нехорошие парни посадили Человека-Ракету в машину без тормозов (но никто не знал, что он Человек-Ракета). Потом они заперли все двери и пустили машину по петляющей дороге вниз с горы. Могу тебе сказать, что в тот день я не могла усидеть на стуле.

Она сидела на краю его кровати, а он — напротив нее в кресле-каталке. После экспедиции в ванную и прихожую прошло уже пять дней, так что он вполне оправился после всего этого, и оправился куда быстрее, чем предполагал. Если бы не кашель, то его можно было бы считать совершенно здоровым.

Энни с отсутствующим видом смотрела на календарь, где улыбающийся мальчик катил на салазках через бесконечный февраль.

— Ну так вот. Это был бедный старый Человек-Ракета, который был засунут в автомобиль со сломанными тормозами без своего специального ракетного ранца и даже без шлема с односторонней видимостью. Одновременно он пытался остановить машину и открыть боковую дверцу. Так что хлопот ему хватало, все равно как одному-кому расклейщику газет.

Пол вдруг ясно увидел и понял, как эта жуткая мелодраматичная сцена может быть наполнена неподдельной тревогой ожидания. Весь фон перекошен, все в движении, рвется вниз с холма. Педаль тормоза безвольно проваливается, когда нога (он ясно представлял себе мужскую ногу, обутую по моде сороковых годов в туфель с открытым носом) давит на нее. Удар плечом в дверь, еще удар, машина цепляется за что-то снаружи, обнажая неровные бусинки сварки на швах.

Конечно, глупо и не литературно, но из этого может выйти что-нибудь путное, что заставляет сердце стучать быстрее.

Даже виски не потребуются: это фантастический по своей силе заменитель провинциальной поп-культуры.

—А потом ты видишь, что дорога заканчивается обрывом. И все понимают, что если Человек-Ракета не выберется из этого дерьма прежде, чем доедет до обрыва, то ему крышка. Мама! И тут показывают как машина подъезжает, Человек-Ракета пытается затормозить или вышибить дверь, и потом она... потом она едет дальше! Она вылетает в пространство и падает в океан. Падая, задняя часть ударяется о край обрыва, взрывается и погружается в океан. А потом появляется надпись, которая гласит «На следующей неделе смотрите часть II «Полет Дракона».

Она крепко сцепила руки и ее большая грудь быстро вздымалась и опускалась.

— После этого, — сказала она, — я уже не могла смотреть фильм. И всю следующую неделю я не просто думала про Человека-Ракету, а Я НЕ ПЕРЕСТАВАЛА ДУМАТЬ О НЕМ. Как же ему удалось выбраться? Я не могла даже предположить. В следующую субботу, в полдень, я стояла перед кинотеатром, хотя касса не открывалась раньше четверти второго, а сеанс начинался только в два.

Но Пол! Ты даже не представляешь, что произошло!

Пол ничего не сказал, но он вполне мог себе представить. Он знал, как сильно может нравиться что-то, например то, что он написал, хотя она знала, что это неправильно и сказала ему об этом не как редактор с его литературными сомнениями и недоверчивостью, а с неопровержимой уверенностью Постоянного Читателя. Он понимал, и ему, как ни странно, было стыдно за себя. Она оказалась абсолютно права. То, что он написал, было враньем.

— Новая серия всегда начиналась с того, чем окончилась предыдущая. Показали, как он едет вниз по дороге, показали обрыв, как он бьется в дверцу, пытаясь открыть ее. И потом, за секунду до того, как машина переезжает край обрыва, дверца открывается и он вылетает на дорогу! Машина обрушивается вниз, и все дети в зале издают одинаковые радостные возгласы, потому что Человек-Ракета спасся. НО НЕ Я! Я совершенно обезумела и начала вопить: «Это не то, что показывали на прошлой неделе! Это не то, что показывали на прошлой неделе!»

Энни вскочила и принялась быстро ходить по комнате, голова ее была опущена, курчавые волосы падали, обрамляя ее лицо, руки сцеплены, глаза сияют.

— Мой брат старался заставить меня замолчать, а когда я не замолчала, он закрыл мне рот рукой, но я ударила его по руке и снова заорала: «Это не то, что показывали на прошлой неделе! Вы что, все такие тупые, что не можете понять? Или у вас память отшибло?!» А мой брат сказал: «Энни, ты что, ненормальная?» — но я знала, что я нормальная! Пришел директор и сказал, что если я не замолчу, то

мне придется уйти, а я сказала: «Можете не беспокоиться, я все равно собираюсь уходить, потому что это все грязное вранье, это не то, что показывали на прошлой неделе».

Она посмотрела на него, и Пол ясно увидел в ее глазах убийство.

— Он не выбрался из этой вонючей машины. Она переехала через край, свалилась в океан, а он находился внутри. Ты понимаешь это?

— Да, — сказал он.

— ТЫ ЭТО ПОНИМАЕШЬ?!

Она дико и проворно подскочила к нему, и он подумал, что она опять хочет причинить ему боль хотя бы потому, что не может сделать это подлецам, которые наврали, будто Человек-Ракета выбрался из машины прежде, чем она полетела с обрыва. Он не двигался и видел источник ее сегодняшней неуравновешенности в прошлом через окно, которое она сама только что открыла перед ним. Он чувствовал всю несправедливость, которую чувствовала она, и ему было больно, несмотря на всю детскость этой обиды.

Она не ударила его, а только ухватила за халат и притянула к себе так, что их лица почти соприкоснулись.

— ПОНИМАЕШЬ?

— Да, Энни, да.

Она бросила на него пристальный взгляд, полный бешеной ярости, но, должно быть, прочитала правду на его лице, потому что через мгновение презрительно швырнула его в кресло.

Его перекосило от пронизывающей боли, которая, впрочем, скоро улеглась.

— Тогда ты знаешь, что неправильно, — сказала она.

— Мне кажется, я знаю, — сказал он и подумал: «Черт возьми, но я не знаю, как я буду исправлять это».

Но другой голос сразу сказал: Меня не интересует, что ты знаешь или не знаешь. Потому что, если ты не придумаеть способа оживить Мизери так, чтобы она поверила, — она просто убьет тебя.

— Значит, сделай все как надо, — резко сказала она и вышла из комнаты.

III

Пол посмотрел на пишущую машинку. Она была здесь.

«Н»! Он никогда не задумывался о том, сколько раз в среднем встречается буква «н» в печатной строке.

А я-то думал, что ты надежный малый, — сказала пишущая машинка, — в его воображении это был ехидный ломающийся голос. Голос юнца с винчестером из голливудского вестерна, ребенка, кото-

рый настойчиво зарабатывает себе репутацию здесь, в Дэдвуде. — Но ты не так хорош. Черт возьми, ты не смог даже угодить этой подоумной толстой экс-няньке. Может быть, в этой аварии у тебя и писательская косточка тоже поломалась... да, только эта косточка уже не срастется.

Он откинулся назад, насколько позволяло кресло-каталка, и закрыл глаза. Неприятие ею им написанного было бы легче перенести, если все свалить на боль, но на самом деле она уже понемногу утихала.

Украденные таблетки были запрятаны под матрасом. Он не взял ни одной, хотя мог сделать это в любой момент. Одного вида Энни было достаточно, чтобы никогда не решиться на это. Он предполагал, что она бы нашла их, если бы ей пришлось в голову перевернуть матрас, но все же оставался хоть какой-то шанс.

После той ссоры из-за бумаги для пишущей машинки, между ними не было никаких конфликтов. Он регулярно размышлял, неужели она думает, что поймала его на крючок с этими таблетками?

Ну-ну, давай, Пол, а то ты, кажется, немного драматизируешь.

Нет, он не драматизировал. Три ночи назад, когда он был уверен, что она наверху, он тайком достал коробочки и прочитал все, что написано на этикетке, хотя было достаточно знать главный ингредиент. Может быть, ты надеялся, что это расслабляющее — Ролайд, но на самом деле это Новрил кодеин.

Ты вылечиваешься, Пол, это факт. Ниже колен твои ноги розовые как у четырехлетнего, но ты выздоравливаешь. Теперь тебе будет достаточно и аспирина. А Новрил — это не для тебя, скорми его лучше обезьянке.

Но ему придется бросить, отказаться от таблеток; пока он не сделает этого, она сможет держать его в кресле-каталке на цепи из таблеток Новрила.

Прекрасно, я буду одну из таблеток проглатывать, а другую класть под язык, а потом засовывать под матрас, когда она будет выносить стакан. Только не сегодня. Я не готов начать прямо сегодня: я начну завтра с утра.

И он ясно услышал голос Белой Королевы, которая говорила Алисе: «Здесь наши дела уже сделаны вчера, и мы планируем начать делать их завтра, но мы никогда не делаем их сегодня».

Хо-хо, Полли, ты что-то разбушевался, прямо настоящий бунтарь, — сказала пишущая машинка голосом хулигана и бездельника.

— Мы, «грязные твари», никогда не делаем ничего хорошего, хотя всегда очень стараемся.

Ну, тебе лучше подумать обо всех наркотиках, которые ты принимал, и подумать об этом серьезно.

Он сразу решил, что будет уклоняться от некоторых лекарств, как только напишет первую главу так, чтобы она понравилась Энни и не казалась ей враньем.

Одна половина его существа — та часть, которая не выносила никаких, даже самых тонких и правильных рекомендаций редакторов, — не могла согласиться с тем, что Энни «полоумная сиделка» и что не ей судить о том, что хорошо, а что плохо, и что она не просто играет, а еще и блефует.

Но другая его половина — гораздо более чувствительная — протестовала и не соглашалась с первой. Он бы сразу понял, что это стоящая вещь, как только нашел их. Настоящие наркотики помогли бы ему нормально написать то, что он дал ей вчера читать, и у него не получилось бы такой туфты, как эта, которая впустую заняла у него три дня. По сравнению с его остальной писаниной, эта и дерьма собачьего не стоила.

Разве он не знал, что это все неправильно? Это было на него не похоже, работа никогда не шла так болезненно, и корзина не была забита наугад исписанными листами, где-то на середине оканчивающимися строчкой типа: «Мизери повернулась к нему, глаза ее блеснули, а губы шептали волшебные слова идиот, ДА ЭТО ЖЕ СОВСЕМ НЕ ТО!!!». Он начинал яростно выдергивать листы из машинки, как будто от того, что он напишет, зависел не просто его ужин, а сама жизнь. Подобные мысли, конечно, не были правдой, но выглядели весьма правдоподобно. На самом деле все было очень пресно и обыденно. Работа шла плохо, потому что он врал и сам знал об этом своем вранье.

Да она видит тебя насквозь, безмозглая твоя башка, — сказала пишущая машинка. Голос у нее был по-прежнему мерзкий и наглый. — Что, скажешь нет? И вообще, что ты собираешься предпринять?

Он понимал, что ему придется предпринимать что-то, хотя и не знал, что именно, но как можно скорей. Ее настроение сегодня утром ему очень не понравилось. Он считал, что ему крупно повезло, что она не поломала ему опять ноги и не дала ему аккумуляторной кислоты или чего-нибудь в этом роде, чтобы показать ему свое плохое настроение и недовольство его книгой. Подобное проявление критики было вполне возможно, учитывая уникальное мировоззрение Энни. Если ему удастся выбраться отсюда живым, ему следует написать записку Кристоферу Хейлу. Хейл писал рецензии на книги для «Нью-Йорк Таймс». В записке бы говорилось: «Когда мой редактор звонил мне и говорил, что в ежедневнике «Таймс» появится твоя рецензия на мою книгу, я благодарил судьбу. Ты всегда писал что-нибудь хорошее, Крис, дружище, хотя и ты все же проехался по

мне разок, тебе это не хуже меня известно. В любом случае, я просто хотел сказать, чтобы ты продолжал в том же духе. А может быть, даже сделал кое-что похуже. Я тут открыл новый способ критики, приятель, мы назовем его «Мясо по-колорадски» или «Школа Половых Ведер». После такой критики твои подопечные будут ходить по улице, осторожно ступая на землю и испуганно оглядываясь».

Это, конечно, очень забавно, Пол, писать критикам любовные записочки. Однако не кажется ли тебе, что, прежде чем пить чай, надо бы раздобыть хотя бы чайник.

Да. Действительно.

Пишущая машинка сидела здесь и, ухмыляясь, поглядывала на него.

— Ненавижу тебя, — сказал он мрачно и стал смотреть в окно.

IV

Снегопад, начавшийся на следующее утро после экспедиции в ванную, продолжался два дня и за это время навалило снега дюймов восемнадцать, не меньше, к тому же сильно мело. И к тому времени, когда солнце наконец прорвалось сквозь тучи, «Чероки» Энни больше всего напоминал верблюжий горб, его расплывчатые снежные очертания едва были видны на дороге.

Теперь, как бы то ни было, солнце появилось вновь и небо опять было прекрасным. Солнце не только сияло, оно еще и грело — он чувствовал это тепло на своем лице, когда сидел. Сосульки вдоль крыши сарая снова стали капать. На мгновение он подумал о своем автомобиле, оставшемся там, под снегом, а затем взял лист бумаги и вставил его в «Ройал». В левом верхнем углу он напечатал слова «Возвращение Мизери» и поставил 1 в правом. Он ударял по клавишам сильнее, чем нужно, чтобы ей было понятно, что он что-то пишет. По крайней мере что-то.

Теперь все это пустое белое пространство под словами «Глава 1» напоминало ему заснеженный берег, куда он мог упасть и умереть, замерзнув.

Африка.

Пока они играли честно.

— Эта птица прилетела из Африки.

Под сиденьем был парашют.

Африка.

А теперь я должен запить.

Мысли его разбегались в разные стороны, хотя он знал, что ему не следует этого делать. Если она войдет и увидит, что он, вместо того

чтобы работать, мается дурью, она просто с ума сойдет от бешенства, но тем не менее он не сопротивлялся. Он не то чтобы просто дремал, он в некотором смысле размышлял, смотрел, искал.

Искал? Что же ты искал, Полли?

Это было однозначно. Самолет совершал энергетический прыжок. А он искал парашют под сиденьем. Ну как, пойдет? Достаточно ли это честно?

Пойдет. Когда он находил парашют под сиденьем — это честно. Может быть, не очень реалистично, но честно.

Два лета подряд мама отправляла его в детский лагерь в Мэдлен, и там они играли в эту игру... Когда они усаживались в круг и играли во что-то вроде этих киносериалов, он почти всегда выигрывал... Как же эта игра называлась?

Он ясно представил себе пятнадцать—двадцать мальчиков и девочек, сидящих кругом в тенистом углу на детской площадке, на всех надеты футболки с эмблемой Мэдленского Детского Лагеря, и все внимательно слушают воспитателя, который объясняет им правила игры. «Сможешь ли ты?» — вот как называлась игра. И она была совсем как супербоевик, эта игра, в которую ты играл, Полли, и именно так называется игра, в которую ты играешь теперь, не правда ли?

Да. Он предполагал, что так оно и есть.

В «Сможешь ли ты?» воспитатель начинал рассказ про человека по имени Корриган Побоку. Этот Побоку потерялся в джунглях Южной Америки. Внезапно он оглядывается и видит, что позади него львы, справа от него львы, слева — львы, и, — О Боже! — впереди тоже львы! Короче говоря, он со всех сторон окружен львами и они потихоньку продвигаются к нему. Пока эти кисоньки никуда не спешат, потому что только пять часов дня, а на ужин у них будет вот этот зазевавшийся наркоша, причем эти львы, как и все южноамериканские львы на свете, весьма заинтересованы в своем ужине.

У воспитателя был секундомер, и Пол Шелдон с потрясающей ясностью увидел его перед собой, хотя в последний раз держал его в руках, ощущая его серебристо-чистый холодный вес, лет тридцать назад. Он снова видел медную пластинку циферблата, маленькую стрелочку внизу, которая показывала десятые секунды, фабричное клеймо, оттисненное крохотными буквами — «АННЕКС».

Воспитатель оглядывал круг и выбирал кого-нибудь из детей. «Дэниел, — говорил он, например, — сможешь ли ты?» В тот момент, когда он произносит последнее слово, он нажимает на секундомер.

После этого Дэниел имел ровно десять секунд, чтобы продолжить историю. Если за это время он не начинал говорить, ему приходилось покидать круг. Но если он находил способ вызволить Корригана из

львиной осады, то воспитатель смотрел на всех сидящих в круге и задавал еще один вопрос, чтобы восстановить в памяти всю ситуацию. Вопрос звучал следующим образом: «Так ли это?»

Правила к первой части этой игры были словно составлены самой Энни. Не требовалась никакая реалистичность, нужна была только честность. Дэниел мог, например, сказать: «Но, к счастью, у Корригана был с собой винчестер и куча боеприпасов. Так что он застрелил двух-трех львов, а остальные обратились в бегство».

Но десять секунд — это было совсем немного, и за это время трудно было придумать что-нибудь, гораздо легче было соврать. Следующий ребенок мог вполне заявить что-нибудь типа: «И как раз в это время огромная птица — я так думаю, что это был, наверное, Андский кондор, — слетела вниз. Корриган Побоку схватил его за шею и улетел с ним подальше от опасного места».

Когда воспитатель спрашивая: «Так ли это?» — ты должен был поднять руку, если считал, что это правда, или не поднимать, если думал, что это не так. Рассказавший про Андского кондора, несомненно, вышел бы из игры.

«Сможешь ли ты, Пол?»

Да. Только так я и выживу. Только так я поймаю двух зайцев и не потеряю ничего. Потому что я смогу, и мне не за что просить прощения, черт подери.

Много народу пишет прозу и получше меня, и лучше понимает, что люди любят, а что для них — ад. Я знаю. Но когда после их рассказа воспитатель спрашивает публику: «Так ли это?», только несколько человек поднимают руку. Но они поднимают руку за меня... или за Мизери... я думаю, это одно и то же

Смогу ли я? Смогу, конечно. Держу пари, что я это сумею. В мире существует много вещей, которые мне не по силам, но не это. Мог я хоть раз удержать крученный мяч, когда учился в школе? Я не могу держать язык за зубами, не могу кататься на роликах, не могу играть аккорды на гитаре, тем более что звучит это хреново. Дважды я пробовал жениться, но ни разу у меня и это не получилось. Но если ты хочешь, чтобы я увлек тебя, напугал или обрадовал, заставил плакать или смеяться, то ты не ошибся адресом. Это я могу. Я умею делать так, что ты будешь плакать и смеяться, любить и ненавидеть по моей воле столько, сколько захочу я, пока ты сам не запросишь пощады. Я МОГУ.

Надменный голос сопляка с винчестером зашептал где-то на дне его мечты.

Что же мы видим, друзья? Мы видим только две вещи, но зато в огромных количествах: много разговоров и много пустого места.

Сможешь ли ты?

Да. Да!

Так ли это?

Нет. Он соврал. В «Ребенке Мизери» доктор совсем не приходил. Ты, конечно, мог и забыть, что произошло на прошлой неделе, но каменные идола ничего никогда не забывают. Полу придется выйти из игры. Теперь я должен запить. Теперь я должен...

V

«...запить...» — пробормотал он и перевалился на другой бок. Его левая нога при этом шелохнулась и пронизывающая насквозь стрела боли разбудила его окончательно. Прошло уже пять минут. Он услышал, что Энни моет посуду в кухне. Обычно она напевала, когда делала что-нибудь по дому, но не сегодня; слышалось только гремяние тарелок в раковине и привычный шум текущей воды. Еще одна плохая примета. «Специальная сводка погоды для населенных районов Шелдонского графства: вероятность возникновения бурана до семнадцати часов. Повторяю, вероятность...»

Но пора уже оставить игрушки и заняться делом. Она хочет, чтобы Мизери вернулась к жизни, но это должно быть по-честному. Если он сумеет сделать это сегодня утром, тогда, возможно, он сумеет избежать депрессии, которая, он ясно чувствовал это, надвигалась на него с неукротимостью поезда, катящегося под горку с огромной скоростью и сломанными тормозами.

Опершись подбородком на руку, Пол посмотрел в окно. Теперь он уже проснулся окончательно и начал думать, быстро и напряженно, но не вполне еще соображая, что же все-таки происходит. Те две трети его сознания, которые больше имели отношения к таким вопросам, как: когда он в последний раз мыл голову или принесет ли Энни следующую дозу вовремя совершенно отключились. Эта часть сознания словно ушла куда-то, погулять там, или шашлычка покушать, или еще что-нибудь в этом роде. Восприятие его бездействовало, он весь переключился на внутренние процессы и не видел, и не слышал ничего вокруг.

Другая половина с бешеной скоростью вырабатывала идеи, сортировала их, проверяла, комбинировала, проверяла комбинации и т.д. Он чувствовал, что процесс этот произволен, но никак не мог, да и не хотел воздействовать или контролировать его. В этой грязной мастерской было скверно и гадостно воняло.

Он понимал все это как попытку найти идею или, другими словами, ДОДУМАТЬСЯ ДО. Додумываться — это не то же самое,

что придумывать. Придумать — примерно то же самое, что крикнуть. «Эврика! Я вдохновлен! Моя муза заговорила!» — ну, может, только поскромнее.

Идея «Скоростных машин» пришла к нему однажды в Нью-Йорке. Он вышел в город с мыслью о покупке видеомэгнитофона для своего дома на Восемьдесят третьей улице. Проходя мимо автомобильной стоянки, он увидел парня, который пытался взломать машину. И все. Пол и понятия не имел, было ли то, что он видел, законным или нет, а к тому времени как он прошел еще пару кварталов, ему уже было на это наплевать. Тот парень стал Тони Бонасаро. Пол знал о Тони все, кроме его имени, которое он позже выудил из телефонной книги, открыв ее наугад. Половина истории уже существовала в законченном совершенном виде в его уме, а остальное очень быстро сформировалось и встало на свои места.

У него кружилась голова от восторга, он был пьян от счастья. Явилась муза, желанная, как неожиданный чек в письме, когда дела идут хреново. Он вышел из дома, чтобы купить видеомэгнитофон, а вернулся с чем-то гораздо большим. Он ПРИДУМАЛ!

Процесс же додумывания — своего рода экзальтация — был немного загадочней. Потому что когда ты пишешь роман, ты почти всегда натыкаешься на препятствия и совершенно бессмысленно пытаешься в этом случае продолжать, пока ты не додумаешься ДО.

Обычно, когда ему надо было додуматься, он надевал пальто и отправлялся на прогулку. Когда он просто выходил прогуляться, он брал с собой книгу. Он считал прогулку хорошим физическим упражнением, но ему это было скучно. Если тебе не с кем поговорить во время прогулки, то уж книга совершенно необходима. Но когда тебе нужно додуматься до чего-нибудь, то скука действует на застопорившийся роман не хуже, чем химиотерапия на ракового больного.

В середине «Скоростных машин» Тони убил лейтенанта Грея, когда тот хотел дать ему по морде, в кинотеатре на Таймс Сквер. Полу не хотелось, чтобы Тони влип из-за этого убийства хотя бы потому, что если он окажется в тюрьме, то третьей части романа не бывать. Пока что Тони не мог просто оставить Грея в кинотеатре с ножом, до половины торчащим у него из левого бока, потому что по крайней мере три человека знали, что Грей пошел на встречу с Тони.

Вся проблема состояла в том, куда деть тело, и Пол не знал, как ее решить. Это было препятствием. И это было игрой.

Допустим, Побок убил этого мужика. Теперь ему нужно оттащить труп в машину так, чтобы никто не сказал ему: «Эй, мистер, а что, этот парень и вправду так мертв, как кажется, или он просто ногу подвернул?» Если он оттащит тело Грея назад в машину, он

может отвезти его в Куинз и оставить в недостроенном доме, который он знал. Ну как, Полли? Сможешь ли ты?

Тут, конечно, никто не засекал десяти секунд — у него не было контракта на книгу, он писал ее для себя, и не стоило волноваться из-за какой-то заранее установленной даты. Тем не менее всегда существует какой-то определенный срок, по истечении которого автору приходится выбывать из игры, и большинство писателей знает об этом. Если книга слишком долго остается в стопоре, то она становится все скучнее и скучнее, разваливается, и в конце концов все маленькие трюки и хитрости вылезают наружу в самом неприглядном виде.

Он пошел погулять, думая о чем-то краешком мозга, вот так же, как сейчас. Он прошагал три мили, прежде чем с конвейера сошла нужная мысль: А ЧТО, ЕСЛИ ОН УСТРОИТ ПОЖАР В КИНОТЕАТРЕ?

Это могло сработать. У него не было чувства тошноты или, наоборот, вдохновения, он чувствовал себя скульптором, глядящим на глыбу, из которой должно выйти нечто гениальное.

Тони мог бы поджечь обивку соседнего кресла. Чертовы кресла в этих кинотеатрах всегда распотрошены. Тогда будет много дыму. Очень много дыму. Он бы высидел сколько смог, а потом утащил Грея с собой. Вполне можно будет сказать, что тот задохнулся от дыма.

Он подумал, что это ничего. Не слишком грандиозно, над очень многими деталями надо будет поработать, но в целом это выглядело что надо. Он ДОДУМАЛСЯ! Работа могла продолжаться.

Ему никогда не приходилось додумываться, чтобы начать книгу, но инстинктивно он чувствовал, что такое возможно.

Он спокойно сидел в кресле, положив подбородок на руки, разглядывая в окно сарай. Если бы он мог пойти погулять, он отправился бы туда, в поле. Он сидел, подремывая, в ожидании, зная, что этот воздушный замок, который он строит, чтобы заставить ее поверить, может запросто рухнуть и обратиться в ничто, стоит только неосторожно плюнуть. Прошло десять минут. Пятнадцать. Теперь она уже пылесосила прихожую (по-прежнему в полной тишине). Он мог слышать все, но он и не прислушивался; звук этот был бессмысленным и ни с чем не связанным, он проходил через все его существо и бесследно исчезал в пространстве, как вода вытекает из крана и уходит в сточную трубу.

Наконец там, внизу, в этой грязной мастерской идей, как обычно с лязгом и грохотом, рассыпая искры и обдавая жаром, что-то сошло с конвейера.

Бедняги, всю жизнь они долбаются там, внизу, в этом дерьме, ни на минуту не прекращая своей работы, а он ни разу еще не поблагодарил их и не дал им отдохнуть.

Пол замер. Он начинал ДОДУМЫВАТЬСЯ. К нему возвращалось осознание действительности... ВРАЧ БЫЛ... он выуживал мысль, как вытягивают письмо за уголок из щели почтового ящика на двери.

Он начал проверять ее. Он чуть было не отказался от нее (разве могут сделать что-нибудь нормальное в этой задрипанной конторе), потом признал, решил, что половина этого может пригодиться.

Вторая вспышка, куда ярче предыдущей.

Пол беспокойно забарабанил пальцами по подоконнику.

Около одиннадцати он начал печатать. Сначала очень медленно — отдельные удары по клавишам, перемежающиеся долгими пространствами, заполненными тишиной, иногда по пятнадцать—двадцать секунд. Как архипелаг, когда смотришь с высоты, — цепь невысоких бугорков, разорванная изломами лазурита.

Понемногу разрывы уменьшались, удары становились все чаще и чаще, пока наконец воздух не взорвался этими звуками.

На его электрической машинке это были бы приятные мягкие звуки, но этот отвратительный «Ройал» издавал только мерзкое клацканье. Но Пол ничего этого не замечал.

Он начал разогреваться к концу первой страницы, а когда заканчивал вторую — то уже гнал всю.

Через некоторое время Энни выключила пылесос и встала в дверях, наблюдая за ним. Пол не заметил ее присутствия, в этот момент он не замечал даже собственного существования. Он окончательно отдалился от действительности и находился сейчас в церковном дворике Литл Данторпа, вдыхал влажный ночной воздух, чувствовал запах тумана, земли и мха; он ощущал, как часы на башне пресвитерианской церкви пробили два и кидал все это на бумагу, не пропуская ни одной мелочи. Когда работа шла хорошо, он мог видеть сквозь фразы. И теперь у него снова было такое чувство.

Энни наблюдала за ним довольно долго, на ее тяжелом лице не было и тени улыбки, оно не двигалось, но выражало некоторое удовлетворение, потом она удалилась. Поступь ее была тяжелой, но Пол и этого не слышал.

В тот день он работал до трех, а в восемь попросил ее помочь ему усесться в кресло-каталку снова. Он писал еще целых три часа, хотя часов в десять боль начала становиться совершенно невыносимой. Энни пришла в одиннадцать. Он попросил у нее еще пятнадцать минут.

— Нет, Пол, достаточно. Ты белый как мел.

Она уложила его в постель, и через три минуты он заснул. Он проспал всю ночь, впервые с тех пор, как вышел из серого облака, и впервые спал без сновидений.

Он грезил наяву.

ВОЗРАЩЕНИЕ МИЗЕРИ

Пол Шелдон

Посвящается Энн и Уилкз.

I

Какое-то мгновение Джеффри Эллибертон не был уверен, что знает этого человека, который стоит в дверях перед ним, и это было не только потому, что звонок вывел его из состояния глубокой дремоты. В деревенской жизни его всегда раздражало, что нет никого, кто был бы совершенно незнакомым, и в то же время знать всех было также невозможно, потому что в округе располагалось несколько деревень. Иногда бывало, что люди просто похожи друг на друга, потому что многие находились в родстве между собой. Но родственники могут быть и непохожи, а вот какой-нибудь незаконнорожденный частенько наследует ту или иную фамильную черту.

— Надеюсь, что не очень побеспокою, сэр, — сказал посетитель, нервно вертя в руках дешевую матерчатую кепку. В мечущемся свете фонаря Джеффри заметил, что его желтоватое морщинистое лицо выглядело ужасно испуганным.

— По правде говоря, мне очень не хотелось бы идти к доктору Букинсу или беспокоить Его светлость, по крайней мере, пока не поговорю с вами, если вы понимаете о чем я, сэр.

Джеффри не очень понимал, о чем он толкует, но до чего вдруг дошло, кем был этот человек, явившийся с таким поздним визитом. Помогло упоминание о докторе Букинсе. Три дня назад доктор Букинс исполнил последний обряд над Мизери в церковном дворике за домом приходского священника, и этот парень тоже был там — он притаился на заднем плане, словно меньше всего хотел быть замеченным.

Его звали Колтер. Он работал при церкви. Короче, он был могильщиком.

— Колтер, — сказал Джеффри, — чем могу быть полезен? Тот, колеблясь, заговорил.

— Это шум, сэр. Там, в церковном дворе. Ее светлость не покоится, сэр, нет... я боюсь, и очень беспокоюсь, я...

Джеффри словно ударили под дых. Он судорожно глотнул воздух и горячая боль пронзила его в том месте, где бок был туго забинтован доктором Шайнбоном. Шайнбон сделал мрачное заключение, что Джеффри должен непременно заболеть пневмонией после того, как пролежал всю ночь под проливным дождем в грязной канаве, но прошло уже три дня, а ни малейшего намека на жар или кашель не было. Джеффри знал, что их и не будет. Бог не отпускает вину так легко. Он верил, что ему суждено жить очень долго и вечно помнить о своей потерянной любви.

— С вами все нормально, сэр? — спросил Колтер. — Я слышал, вы страшно упали в ту ночь, — он запнулся, — ну, в ту ночь, когда она и умерла...

— Я прекрасно себя чувствую, — сказал Джеффри медленно. — Колтер, эти звуки, шум, который, по твоим словам, ты слышишь... ты же знаешь, что это просто игра воображения, не так ли? .

Колтер выглядел изумленным.

— Игра воображения? — переспросил он. — Да ну, сударь! Вы еще скажите, что не верите в Иисуса и вечную жизнь! Зачем же вы так! Разве Дункан Фротсли не видел старика Паттерсона меньше чем через два дня после его похорон, он весь светился белым, прямо как блуждающий огонек? («Гораздо более вероятно, — подумал Джеффри, — что это и был блуждающий огонек и плюс то, что вылезло из последней бутылки старого Фротсли».) И разве половина этого зачуханного городишки не видала того монаха-католика, что ходил по стене поместья Риджхис? Тогда еще из этого чертова Лондона прислали двух бабенок, чтобы они понаблюдали это самое!

Джеффри знал, о ком говорил Колтер — две помешанные истерички, которые, по-видимому, решали жизненно важные вопросы отношений с потусторонним миром и рехнулись окончательно.

— Привидения такие же реальные, как и мы с вами, сэр, — Колтер говорил серьезно.

— Я ничего не имею против привидений, — продолжал он, — но звуки эти такие призрачные и такие жуткие, что мне вряд ли еще когда-нибудь захочется даже просто подойти к церковному двору, — а завтра мне придется копать для Райдменов, у них малыш помер, так вот...

Джеффри мысленно молил Господа послать ему терпения. Желание цаорать на этого несчастного служителя было совершенно нестерпимо. Он мирно дремал перед камином с книгой на коленях, когда пришел Колтер, разбудил его... он просыпался все больше, и с каждой минутой все глубже проникало в него сознание, что любимая умерла, тупое отчаяние все сильнее охватывало его.

Третий день уже как она в своей могиле, скоро уже будет неделя... месяц... год... десять лет...

«Печаль, — подумал он, — подобна скале на берегу океана. Когда спишь, начинается прилив и приносит облегчение. Сол, как прилив, накрывает скалу печали. Но когда просыпаешься, вода постепенно спадает и скала вновь становится видимой, инкрустированная ракушками принадлежность неоспоримой реальности, она будет стоять вечно или по крайней мере до тех пор, пока Бог, и только он, не решит стереть ее с лица земли.

А этот дурак приперся сюда и несет какую-то грандиозную чушь по поводу привидений».

Но вид у него был такой несчастный, что Джеффри нашел в себе силы сдержаться.

— Миссис Мизери, Ее Светлость — ее ведь очень любили, — спокойно сказал Джеффри.

— О да, сэр, ее любили, — горячо согласился Колтер. Правая его рука продолжала осторожно крутить кепку, а левая, казалось, совершенно не связанная с правой, извлекала из кармана носовой платок гигантских размеров. Колтер шмыгнул носом, глаза его увлажнились.

— Мы все печалимся об ее уходе, — руки Джеффри беспокойно мусолили полу муслиновой рубашки.

— О, да, сэр, мы очень печалимся, сэр, очень, — слова Колтера были заглушены носовым платком, но Джеффри видел его глаза, тот действительно плакал. Последние крохи его досады растворились в жалости. — Она была хорошей леди, сэр! Да, она была чудесной леди. Просто не представляю, как Его Светлость переживает такой ужас...

— Да-да, она была... она была прекрасной, — нежно сказал Джеффри, с испугом обнаруживая, что у Него самого вот-вот хлынут как августовский дождь слезы. — И иногда, Колтер, когда кто-то, особенн о кто-то очень хороший, умирает, кто-то, кто очень дорог нам, — мы понимаем, как трудно смириться с тем, что он покидает нас. И тогда мы можем вообразить, будто они и не умирали. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, сэр, а то как же, понимаю! — нетерпеливо сказал Колтер, — но эти звуки... сэр, если бы Вы их только слышали!

— Что за звуки ты имеешь в виду? — терпеливо спросил Джеффри.

Он думал, что Колтер начнет говорить о звуках, которые могли бы быть не больше, чем шум ветра в деревьях, звуки, преувеличенные его воображением, конечно, или, быть может, бобер строит плотину на речке, которая течет как раз позади церкви. И потому он не был готов услышать слова Колтера:

— Поскребывание, сэр! Такие звуки, как будто она осталась жива там, внизу, и теперь проделывает себе дорогу назад на землю, к жизни, вот какие звуки!

II

Пятнадцать минут спустя, снова оставшись в одиночестве, Джеффри подошел к буфету в столовой. Его шатало, как если бы он пробирался по палубе во время шторма. Он чувствовал, будто его самого носит в бушующем океане. Он

мог бы поверить, что лихорадка, которую почти восторженно предсказывал доктор Шайнбоу, наконец явилась и принесла с собой мечь. Но не лихорадка была причиной того, что щеки его покраснелись, а лицо сделалось словно восковым, не лихорадка заставила его руки трястись так, что он чуть не уронил графин с бренди, когда доставал его из буфета.

Если бы был шанс — хоть малейший шанс, что чудовищная идея, пустившая корни в разуме Колтера, оправдается, — медлить больше не имеет смысла.

Он почувствовал, что ему надо выпить, иначе он упадет в обморок. И тут Джеффри Эллибертон сделал нечто, чего он никогда в жизни не делал и никогда больше не сделает. Он поднял графин и стал пить из горлышка.

Потом он отступил на шаг и прошептал:

— Посмотрим. Обязательно посмотрим. И если вся эта безумная идея окажется не больше, чем бред полоумного могильщика, уши старины Колтера будут болтаться у меня на цепочке от часов и мне плевать, любил он Мизери или нет.

III

Коляска, запряженная пони, везла его под жутким беспокойным небом, где почти полная луна то выныривала, то вновь исчезала среди мчащихся облачных изломов, словно ища и не находя покоя. Выходя из дому, он лишь на мгновение замешкался у стенового шкафа в прихожей, чтобы накинуть на себя первую попавшуюся под руки вещь — ею оказался темно-бордового цвета жакет. Фалды развевались позади, когда он подхлестывал старушку Мери. Старой кобыле не очень нравилось, что хозяин ее так торопит, а Джеффри не нравилась боль, в плече и боку... но это было не так важно.

Поскребывание, сэр! Такие звуки, словно она все еще жива там, внизу, и пытается выбраться оттуда...

Само по себе предположение Колтера не привело бы его в такой ужас, если бы он не помнил, как он пришел в усадьбу

на следующий день после смерти Мизери. Они с Яном посмотрели друг на друга, и Ян попытался улыбнуться, хотя глаза его были полны слез.

— Может, было бы полегче, — сказал Ян, — если бы она... ну... была бы похожа на мертвую... понимаешь... а то она совсем как живая, словно спит.

— Вздор, — сказал Джеффри, пытаясь улыбнуться. — Люди из похоронного бюро постарались и...

— Люди из похоронного бюро?! — Ян почти визжал, и Джеффри понял, что одной ногой его друг уже стоит на пороге безумия. — Кровавийцы, чтобы никого из них больше не было в моем доме!!! Я больше не позволю им приходить сюда и румянить мою любимую, будто куклу какую-то и разрисовывать ее.

— Ян! Милый друг! Конечно нет, ты не должен, — Джеффри похлопал его по плечу и попытался обнять. Двое мужчин бросились в объятия друг другу, как два испуганных и уставших ребенка, в то время как в другой комнате ребенок Мизери, которому исполнился день и который пока еще не имел имени, проснулся и стал плакать. Миссис Ремидж, чье доброе, полное нежной ласки сердце было разбито, начала петь ему колыбельную надтреснутым, полным слез голосом.

Тогда, сильно обеспокоенный здоровьем Яна, он обратил внимание на то, как Ян говорил, а не на то, что он сказал, — только теперь, приближаясь к Литтл Данторп и все сильнее подхлестывая Мери, несмотря на усиливающуюся боль, он начинал понимать все. В его уме навязчиво вертелись слова, всплывшие после рассказа Колтера.

Если бы она была больше похожа на мертвую... если бы она была больше похожа на мертвую, приятель...

Но и это не все. В тот же день, когда жители деревни направлялись в усадьбу, чтобы выразить хозяину свое соболезнование в столь тягостный для него момент, вернулся Шайнбоун. Он выглядел уставшим и неважно себя чувствовал, это было не удивительно для человека, который утвер-

ждал, что пожимал руку Веллингтону — самому железному герцогу, — когда он (Шайнбон, не Веллингтон) был еще ребенком. Джеффри всегда думал, что истории с Веллингтоном, пожалуй, преувеличение, но старики Шенни, как они звали его мальчишками, лечил Джеффри от всех болезней, что были у него в детстве, а Шенни и тогда уже казался очень старым человеком.

Даже если допустить, что все люди старше двадцати кажутся детям пожилыми, то все равно Шенни меньше семидесяти пяти уж никак не выходило.

Он был старым... те двадцать четыре часа были для него ужасными, у него был умирающий чахоточный... и почему старый, очень уставший человек не может допустить ошибки?

Чудовищной, неопишуемой ошибки...

Именно эта мысль, более чем какая-либо еще, заставила его отправиться в путь этой холодной и ветреной ночью, под луной, мечущейся в неувренности среди облаков.

Мог ли он допустить подобную ошибку? Половина его существа, половина малодушная, трусливая, которая предпочла бы потерять Мизери навсегда, чем увидеть неизбежные результаты подобной ошибки, отрицала это. Но когда Шенни вошел...

Джеффри сидел подле Яна, который урывками вспоминал, как они вместе спасали Мизери из подземелья во дворце сумасшедшего французского викария, как они спасались бегством в фургоне с сеном и как великолепная обнаженная ножка Мизери отвлекла охранника, выскользнув из сена и соблазнительно пошевелив пальчиками. Джеффри копался в собственных воспоминаниях об этом приключении — к тому времени он был полностью во власти горя — и теперь ругал себя за то, что позволил себе поддаться только потому, что там был Шенни.

Разве Шенни не выглядел как-то странно отчужденным, поглощенным собственными мыслями? Было ли это следствием усталости или чем-то другим... каким-то подозрением...?

Нет, конечно, нет, — его разум пытался протестовать. Повозка летела к Кэлторп-Хилл.

Сама усадьба оставалась темной, но, слава Богу, в домике миссис Ремидж все еще горел огонек.

— И-но, Мери! — закричал он и чуть не сломал хлыст, — еще немного, и ты сможешь отдохнуть.

«Конечно, конечно, это не то, что ты думаешь!»

Но Шенни осмотрел сломанные ребра и растянутое плечо Джеффри весьма небрежно, и ни слова не сказал Яну, хотя тот был в глубоком отчаянии и часто начинал плакать. Нет, после своего визита, который был не длиннее обычного в таких случаях официального посещения. Шенни спокойно спросил: «Она там...?»

— Да, в гостиной, — откликнулся Ян. — Моя бедняжка лежит в гостиной. Поцелуй ее за меня, Шенни, и скажи, что я скоро буду с ней.

Потом Ян снова расплакался, и Шенни, пробормотав несколько приличествующих месту и случаю соболезнующих слов, проследовал в гостиную.

Сейчас Джеффри готов был поклясться, что старый костоправ пробыл там достаточно долго... хотя Джеффри тоже мог чего-то не так запомнить. Но выйдя оттуда, Шенни выглядел почти весело, и уж это Джеффри помнил совершенно точно. Он был уверен, что лицо Шенни совсем не подходило к комнате, где царили слезы и скорбь, где миссис Ремидж вешала на окна черные траурные гардины.

Джеффри вышел вслед за доктором и нерешительно, заикаясь, заговорил с ним в кухне. Он попросил его выписать лекарство для Яна, который выглядел совершенно больным. Но Шенни был совершенно отвлечен.

— Это совсем не похоже на случай мисс Эвелин-Хайт, — сказал он. — Я вполне удовлетворен.

Он повернулся к своей коляске, никак не прореагировав на вопрос Джеффри.

Джеффри вернулся назад в дом, почти забыв о замечании доктора, списав его, по-видимому, на счет возраста, устало-

сти и огорчения. В горе люди могут вести себя самым непредсказуемым образом. Все его мысли вновь обратились к Яну, и он решил, что раз уж нет снотворного, то нужно просто попробовать влить виски в его горло, пока бедняга сам не умер.

Забыл... не обратил внимания...

До сих пор...

Это совсем не похоже на случай мисс Эвели — Хайт. Я вполне удовлетворен.

ЧЕМ?!

Джефффри не знал, но он намеревался узнать, пусть ему даже придется заплатить собственным здоровьем. Он понимал, что плата должна быть очень высокой.

IV

Миссис Ремидж еще не ложилась, когда Джефффри начал молотить в ее дверь, хотя в другое время она уже часа два как спала бы.

С тех пор, как умерла Мизери, она обнаружила, что ложится спать все позже и позже. Спать спокойно она не могла, и потому предпочитала не ложиться вовсе, чем беспокойно ворочаться в постели.

Хотя она и была женщиной хладнокровной и рассудительной, но внезапный поток ударов в дверь ее домика заставил и ее вздрогнуть. При этом она обожглась горячим молоком, которое переливала из кувшина в чашку. Все это время она выглядела так, будто вот-вот закричит. Это чувство не было горем, хотя она полностью была во власти печали, это чувство было страстным напряжением: она не помнила, чтобы раньше с ней случалось что-нибудь подобное. Иногда ей казалось, что мыслей, которые витают вокруг нее за пределами ее разума, зажатого в тисках несчастья, лучше не замечать.

— Кто это стучит в десять часов ночи?! — грозно крикнула она в сторону двери. — Кто бы ты ни был, уж я отблагодарю тебя за то, что обожглась!!!

— Это Джеффри, миссис Ремидж! Джеффри Эллибертон! Ради Бога, откройте, скорее откройте дверь!

Миссис Ремидж так и осталась с раскрытым ртом, и только на полпути к двери она вспомнила, что на ней лишь ночная рубашка и ночной чепец. Никогда она не слышала, чтобы у Джеффри был такой голос, и она поверить не могла в это. Если во всей Англии и найдется человек с сердцем, как у Его Милости, то это будет Джеффри. Но сейчас у него был голос истеричной женщины.

— Минуточку, мистер Джеффри, я не одета.

— Черт подери! — заорал Джеффри. — Да мне плевать, будь вы хоть в чем мать родила! Откройте дверь! Ради Христа, откройте эту чертову дверь!

Она стояла всего секунду, потом подошла к двери, сняла засов и распахнула ее. Вид Джеффри ошеломил ее, и снова она почувствовала неясное, смутное напряжение темных мыслей где-то в глубине ее мозга.

Джеффри стоял на пороге домика в перекошенной позе, словно его позвоночник деформировался от долгого лежания в мешке. Правую руку он прижимал к левому боку. Волосы были спутаны, а темные карие глаза ярко горели на белом лице. Одежда его тоже заслуживала внимания — кое-кто, зная как обычно одевался Джеффри Эллибертон, назвал бы его щеголем. Сейчас же на нем был старый смокинг, пояс перекошен, воротник белой рубашки расстегнут, а грубые саржевые панталоны куда больше подошли бы странствующему садовнику, чем самому богатому человеку Литтл Данторпа. В довершение всей картины, обут он был в старые поношенные домашние туфли.

Миссис Ремидж сама в длинной белой ночной рубашке, чепчике, с бигудями на голове, короче говоря, в наряде мало подходящем для дворцового приема, уставилась на него с возрастающим беспокойством. Он снова повредил сломанные ребра, это было однозначно, но не боль заставила так гореть его глаза. Это был ужас.

— Мистер Джеффри! Что...

— Не спрашивайте, — сказал он хрипло, — не сейчас. Сначала ответьте на мой вопрос.

— Какой вопрос? — теперь она была страшно испугана, правая рука плотно сжалась на груди.

— Имя Эвелин-Хайт о чем-нибудь вам говорит?

И внезапно она поняла причину этого ужасного напряжения чувства, которое владело ею с самой субботы. Где-то у нее уже мелькала эта жестокая мысль, но она подавила ее, потому что не нужны были никакие объяснения. Одного имени бедной мисс Шарлотты Эвелин-Хайт из Сторпидгон-Фиркилл, деревни к западу от Литтл Данторпа, было достаточно, чтобы она заплакала и закричала.

— О Боже! Господи Иисусе! Неужели ее живьем похоронили?! Неужто ее живую похоронили?! Мою родную Мизери живьем закопали?!

И, прежде чем Джеффри смог ответить, со старой крепкой миссис Ремидж случилось такое, чего прежде не бывало и никогда больше не случится. Миссис Ремидж упала в обморок.

V

У Джеффри не было времени искать нюхательную соль. Он сомневался, будет ли таковая вообще у крепкой старушки, вроде миссис Ремидж, но под раковиной он и нашел тряпку, которая пахла нашатырем. Он не стал подносить ее к носу, попросту шлепнул ее на милое старушечье личико. Возможность, которую предполагал Колтер, хотя и была очень слабой, но тем не менее слишком ужасной, чтобы обсуждать ее.

Она вздрогнула, слабо вскрикнула и открыла глаза. С минуту она глядела на него с ошеломленным непониманием. Затем села.

— Нет, — сказала она. — Нет, мистер Джеффри, скажите, что это не то, что вы хотели сказать, скажите, что это неправда...

— Я не знаю, правда это или нет, — сказал он, — но мы должны убедиться в этом немедленно. Сейчас же, миссис

Ремидж. Я не смогу копать сам, если придется что-то копать.

Она не отрываясь смотрела на него глазами, полными ужаса, руки ее так крепко прижимались ко рту, что ногти побелели.

— Вы сможете оказать помощь, если потребуется? Больше никому.

— Боже мой, — пробормотала она в оцепенении, — мистер Ян...

— ...Ничего не знает и ничего не должен знать, пока мы не узнаем что-то сами! — сказал он. — Если Бог добр к нему, то ему ничего не надо знать.

Он не мог выразить ту надежду, что теплилась в глубинах его разума, надежду, казавшуюся столь же чудовищной, как и его страх. Если Господь действительно добр к нему, то он (Ян) узнает об этой ночи только когда его жена и единственный мая любовь будет возвращена ему, ее воскрешение будет таким же чудом, что и воскрешение Лазаря.

— О, это ужас о... ужас, о! — говорила миссис Ремидж она слабым, трепещущим голосом. Судорожно ухватившись за край стола, она пыталась удержаться на ногах. Она стояла, покачиваясь, выбившиеся из-под чепчика прядки волос обрамляли, свисая между бантиками и завязочками, ее полное ужаса лицо.

— Ну как, вы себя лучше чувствуете? — спросил он как можно мягче. — Если нет, тогда я должен попробовать сделать все сам, по крайней мере, что смогу...

Она сделала глубокий дрожащий вздох. Постепенно ее раскачивающие прекратились. Она повернулась и пошла к кладовке.

— В сарае стоят две лопаты, — сказала она. — И, по-моему, кирка тоже. Бросьте их в повозку. В кладовке есть полбутылки джина, я ее не трогала с тех пор, как Билл помер, уже пять лет почитай. Я возьму ее и присоединюсь к вам, Мистер Джеффри.

— Вы отважная женщина, миссис Ремидж. Но поторопитесь.

— Ага, меня не запугаешь, — сказала она и сжала бутылку чуть дрожащими руками. На бутылке не было ни пылинки — даже в кладовке нет спасения от безжалостной тряпки миссис Ремидж, но наклейка пожелтела. — Сами поторопитесь!

Она всегда не любила всякую мистику, привидения и тому подобную чушь, и сейчас ее желудок не отказался бы от глоточка джина, несмотря даже на его отвратительный запах можжевельника и мерзкий маслянистый вкус.

Она отхлебнула. Сегодня ей это понадобится.

VI

Повозка быстро приближалась к церковному двору. Облака все также неслись над ними, их угольно-черные линии резко вырисовывались даже на темном ночном небе. Теперь уже миссис Ремидж правила повозкой, едва не обламывая хлыст о спину несчастной Мери, которая сказала бы им, умей лошади разговаривать, что все не так, все чушь собачья, и она считает, что в такое время ночи любая порядочная лошадь должна спать в своем теплом стойле, уюслей, полных овса. Лопаты и кирка холодно позвякивали, задевая друг друга, и миссис Ремидж подумала, что любой, кто увидит их в эту минуту, будет повержен в ужас — они напоминали двух восставших из могилы... Или скорее один воскресший сидит в коляске, которой правит привидение. Тем более что она была в белом, — миссис Ремидж не стала терять времени, чтобы одеться. Рубашка развевалась вокруг ее крепких жилистых (отнюдь не призрачных) ног и лямты ночного чепца дико бились на ветру где-то позади.

Вот и церковь. Дрожа от подвывающих звуков ветра, стучащего о карнизы, она повернула Мери на дорожку, бегущую вдоль ограды.

Какое-то время она думала, почему такое святое место, как церковь, кажется столь ужасным в темноте, и затем

поняла, что не церковь была страшна, а намерения, с которыми они приехали сюда.

Когда она очнулась от обморока, ее первой мыслью было, что милорд должен им помочь. Но через минуту она поняла, что от этой идеи следует отказаться, не потому, что он бы труснул и не пошел, речь шла попросту о его здоровье.

Джефффри не пришлось даже объяснять, в чем дело. Одного имени мисс Эвели — Хайт было достаточно, чтобы она все поняла сама.

Внезапно до нее дошло, что ни мистер Джефффри, ни милорд не знают о том, что случилось с этой бедняжкой. Это было полгода назад, весной. Мизери была еще в самой прекрасной поре своей беременности, она только-только начала полнеть, но живота еще не было и всех неудобств, с этим связанных, тоже. Она охотно отправила обоих мужчин на фиделку поохотиться, поиграть в карты, и одному Богу известно, какими еще глупостями заниматься, в Оук Холл, Доукастер. Милорд немного колебался, но Мизери заверила его, что все будет в порядке и почти вытолкала их за дверь. В том, что с Мизери все будет в порядке, миссис Ремидж и не сомневалась. Но она хорошо знала, что если милорд и мистер Джефффри едут в Оук Холл, то хотя бы одного из них (а вполне возможно и обоих) привезут домой в телеге, откуда будут торчать только их ноги.

Оук Холл был наследным имением Альберта Фоссингтона, однокашника Джефффри и Яна. Миссис Ремидж абсолютно и непоколебимо была уверена, что Берти Фоссингтон — чокнутый. Несколько лет назад он съел своего любимого пони, когда тот сломал две ноги и его нужно было пристрелить. Он говорил, что сделал это из любви к несчастному животному. «Поучитесь у Фаззи-Ваззи в Кейптауне, — говорил он. — Расчудесные ребята. Вставляют себе в губу палки и всякую дрянь. А кое-кто из них сможет и все двадцать томов навигационных карт унести на своей нижней губе. Научили меня, что каждый должен есть того, кого он любит больше всех. По-моему, очень поэтично!»

Несмотря на такую эксцентричность, мистер Джеффри и милорд сохранили искреннюю привязанность к Берти (интересно, значит ли это, что они съедят его после его смерти? — поинтересовалась миссис Ремидж однажды после визита Берти, когда он попытался сыграть в крокет одной из домашних кошек, чуть не разmozжив несчастной голову). А тогда они почти десять дней пробыли в Оук Холл.

Примерно через день после их отъезда, мисс Шарлотта Эвелинг-Хайт из Сторпинг-он-Фиркилл была найдена мертвой на лужайке позади дома. В ее руке был букетик свежесорванных цветов.

Деревенский доктор Биллфорд был врачом весьма компетентным во всех вопросах медицины. Тем не менее он вызвал доктора Шайнбома для консультации. Биллфорд определил причину смерти как сердечный приступ, хотя девушка и выглядела совершенно здоровой и была очень молода — ей было всего шестнадцать лет. Но Биллфорд был весьма озадачен.

Казалось, что-то не так. Старика Шенни тоже пребывал в недоумении, но в конце концов согласился с диагнозом Биллфорда, как и большинство жителей деревни, — просто у девушки было слабое сердце, да и все тут. Хотя случаи такие довольно редки, но все с легкостью принимают подобные объяснения. Наверное, именно это совпадение и спасло Биллфорду если не голову, то уж практику и репутацию во всяком случае, от последующей ужасной развязки. Может быть, все согласились, что смерть девушки была необычна, но никому и близко в голову не пришло, что она вовсе и не умирала.

Спустя четыре дня после погребения, пожилая женщина по имени миссис Сомс — миссис Ремидж Чемного знала ее — увидела что-то белое на земле, когда пришла на кладбище, чтобы положить цветы на могилу своего мужа, который умер прошлой зимой. Этот белый предмет был слишком велик для цветочного лепестка, и она решила, что это какая-нибудь мертвая птичка. Когда она приблизилась, то

поняла, что предмет не просто лежит, а торчит из-под земли. Она сделала еще пару неуверенных шагов и увидела руку, тянущуюся из-под земли, застывшую в жесте неистовой мольбы. Окровавленные кости торчали вместо кончиков пальцев.

Пронзительно визжа, она выскочила с кладбища, пробежала аж до самого Сторпицга — примерно милью с четвертью — и доложила обо всем циркулянику, который был по совместительству и местным констеблем. Потом она упала в обморок. В тот же день она, едва добравшись до своей постели, слегла почти на целый месяц. Во всяком случае ее некому было упрекнуть.

Тело несчастной мисс Эвели — Хайт эксгумировали, конечно, и к тому времени, когда Джеффри Эллибертон осадил Мери у кладбищенских ворот, миссис Ремидж обнаружила, что не хочет вспоминать всю эту историю с эксгумацией, — она была отвратительна.

Доктор Биллфорд, весь трясясь и будучи сам на дюйм от смерти, поставил диагноз каталепсии. Несчастная женщина, очевидно, впала в состояние какого-то очень похожего на смерть сна: вроде того, как индийские факиры добровольно засыпают, позволяя похоронить себя заживо или втыкать в свое тело иглы. Она оставалась в этом состоянии, возможно, сорок восемь часов, а может быть, и все шестьдесят. Во всяком случае достаточно долго, чтобы, проснувшись, обнаружить себя не на лужайке позади дома, где она собирала цветы, а похороненной заживо в гробу.

Она жестоко боролась за свою жизнь, эта девушка, и миссис Ремидж поняла это теперь, входя следом за Джеффри через ворота в томчайшую туманную дымку, превращающую наклоненные могильные обелиски в острова. В другое время это смотрелось бы благородно, но сейчас наводило еще больший ужас.

Девушка была помолвлена. На левой руке у нее — не на той, которая застыла над землей, подобно руке утопленницы, — было бриллиантовое обручальное кольцо. Им она

распорола атласную обивку гроба, и Бог знает, сколько часов истратила на то, чтобы расковырять им деревянную крышку.

Наконец, задыхаясь, она, очевидно, начала левой рукой с кольцом разрывать землю, а правой отгребать. Но этого было недостаточно. С багрового лица, вылезая из орбит, смотрели ее жевидящие, жалитые кровью глаза, смотрели с ужасом, абсолютным, всепоглощающим страхом, и не могли увидеть уже ничего, кроме могильной тьмы.

Часы на башне начали отбивать двенадцать — час, когда, говорила ей мать, двери между жизнью и царством смерти приоткрываются, и мертвые могут ступить на путь живых, — миссис Ремидж едва могла сдерживаться, чтобы не закричать и не убеждать в панике, которая не только не уменьшалась, а напротив, возрастала с каждой минутой и каждым шагом; она знала, что если поддаться ей и побежать, то она будет бежать, пока не упадет без чувств.

«Глупая, трусливая женщина! — ругала она себя, потом поправилась. — Глупая, трусливая, эгоистичная женщина! Сейчас ты должна думать о хорошем, а не о том, чего там тебе страшно или чего ты боишься. О, Господи... если есть хоть какой-нибудь шанс, что госпожа...

Ах, но нет — безумие даже думать об этом. Слишком поздно... слишком... слишком поздно...»

Джеффри подвел ее к могильному камню Мизери, и они оба встали как зачарованные, глядя на него. ЛЕДИ КЭЛТОРП — гласила надпись, под датами жизни и смерти стояли всего два слова: ЛЮБИМА МНОГИМИ.

Она посмотрела на Джеффри и, словно очнувшись, сказала:

— Мы не приехали и инструменты.

— Нет, не сейчас, — откликнулся он и, упав ничком, приложил ухо к земле, которая уже начала показывать первые свежие ростки между сдвинутых кусков дерна.

Какое-то мгновение в свете фонаря она могла видеть на его лице лишь одно выражение — такое же лицо было у него,

когда она открыла ему дверь, — выражение агонизирующего страха. Потом его лицо постепенно начало меняться и к страху примешивалась растущая надежда.

Глядя широко раскрытыми глазами на миссис Ремидж, он произнес едва шевеля губами:

— Я уверен, она жива! О, миссис Ремидж...

Внезапно он проворно перевернулся на живот и закричал в землю (при других обстоятельствах это выглядело бы комично):

— МИЗЕРИ! МИЗЕРИ! МЫ ЗДЕСЬ! МЫ ЗНАЕМ! ДЕРЖИСЬ! ДЕРЖИСЬ, МОЯ ДОРОГАЯ!

Через секунду он вскочил на ноги и помчался назад к коляске, где остались инструменты, его ноги, обутые в домашние туфли, разрывали стелющуюся дымку.

Колеи у миссис Ремидж подкосились, и она подалась вперед, почти теряя сознание. Она сама подумала, что с виду — голова повернута и ухо прижато к земле — она похожа на детей, которые слушают на путях, не идет ли поезд.

И она слышала дикие, мучительно скребущие звуки в земле — не звук зверюшки, прорывающей себе нору, — нет, это были звуки пальцев, беспомощно скребущих по дереву.

Она сделала вдох, глубокий, конвульсивный вдох, от которого, казалось, остановится сердце, и завопила:

— МЫ ИДЕМ, ХОЗЯЙКА! МОЛИТЕСЬ БОГУ И БЛАГОДАРИТЕ ИИСУСА, ЧТО МЫ НЕ ОПОЗДАЛИ, — МЫ ИДЕМ!

Дрожащими пальцами она начала срывать уже заполовицу сросшийся дерм, и пока Джеффри вернулся с инструментами, она уже прорыла дюймов восемь в глубину.

VII

Он уже был на седьмой странице главы: миссис Ремидж и Джеффри умудрились вытащить Мизери из могилы, и как раз в тот самый момент, когда обнаружилось, что женщина не имеет ни малейшего понятия о том, кто они такие и кто она сама, Энни вошла в комнату.

Теперь Пол услышал ее. Он перестал стучать и с сожалением оторвался от своих грез.

Она держала первые шесть глав, прихватив их полой юбки. Чтобы прочитать первую пробу, ей хватило бы двадцати минут и даже меньше, но прошел уже час с тех пор, как она взяла эту пачку листов. Он задумчиво посмотрел на нее, со слабым интересом заметил, что Энни Уилкз бледна.

— Ну, — спросил он — это честно?

— Да, — сказала она отсутствующе, словно не собираясь продолжать. (Пол подумал, что так оно и будет.) — Это честно. И это хорошо. Это великолепно! Но и ужасно в тоже время! Совсем не похоже на остальные книги о Мизери. Эта несчастная женщина, которая содрала мясо с кончиков пальцев, выбираясь из могилы... — она потрясла головой и повторила, — непохоже, совсем непохоже... ужасно!

«Человек, писавший это, тоже был не в лучшем расположении духа, милочка», — подумал Пол.

— Мне продолжать? — спросил он.

— Попробуй только не продолжать, я просто убью тебя, — откликнулась она, слегка улыбаясь. Пол не улыбнулся в ответ. Это замечание, которое в другое время показалось бы ему банальностью типа «Ты так классно выглядишь, ну прямо взял и съел бы тебя», сейчас совсем не казалось ему банальным.

Было еще в ее позе, в том, как стояла она на пороге, что-то поразившее его. Словно она боялась приблизиться, подойдя к нему она могла загореться. Нет, это не преждевременные похороны навели на нее такой ужас, он был достаточно мудр, чтобы понять это. Не повествование, а разница между тем, что он написал в первый раз, и вот этим. То, первое, было просто сочинением восьмиклассника на тему «Как я провел летние каникулы». Это же нечто совершенно иное. Раскаленное горнило.

Не то чтобы он так хорошо писал или история была такой великолепной, да и герои были весьма просты и стереотипны, нет. Но время — само время вырабатывало энергию, выпускало жар между строчек.

«Забавно, — подумал он. — Она почувствовала этот жар. Думаю, она таится приближаться ко мне, чтобы не загореться».

— Ну, — сказал он мягко, — тебе не придется убивать меня, Энни. Я ХОЧУ продолжать. Так почему бы мне не взяться за это дело?

— Хорошо, — сказала она. Она поднесла ему страницы, положила их на стол и быстро отступила назад.

— Может, тебе хочется читать по мере того, как я буду продвигаться вперед? — спросил он.

Энни улыбнулась.

— Да! Это будет совсем как сериалы, которые я смотрела в детстве!

— Но я не могу обещать тебе супербоевик в конце каждой главы, — сказал он. — Так не делается.

— А для меня будет! — пылко сказала она. — Я хочу знать, что происходило в главе восемнадцать, даже если предыдущая заканчивалась на том, что Мизери, Ян и Джеффри сидят на веранде и читают газету. Я просто дико хочу знать, что происходило дальше.

— Не говори мне! — добавила она быстро, словно он собирался сказать ей, что там происходило дальше.

— Знаешь ли, вообще-то я никому никогда не показываю свою работу, пока не закончу ее, — сказал он и затем улыбнулся. — Но так как сейчас ситуация не такая, как всегда, то я буду давать тебе читать главу за главой.

«И так началась тысяча и одна ночь Пола Шелдона», — подумал он.

— Но я хочу знать, сделаешь ли ты кое-что для меня?

— Что?

— Впиши эти чертовы «н», — сказал он.

Она просияла и улыбнулась.

— Сочту за честь. А теперь я оставляю тебя одного.

Она отошла обратно к двери, помялась и повернула назад. Потом с глубокой, болезненной даже робостью, сделала единственное за все время редакторское замечание.

— Может, это была пчела?

Он уже устался на лист в машинке. Ему хотелось вернуться назад в коттедж-миссис Ремидж, прежде чем начать стучать, и он посмотрел на Энни с плохо скрываемым недовольством.

— Прости, я не расслышал, ты что-то сказала?

— Пчела, — сказала она, и он увидел, как краска медленно заливает ей лицо и щеки. Вскоре даже уши у нее запылали. — Примерно у каждого десятого человека аллергия на пчелиный яд. Мне много встречалось таких случаев, пока... ну пока я не ушла в запас. Аллергия может по всякому проявляться. Иногда жало является причиной коматозного состояния, которое очень похоже на то, что люди обычно называют катаlepsией.

Теперь она была уже не просто красной, а пурпурной.

Пол быстро прокрутил мысль в уме и тут же выкинул ее на помойку. Укус пчелы мог быть причиной преждевременных похорон бедняжки Эвелин-Хайт; это было правдоподобно, поскольку все случилось в разгар весны в саду. Но он тут же решил, что правдоподобность этих двух похорон зависит от того, как они связаны между собой. Дело даже

не в том, что поздней осенью пчел почти не бывает, а в том, что каталептическая реакция очень редкая штука. Он подумал, что постоянный читатель не потерпел бы, чтобы за полгода в одном городе две совершенно разные женщины были похоронены заживо в коматозном состоянии, наступившем в результате пчелиного укуса.

Он не мог пока сказать этого Энни, не только потому, что это могло рассердить ее. Он не мог сказать этого потому, что это обидело бы ее и, несмотря на всю боль, которую она ему причинила, он понял, что не может обидеть ее, потому, что его самого так обижали.

И он ответил ей обычным писательским эвфемизмом:

— Это вполне возможно, я, пожалуй, придержу эту мысль про запас, но, Энни, я тут уже кое-что придумал. Так что это может и не подойти.

— О, я знаю — писатель ты, а не я. Забудь, что я говорила. Извини.

— Не болтай ер...

Но она уже ушла, ее тяжелые шаги торопились вниз, в прихожую.

Он смотрел в пустое пространство. Глаза его опустились, а затем расширились. По обеим сторонам дверного проема, примерно в восьми дюймах от пола, он увидел черные отметины — они были оставлены, он сразу понял это, ступицами кресла-каталки, когда он пытался выдавить дверь.

Издаലെка она не заметила их. То, что целую неделю она не замечала их, казалось маленьким чудом. Но скоро — завтра, а может быть, и сегодня вечером — она придет, чтобы пропылесосить комнату, и тогда увидит их.

Она увидит.

В тот день Пол совсем не отдыхал.

Дырка в обоях исчезла.

VIII

На следующее утро он сидел, обложенный кучей подушек, пил кофе и виновато глазел на эти отметины, как убийца, увидевший на своей одежде кровь, которую он забыл смыть. Внезапно в комнату, вытаращив глаза, ворвалась Энни. В одной руке она держала тряпку для пыли, в другой — невероятно, но в другой она держала пару наручников.

— Что...

Это все, что он успел произнести. С панической силой она схватила его и усадила прямо. Боль впервые за последние дни с демонической силой пронзила его, и он закричал. Кофейная чашка выскользнула у него из рук и раскололась на полу.

«В этом доме еще что-то может разбиться, — подумал он, и затем: — Она увидела их. Конечно. И наверное, давно увидела».

Это единственное, чем он мог объяснить ее странное поведение. Она увидела отметины, и теперь она начинает новую, весьма эффективную экзекуцию.

— Заткнись, — прошипела она, и руки его мгновенно были защепокнуты за спиной, одновременно со щелканьем замка он услышал звук машины, направляющейся по подъездной аллее.

Он открыл рот, намереваясь закричать снова, но она ловко засунула туда тряпку, прежде чем он успел что-либо сделать. Тряпка имела какой-то отвратительный вкус мертвечины.

Заложник, предположил он, или еще что-нибудь в этом роде.

— Ни звука, — сказала она, наклоняясь над ним, руки опирались на подушку по обе стороны его лица, пряди волос касались щек и лба. — Я тебя предупреждаю, Пол, если кто-то из них услышит хоть один звук, или даже если я услышу что-нибудь и подумаю, что они тоже могут услышать, то я убью их, потом тебя, а потом и себя.

Она встала, глаза ее выкатывались из орбит, лицо покрывалось испариной, а на губах засох яичный желток.

— Помни, Пол!

Он закивал, но она уже выбегала на улицу и не увидела этого.

Старый, но хорошо сохранившийся «Шевроле Белер» подкатил к ферме. Пол слышал, как открылась дверь где-то в прихожей и затем хлопнула, закрываясь. При этом раздался звук, который не оставлял сомнений в том, что свое барахло она держит в чулане.

Мужчина, который вышел из машины, тоже был старым, но хорошо сохранившимся — типичный житель Среднего Запада, настоящий колорадец, — показалось Полу, хотя он не очень хорошо представлял себе, как выглядят настоящие жители Колорадо. На вид ему было лет шестьдесят пять, но могло бы быть и все восемьдесят... Он мог быть старшим компаньоном юридической конторы или полуставным президентом строительной фирмы, но куда больше подходил на роль владельца ранчо или агента по продаже недвижимости. Он мог быть республиканцем того сорта, который не станет лепить на свой автомобиль после того, как наденет остроносые итальянские туфли. Еще он наверняка является официальным представителем городских властей и приехал сюда по делам мэрии, потому что только по делам мэрии могут встречаться такой мужчина, как он, и женщина-затворница, как Энни Уилкз.

Пол смотрел, как она спешила вниз к подъездной дорожке, но не для того, чтобы встретить его, а с намерением перехватить.

Ему показалось, что его прежние мечты воплощаются в реальность. Пусть не полицейский, но кто-то облеченный властью. Власть. Она пришла, и ее появление может только укоротить его жизнь.

«Почему бы тебе не пригласить его в дом, Энни? — подумал он, стараясь не давиться пыльной тряпкой. — Почему бы не пригласить его и не показать ему свою африканскую птичку?»

О нет. Она пригласит Мистера Бизнесмена Скалистых Гор в дом не раньше, чем отвезет Пола в Стэплтон и не вручит ему билет на первый класс до Нью-Йорка.

Она начала говорить еще до того, как протянула ему руку, пар вырывался клубами изо рта и повисал в воздухе, напоминая ему белые воздушные шары. Он подал ей руку, затянутую в элегантнейшую черную кожаную перчатку. Она глянула на нее мельком и затем начала трясти пальцем у него перед глазами. Все больше и больше воздушных шариков вылетало у нее изо рта. Она перестала трясти пальцем только на короткое время, пока застегивала молнию на пальто.

Он сунул руку в карман и вытащил листок бумаги. Почти виновато он протянул его ей. Хотя Пол никак не мог знать, что это был за листок, но он был совершенно уверен, что Энни обозначает его какими-нибудь эпитетами. Например, словом «вонючий».

Она повела его вдоль дорожки, продолжая говорить. Пол потерял их из виду. Он мог видеть только их тени, лежащие на снегу, как вырезанные силуэты. Он с грустью понял, что она сделала это преднамеренно. Если он, Пол, не может видеть их, значит и Мистер Гранд-на-Ранчо не станет заглядывать в окно и не увидит его.

Тени оставались на тающем сугробе минут пять. Один раз Пол даже точно слышал голос Энни, который от злости повышался до угрожающего крика. Эти пять минут были очень долгими для Пола. Плечи его болели. Она не просто надела ему наручники, но еще как-то привязала руки к спинке кровати.

Но хуже всего была пыльная тряпка во рту. От вонючего средства для полировки мебели у него разболелась голова и начало тошнить. Он старался, чтобы его не вырвало, ему очень не хотелось захлебнуться собственной блевотиной, пока Энни переругивается с представителем городских властей, который раз в неделю посещает местный салон-парикмахерскую и, наверное, носит всю зиму калоши поверх своих черных полуботинок.

К тому времени, когда они вновь вернулись, его лоб от боли покрылся испариной. Теперь уже Энни держала бумагу. Она следовала за Мистером Гранд-на-Ранчо, по-прежнему трясла пальцем, но уже перед его спиной и выпуская белые воздушные шары. Мистер Гранд-на-Ранчо не оглядывался на нее. Лицо его было пустым. Только губы

были сжаты так крепко, что их почти не было видно. Они выдавали его эмоции, которые, по всей вероятности, не были положительными. Злость? Возможно. Отвращение? Да, скорее всего именно отвращение.

«Ты думаешь, что она сумасшедшая. Ты и все твои друзья по покеру, которые контролируют этот крохотный округ, вы, наверное, разыгрываете между собой, кому поехать копать в этом дерьме, именуемом Энни Уилкз и ее ферма Чероки. Конечно, никому не нравятся приносить плохие новости, тем более психам.

Но, ах, Мистер Гранд-на-Ранчо! Если бы вы знали, какой это на самом деле псих, вы бы не решились поворачиваться к ней так непочтительно задом, как сейчас».

Он сел в свой «Шевроле». Он закрыл дверь. Теперь она стояла подле машины, грозя пальцем перед закрытыми окнами. И опять Пол смог расслышать ее отдаленный голос: «Ты думаешь, ты такой весь из себя шикарный!»

«Шевроле» начал медленно двигаться по подъездной аллее, пятясь назад. Мистер Гранд-на-Ранчо нарочно не глядел на Энни, которая скалила зубы.

Все также громко: «Думаешь, если у тебя такие большие колеса!» Неожиданно она лягнула передний бампер, причем сделала это с такой силой, что сбила с него заледеневшую глыбу снега. Этот мужик сначала все смотрел через правое плечо, пока разворачивался. Теперь он оглянулся на нее, сохраняя невозмутимую рожу, которая не менялась у него в течение всего визита.

— Ну так я скажу тебе кое-что, грязная тварь! МАЛЕНЬКИЕ СОБАКИ ПОДНИМАЮТ НОГУ И ДЕЛАЮТ СВОИ ДЕЛА НА ТАКИЕ ВОТ ШИКАРНЫЕ КОЛЕСА! Что ты думаешь по этому поводу, а?!

Что бы ни думал об этом Мистер Гранд-на-Ранчо, он не доставил Энни удовольствия видеть это. Его застывшее, ничего не выражающее лицо начинало сильно напоминать маску военного противогаза. Пятясь задом, его автомобиль вышел из поля зрения.

Она стояла там какое-то время, положив руки на бедра, затем направилась назад, к дому. Он услышал, как дверь на кухне открылась и со стуком захлопнулась.

«Итак, он уехал, — подумал Пол. — Мистер Гранд-на-Ранчо уехал, но я-то здесь. О да, я остался здесь».

IX

Но на этот раз она не стала выплескивать на него свою злость. Она вошла в комнату, пальто ее было расстегнуто, но она еще не сняла его. Она принялась вышагивать по комнате взад-вперед, даже

не глядя на него и вообще в его сторону. Листок бумаги оставался в ее руке и она то и дело потрясала им перед собой, словно самоистязая себя.

— Десять процентов ренты, он говорит! Неуплата, говорит! Лжецы! Юристы несчастные! Частичная оплата, говорит! Просрочено! Вонючки! Ку-ка-ре-ку! Петушьи законы!

Он промышал что-то в тряпку, но она не оглянулась. Погруженная в себя, она металась по комнате все быстрее, распарывая воздух своим мощным телом. Он все думал, что она сейчас разорвет бумажку в клочья, но, кажется, она не осмеливалась делать этого.

— Пятьсот шесть долларов! — закричала она, размахивая бумагой перед его носом. С отсутствующим видом она вытащила тряпку у него изо рта и бросила ее на пол. Голова у него свесилась на одну сторону и его свело от позывов к рвоте. Он чувствовал, что руки у него просто выворачиваются из суставов.

— Пятьсот шесть долларов и семнадцать центов! Они знают, что мне никого из посторонних здесь не нужно! Разве я им этого не говорила?! И вот, смотри! СМОТРИ!

Его опять свело, и он рыгнул с глубоким булькающим звуком.

— Если тебя вырвет, я думаю, тебе придется лежать в этом. Похоже, мне еще забот прибавилось. Он говорил что-то насчет ареста имущества. Ну что там?

— Наручники, — простонал он.

— Да... да, — сказала она нетерпеливо. — Ты иногда прямо как малое дитя.

Она достала ключ из кармана юбки и отпихнула его влево так сильно, что он прижался носом к простыням. Он взвизгнул, но она не обратила на это никакого внимания. Раздался щелчок, потом что-то лязгнуло, и его руки были свободны. С трудом дыша, он выпрямился, потом потихоньку сполз на подушки, думая только о том, чтобы ноги его оставались прямыми. На запястьях виднелись лиловые полосы, которые быстро краснели.

С отсутствующим видом Энни сунула наручники в карман, словно заправский полицейский.

— Что значит арест имущества? — спросила она снова. — Это значит, они присвоят мой дом? Или что это значит?

— Нет, — сказал он, — это значит, что ты... — он прокашлялся и опять ощутил во рту привкус вонючей тряпки. Грудь свело, и он снова рыгнул. Она никак на это не отреагировала, только стояла и нетерпеливо глядела на него, пока он не мог говорить.

Через некоторое время он наконец заговорил.

— Просто это означает, что ты не можешь его продавать.

— Просто?! ПРОСТО?! Это вы здорово придумали, мистер Шелдон. Но я так думаю, что проблемы бедной вдовы, вроде меня, кажутся очень несущественными такому богатенькому мистеру Красавчику, как ты.

— Как раз наоборот. О твоих проблемах я думаю, как о своих собственных. Я просто имел в виду, что арест имущества ни в какое сравнение не идет с тем, что они могут сделать, если ты серьезно влезла в долги. А ведь у тебя неуплата, не так ли?

— Неуплата. Значит, дело — дрянь, да?

— Да. Дело дрянь, дерьмо.

— Я не бродяга и не попрошайка! — Он увидел, как блеснула тонкая полоска зубов, когда ее верхняя губа поднялась. — Я плачу налоги и плачу исправно по счетам. Просто я... сейчас, я просто...

«Ты забыла, не так ли? Забыла точно так же, как продолжаешь забывать сорвать февральский листок с календаря, черт бы его побрал. Но забыть внести очередной взнос куда более серьезно, чем забыть сменить страницу на календаре, и ты расстроена потому, что впервые ты забыла что-то очень важное. Факт, что тебе становится хуже, налицо, Энни, не так ли? Каждый день понемножечку тебе становится все хуже и хуже. Душевнобольные, конечно, могут некоторое время жить в обществе и справляться с обязанностями, но рано или поздно все они плохо кончают, и я думаю, тебе это прекрасно известно. Ты неуклонно, день ото дня приближаешься к этой черте... и подсознательно это чувствуешь».

— У меня просто руки не доходят, — угрюмо произнесла она. — Сейчас, когда ты у меня здесь, я так занята, что однорукому расклейщику афиш и не снилось.

Вдруг его осенила действительно замечательная идея. Он убьет сразу не одного и не двух, а огромное количество зайцев.

— Я понимаю, — сказал он со спокойной искренностью, — я знаю, что обязан тебе своей жизнью и приношу тебе одни только хлопоты. У меня в бумажнике имеется около четырехсот долларов. Я хочу, чтобы ты взяла их и выплатила долги.

— О, Пол... — она посмотрела из него смущенно и обрадованно. — Я не могу брать ТВОИ деньги...

— Они не мои, — сказал он. Он улыбнулся ей. Вернее, его НОМЕР-ОДИН улыбнулся, а про себя он подумал:

«Чего я хочу, Энни, так это чтобы у тебя начался склеротический приступ, тогда я доберусь до ножа у тебя на кухне, и я думаю, что смогу двигаться достаточно, чтобы использовать его по назначению. Так что тебя уже будут черти в аду жарить, пока ты сообразишь, что умерла».

— Они не мои. Они твои, можешь назвать это квартплатой, если тебе хочется, — он сделал паузу, потом решил подстраховаться. —

Если ты думаешь, что я не понимаю, скольким обязан тебе, то ты просто сумасшедшая.

— Пол... ну, я не знаю...

— Я серьезно, — он постарался придать своему лицу выражение обезоруживающей («Господи, пожалуйста, помоги мне обезоружить ее») искренности. — Знаешь, ведь ты сделала больше, чем спасла мне жизнь. Ты спасла две жизни — потому что если бы не ты, Мизери навсегда осталась бы лежать в своей могиле.

Теперь она с сияющим видом глядела на него, забыв на время о бумаге.

— Ты указала мне на мои ошибки, вернула меня на правильный путь. Я обязан тебе гораздо большим, чем четыреста долларов, и если ты не возьмешь эти деньги, мне будет очень неприятно.

— Ну, я... ну, хорошо, я... спасибо, Пол.

— Это я должен благодарить тебя. Дай-ка мне взглянуть на бумагу.

Она протянула ее, даже не пытаясь протестовать. Это было обыкновенное предупреждение о просрочке платежей. Арест имущества упоминался как простая формальность. Он быстро просмотрел бумагу и передал ей.

— У тебя есть деньги в банке?

— Кое-что, — она отвела глаза, — у меня отложено, но не в банке. Не верю я этим банкам.

— Тут сказано, что они могут наложить арест на имущество, если до двадцать пятого марта не будет уплачено по счету. Сегодня какое число?

Она кинулась к календарю.

— Господи, тут же все неправильно!

Она открепила лист и мальчик на салазках исчез. Пол наблюдал за этим с каким-то непонятным мучительным сожалением. На мартовском календаре был изображен как бы молочный ручеек, петляющий среди заснеженных берегов.

Близоруко щурясь, она пристально вглядывалась в календарь.

— Сегодня двадцать пятое марта.

«Боже мой, сколько времени прошло!» — подумал он.

— Конечно, я так и думал. Потому он сегодня и приехал.

«Он не говорил, что они могут сделать это, если ты не почешешься и не выложишь деньги сегодня же. Так что парень действительно хотел оказать тебе любезность».

— Но если ты уплатишь эти пятьсот шесть долларов до...

— И семнадцать центов, — свирепо добавила она. — Не забывай про эти вонючие семнадцать центов.

— Ладно, и семнадцать центов тоже. Если ты уплатишь сегодня до закрытия, то никакого ареста не будет. Если люди в городе действительно настроены против тебя, как ты говорила, Энни...

— Они ненавидят меня! Они все против меня, Пол!

— ...то для них это будет способом избавиться от тебя. Сейчас они орут что-то про арест имущества, хотя ты только один раз просрочила платеж, но дело уже дрянь и дерьмом воняет. А если ты просрочишь уплату и во второй раз, то они могут забрать у тебя дом и продать с аукциона в пользу города. Это безумная идея, но, думаю, что юридически они будут иметь полное право.

Она засмеялась низким хриплым смехом.

— Пусть попробуют, я там кое-кому кишки выпущу.

— В конечном итоге, они ТЕБЕ кишки выпустят, — сказал он спокойно. — Но дело не в этом.

— А в чем?

— Энни, в Сайдуиндере наверняка есть люди, которые не платят два или три года. Никто не распродает их имущество и не отбирает дома. В худшем случае им отключают воду. Взять хотя бы Ройдманов, — он мельком глянул на нее. — Ты думаешь, они платят вовремя?

— Кто? Эта белая шваль? — она истерично расхохоталась.

— Я думаю, что они просто копают под тебя, Энни, — он и вправду так думал.

— Я никогда отсюда не уеду! Я останусь здесь, пусть они хоть наизнанку вывернутся! Я останусь и буду плевать им в их поганые рожи!

— У тебя найдется еще сто шесть долларов, чтобы добавить их к четыремстам из моего бумажника?

— Да, — кажется она начала потихоньку успокаиваться.

— Хорошо. Этого достаточно, — сказал он, — тогда я предлагаю тебе заплатить по этому несчастному счету прямо сегодня.

«Пока тебя не будет, я посмотрю, что можно будет сделать с этими отметинами на двери. И когда с этим будет покончено, я еще посмотрю, что можно предпринять, чтобы убраться отсюда на хрен, и как можно скорее. Что-то я утомился столь длительным пребыванием в госпитале, милая Энни».

Он заставил себя улыбнуться.

— Я думаю, что семнадцать центов найдутся где-нибудь в тумбочке, — сказал он.

У Энни Уилкз были свои собственные правила поведения и свой собственный моральный кодекс; по-своему она была очень воспитана и придерживалась этикета.

Она заставляла его пить воду из полового ведра; она не давала ему лекарств, доводя его до агонии; она заставила его сжечь единственный экземпляр рукописи его нового романа; она надевала на него наручники, затыкала ему рот тряпкой, пропитанной полиролем, но она никогда бы не стала брать деньги из его бумажника.

Она принесла Полу его старый потертый бумажник фирмы «Лорд Бакстон», который был у него еще с колледжа, и передала его из рук в руки.

Все его удостоверения личности пропали. Сделать это она не постеснялась. Он не стал спрашивать ее. Ему показалось, что лучше сделать вид, что он ничего не заметил.

Удостоверения пропали, но деньги остались, банкноты — больше пятидесяти — свеженькие и хрустящие. С удивительной и даже какой-то зловещей ясностью он увидел себя останавливающего «Камаро» у подъезда банка за день до окончания «Скоростных Машин»; он отдает чек на четыреста пятьдесят долларов, чтобы получить по нему наличными, и расписывается потом на обратной стороне (похоже, тогда даже парни на конвейере говорили о предстоящем отпуске).

Человек, который делал все это, был свободен, здоров и вообще прекрасно себя чувствовал, он не имел ни малейшего представления о том, какие прекрасные вещи ему приходится делать. Тот человек заинтересованно разглядывал женщину у дверей банка — высокую блондинку в пурпурном платье, которое нежным прикосновением облегалo все изгибы ее тела. Она тоже посмотрела на него...

Интересно, что бы она подумала о том человеке, если бы увидела его сейчас, похудевшим на сорок фунтов и постаревшим на десять лет, с жутким месивом вместо ног.

— Пол?

Он посмотрел на нее, держа деньги в руках. Всего было четыреста двадцать долларов.

— Да?

Она глядела на него смущающим взглядом, выражающим материнскую любовь и нежность. Взгляд этот смущал потому, что за нежностью лежал абсолютный тотальный мрак.

— Ты плачешь, Пол?

Он высвободил одну руку и потрогал ее щеку, действительно, она была влажной. Он улыбнулся и протянул Энни деньги.

— Да, немного. Я подумал, что ты так добра ко мне. Наверное, многие люди не поняли бы меня, но я знаю это.

Ее глаза заблестели, когда она нагнулась и коснулась его губ. Он почувствовал ее зловонное дыхание, которое исходило из темных жутких глубин, запах гниющей рыбы. Это было в тысячу раз хуже вкуса пыльной тряпки, потому что напомнило ему как...

(...дыши, о проклятье! ДЫШИ!)

...это мерзкое кислое дыхание врвалось в его легкие, словно ветер из преисподней.

Ему свело живот, но он улыбнулся ей.

— Я люблю тебя, дорогой, — сказала она.

— Ты посадишь меня в кресло, когда будешь уходить? Я хочу писать.

— Конечно, — она обняла его, — конечно, мой дорогой.

ХІ

Ее доброта не распространялась так далеко, чтобы оставить дверь незапертой, но это не создавало проблем. Он не сходил с ума от боли и одиночества в это время. Он собрал четыре шпильки, как усердная белка собирает орехи на зиму, и спрятал их под матрасом вместе с пилюлями.

Когда он удостоверился, что она действительно ушла и не маячит вокруг, чтобы проследить, не собирается ли он «выкинуть какой-нибудь номер» (еще один термин-Уилкзизм в ее лексиконе), он подкатил кресло к кровати и вытащил шпильки; затем взял кувшин воды и коробку «Клинекс» с ночного столика. Катить кресло вместе со стоящей перед ним на доске пишущей машинкой не представляло труда — его руки стали намного сильнее. Энни Уилкз страшно бы удивилась, узнай НАСКОЛЬКО сильнее они были теперь, и он искренне надеялся, что скоро наступит такой день.

«Ройал» была дерьмовой пишущей машинкой, но в качестве снаряда для упражнений она была великолепна. Он начал поднимать ее и ставить на место, продельвая это каждый раз, будучи водруженным в кресло, после того, как она покидала комнату. Пять подъемов на шесть дюймов — максимум, что он мог сделать сначала. Теперь он мог без отдыха поднимать машинку восемнадцать или двадцать раз. Неплохо, если учесть, что чудовище весило по меньшей мере пятьдесят фунтов.

Он работал над замком с одной из шпилек, держа две запасные во рту, подобно швее, подрубаящей платье. Он думал, что кусок шпильки все еще торчал где-то внутри замка и может выдать его, но этого не произошло. Он поймал собачку почти сразу же и потянул вверх, таща вместе с ним язычок замка. Он только на одну минуту задумал-

ся, не поставила ли она дополнительно засов с наружной стороны двери. Он очень старался казаться слабее и больнее, чем был на самом деле, но симптомы подозрения в настоящей паранойе все больше и больше подтверждались. Затем дверь открылась.

Он почувствовал ту же самую нервную вину, побуждение сделать это БЫСТРО. Слух настроился на восприятие шума возвращающейся Старой Бесси — хотя она отсутствовала только сорок пять минут. Он вытащил пачку салфеток «Клинекс», погрузил кусок салфетки в кувшин и перегнулся на бок, держа в руке мокрую массу. Стиснув зубы и игнорируя боль, он начал тереть пятно на правой стороне двери.

К счастью, оно начало почти сразу исчезать. Втулки колес не поцарапали краску, как он боялся, а только слегка задели ее. Он отъехал от двери, повернул кресло и устроился так, чтобы было удобно работать над другим следом. Когда он сделал все, что мог, он снова отъехал и посмотрел на дверь, стараясь увидеть ее чрезвычайно подозрительными глазами Энни. Следы были там, но слабые, почти незаметные. Он подумал, что все обойдется. Он НАДЕЯЛСЯ, что все обойдется.

— Бункер, чтобы спрятаться от урагана — вот, что ей нужно, — сказал он, облизнул губы и сухо засмеялся. — На хрен ей друзья и соседи.

Он снова направился к двери и выглянул в коридор; теперь, когда следы были уничтожены, он не чувствовал стремления ехать дальше или отважиться сделать сегодня что-то еще. В другой день — да. Он будет знать этот день, когда он наступит.

Теперь же он хотел писать.

Он закрыл дверь, щелчок замка показался очень громким.

Африка.

Эта птица родом из Африки. Но ты не должен оплакивать эту птичку, Полли, потому что она скоро забыла, как пахнет степь в полдень, забыла крик антилоп на водопое и очень кислый запах иска-иска деревьев, доносимый великим освежающим северным ветром с Большой Дороги. Очень скоро она забыла светло-вишневый цвет солнца, умирающего за Килиманджаро. Очень скоро она знала только грязные, покрытые смогом закаты Бостона; это было все, что она помнила, все, что хотела помнить. Очень скоро она не хотела больше возвращаться, и если кто-нибудь отвез бы ее обратно и отпустил на свободу, она припала бы к земле, боясь и страдая, тоскуя по дому (неизвестно по какому из двух), пока кто-нибудь проходя мимо не убил ее.

— О, Африка, о, дерьмо! — произнес он дрожащим голосом.

Всхлипывая, он покатил кресло к корзине для мусора и зарыл мокрые комки салфетки среди ненужных бумаг. Он заново поставил кресло к окну и вставил лист бумаги в машинку.

Между прочим, Пол, неужели бампер твоей машины еще торчит из-под снега? Он торчит, радостно поблескивая на солнце и ожидая, когда кто-нибудь проедет мимо и увидит его, пока ты сидишь здесь и ждешь, может быть, твоего последнего шанса.

Он посмотрел с сомнением на чистый лист бумаги в машинке.

Сегодня я не смогу писать. Мне расхотелось писать.

Но ничто никогда не отбивало его желания писать. Он знал, что так могло быть, но, несмотря на предполагаемую хрупкость этого творческого акта, он всегда оставался единственным, самым надежным, самым неизменным делом его жизни. Ничто и никогда не могло загрязнить этот безумный родник мечтаний: ни выпивка, ни наркотики, ни боль. Теперь он избегал его, как жаждущее животное, нашедшее источник в сумерках. И, наконец, он выпил из него: можно сказать, что он с головой ушел в работу. Когда Энни вернулась домой без четверти шесть, у него было написано почти пять страниц.

XII

В течение последующих трех недель он чувствовал, что его окружает какое-то странное наэлектризованное спокойствие. Он постоянно ощущал сухость во рту. Звуки казались ему слишком громкими. Бывали дни, когда он чувствовал, что мог бы взглядом согнуть ложку, а иногда ему казалось, что хочется истерично плакать.

Вне этого, отдельно от всей атмосферы, в стороне от глубокого, сводящего с ума зуда в заживающих ногах, и его собственной безмятежности, продолжалась работа. Стопка страниц на доске справа от машинки потихоньку росла. До этого он каждый день продумывал по четыре страницы, что было для него оптимальной выдачей (когда он писал «Скоростные машины», она составляла две-три в течение многих недель, пока не началась бешеная гонка к финалу). Но в течение этих трех электронедель, которые закончились вместе с ливнем пятнадцатого апреля, Пол в среднем делал по двенадцать страниц в день — семь утром, пять или даже больше по вечерам. Если бы кто-нибудь из его прежних знакомых (он часто так думал, даже не осознавая этого) предположил бы, что он может работать в таком темпе, Пол просто рассмеялся бы.

Когда начался дождь, у него было двести шестьдесят семь страниц «Возвращения Мизери» в черновом варианте конечно, но он просмотр-

рел его и с удивлением понял, что они вполне подходят и для чистовой рукописи.

Частично это объяснялось тем, что он вел исключительно здоровый образ жизни. Больше не было безумных ночей в барах, за которыми следовали не менее безумные дни, заполненные питьем кофе и апельсинового сока, а также глотанием таблеток витамина В (если в такие дни его взгляд случайно падал на пишущую машинку, он с содроганием отводил глаза). Больше не было этих поздних пробуждений с грудастой блондинкой или рыжей стервой, которую он подцепил накануне вечером, девицей, которая в полночь похожа на кинозвезду, а в десять утра больше смахивает на гоблина. Больше не было сигарет. Он как-то раз попробовал попросить их робким голосом, но в ответ она метнула на него такой взгляд, что он тут же решил забыть о куреве. Теперь он был Мистер-Сама-Невинность. Никаких дурных привычек (если, конечно, не считать привычку к кодеину, то мы больше ничего такого плохого не делаем, ведь так, Пол?), никаких развлечений.

«Здесь, — подумал он однажды, — я стал единственным в мире монахом-наркоманом».

Подъем в семь. Две таблетки Новрила запиваются соком. В восемь часов завтрак подается в постель. Три дня в неделю яйцо всмятку, остальные четыре дня — каша. Затем в кресло, поближе к окну, и с головой окунаемся в работу. Вперед, в девятнадцатый век, когда мужчины были еще мужчинами, а женщины носили турнюры. Ленч. Дневной сон. Снова подъем, иногда для того, чтобы отредактировать написанное, иногда, чтобы просто почитать. У нее было все, что когда-то написал Сомерсет Моэм.

(Однажды Пол мрачно поинтересовался про себя, есть ли у нее первый роман Джона Фовела, и решил, что лучше не спрашивать).

Итак, Пол начал прокладывать себе дорогу через эти двадцать разрозненных томов. Год от года становясь взрослее, Пол все больше склонялся к мысли, что он не может читать книги так, как делал это в детстве. Став писателем, он приговорил себя к анализируванию всего в жизни.

Но Моэм сначала соблазнил его, а затем дал ему снова почувствовать себя ребенком. И это было великолепно.

В пять часов она подавала легкий ужин, а в семь прикатывала черно-белый телевизор, чтобы вместе наслаждаться местной программой Цинциннати. Затем продолжалась работа. Когда он уставал, он медленно подкатывал кресло к кровати (он мог бы сделать это быстрее, но нельзя, чтобы Энни знала об этом). Она услышит, войдет и поможет перебраться ему в кровать. Снова лекарство. Гул. Засыпая,

словно попадаешь в свет. И на следующий день то же самое. Завтра и послезавтра и потом — все то же самое.

Эта размеренная жизнь несомненно явилась причиной столь удивительной плодотворности. Но гораздо более важной причиной была сама Энни. В конце концов именно ее сомнительное предложение, вроде пчелиного укуса, предопределило книгу и сделало ее первой потребностью после того, как Пол был совершенно уверен, что с Мизери покончено навсегда.

Одно он знал точно: никакого «Возвращения Мизери» не было и быть не могло. Все его воображение было направлено на то, каким образом наиболее правдоподобно вытащить эту суку из могилы. А такие малозначимые вопросы, как О ЧЕМ вообще будет эта проклятая книжонка, пришлось откладывать на потом.

В течение двух дней после поездки Энни в город, чтобы уплатить по счету, Пол старался не думать о том, что упустил великолепную возможность сбежать и был поглощен возвращением Мизери в домик миссис Ремидж. Ее нельзя было отвезти домой к Джеффри. Слуги — прежде всего этот сплетник дворецкий Тайлер — увидят и разболтают обо всем. Кроме того, надо было устранить полную амнезию, которая наступила вследствие шока, полученного в результате того, что Мизери была заживо похоронена.

Амнезия? Черт, эта птишка едва разговаривает. Гораздо легче, когда она начинает свою обычную болтовню.

Так — что дальше? Эта сучка уже не в могиле, о чем же теперь будет эта дурацкая история? Скажут ли Джеффри и миссис Ремидж Яну, что Мизери осталась жива? Пол не был уверен. Он знал, что неуверенность — это не слишком веселый уголок в чистилище для писателей, которые гонят работу вперед, не имея ни малейшего представления о том, что будут писать дальше.

«Не Яну, — подумал он, глядя на сарай. — Пока еще не Яну. Сперва доктор. Этот старый козел, у которого имя состоит из одних «н». Шайнбон».

Мысль о докторе уже в который раз напоминала ему высказывание Энни о пчелином жале. Он то и дело возвращался к этой мысли. «Примерно у каждого десятого человека...»

Но это просто не срабатывает. Две женщины, живущие в одном городе, почти одновременно умирают от такой редкой аллергии?

На третий день после того, как Энни Уилкс выкрутилась из неприятного дела, связанного с оплатой налогов, Пол, как всегда, дремал; вдруг парни на заводе громыхнули чем-то и громыхнули очень сильно. Это была не просто вспышка, это был взрыв настоящей водородной бомбы.

— Энни! — заорал он. — Энни, иди сюда!

Он услышал ее топот внизу, по ступенькам, и затем в коридорчике. Она вошла в комнату с широко раскрытыми испуганными глазами.

— Пол! Что случилось? У тебя судороги? Ты...

— Нет, — сказал он, хотя на самом деле РАЗУМ его был в судорогах. — Нет. Энни, извини, если я напугал тебя, но ты должна помочь мне сесть в кресло. Черт побери! Я нашел!

Он не успел сдержать слетевшего с губ ругательства, сейчас это не имело никакого значения. Она поглядела на него уважительно, с трепетом и благоговением, словно на ее глазах распускался папоротник, цветущий раз в сто лет.

— Конечно, Пол.

Она быстро усадила его в кресло и хотела подкатить к окну, но Пол нетерпеливо замотал головой.

— Это не займет много времени, — сказал он, — но это очень важно.

— Что-нибудь связанное с книгой?

— Это и есть сама книга. Спокойно. Не разговаривай со мной.

Не обращая никакого внимания на пишущую машинку — он никогда не пользовался ею, чтобы делать заметки — он схватил шариковую ручку и начал быстро писать на листке бумаги какие-то совершенно немыслимые каракули, которые никто кроме него самого не смог бы разобрать.

Они ИМЕЛИ отношение друг к другу. У них была одинаковая реакция на пчелиный укус, потому что они были как-то СВЯЗАНЫ. Мизери-сирота. И что можно предположить? Крошка Эвелин-Хайт была СЕСТРОЙ МИЗЕРИ! Или, может, сестрой по матери. Это, наверное, лучше. Кто первый узнает? Шенни? Нет. Шенни дурак. Миссис Ремидж. Она может пойти навестить мамулю Эвелин-Хайт и...

Его осенило. Идея была просто замечательной. Наконец это был сюжет. Он замер с открытым ртом и выпученными глазами.

— Пол? — взволнованно спросила Энни.

— Она ЗНАЛА, — прошептал Пол, — КОНЕЧНО, она знала. По крайней мере сильно подозревала. Но...

Он снова склонился над своими записями.

...она — миссис Р. сразу же понимает, что Мизери дочь миссис Э.-Х. Волосы такие же или что-нибудь еще. Мамуля Э.-Х. становится одним из главных персонажей. Нужно будет над этим поработать. Миссис Р. начинает понимать, что миссис Э.-Х. МОГЛА ДАЖЕ ЗНАТЬ, ЧТО МИЗЕРИ ПОХОРОНЕНА ЗАЖИВО! ЧЕРТ ВОЗЬМИ! ЗДОРОВО! Может быть, старая леди воспринимала Мизери, как нечто, связывающее ее с былыми развеселыми денечками и...

Он положил ручку и посмотрел на бумагу, затем снова медленно взял ручку и накалял еще несколько строчек.

Три важных момента:

1. Как реагирует миссис Э.-Х. на подозрения миссис Р.? Она должна захотеть либо убить ее, либо наложить в штаны с перепугу. Мне кажется, что лучше испуг, но думаю, что Э. У. больше понравится убийство. О'кей. Пусть будет убийство.

2. Каково участие Яна в этом?

3. Амнезия Мизери?

Да, и еще одно. Узнает ли Мизери, что ее мамуля предпочитает, чтобы обе ее дочери были похоронены заживо, чем был пролит свет на ее прошлое?

Если нет, то почему?

— Не могла бы ты теперь помочь мне перебраться снова в постель, — сказал Пол. — Извини, что я орал как безумный. Просто я был возбужден.

— Все в порядке, Пол, — в ее голосе все еще звучало благоговение.

С тех пор работа просто кипела. Энни оказалась права: книга получалась куда более страшной и жесткой по сравнению с другими книгами о Мизери. Первая глава еще не была настоящей удачей, но она явилась как бы ее предвестницей. Эта книга была динамичней и насыщенней событиями, чем любая предыдущая, и все персонажи более жизненными.

Последние три книги выглядели примитивными приключениями с подробными описаниями пикантных эротических сцен на радость женщинам. Он начинал понимать, что эта книга будет готическим романом, то есть будет основываться не на ситуациях, а на сюжете. Сомнения не покидали его. Это был не просто вопрос, возникший впервые за многие годы: СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ начать книгу? Этот вопрос он задавал себе почти каждый день: СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ?.. и отвечал: СМОГУ.

Потом пошел дождь и все изменилось

XIII

С восьмого по четырнадцатое апреля они наслаждались чудесной погодой. Солнце посылало лучи на землю с безоблачного неба и температура иногда поднималась выше шестидесяти. На полях за чистеньким красным сараем Энни начали появляться коричневые проталины. Пол спрятался за свою работу и старался не думать о своей машине, обнаружение которой уже было предопределено. Его работа не страдала, но страдало его настроение: он все больше и больше

чувствовал, что живет в облачной камере, дыша наэлектризованной атмосферой. Как только «Камаро» всплывал в его памяти, он немедленно вызывал полицию, и эта мысль увлекала его за собой в наручниках и кандалах. Беда — такая проклятая штука, которая имеет привычку время от времени уходить и появляться снова в той или иной форме.

Однажды ночью ему приснилось, что к Энни снова приехал Мистер Гранд-на-Ранчо. Он вышел из своего холеного «Шевроле», держа в руке часть бампера «Камаро», а в другой руке — баранку.

— Это ваше? — спросил он Энни во сне.

Пол проснулся в более чем радостном настроении.

Энни, наоборот, никогда не была в лучшем расположении духа, чем во время этой солнечной недели в начале весны. Она убиралась, она готовила изысканные блюда (хотя все, что она готовила, оказывалось очень казенным на вкус, как будто долгие годы питания в больничных кафетериях убили когда-либо имевшийся у нее кулинарный талант). Каждый день она пеленала Пола в огромное голубое одеяло, насовывала зеленую охотничью шапочку на голову и выкапывала кресло на заднее крыльцо.

Обычно он брал с собой книгу Моза, но редко читал ее — пребывание на воздухе было слишком большим событием для него, чтобы отвлекать свое внимание на что-либо еще. Он по большей части просто сидел, вдыхая сладкий прохладный воздух вместо затхлого воздуха спальни, прислушивался к звуку капли и наблюдал, как тень от облаков медленно и непрерывно катилась по тающему полю. Это было лучше всего.

Энни распевала песни своим необычно глухим голосом. Она хихикала как ребенок над шутками в развлекательных программах телевидения, особенно сильно смеялась над самыми бесцветными и плоскими из них. Она неумоимо вставляла «н», когда Пол завершил девятую и десятую главы.

Утренний рассвет пятнадцатого выдался ветреным и пасмурным, и настроение Энни изменилось. Пол подумал, что это, вероятно, было связано с падением барометра. Такое объяснение было ничуть не хуже любого другого.

Она не появлялась с его лекарством вплоть до девяти часов утра, а к этому времени он уже очень нуждался в нем — настолько сильно, что подумывал о припрятанном запасе. Завтрака не было. Только пилюли. Когда она вошла в комнату, на ней все еще был ее розовый стеганый халат. Он отметил со все возрастающим дурным предчувствием красные полосы, как от удара плетью, на ее щеках и руках. Он также увидел липкие пятна на халате; на ногах у нее был только один

шлепанец. «Сад-слаш», — раздавалось за Энни, когда она приближалась к нему. «Сад-слаш, сад-слаш, сад-слаш». Волосы ее обвисли вокруг лица, глаза были мутными.

— Вот, — произнесла она и швырнула ему пилюли. Руки ее также покрывали липкие брызги. Что-то красное, коричневое, неприятно белое. Пол не имел представления, что это могло быть. Пилюли ударились о его грудь и упали на колени. Она повернулась, чтобы уйти. «Сад-слаш, сад-слаш, сад-слаш».

— Энни?

Она остановилась, не оборачиваясь. В этом наряде она выглядела больше, плечи в розовом халате казались шире, а волосы сбились в разбитый шлем. Она напоминала первобытную женщину, выглядывающую из своей пещеры.

— Энни, с тобой все в порядке?

— Нет, — сказала она безразлично и обернулась. Она смотрела на него с тупым выражением, зажав нижнюю губу большим и указательным пальцами правой руки. Она вытянула ее и затем закрутила, одновременно вдавливая вовнутрь. Кровь сначала хлынула между губ и десен, затем полилась по подбородку. Она повернулась и вышла, не сказав ни слова, прежде чем его ошеломленный разум смог осознать, что он действительно видел эту сцену. Она закрыла дверь и... заперла ее. Он услышал ее удаляющиеся, шаркающие по коридору шаги. Затем раздался скрип ее любимого стула, когда она садилась на него. Больше ничего. Ни телевизора, ни пения. Ни звука серебра или посуды. Тишина. Она просто сидела там. Просто сидела, и ей было нехорошо.

Затем последовал звук. Он не повторился, но был очень отчетлив. Это был хлопок. И, черт побери, довольно сильный. И хотя Пол был с одной стороны запертой двери, а она находилась снаружи — с другой стороны, не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить, что она шлепала сама себя. Хорошо и сильно, судя по звуку. Он представил, как она выпячивает свою губу и вонзает свои короткие ногти в ее чувствительное розовое мясо.

Неожиданно в памяти всплыла заметка о душевных больных, которую он использовал в первой книге «Мизери», где большая часть действия происходит в Лондонской психиатрической больнице Бедлам (Мизери была посажена в сумасшедший дом безумно ревнивой злодейкой). «Когда маньяк — депрессивный больной начинает впадать в депрессивное состояние, — писал он, — одним из симптомов заболевания является то, что он или она начинают сами себя наказывать: шлепать, щипать, ударять, прижигать сигаретами и т.д.»

Пол вдруг очень испугался.

Пол вспомнил очерк Эдмунда Уилсона, где автор сказал в типичной для него сдержанной манере, что достойный критерий создания хорошей поэзии — сильные эмоции, вызванные в период спокойствия, будут достаточно полезны и для большинства произведений художественной прозы. И это было правильно. Пол знал писателей, которые находили невозможным писать после супружеской ссоры; он и сам не мог писать, когда был чем-то огорчен. Но были случаи, когда при этом достигался определенный обратный эффект — это было тогда, когда он работал не столько потому, что это было нужно, а потому, что это был способ избежать всего того, что его огорчало. Обычно это были случаи, когда невозможно было устранить причину огорчения.

Сейчас был один из таких случаев. Когда она не вернулась в комнату к одиннадцати часам утра, чтобы посадить его в кресло, он решил сделать это сам. Взять машинку с камина он, конечно, не мог, но он мог писать от руки. Он был уверен, что мог бы взобраться теперь в кресло без посторонней помощи, но понимал, что Энни не должна знать о том, что он это может. Однако ему необходимо было сменить положение, черт возьми, он не мог писать лежа.

Он перевесился через край кровати, проверил, установлен ли тормоз кресла, затем схватился за его ручки и медленно подтянулся. Ему пришлось в какой-то момент опереться на ноги и это был единственный случай, причинивший ему боль. Он покатил кресло к окну и подхватил свою рукопись.

В замке зашевелился ключ. Энни заглянула в комнату и уставилась на него горящими из черных впадин глазами. Ее правая щека распухла и выглядела так, как будто на ней готов появиться огромный синяк. Вокруг рта и на подбородке было что-то красное. Сначала Пол подумал, что это была кровь из разбитой губы, а затем увидел на ней семена. Это был малиновый джем или малиновая начинка, но не кровь. Она смотрела на него. Пол оглянулся. Никто не произнес ни звука. Только на улице били по окну первые капли дождя.

— Если ты можешь забираться в кресло сам, Пол, — сказала она наконец, — тогда я думаю, ты можешь сам вставлять свои чертовы «н».

Затем она захлопнула дверь и снова заперла ее. Пол долго сидел, глядя на нее, как будто там можно было что-то увидеть. Он был слишком поражен, чтобы делать что-нибудь еще.

Он не видел ее вплоть до конца дня. После ее визита работа стала невозможной. Он сделал пару безрезультатных попыток, скомкал бумагу и бросил работу. Это была халтура. Он покатился через комнату. В процессе пересадки из кресла в кровать одна его рука соскользнула и он был на грани падения. Боль была мучительной: как будто в его кость вонзили дюжину болтов. Он вскрикнул, ухватился за изголовье кровати и подтянулся; его левая нога волочилась за ним.

— Шум заставит ее прийти сюда, — подумал он бессвязно. — Она захочет посмотреть, неужели Шелдон на самом деле превратился в Лючано Паваротти или это только так ей кажется.

Но она не пришла, а другого способа терпеть жуткую боль в ноге не было. Он неуклюже перекатился на живот, засунул руку под матрац и вытащил одну упаковку Новрила. Проглотил две пилюли без воды и затем ненадолго отключился.

Когда сознание вернулось к нему, его первой мыслью было, что он все еще спит. Это было слишком сюрреально, как в тот вечер, когда она вкатила сюда жаровню. Энни сидела на краю кровати. На прикроватный столик она поставила стакан с водой и капсулы Новрила. В руке она держала крысоловку. В ней была крыса — большая, с пестрым серо-коричневым мехом. Капкан сломал ей спину. Ее задние ноги болтались по бокам, на усах блестели капельки крови.

Это был не сон. Только еще один день в Доме Смеха с Энни. Ее зловонное дыхание напоминало запах разлагающегося трупа.

— Энни?

Он выпрямился, переводя глаза с нее на крысу. На улице смеркалось — странные голубые сумерки, наполненные дождем. Пелена дождя покрывала окно. Сильные порывы ветра сотрясали дом, заставляя его скрипеть.

Как бы плохо ни было ей раньше, в это утро было хуже всего. ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже. Он понял это, глядя на нее; она сняла свои маски — это была подлинная Энни, Энни без прикрас. Кожа на ее лице, казавшаяся прежде ужасно упругой, теперь безжизненно обвисла, как тесто. Глаза были пустыми. Она была одета, но юбка — наизнанку. На теле появились новые следы побоев, на одежде — новые пищевые пятна. Когда она двигалась, они испускали так много разных запахов, что Пол мог их сосчитать. Почти весь рукав ее кофты был пропитан полусохшим веществом, который издавал запах мясного соуса.

Она подняла крысоловку.

— Они приходят в подвал, когда идет дождь. — Придавленная крыса слабо попискивала и хватала воздух. Она выкатила свои черные

глазки, гораздо более живые, чем у ее захватчицы. — Я поставила капканы. Я вынуждена была; я смазала их свиным жиром. Я всегда ловлю так по восемь-девять штук. Иногда мне попадаются другие...

Вдруг она замолчала. Молчала почти три минуты, держа в руке крысу: типичный случай амилоидной кататонии. Пол пристально посмотрел на нее, на крысу, которая пищала и барахталась, и понял, что дела — хуже некуда.

Наконец, когда он уже начал думать, что она навсегда предала его забвению без фанфар и суеты, она опустила капкан и продолжила фразу, как будто никогда и не останавливалась:

— ...утонувшие по углам. Бедняги.

Она опустила взгляд на крысу и на ее густой мех упала слеза.

— Бедная, бедная...

Одной сильной рукой она обхватила крысу, а другой оттянула пружину. Крыса билась у нее в руке, стараясь укусить. Она издавала ужасные, пронзительные вопли. Пол прижал ладонь к вздрагивающему от отвращения рту.

— Как бьется ее сердце! Как она борется за то, чтобы убежать! Так же, как это делаем мы, Пол! Как мы. Мы думаем, что знаем так много, но на самом деле мы знаем не больше, чем крыса в капкане, — крыса со сломанной спиной, все еще желающая жить.

Рука, державшая крысу, сжалась в кулак. Ее глаза не потеряли свое пустое, отсутствующее выражение. Пол хотел отвести взгляд, но не мог. На внутренней стороне ее руки начали выступать напряженные сухожилия. Кровь резко хлынула из рта крысы тонкой струйкой. Пол услышал хруст ее костей, и толстые пальцы Энни вдавились в тело животного, исчезая в нем до первого сустава. Кровь барабанила о пол. Тупые глаза создания выпучились.

Она швырнула тело в угол и безразлично вытерла руку о простыню, оставляя на ней длинные красные полосы.

— Теперь она успокоилась, — сказала Энни, содрогнувшись и затем засмеялась. — Я возьму свое оружие, Пол, хорошо? Может быть, другой мир лучше. Для крыс и людей — между ними нет большой разницы.

— Нет, пока я не завершу книгу, — сказал он, стараясь произносить каждое слово с особой тщательностью. Это было трудно, потому что он чувствовал себя так, как будто его рот был полон новокаина. Он видел ее прежде в подавленном состоянии, но ничего подобного, как сейчас, не было. Интересно, было ли когда-нибудь еще у нее такое состояние? Ведь именно в таком состоянии больные убивали всех членов своей семьи, а затем себя. Именно в таком психическом отчаянии женщина сначала одевает своих детей в лучшие одежды, угощает их мороженым, а затем ведет их к ближайшему мосту, берет

на руки и бросается с ними в воду. Больные депрессией убивают себя; убаюканные в отравленных колыбельках своего собственного эго, они **хотят** сделать всем одолжение и взять с собой.

«Я ближе к смерти, чем когда-либо в моей жизни, — подумал он, — потому что она намеревается сделать это. Сука это имеет в виду».

— Мизери? — спросила она почти так, как если бы впервые слышала это слово, но в то же время в глазах ее блеснула мимолетная искра; он думал так.

— Да, Мизери.

Он подумал с отчаянием о том, как ему следует продолжать разговор. Каждый возможный подход казался минированным.

— Я согласен, что мир в большинстве случаев является паскудным, — сказал он и затем глупо добавил, — особенно, когда идет дождь.

О, ты идиот, перестань болтать!

— Я имею в виду, что за последние несколько недель я очень много страдал, и...

— Страдал? — она посмотрела на него с болезненным презрением. — Ты не знаешь, что такое боль. Ты не имеешь НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ, Пол.

— Нет... Я полагаю, нет. По сравнению с тобой.

— Правильно.

— Но я хочу закончить эту книгу. Я хочу увидеть, чем это все кончится. — Он помолчал. — И я хотел бы, чтобы ты была рядом и увидела тоже. Зачем писать книгу, если ее некому читать. Ты меня понимаешь?

Он лежал на кровати, разглядывая это ужасное каменное лицо с трепещущим сердцем.

— Энни, ты слышишь меня?

— Да... — вздохнула она. — Я **ХОЧУ** узнать, чем все кончится. Это **ЕДИНСТВЕННОЕ**, что я хотела бы.

Медленно, очевидно не сознавая, что делает, она начала слизывать крысиную кровь с пальцев. Пол стиснул зубы и мрачно приказал себе **НЕ ТОШНИТЬ, НЕ ТОШНИТЬ**.

— Это все равно, что ждать конца одного из этих сериалов.

Она неожиданно оглянулась, кровь на ее губах напоминала губную помаду.

— Позволь мне предложить снова, Пол. Я могу принести мой пистолет, я могу покончить со всем этим для нас обоих. Ты не глупый человек. Ты знаешь, что я никогда не позволю тебе уйти отсюда. Ты знаешь это, не правда ли?

Не позволяй твоим глазам мигать. Если она увидит в твоих глазах нерешительность, она убьет тебя немедленно.

— Да. Всегда всему есть конец, не так ли, Энни? В конце концов мы все здесь временно.

Тень улыбки в углах ее рта, она слегка касается его лица с любовью.

— Я полагаю, ты думаешь о побеге. Так же думала и крыса в капкане, я уверена. Но ты не сделаешь этого, Пол. Ты мог бы, если бы это было в одном из твоих романов, но это не роман. Я не могу позволить тебе уйти отсюда... но я могла бы уйти вместе с тобой.

И вдруг буквально мгновение он готов был сказать: «Хорошо, Энни. Вперед! Только давай прямо сейчас».

Но затем желание жить и воля к жизни — а в нем все еще осталось много каждого из них — поднялись и шумно запротестовали против моментной слабости. Слабость — вот что это было. Слабость и трусость. К счастью или несчастью у него не было душевного заболевания, на которое можно было бы сослаться.

— Спасибо, — сказал он, — но я хочу закончить то, что я начал. Она вздохнула и встала.

— Хорошо. Я должно быть знала, что ты захочешь подождать, так как я вижу, что принесла тебе пилюли, хотя и не помню этого.

Она засмеялась — сумасшедшее хихиканье, которое, казалось, исходило из этого вялого лица, как из утробы чревоушателя.

— Мне нужно отлучиться ненадолго. Если я не уйду, то произойдет то, чего ты или я не хотим. Потому что я не могу не сделать этого. У меня есть укромное место, куда я уйду, когда так себя чувствую. Место в горах. Ты когда-либо читал истории Дядюшки Ремуса, Пол?

Он кивнул.

— Ты¹ помнишь, как Братец Кролик рассказывает Братцу Лису о его Месте Смеха?

— Да.

— Так я называю мое место высоко в горах. Мое Место Смеха. Помнишь, я сказала, что возвращалась из Сайдуиндера, когда нашла тебя?

Он кивнул.

— Ну так это было вранье. Я врала, потому что не знала тебя хорошо тогда. На самом деле я возвращалась из Места Смеха. Там над дверью висит табличка: МЕСТО СМЕХА ЭННИ. Иногда я действительно смеюсь, когда попадаю туда. Но большей частью я просто кричу.

— Как долго ты собираешься отсутствовать, Энни?

Она задумчиво продвигалась к двери.

— Я не могу сказать. Я принесла тебе пилюли. У тебя будет все в порядке. Принимай по две через каждые шесть часов. Или шесть каждые четыре часа, или все сразу.

— Но что я буду есть? — хотел он спросить ее, но не спросил. Он не хотел возвращать ее внимание на себя. Он хотел, чтобы она ушла. Находиться здесь рядом с ней — все равно, что быть вместе с Ангелом Смерти.

Он долго лежал неподвижно, прислушиваясь к ее перемещениям, сначала вверх, затем по лестнице, затем в кухне, боясь, что она передумает и в конце концов вернется к нему с пистолетом. Он не расслабился даже тогда, когда услышал, как хлопнула входная дверь и щелкнул в ней замок. Затем раздались шаркающие шаги на улице. Револьвер мог быть и в «Чероки».

Мотор Старой Бесси взревел и закашлял. Энни свирепо дала полный газ. Вспыхнули передние фары, освещая серебристую стену дождя. Фары стали удаляться вниз по дороге. Они свернули, уменьшая силу света, и затем Энни исчезла. Она направлялась не вниз по дороге, не в Сайдуиндер, а вверх, высоко в горы.

— Убирается в свое Место Смеха, — проворчал Пол и начал смеяться над собой. Она добила своего — он уже стал самим собой. Дикий приступ веселья мгновенно оборвался, когда его взгляд упал на искалеченное тело крысы в углу.

Его осенила мысль.

— Кто сказал, что она не оставила мне ничего есть? — спросил он комнату и засмеялся громче. В пустом доме Место Смеха Пола Шелдона напоминало обитую войлоком палату в психиатрической больнице.

XVI

Спустя два часа Пол снова взломал замок и спальне и во второй раз направил кресло-качалку через дверной проем, который все-таки был слишком мал. Это была его последняя надежда.

На коленях у него лежали два шерстяных одеяла. Все таблетки, которые он прятал под матрасом, теперь, завернутые в «Клинекс», лежали у него за пазухой. Он намеревался выбраться наружу, не задумываясь о том, идет на улице дождь или нет. Это был шанс, и он хотел воспользоваться им. Сайдуиндер находился под холмом, и дорога вниз будет скользкой; кроме того, темно было, как у негра в заднице. Он знал об этом, но его это не останавливало. Его жизнь не была жизнью героя или святого, но он не собирался умереть, как экзотическая птица в зоопарке.

Он вспомнил тот вечер в Вилладже, когда они пили вместе с мрачным драматургом по имени Бернштейн в «Голове Льва» (и если он выживет и ему доведется увидеть Вилладж снова, он встанет на

колени, чего бы ему это ни стоило, и поцелует пыльный тротуар Кристофер-стрит). Каким-то образом разговор коснулся евреев, живших в Германии в нелегкие четыре года, до того, как Вермахт вторгся в Польшу и началась эта всемирная заварушка. Пол вспомнил, как он говорил Бернштейну, который потерял тетю и дедушку в Холкаусте, что он не понимал, почему евреи в Германии — черт, во всей Европе, но особенно в Германии — не сбежали, пока еще было время. Такая огромная нация, они же дураки, многие уже имели опыт подобных гонений. Несомненно, они видели и понимали, что приближается. Так почему же они остались?

Ответ Бернштейна ошеломил его своей фривольностью и жестокостью: «Большинство из них имело пианино. Мы, евреи, очень способные к музыке. А когда ты покупаешь пианино, тебе уже очень трудно думать о переезде».

Теперь он понял. Да. Сначала это были его раздробленные ноги и сломанный таз. Потом книга удерживала его. Как ни безумно это звучит, но он даже находил в ней удовольствие. Было бы легко — слишком легко — свалить все на сломанные кости или наркотики, тогда как на самом деле это была КНИГА. Книга и монотонное течение дней его выздоровления. Все это и особенно проклятая, дурацкая книжонка и были его ПИАНИНО.

Что бы она сделала, если, вернувшись, не обнаружила бы его в комнате? Что? Сожгла бы рукопись.

— А, черт с ней! — сказал он, и это было почти правдой. Если он выживет, он сможет написать другую книгу, даже воссоздать эту, если захочет. А у мертвого не больше возможности написать новую книгу, чем купить новое пианино.

Он был в гостинной. Раньше она была чистой и опрятной, но теперь грязные и расколотые тарелки и блюда валялись, где попало. Полу показалось, что здесь находилось все, что есть в доме. Энни, очевидно, не только била и шипала себя; находясь в депрессии, она еще и обжиралась, не заботясь о том, чтобы убрать после себя. Он припомнил вонючий ветер, который врвался в его глотку, когда он был в грозовом облаке, и его затошнило. Большая часть объедков была остатками сладостей. Мороженое высыхало в чашках и супницах. В тарелках были крошки пирога и крем с пирожных. На телевизоре, подле двухлитровой пластиковой бутылки, возвышался холмик из лимонного желе, покрытый засыхающей корочкой. Бутылка пепси, неестественно большая, напоминала боеголовку Титан-П! Поверхность бутылки была чем-то смазана и оттого казалась почти непрозрачной. Он подумал, что она пила прямо из бутылки и пальцы ее были в мороженом или соке.

Он не слышал металлического звона, и не удивительно. В комнате была масса тарелок и блюд, но ни одного ножа, вилки или ложки. Пол и кушетка забрызганы и заляпаны в основном мороженым.

Вот, что я видел на ее халате: то, что она ела. И этим же от нее воняло. Он снова представил себе Энни в виде первобытной женщины. Он словно видел, как она сидела здесь с полным ртом мороженого и грязными руками от полузастывшего соуса из-под цыпленка. Все это она запивала пепси — просто жрала все подряд и пила пепси в глубокой депрессии.

Пингвин со своей льдиной все еще оставался на столике, но многие другие керамические фигурки она побросала в угол, где валялись их полированные останки — крохотные остренькие черепки.

Он продолжал видеть ее пальцы, погружающиеся в крысиное тело. Красные следы пальцев на простыне. Он видел, как она слизывает кровь с пальцев с таким отсутствующим видом, словно ест мороженое или желе. Эти образы были отвратительны, но они послужили хорошим стимулом, чтобы поторопиться.

Ваза с засохшими цветами была опрокинута на пол, под столом лежало блюдо с молочным пудингом и большая книга. Она называлась «Закоулки памяти».

Путешествие по «Закоулкам памяти» — не лучшая идея, когда у тебя депрессия.

Он покатился через комнату. Прямо перед ним была кухня. Широкий короткий коридор направо вел к входной двери. Рядом с коридором несколько ступенек уходили в сторону, к задней двери. Мельком глянув на ступеньки (коврик, покрывавший их, был забрызган мороженым и на перилах виднелись смазанные следы того же мороженого), Пол покатил к двери. Он думал, что если для него, привязанного к креслу, и будет выход, то только через кухню, откуда Энни выходила кормить животных и откуда вылетела пулей, когда появился Мистер Гранд-на-Ранчо. Пола мог ожидать сюрприз.

Но сюрприза не было. Ступеньки на веранде оказались именно такими крутыми, как он и боялся. Но даже, если бы был скат (а такое невозможно даже в игре «Сможешь ли ты?»), он не смог бы воспользоваться им. На двери было три замка. С засовом он бы еще справился. Но другие два были «Кригс» — лучшие замки в мире, по словам его друга, бывшего полицейского Тома Твифорда. А где же ключи? Ммм...дайте подумать. На пути к Комнате Смеха, может быть? Ну да, Боб! Дайте джентльмену сигару и зажигалку!

Он откатился назад в холл, стараясь не поддаваться панике и повторяя про себя, что он и не надеялся сразу выбраться через эту дверь. Он развернул кресло и вкатился в кухню.

Это была старомодная комната со светлым линолеумом на полу и потолком, выложенным прессованной плиткой. Холодильник старый, но хороший. На его дверце было прилеплено несколько магнитных фигурок — не удивительно, что все они изображали сладости, жевательную резинку, конфеты, мороженое. Одна из дверей в кабинет была открыта и он мог видеть папки, аккуратно сложенные и накрытые клеенкой. За раковиной были большие окна. Мусор из открытого ведра буквально вываливался на пол, распространяя мерзкое теплое зловоние. Но вонял не только мусор. Там было кое-что еще, более примечательное для него: аромат Уилкз, аромат гниения.

В комнате были три двери: две налево и одна прямо возле холодильника. Сначала он подъехал к дверям налево. Одна вела в кухонный чуланчик; он понял это еще до того, как увидел пальто, шапки и обувь. Легкого твякающего звука петель было достаточно, чтобы понять это. Другой дверь обычно пользовалась Энни, и здесь был еще один засов и два «Кригса». Ройдманы остаются там. Пол остается здесь.

Он представил, как она смеется.

— Ах ты, чертова сука! — он стукнул кулаком по дверной створке. Ему было больно и он прижал руку к губам. Он возненавидел себя, слезы щипали ему глаза и все кругом двоилось. Паника начинала захлестывать его. Что ему делать? Что же, черт побери, он собирается делать? Это, может, его последний шанс...

Вот, что я сделаю. Сначала я решу, что предпринять, чтобы вырваться отсюда. Если можно сохранять спокойствие, то валяй думай, дерьмо ты собачье.

Он вытер глаза и посмотрел через стеклянную часть двери. Это было единственное окно, если не считать десятка полтора маленьких форточек под потолком. Он мог бы разбить стекло, но ему пришлось бы еще ломать и рейки, а на это уйдет часа два, не меньше. И что тогда? Камикадзе выныривает на заднем крыльце. Классная мысль. Может быть, он сломает себе спину и это ему ума прибавит? И ему не придется долго лежать на снегу и ждать, пока он умрет от холода. Природа позаботится об этом.

Нет выхода. Мать твою, нет выхода. Может быть, попытаться выбить дверь, но клянусь богом, я не сделаю этого, пока у меня не будет возможности доказать моей самой большой поклоннице, сколько удовольствия получил я от знакомства с ней. И это не просто обещание — это священный обет.

Идея отплатить Энни успокоила его гораздо больше, чем любое самобичевание. Немного успокоившись, он щелкнул выключателем рядом с запертой дверью. Зажегся наружный свет, который пришлось кстати — за то время, как он покинул комнату, на улице стемнело.

Подъездная аллея Энни была затоплена, а ее двор превратился в трясину из грязи, стоячей воды и глыб тающего снега. Направляя свое кресло все время влево от двери, он смог впервые увидеть дорогу, идущую мимо ее небольшого участка, дорогу с двусторонним движением между тающих сугробов, блестящую, как шкура тюленей, и покрытую дождевой и ледяной водой.

Может быть, она заперла дверь, чтобы не впускать Ройдманов, но ей не нужно было запирасть их, чтобы не выпускать меня. Если бы я и выбрался отсюда в своем кресле, то через пять секунд я утонул бы в этой трясине. Ты не пойдешь никуда, Пол. Ни сегодня вечером, ни, вероятно, еще в течение нескольких недель. Минует месяц бейсбольного сезона, прежде чем затвердеет земля и для тебя станет возможным выбираться отсюда на кресле. Если ты не хочешь вывалиться с грохотом через окно и пресмыкаться перед ней.

Нет, он не хотел делать этого. Слишком легко было представить, что будут чувствовать его разбитые кости через десять или пятнадцать минут ползания по холодным лужам и тающему снегу, как умирающий головастики. И если даже предположить, что он смог выбраться на дорогу, каковы его шансы остановить машину? За все время он слышал здесь только две машины, кроме Старой Бесси: Эль Гранд-на-Ранчо и проезжающую мимо машину, до смерти напугавшую его в первую вылазку из комнаты.

Он выключил наружный свет и покатил к другой двери — двери между холодильником и кладовкой. На ней также были три замка, и она не открывалась ни наружу, ни вовнутрь. Рядом с этой дверью был еще один выключатель. Пол щелкнул им и увидел чистенькую веранду под навесом вдоль дома с наветренной стороны. В одном ее конце лежала поленица дров и стоял чурбан с воткнутым в него топором. В другом конце стоял верстак, а над ним на крючках были развешены разные инструменты. Слева была еще одна дверь. Наружная лампа не была очень яркой, но света от нее хватало Полу, чтобы разглядеть еще одну задвижку и еще два замка «Кригс» на этой двери тоже.

Ройдманы... все... все готовы достать меня...

— Я ничего не знаю о них, — произнес он в пустоту кухни, — и я уверен в этом.

Отказавшись от мысли открыть дверь, он поехал в кладовку. Прежде чем изучить запас пищи на полках, он поискал спички. В кладовке оказалось две коробки бумажных спичек и по меньшей мере две дюжины коробков «Дайамонд Блю Типс», аккуратно сложенных в штабель.

Был момент, когда он решил просто поджечь дом, но затем отклонил эту мысль как наиболее смехотворную и даже увидел в ней

нечто такое, что заставило его передумать. Здесь, однако, была еще одна дверь и на ней не было замков.

Он открыл ее и увидел крутую шаткую лестницу вниз, ведущую в подвал. Из темноты ему ударил в нос отвратительный запах сырости и гниющих овощей. Он услышал тихий писк и вспомнил слова: «Они приходят ко мне в подвал, когда идет дождь. Я ставлю капканы. Я вынуждена делать это».

Он поспешно захлопнул дверь. Капля пота стекла с его виска и пробежала, обжигая, в угол правого глаза. Он смахнул ее прочь. Зная, что дверь должна вести в подвал, и видя, что там нет замков, он моментально подумал о том, чтобы осветить факелами место для возможно более рационального его использования: он мог найти там убежище. Но лестница оказалась слишком крутой и вероятность быть заживо похороненным, если горящий дом Энни завалит выход из подвала, прежде чем приедут пожарные машины из Сайдуиндера, была слишком реальной; кроме того, эти ужасные крысы снизу... самым худшим был их писк.

Как бьется ее сердце! Как она борется, чтобы спастись! Также, как это делаем мы, Пол. Как мы.

— Африка, — сказал Пол и не услышал сам себя. Он начал выбирать банки и пакеты с едой в кладовке, стараясь определить, что он мог бы взять, не возбуждая ни малейшего подозрения с ее стороны, когда она придет сюда в следующий раз. Одна его половина точно знала, что означало это определение: он бросил мысль о побеге.

— Только на время, — запротестовал его обеспокоенный разум.

— Нет, — безжалостно ответил его внутренний голос. — Навсегда, Пол Навсегда.

— Я никогда не откажусь от этой мысли, — прошептал он. — Ты меня слышишь? Никогда.

— Нет? — злобно прошептал циничный голос. — Ну ладно... посмотрим, хорошо?

Да. Они посмотрят.

XVII

Кладовая Энни выглядела больше как отсек убежища для выживания, чем обычная кладовка. Он полагал, что такое накопление съестных запасов было обусловлено реальностью ее положения: она одиноко жила высоко в горах, где человек должен быть готов провести определенный период времени — может, только день, но иногда и неделю или даже две — отрезанным от всего остального мира. Вероятно, даже у тех кокадуи Ройдманов была кладовка, которая

заставила бы любого домовладельца из другой части страны поднять брови... но он сомневался, имели ли кокадуди Ройдманы или кто-нибудь еще что-либо подобное. Это была не кладовка, это, черт возьми, был супермаркет. Он предполагал, что в кладовке Энни был определенный символизм: ряды товаров имели что-то вроде мрачной границы между Суверенным Государством Реальности и Народной Республикой Паранойя. Однако в его положении мелочи не стоили изучения. Черт с ним, с символизмом! Вперед за едой!

Да, но будь осторожен. Она не упустит ни одной мелочи. От нее не уйдет ни одна мелочь. Он должен взять не больше, чем сможет надежно спрятать, если она неожиданно вернется... а как еще он думал, она вернется? Ее телефон был мертв, и он очень сомневался, что Энни пришлет ему телеграмму или цветы по телеграфу. Но в конце концов неважно, какую пропажу она могла обнаружить здесь или в его комнате. Прежде всего он должен был что-то есть. Он был пойман на крючок.

Сардины. Там было множество сардин в плоских прямоугольных коробках с ключом на крышке. Хорошо. Он возьмет несколько. Банки ветчины со специями. Нет ключей, но он мог бы открыть парочку банок в кухне и съесть их первыми. Пустые банки можно глубоко зарыть в ее собственном многочисленном мусоре.

Он увидел открытую коробку из-под изюма, содержащую меньшие коробочки, на надорванной целлофановой обертке которых написано «Легкий завтрак». Пол добавил четыре легких завтрака к растущей горе на его коленях, плюс Корн Флейкс и Уитиз. Он заметил, что среди запасов не было сладкой кукурузы. Если она и была, то Энни съела ее при последнем кутеже.

На верхней полке находились Слим Джимз. Они были так аккуратно сложены, как щепки для растопки в сарае. Он взял четыре, стараясь не нарушать пирамидальную структуру штабеля, и с жадностью съел одну из них, наслаждаясь их соленым вкусом. Он спрятал упаковки под нижнее белье.

Ноги начинали болеть. Он решил, что если не собирается сбежать из дома или сжечь его, то он должен вернуться в комнату. Антиклимакс, но дела могли быть хуже. Он мог бы принять пару пилль и затем писать, пока не начнет засыпать. Затем он мог бы поспать. Он сомневался, что она вернется вечером; ураган набирал силу. Мысль о том, что можно спокойно поработать, а затем поспать, будучи уверенным, что он будет совершенно один, что Энни не вернется с какой-нибудь очередной дикой идеей или даже еще более диким требованием, не была лишена привлекательности, антиклимакс это или нет.

Он выбрался из кладовки, задержался немного, чтобы выключить свет, напоминая себе, что он должен привести все в порядок после своего ухода. Если бы ему удалось спрятать еду прежде, чем она вернется, он всегда мог бы прийти сюда вновь, чтобы взять еще (как голодная крыса, правда, Пол?). Но не следует забывать осторожность, не следует забывать тот простой факт, что он рискует жизнью каждый раз, когда покидает комнату.

Совершенно недопустимо забывать об этом.

XVIII

Пересекая гостиную, он снова обратил внимание на книгу, лежащую под столом, «Закоулки памяти». Это оказался альбом для наклеивания вырезок. Он был таким большим, как фолиант пьес Шекспира, и таким толстым, как фамильная Библия.

Любопытно. Он поднял его и открыл.

На первой странице была наклеена одна колонка из газеты, озаглавленная «Бракосочетание Уилкз-Беррумен». На фото был изображен бледный джентльмен с узким лицом и женщина с темными глазами и пухлым ртом. Пол перевел взгляд с газетной фотографии на портрет над камином. Сомнений нет. Женщина, идентифицированная в газетной вырезке как Крисильда Беррумен («Это имя стоит использовать в романе «Мизери», — подумал он) была матерью Энни. Аккуратным почерком черными чернилами под вырезкой было выведено: «Бейкерфилд джорнэл», 30 мая 1938 года.

На второй странице помещалось объявление о рождении Пола Эмери Уилкз, рожденного 12 мая 1939 года в больнице Бейкерфилда. Отец — Карл Уилкз; мать — Крисильда Уилкз. Это был старший брат Энни. Он, должно быть, был тем ребенком, с которым она ходила в кино и смотрела разные сериалы. Ее брата тоже звали Пол.

На третьей странице ему предстало объявление о рождении Анны Марии Уилкз, рожденной 1 апреля 1943 года. Следовательно, Энни только что исполнилось 44 года. Тот факт, что Энни родилась 1 апреля в «День Дураков», конечно, не ускользнул от Пола.

На улице бушевал ветер. Дождь бился о дом.

Зачарованный, забыв временно о боли, Пол перевернул страницу. На следующей странице помещалась вырезка с первой страницы «Бейкерфилд джорнэл». Пол увидел фотографию пожарника на лестнице, вырисовывающейся на фоне пламени, вырывающегося из окон здания.

ПЯТЬ ЖЕРТВ ПОЖАРА В МНОГОЭТАЖНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

Пять человек — из них четверо членов одной семьи — погибли рано утром в среду в результате пожара, возникшего в жилом доме в

Бейкерфилд на Уотч-хилл Авеню. Среди погибших было трое детей: Пол Кренмитц — восьми лет, Фредерик Кренмитц — шести лет, Алисон Кренмитц — трех лет. Четвертым был их отец Андриан Кренмитц — сорока одного года. Мистер Кренмитц спас жизнь самому младшему ребенку семьи Кренмитц — полугодовалой Лаурин. Как рассказала миссис Йессика Кренмитц, ее муж отдал ей в руки их младшего ребенка и сказал: «Я вернусь с другими через пару минут. Молись за нас». «Я никогда его больше не видела», — сказала она.

Пятой жертвой был Ирвин Талмен, пятидесяти восьми лет, вдовец, проживающий на верхнем этаже здания. Третий этаж дома во время пожара пустовал. Семья Карла Уилкза, числившаяся сначала в числе пропавших, покинула дом накануне вечером из-за утечки воды в кухне.

— Мое сердце обливается горькими слезами при мысли о миссис Кренмитц и о ее потере, — заявила Крисильда Уилкз журналистам, — но я благодарна Богу за спасение моего мужа и двух моих детей.

Шеф центральной пожарной службы Майкл О'Уанн сказал, что пожар возник в цокольном этаже здания. Когда его спросили о возможности поджога, он ответил: «Более вероятно, что пожар начался по вине какого-нибудь пьяного, обронившего зажженную сигарету. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, он скрылся. В результате погибли пять человек. Надеюсь, мы схватим этого негодяя». Когда О'Уанна спросили, даны ли соответствующие распоряжения, он сказал: «Полиции даны несколько указаний, и они быстро и неукоснительно выполняют их».

Внизу под вырезкой таким же аккуратным почерком выведено: 28 октября 1954 года.

Пол оторвал взгляд от альбома. Он был абсолютно неподвижен, но в горле у него учащенно бился пульс. Он почувствовал позыв к испражнению.

Маленькие отродья.

Трое из погибших были детьми.

Четыре отпрыска Миссис Кренмитц.

О, нет; О Боже, нет.

Я всегда ненавидела этих маленьких гаденышей.

Она была просто ребенком! И даже не в доме!

Ей было одиннадцать. Достаточно большая и сообразительная, чтобы плеснуть керосина вокруг бутылки с дешевой выпивкой и поставить затем зажженную свечу в середину. Может быть, она даже не думала, что все вспыхнет. Может быть, она думала, что керосин испарится прежде, чем свеча догорит дотла. Может быть, она думала,

что выберутся живыми... только хотела напугать их. Но она сделала это, Пол, она, черт побери, сделала. И ты знаешь об этом.

Да, он знал. Но кто мог заподозрить ее?

Он перевернул страницу.

Здесь была другая вырезка из «Бейкерфилд джорнэл», датированная 19 июля 1957 года. На ней Карл Уилкз выглядел немного старше. Одно было ясно: старше он уже никогда не будет. Вырезка была его некрологом.

СМЕРТЬ БУХГАЛТЕРА ИЗ БЕЙКЕРФИЛДА ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПАДЕНИИ

Прошлой ночью в центральной больнице Гернандез скончался Карл Уилкз, постоянный житель Бейкерфилда, вскоре после его доставки туда. Он случайно споткнулся о груды оставленного на лестнице белья, когда торопился вниз ответить на телефонный звонок. Доктор Френк Кенли, дежурный врач, сказал, что Уилкз скончался от многочисленных переломов черепа и шеи. Ему было 44 года.

У Уилкза осталась жена Крисильда, сын Пол 18 лет и дочь Энн 14 лет.

Когда Пол перевернул следующую страницу, он подумал, что Энни вклеила две копии некролога ее отца из родственных чувств или случайно (позднее он решил, что второе было вероятнее). Но это была другая случайность, и причина их подобия была проста: ни одна из них не была случайностью.

Он почувствовал, как холодный ужас прокрался в него.

Надпись под вырезкой сообщала: Лос-Анджелес, 29 января 1962 года.

СМЕРТЬ СТУДЕНТКИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПАДЕНИИ

Прошлой ночью при въезде на территорию больницы в Лос-Анджелесе скончалась учащаяся медицинского колледжа Андрэ Сэнт Джеймс. Она явно оказалась жертвой случайности.

Миссис Джеймс проживала в квартире на улице Делом вместе с другой студенткой — Энни Уилкз из Бейкерфилда. Около одиннадцати часов вечера Уилкз услышала пронзительный крик, за которым последовали «ужасные глухие удары». Мисс Уилкз бросилась на лестничную площадку третьего этажа и увидела мисс Джеймс, лежащую на нижней площадке в «очень неестественной позе».

Мисс Уилкз сказала, что стараясь оказать помощь, она чуть сама не упала. «У нас был кот по кличке Питер Ганн, — сказала она, — только мы его не видели уже несколько дней и решили, что его поймали как бездомного, потому что мы постоянно забывали надеть

ему ленточку на шею. Так вот этот кот лежал на лестнице мертвым. Она споткнулась об этого кота. Я прикрыла Андрэ моим свитером и позвонила в больницу. Я знала, что она мертва, но я не знала, куда еще сообщить».

Мисс Сэнт Джеймс, 21 год, жительница Лос-Анджелес.

— Боже, — снова и снова повторял шепотом Пол. Дрожащими руками он перевернул страницу. Здесь была справка, сообщающая, что бездомный кот, которого приютили студентки, был отравлен.

«Питер Ганн. Остроумная кличка для кота», — подумал Пол.

В подвале дома водились крысы и результатом жалоб жильцов явилось предупреждение домовладельцу со стороны жилищных инспекторов год назад. На следующем заседании Муниципального Совета домовладелец явился причиной большого шума, который тут же попал в поле зрения печати. Энни, конечно, знала об этом. Оказавшись перед угрозой строгого наказания, домовладелец разбросал в подвале отравленные приманки. Кот съел отраву. В течение двух дней он пропадал в подвале. Затем он приполз из последних сил к своим хозяйкам перед тем, как испустить последний вздох или быть убитым одной из них.

«Ирония судьбы, достойная Пола Харвея, — подумал Пол Шелдон и дико засмеялся. — Держу пари, что это было событием дня».

Аккуратно. Очень аккуратно.

Мы знаем все, кроме того, что Энни подобрала несколько отравленных приманок в подвале и скормила их коту, и если старый Питер Ганн даже не хотел их есть, она, вероятно, насильно затолкнула их ему в желудок. Когда он умер, она положила его на лестницу, надеясь, что ее соседка по комнате вернется домой «под мухой». Это не было бы большим сюрпризом. Дохлый кот. Куча белья. Те же М.О., как сказал бы Том Твифорд. Но почему Энни? Эти вырезки сообщают мне все, кроме этого. ПОЧЕМУ?

В целях самосохранения часть его воображения за последние несколько недель ПРЕВРАТИЛАСЬ в Энни и теперь эта часть выступала от имени Энни, произнося фразы своим глухим и не терпящим возражений голосом. И поскольку все, что он говорил, звучало абсолютно сумасшедше, в нем был также определенный смысл.

— Я убила ее, потому что ее радио мешало мне по ночам.

— Я убила ее, потому что она дала глупое имя своему коту.

— Я убила ее, потому что мне надоело смотреть, как она целуется взапас со своим парнем на кушетке, и он сует свою руку так далеко ей под юбку, как будто ищет там золото.

— Я убила ее, потому что поймала ее на мошенничестве.

— Я убила ее, потому что она поймала меня на мошенничестве.

Точность формулировки не имеет значения, не правда ли?

— Я убила ее, потому что она была кокадуи отрядом, вот и все... и это было достаточным поводом.

— А может потому, что она была миссис Красотка, — прошептал Пол. Он откинул голову назад и пронзительно, испуганно засмеялся. Так вот какие были Закоулки Памяти! О, какое же разнообразие странных и ядовитых цветов выросло за пределами версии Энни!

Неужели никто никогда не сопоставлял эти два странных несчастных случая? Сначала ее отец, затем ее соседка по комнате.

Ты серьезно говоришь мне об этом?

Да, он серьезно говорил об этом. Несчастные случаи разделяли почти пять лет, и произошли они в двух разных городах. О них писали в разных газетах в густонаселенном штате, где, вероятно, падение людей с лестниц было самым обычным делом.

И она была очень, очень умной.

Казалось, она была такой же умной, как сам Сатана. Только теперь она начинала терять ум. Однако для него было бы малоутешительным, если бы Энни все же решилась затравить до смерти Пола Шелдона.

Он перевернул страницу и обнаружил еще одну вырезку из «Бейкерфилд джорнэл» — как оказалось последнюю. МИСС УИЛКЗ — ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ МЕДСЕСТЕР, 17 мая 1966 года. С фото улыбалась молоденькая, поразительно хорошенькая Энни Уилкз в форме и шапочке медсестры. Конечно, это была выпускная фотография. «Она окончила школу с отличием. Только предварительно должна была убить свою соседку по комнате», — подумал Пол и опять заржал дрожащим, испуганным смехом. Как бы отвечая ему, о дом ударил яростный порыв ветра. Фотография мамы слегка задребезжала на стене.

Следующая вырезка была из Манчестерского «Юнион Лидер». Датирована 2 марта 1969 года. Это был просто некролог, который, казалось, не имел никакого отношения к Энни Уилкз. Эрнест Гониар, 79 лет, умер в больнице Святого Джозефа. Никакой причины смерти не сообщалось, просто сказано «после продолжительной болезни». Осталась жена, 12 детей и что-то около 400 внуков и правнуков. «Нет ничего лучше постоянной смены поколений, ритмического метода производства всех потомков, великих и малых», — подумал Пол и снова засмеялся.

Она убила его. Вот что произошло со стариной Эрни. А почему его некролог здесь? Это — «Книга смерти», не так ли?

Почему, ради бога? Почему?

Как ты хорошо знаешь, у Энни Уилкз на этот вопрос нет разумного ответа.

Еще одна страница, еще один некролог в «Юнион Лидер». 19 марта 1969 года. Леди звали Эстер «Квини» Бьюлифант, 84 года. На фото она выглядела так, как будто ее кости были эксгумированы из Ла Брю Тар Питс. Заключение ей поставлено то же, что и Эрни: после продолжительной болезни дерьмо наконец убралось отсюда. Как и Эрни, она скончалась в больнице Святого Джозефа. Прощание с усопшей от 2.00 до 6.00 час. дня 20 марта в траурном зале. Погребение на кладбище Мэри Сир 21 марта в 4.00 дня.

Пол подумал, что следовало бы хору обители мормонов специально исполнить: «Энни, не придешь ли ты сюда».

На следующей странице Пол нашел еще три некролога из «Юнион Лидер». Два старых человека, которые умерли от вечно любимой Продолжительной Болезни. Третьей была женщина 46 лет по имени Паулетта Симокс. Хотя фото на некрологе было даже худшего качества, чем обычно, Пол понял, что по сравнению с Паулеттой «Квини» Бьюлифант выглядела как Тумбелина. Он подумал, что болезнь, должно быть, была действительно скоротечной: неожиданный сердечный приступ, скажем, после чего последовало путешествие в больницу Святого Джозефа, а затем последовало... последовало что? Действительно, ЧТО?

Он на самом деле не хотел думать о специфике... но все три некролога объединяла больница Святого Джозефа как место кончины.

Если мы заглянем в журнал дежурств медсестер в марте 1969 года, найдем ли фамилию Уилкз? Друзья, ходит медведь кокадуи в 'лес'?

Этот альбом, господи, этот альбом так важен.

Хватит, пожалуйста. Я больше не хочу никуда смотреть. Меня осенила мысль. Я положу этот альбом обратно, точно на то место, где я его нашел. Затем я отправлюсь в свою комнату. Я полагаю, что все-таки не хочу писать; я просто приму дополнительную пилюлю и лягу спать. Назовем это гарантией от ночных кошмаров. И никаких больше закоулков памяти. Энни, пожалуйста! Очень прошу, пожалуйста.

Но его руки, казалось, имели свой собственный ум и свою собственную силу воли; они продолжали переворачивать страницы все быстрее и быстрее.

Еще две быстрые смерти отмечены в «Юнион Лидер»: одна в конце сентября 1969 года, другая в начале октября.

19 марта 1970 года. Этот человек был из Харрисбурга, Пенсильвания. Геральд. Последняя страница. Список нового штата больницы. Там была также фотография лысеющего человека в

очках, который, по мнению Пола, мог съесть бугая, по секрету. В статье сообщалось, что кроме директора (лысеющий человек в очках) к персоналу больницы Ривавью присоединились следующие двадцать специалистов: два доктора, восемь медсестер, персонал кухни, санитар и уборщица.

Энни была одна из медсестер.

«На следующей странице, — подумал Пол, — я, наверное, увижу краткий некролог на какого-нибудь престарелого мужчину или женщину, который скончался в больнице Ривавью в Харрисбурге, Пенсильвания».

Так оно и есть. Старый торговец подделками умер от все той же продолжительной болезни.

Затем умер трехлетний ребенок, который при падении в колодец получил тяжелые увечья головы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

В состоянии оцепенения Пол продолжал листать страницы, а дождь и ветер тем временем продолжали усиливаться. Схема преступления была ясна и неотвратима. Она выполняла работу, убивала людей и ехала дальше.

Неожиданно ему вспомнился сон, который он уже успел забыть, и который приобрел теперь двусмысленный резонанс. Он видел Энни Уилкз в длинном платье с фартуком, волосы ее скрыты под домашним чепцом; Энни, которая выглядела как медсестра в Лондонской психиатрической больнице Бедлам. В одной руке у нее была корзина. Она запускала руку в нее, вынимала песок и швыряла его в лица людей, мимо которых она проходила. Это был не успокоительный, снотворный песок, а песок отравленный. Он убивал людей. Когда он долетал до них, то лица людей становились белыми и линии на экранах мониторов, поддерживающих их полные опасности жизни, выравнивались.

Ну пусть она убила детей Кренмитц, потому что они были отродьем... и ее соседку по комнате... даже ее собственного отца. Но причем здесь эти, другие?

Но он знал ответ. Энни в нем знала. Старые и больные. Все они были старыми и больными, за исключением миссис Симекс, которая, должно быть, была ничем другим, как овощем, когда поступила в больницу. Энни убила их, потому что...

— Потому что они были крысы в капкане, — прошептал он.

Бедняги. Бедные, бедные.

Да. Это было именно так. С точки зрения Энни все люди в мире делились на группы: отродье, бедняги... и Энни.

Она постепенно переезжала на Запад. Из Харрисбурга в Питтсбург, далее в Даллас и в Фарго. И наконец, в 1979 году в Денвер. В каждом случае схема поступления была та же: «приветственная» статья, в которой Энни упоминалась среди прочих (в Манчестере она упустила такую возможность, не зная, что местные газеты публиковали подобные вещи); затем две или три ничем не примечательные смерти. Вслед за ними цикл обычно повторялся снова.

Вплоть до Денвера.

Сначала все шло так же. На этот раз приветствие новоприбывшим было вырезано из местной газетенки Денверской больницы с упоминанием имени Энни. Местная газета была идентифицирована аккуратным почерком Энни как «Гурины». Удивительно, что никому в голову не пришло назвать ее «Осведомитель». Он заржал еще более ужасным смехом, не подозревая об этом. Перевернул страницу и нашел здесь первый некролог, вырезанный из «Новостей Скалистых Гор». 89, Лаура Росберг. Продолжительная болезнь. 21 сентября 1978 года. Больница в Денвере.

Затем схема расширяется.

На следующей странице дается объявление о свадьбе вместо похорон. Фото показывает Энни в подвенечном платье, отделанном кружевом, а не в униформе. Рядом с ней, держа ее за руки, стоял мужчина по имени Ральф Дуган. Дуган был терапевтом. Заголовок вырезки был следующим:

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ДУГАН-УИЛКЗ.

2 января 1979 года. Новости Скалистых Гор.

Дуган был бы абсолютно непримечателен, если бы не одна деталь: он выглядел, как ее отец. Пол подумал, что если сбрить Дугану его усы, что она, вероятно, заставила его сделать сразу после окончания медового месяца, то сходство было бы жутким.

Пол подхватил большим пальцем все оставшиеся страницы в альбоме Энни и подумал, что Ральфу Дугану следовало бы сначала сверить свой гороскоп — приступ кашля — составить ужасоскоп в день, когда он сделал предложение Энни.

Я думаю, есть шанс найти где-то впереди, на неперевернутых страницах, короткое сообщение о тебе. Некоторых людей ожидают неожиданные встречи в Самарра; я думаю можно также наткнуться на груды белья или мертвую кошку на лестничной площадке. Мертвую кошку с оригинальной кличкой.

Но он ошибся. Следующая вырезка из недерландской газеты была посвящена новоприбывшим. Недерланд был маленьким городком на запад от Боулдера. Совсем недалеко отсюда, — решил Пол. Сначала он не мог найти Энни в длинном, переполненном именами списке, а

затем понял, что искал не то имя. Она была здесь, но стала частью социо-сексуальной корпорации под названием «Мистер и миссис Ральф Дуган».

Пол вскинул голову, прислушался. Неужели машина? Нет... только ветер. Конечно, ветер. Он снова уткнулся в альбом Энни.

Ральф Дуган, верный своей профессии, обратился к оказанию помощи калекам, хромым и слепым в больнице округа Арапаго; Энни вернулась к своей освященной веками работе медсестры и оказывала помощь и уход тяжелораненым.

«Теперь начнутся убийства», — подумал Пол. Единственный вопрос здесь касался Ральфа. Когда он появится: в начале, в середине или в конце?

Но он снова ошибался. Вместо некролога следующая вырезка представляла собой ксерокс рекламного листка по продаже недвижимости. В верхнем левом углу рекламы была фотография дома. Пол узнал его только по примыкающему сараю — правда, он никогда не видел дом снаружи.

Ниже аккуратным твердым почерком Энни было выведено: задаток внесен 3 марта 1979 года.

Дом для уединения? Пол сомневался в этом. Дача? Нет, они не могли позволить себе роскоши. Итак..?

Ладно, может, это только фантазия, но попробуем порассуждать. Может быть, она действительно любила старика Ральфа? Может быть, по прошествии года она все еще не могла спокойно относиться к нему, кокаудуи. ЧТО-ТО наверняка изменилось; некрологи не появлялись с...

Он обратно перевернул страницу, чтобы посмотреть.

...со смерти Лауры Росберг в сентябре 1978 года. Она перестала убивать, как только встретила Ральфа. Но то было тогда, а это теперь. Теперь давление снова начинает возрастать. Депрессивные интерлюзии появляются снова. Она смотрит на стариков... неизлечимо больных... и думает, какие они бедные и несчастные, а может быть, она думает: «В моем подавленном состоянии виновата окружающая обстановка. Мили облицованных кафелем коридоров, запахи и скрип каучуковых подошв, стоны больных. Если бы я могла выбраться отсюда, все бы было в порядке».

Итак, Ральф и Энни явно вернулись к земле.

Он перевернул страницу и заморгал.

Сильно вдавнено в страницу: 43 АВГУСТА 1880 ГОДА. ТВОЮ МАТЬ!

Довольно толстая бумага порвалась под бешеным нажимом руки в нескольких местах.

Это была колонка объявлений о разводах. Пол должен был перевернуть листок, чтобы найти имена Энни и Ральфа в нем. Она приклеила их вверх ногами.

Да, они были там. Ральф и Энни Дуган. Мотивы: жестокость.

— Разведен после непродолжительной болезни, — промямлил Пол и снова взглянул вверх, прислушиваясь, не приближается ли машина. Ветер, все еще ветер... лучше ему убраться в его комнату. Это была временная прихоть, а не усиливающаяся боль в ногах.

Но он снова склонялся над альбомом. Таинственным образом предопределено, что отложить альбом было бы слишком хорошо. Он напоминал отвратительный роман, который ты должен завершить.

Брак Энни был расторгнут гораздо более законным путем, чем он предполагал. Было правильное сказать, что развод на самом деле произошел после непродолжительной болезни: полтора года супружеского счастья не так уж мало.

Они купили дом в марте, и это не тот шаг, который вы предпримете, если чувствуете, что ваша семья распадается. Что случилось? Пол не знал. Он мог придумать историю, но это был бы только вымысел. Затем заново перечитывая вырезки, он напал на что-то, что наводило на размышления:

Анджела Форд и Джон Форд

Кирстен Фроли и Стэнли Фроли

Данна Макларен и Ли Макларен

и...

Ральф Дуган и Энни Дуган

Это и есть американский обычай, правда? Никто много об этом не говорит, но он существует. Мужчины делают предложения при лунном свете; женщины подают заявление в суд. Не всегда все происходит именно так, но обычно по этой схеме. Итак, какую сказку должна рассказать эта грамматическая структура? Анджела скажет: «Выметайся отсюда, Джек!» Кирстен скажет: «Подумай о своем новом будущем, Стэн!» Данна скажет: «Оставь ключи, Ли!» А что скажет Ральф, единственный мужчина, перечисленный в колонке первым? Я думаю, может быть, он скажет: «Позволь мне убраться к черту отсюда!»

— А может быть, он увидел дохлого кота на лестнице, — сказал Пол.

Следующая страница. Еще одно представление новоприбывших. Эта статья уже из «Камера», Боулдер, штат Колорадо. С фотографии глядят двенадцать новых членов персонала, расположившихся на лужайке перед больницей в Боулдере. Энни была во втором ряду. Ее лицо напоминало бледный круг под сестринской шапочкой с черной

ленточкой. Еще одно открытие еще одного шоу, датированное снизу 9 марта 1981 г. Она вернула свою девичью фамилию.

Боулдер. Вот где Энни по-настоящему СОШЛА С УМА.

Он все быстрее и быстрее со все возрастающим ужасом листал страницы. Две мысли не давали ему покоя: Почему, ради бога, они не сообщали о случившемся? И как ей удавалось проскальзывать через их пальцы?

10 мая 1981 год — продолжительная болезнь

14 мая 1981 года — продолжительная болезнь

23 мая 1981 года — продолжительная болезнь

9 июня 1981 года — непродолжительная болезнь

15 июня 1981 года — непродолжительная болезнь

16 июня 1981 года — продолжительная болезнь

Продолжительная. Непродолжительная. Продолжительная. Непродолжительная. Продолжительная. Продолжительная. Продолжительная. Непродолжительная.

Страницы мелькали в его пальцах. Он чувствовал слабый запах засохшего бумажного клея.

— Боже, сколько же людей она убила?

Если считать каждый некролог, приклеенный в альбом, убийством, то к концу 1981 года число ее жертв превысило бы 30 человек... и все без единого намека на подозрение со стороны администрации. Конечно, большинство жертв были старые люди, другие с тяжелыми увечьями, но все же... Только подумать...

В 1982 году Энни наконец споткнулась. Вырезка из «Камера» за 17 января показывает ее опустошенное, окаменевшее лицо, испещренное печатными точками. Ниже заголовок: НАЗНАЧЕНИЕ НОВОЙ СТАРШЕЙ АКУШЕРКИ.

29 января начали погибать младенцы. Энни в своей педантичной манере описала все в хронологическом порядке.

Если кто-нибудь обнаружил бы твою книгу, Энни, ты бы предстала перед судом или была помещена в психиатрическую больницу до конца своих дней.

Смерть первых двух младенцев не вызвала подозрений — в истории болезни одного говорилось о серьезных родовых травмах. Но дети, дефективные или здоровые, были не одно и то же, что старики, умирающие от почечной недостаточности, или жертвы автокатастроф, привезенные еле живыми несмотря на то, что у них была снесена половина головы или в желудках были пробоины величиной с рулевое колесо. Затем она начала убивать здоровых людей вместе с больными. Он полагал, что в ее все более закручивающейся психической спирали она начала воспринимать всех их как бедняг.

К середине марта 1982 года в родильном отделении больницы уже было пять смертных случаев. Началось крупномасштабное расследование. 24 марта «Камера» обозвала вероятного виновника «загнивающим». Делалась ссылка на «надежный больничный источник», и Пол не удивился, если бы этим источником оказалась сама Энни Уилкз.

Еще один младенец умер в апреле. Два в мае.

Затем с первой страницы «Денвер Пост» от 1 июня:

ДОПРОС СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СМЕРТНОСТИ МЛАДЕНЦЕВ

«Никаких обвинений «пока» не предъявлено», — говорит представитель шерифа, Майкл Лейс.

Сегодня проведен допрос Энни Уилкз, 39-летней старшей медсестры родильного отделения больницы в Боулдере по поводу смерти восьми младенцев за последние несколько месяцев. Все смертные случаи имели место после дежурства миссис Уилкз.

Когда представителя шерифа Тамару Кинсолвинг спросили, находится ли миссис Уилкз под арестом, она ответила отрицательно. На вопрос, давала ли миссис Уилкз показания по собственной доброй воле, миссис Кинсолвинг ответила: «Я бы сказала, что в данном случае нет. Здесь дело очень серьезное».

На вопрос, обвинялась ли миссис Уилкз ранее в совершении каких-либо преступлений, миссис Кинсолвинг ответила: «Нет. Пока еще нет».

Далее шла перефразировка всей карьеры Энни. Было очевидно, что она сменила много местожительств, но НИ В ОДНОЙ больнице не было случая, чтобы люди умирали в период ее работы.

Пол взглянул с восхищением на прилагаемую фотографию.

Энни под охраной. Боже мой, Энни под арестом. Идол не пал, но колеблется... колеблется.

Она поднимается по каменным ступеням в сопровождении здоровых женщин-полицейских с опустошенным, лишенным какого-либо выражения лицом. На ней ее униформа и белые туфли.

На следующей странице.

УИЛКЗ ОСВОБОЖДЕНА, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ.

Итак, она ускользнула. Как-то ускользнула. У нее было время слиться и появиться в другом месте — Айдахо, Юта, Калифорния... Вместо этого она возвращается на работу. И вместо колонки «Ново-прибывшие» где-нибудь далеко на западе, в «Новостях Скалистых гор» от 2 июня 1982 года на первой странице появился громадный заголовок:

УЖАС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В больнице Боулдера еще три мертвых младенца.

Два дня спустя власти арестовали пуэрториканца, но отпустили его через девять часов. Затем 19 июля «Денвер Пост» и «Новости Скалистых гор» сообщили об аресте Энни. В начале августа состоялись предварительные слушания, а 9 сентября над ней состоялся суд по обвинению в убийстве девочки Кристофер одного дня от роду. Кроме Кристофер насчитывалось еще семь убийств. Статья отметила, что некоторые предполагаемые жертвы Энни прожили достаточно долго, чтобы получить настоящие имена.

Вперемежку с описанием суда в газетах Денвера и Боулдера помещались письма, адресованные редактору. Пол понял, что Энни специально выбрала только наиболее враждебные — те, которые подкрепляли ее предубеждение против человечества, как ГОМО БРАТТУС, но они были оскорбительными по любым стандартам. Казалось, существовало общее мнение: смертная казнь через повешение была слишком мягким наказанием для Энни Уилкз. Один корреспондент метко окрестил ее Леди-Сатана, и это прозвище прилипло к ней на весь судебный процесс. Большинство людей считали, что Леди-Сатану следовало бы заколоть до смерти горячими вилами, а наиболее ретивые даже выразили желание осуществить это.

Рядом с одним таким письмом Энни написала дрожащим и каким-то трогательным почерком, совершенно непохожим на ее обычную твердую руку: «Палки, камни разобьют мои кости, слова никогда не причинят мне вреда».

Было очевидно, что самой большой ошибкой Энни было то, что она не остановилась, когда люди наконец начали подозревать что-то неладное. Это было плохо, но, к несчастью, не совсем плохо. Идол только закачался. Обвинение было полностью бездоказательным и в некоторых местах несущественным, чтобы читать о нем в газетах. У прокурора округа имелись отпечатки пальцев на лице и горле Кристофер, которые полностью соответствовали размеру руки Энни, даже с отметкой от аметистового кольца, которое она носила на четвертом пальце правой руки. Прокурор округа также располагал записью очередности входа и выхода из детской палаты медперсонала в те дни, когда умерли младенцы. Но Энни была старшей медсестрой, поэтому она ПОСТОЯННО входила и выходила. Защита была готова привести дюжину других случаев, когда Энни входила в родильное отделение И НИЧЕГО не случалось. Пол подумал, что это было сродни тому, чтобы доказывать, что метеориты никогда не падали на землю, беря те пять дней, когда ни один из них не повредил северное поле дядюшки Джона; он понимал, что суд располагал столь же весомым аргументом.

Обвинители плели свою сеть, как только могли, но отпечатки пальцев со следом кольца были единственным наиболее серьезным свидетельством. Тот факт, что штат Колорадо принял решение признать обвиняемого виновным и передать дело в суд, позволил Полу сделать только одно несомненное предположение: во время допроса Энни отвечала только на наводящие вопросы, возможно, даже влекущие за собой суждение; ее адвокату удалось добыть запись этого допроса. Несомненным фактом являлось то, что решение Энни свидетельствовать в своих интересах на предварительных слушаниях, было чрезвычайно неумным. ТАКИЕ показания ее адвокат не мог скрыть от суда (хотя он чуть было не разорвался, стараясь сделать это). И так как Энни никогда ранее не признавалась ни в чем и не была столь многословна, как в эти три августовских дня, которые она провела на трибуне суда в Денвере, то Пол подумал, что она действительно призналась во всем.

Выдержки из вырезок, наклеенных в ее альбом, представляли собой настоящую ценность:

— Огорчили ли они меня? Конечно, они огорчили меня, учитывая мир, в котором мы живем.

— Мне нечего стыдиться. Мне никогда не стыдно. То, что я сделала, я сделала и никогда не вспоминаю больше об этом.

— Ходила ли я на похороны кого-нибудь из них? Конечно, нет. Я нахожу похороны очень неприятной и гнетущей процедурой. Кроме того, я не верю, что в младенцах есть душа.

— Нет, я никогда не плакала.

— Сожалею ли я? Я полагаю, это философский вопрос, не правда ли?

— Конечно, я понимаю вопрос. Я понимаю ВСЕ ваши вопросы. Я знаю, вы все здесь, чтобы пронять меня.

«Если бы она настаивала на даче показаний в ее пользу, — подумал Пол, — ее адвокат, вероятно, застрелил бы ее, чтобы она заткнулась».

Судебный процесс длился до 13 декабря 1982 года. В это время в «Новостях Скалистых гор» появляется примечательная фотография, на которой Энни спокойно сидит у себя в камере, почитывая «Дознание Мизери». «СТРАДАЯ?» — гласит надпись под иллюстрацией. — Только не Леди-Сатана». Энни спокойно читает, ожидая вынесения приговора.

Затем 10 декабря газетный заголовок: **ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ НЕВИНОВА**. Один из судей, пожелавший остаться неизвестным, заявил: «Я очень сильно сомневаюсь в ее невиновности, да. К сожалению у меня очень серьезные сомнения и в ее виновности. Я надеюсь, она

снова попадет под суд в другом округе. Возможно, тогда обвинение перевесит».

Они все знали, что она сделала это, но у них не было доказательств. Итак, она ускользнула сквозь их пальцы.

Дело раскручивалось еще на трех-четыре-х страницах. Прокурор округа, сказавший, что Энни ОБЯЗАТЕЛЬНО попадет под суд в другом округе, тремя неделями спустя заявил, что никогда не говорил этого. В начале февраля 1983 года прокуратура округа опубликовала заявление, что, хотя дело о детоубийстве в больнице в Боулдере все еще очень актуально, обвинительный процесс против Энни Уилкз закрывается.

Выскользнула из пальцев.

Ее муж никогда не давал показаний ни в чью пользу. Интересно, почему?

В альбоме больше не было страниц, но он мог сказать по тому, как аккуратно они лежали одна на другой, что он закончил историю Энни. Слава Богу!

На следующей странице была вырезка из сайдуиндерской газеты за 19 ноября 1984 года. Туристы нашли частично расчлененные останки молодого человека в восточной части заповедника Гридер. Через несколько дней в газете сообщали, что это был Эндрю Поумрой, 23 лет, из Нью-Йорка. Поумрой выехал из Нью-Йорка в Л.А. в сентябре прошлого года, путешествуя на попутных машинах. Его родители слышали о нем в последний раз 15 октября. Он звонил им в полном здравии из Джулсбурга. Тело было найдено в высохшем русле реки. Полиция предположила, что он был убит недалеко от Хайвэй 9 и смыт в заповедник весенними потопами. В отчете было сказано, что раны нанесены топором.

Пол заинтересовался и вполне не праздну, как далеко отсюда был заповедник.

Он перевернул страницу и увидел наконец последнюю вырезку. И вдруг у него перехватило дыхание. После ознакомления с некрологами на предыдущих страницах, он столкнулся лицом к лицу СО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ некрологом. Он был не совсем, но...

— Но достаточно близок к государственной службе, — сказал он тихим, охрипшим голосом.

Вырезка была из «Ньюс-Уик». Колонка «Перемещения». После перечисления бракоразводных дел телеактрис и перед сообщением о смерти металлургического магната, напечатано следующее:

«Пропал без вести Пол Шелдон, 42 лет, писатель, наиболее известный по его сериалам о любовных приключениях сексуальной дурочки незабвенной Мизери Честейн; его доверенное лицо Брюс Белл.

«Я думаю, что с ним все в порядке, — сказал Белл, — но я хотел бы, чтобы он дал знать о себе и снял камень с моей души. Его бывшие жены тоже хотели бы, чтобы он сообщил о себе и пополнил их банковские счета».

В последний раз Шелдона видели семь недель назад в Боулдере, Колорадо, куда он приехал для завершения своей новой книги.

Вырезка была двухнедельной давности.

Без вести пропавший, вот и все. Только без вести пропавший. Я не мертв, это совсем другое дело.

Но это БЫЛО одно и то же; и ему вдруг потребовались его лекарства, потому что у него болели не только ноги. У него болело ВСЕ. Он осторожно положил альбом на место и направил свое кресло в комнату.

На улице бесновался ветер; казалось, его порывы становились сильнее, по дому хлестал холодный дождь. Пол сжался от ужаса, стеновая и безнадежно стараясь держать себя в руках, не разразиться рыданиями.

XIX

Через час, напичканный наркотиком и уносимый сном (завывание ветра теперь скорее успокаивало, чем пугало), он подумал: «Я не собираюсь убегать. Никуда. Что сказал Томас Харди в «Jude the Obscure»? Кто-нибудь мог явиться к мальчику, чтобы успокоить его, но никто не сделал этого... потому что никто так не делает. Точно. Правильно. Твой корабль не придет, потому что для никого нет кораблей. Одиноким Странником занят тем, что рекламирует готовые завтраки, а Супермены снимают фильмы в Тинсел Тауне. Ты сам по себе, Паули, умираешь в одиночестве. Но, может быть, так и нужно. А может, ты знаешь, какой должен быть ответ?»

Да, конечно, он знал.

Если он надумает выбраться отсюда, он должен будет убить ее.

Да, вот и ответ. Единственно возможный, я думаю. Итак, снова та же старая игра, не так ли? Паули... Паули... Сможешь ли ты?

Он ответил совсем без колебания.

— Да, я смогу. — Глаза его закрылись.

Он заснул.

XX

Весь следующий день бушевала буря. На следующую ночь облака распутались и разлетелись. В то же время температура упала с 60 до 25. На улице все кругом замерзло. Одиноким сидя у окна спальни и целый

день разглядывая поблескивающий льдом окружающий мир, Пол слышал поросячье повизгивание Мизери в сарае и мычание одной коровы.

Он часто слышал крик скотины, они также были частью окружающего мира здесь, как и бьющие в гостиную часы, но он никогда не слышал, чтобы поросенок так визжал. Он подумал, что однажды уже слышал подобное мычание коровы, но это был не здоровый крик, смутно различаемый в болезненном сне, потому что он сам страшно страдал тогда. Это было тогда, когда Энни в первый раз оставила его без лекарств. Пол вырос в пригороде Бостона и большую часть своей жизни провел в Нью-Йорке, но он знал, что означает это болезненное мычание коровы. Одну из коров нужно было подоить. Другой, по-видимому, этого не требовалось, потому что грубая манера Энни доить уже полностью лишила ее молока.

А поросенок?

Голодный. Вот и все. И этого достаточно. Сегодня они не получат никакого облегчения. Он сомневался, что Энни смогла бы вернуться домой, даже если очень этого хотела. Эта часть света превратилась в один большой каток. Он был удивлен, симпатизируя животным и злясь на Энни: как она могла из-за своего неприятного и заносчивого эгоизма бросить их страдать в сарае.

Если бы твои животные умели говорить, Энни, они сказали бы тебе, кто на самом деле является здесь грязной тварью.

Сам он устроился вполне комфортабельно в эти дни. Ел из консервных банок, пил воду из нового кувшина, регулярно принимал лекарство, каждый день спал. Легенда о Мизери и ее амнезии, а также о ее неожиданных (и захватывающе порочных) кровных родственниках неуклонно обращалась к Африке, которая по замыслу должна была стать художественным оформлением второй части романа. Ирония заключалась в том, что женщина втянула его в написание лучшего из его романов о Мизери. Ян и Джеффри отправились в Саус Эмптон снаряжать шхуну «Лорелей» для побега. Именно на Черном континенте Мизери, которая продолжала впадать в каталептический транс по большей части в самые неподходящие моменты (и, конечно, если ее укусит еще раз пчела, она умрет мгновенно), должна либо погибнуть, либо вылечиться. В полуторасти милях от крошечного англо-голландского поселения, находящегося в глубине материка на самом северном краю опасного Барбарийского побережья, протянувшегося в виде полумесяца, жило самое воинственное африканское племя Боуркас. Когда-то Боуркас были известны как Пчелы-люди. Немногие белые, осмелившиеся вторгнуться в страну Боуркас, когда-либо возвращались. Но те, кому удалось вернуться, рассказывали потрясающие истории о женском лице, выступающем из бока столовой

горы, безжалостном лице с зияющим ртом и громадным рубином в каменном лбе. Существовала еще одна легенда — только слух, конечно, но удивительно стойкий, — что внутри пещер, которые изрешили камень, за украшенным лбом идола жил рой гигантских пчел-альбиносов, роящихся вокруг их царицы, студнеподобном чудо-вище, бесконечно ядовитом... и бесконечно магическом.

В течение нескольких дней он забавлялся этим приятным чудачеством. По вечерам он тихо сидел, прислушиваясь к визгу поросенка и думая о том, как ему лучше убить Леди-Сатану.

Он обнаружил, что играть в «Сможешь ли ты?» в обычной жизни было совсем не то, что играть в нее поджав ноги «по-турецки», как ребенок, или перед машинкой, как взрослый человек. Когда это была просто игра (и даже если ты играешь на деньги, это все равно игра), то можно было придумать разные дикие вещи и заставить поверить в них — например, связь между Мизери Честейн и мисс Шарлоттой Эвелин-Хайт (они оказались сестрами по матери; Мизери позднее найдет своего отца в Африке, околачивающегося с Боуркас). В настоящей жизни, однако, тайны природы имеют способность терять свою силу.

Не то, чтобы Пол не пытался. Внизу в ванной находились всевозможные лекарства и, конечно, был способ, к которому он мог бы прибегнуть, чтобы убрать ее с дороги, не так ли? Или по крайней мере сделать ее на длительное время беспомощной, не правда ли? Взять Новрил. Этого дерьма там предостаточно, и ему не пришлось бы даже убирать ее с дороги. Она бы улетучилась сама.

Вот прекрасная идея, Пол. Я скажу, что тебе делать. Ты просто берешь целую горсть этих капсул и бросаешь их все в ее мороженое. Она подумает, что это фисташки, и просто сожрет их.

Нет, конечно, это не пойдет. Он не мог также открыть капсулы и подмешать порошок в сухое мороженое. Новрил невероятно горький. Он пробовал его и знает. Его горечь она немедленно распознает... и тогда горе тебе, Паули. Будь ты проклят!

Для романа это была бы замечательная идея. Но для настоящей жизни она просто бессмысленна. Он не был уверен, что воспользовался бы шансом, даже если белый порошок внутри капсул был почти или абсолютно безвкусным. Это было недостаточно безопасно, недостаточно надежно. Это была не игра — это была его жизнь.

Ему в голову приходили и другие идеи, но все они были отвергнуты еще быстрее. Он даже подумал о том, что можно было бы пристроить что-нибудь над дверью (он немедленно вспомнил машинку) с тем, чтобы ее прибило до смерти или лишило сознания, когда она войдет. Можно было также протянуть провод поперек лестницы. Но в обоих

вариантах проблема была одна и та же, что и в фокусе Новрил-в-мороженом: ни один из них не был достаточно надежным. Он даже не мог себе представить, что с ним будет, если он попытается совершить вероломное убийство безрезультатно.

Наступила вторая ночь. Поросенок Мизери продолжал все также монотонно визжать; его визг напоминал скрип ржавых петель хлопающей на ветру двери. А вот Бесси внезапно замолчала. Пол забеспокоился, не разорвалось ли вымя у бедной скотины, не сдохла ли она от обескровливания. В какой-то момент он представил себе (да так живо!) падшую корову в луже из смеси молока и крови и быстро отогнал воображаемую картинку от себя. Он приказал себе не быть таким чувствительным: коровы так не умирают. Но у внутреннего голоса не хватало убедительности. Он не имел представления, как они умирают на самом деле. И кроме того, не корова должна его беспокоить, не правда ли?

Все твои фантастические идеи сводятся к одному: убить ее на расстоянии. Ты не хочешь крови на своих руках. Ты напоминаешь человека, который любит толстый бифштекс, но и часа не пробудет на бойне. Так слушай, Паули, и постарайся понять: ты должен мыслить реально в данный момент. Никаких фантазий. Никаких завихрений. Хорошо?

Хорошо.

Он покатил кресло обратно в кухню и начал открывать ящики в поисках ножей. Он выбрал самый длинный нож мясника и вернулся в комнату, задержавшись немного, чтобы стереть следы на дверном косяке. Тем не менее каждый раз эти следы становились все заметнее.

Не имеет значения; если она не заметит их еще раз, значит, не заметит никогда.

Он положил нож на ночной столик, улегся в постель и засунул нож под матрац. Когда Энни вернется, он попросит у нее стакан холодной воды, и когда она наклонится над ним, чтобы подать воду, он вонзит нож ей в горло.

Никаких фантазий.

Пол закрыл глаза и отошел ко сну, и когда «Чероки» вернулся в 4 часа утра, крадучись по подъездной аллее с отключенными фарами и мотором, он не пошевелился, пока не почувствовал укол в руку. Очнувшись, он увидел ее лицо, склоненное над ним. Он не имел ни малейшего представления, что она вернулась.

Сначала он подумал, что видит сон из его собственной книги, что темнота была темнотой пещеры за громадной каменной головой Пчелиного Божества Боуркас и укол был укусом пчелы...

— Пол?

Он пробурчал что-то бессмысленное, что-то вроде «убирайся отсюда, голос из сна, уходи».

— Пол.

Это не был голос из сна, это был голос Энни.

Он заставил себя открыть глаза. Да, это была она, и в тот же момент его паника усилилась. Она просто просочилась в дом, как жидкость стекает в частично забитый водосток.

— Какого черта?..

Он был полностью сбит с толку. Она стояла в полумраке, как будто никогда никуда не уезжала; на ней была одна из ее шерстяных юбок и безвкусовых свитеров. Он увидел иглу у нее в руке и понял, что это был не укус пчелы, а укол. Какого черта... в любом случае было все едино. Он был захвачен врасплох. Но что она...?

Паника начала опять возрастать и еще раз замкнулся разомкнутый контур. Все, что он мог чувствовать, — это своего рода традиционное удивление, да и некоторое любопытство, откуда она взялась и почему сейчас. Он постарался поднять руки, но они приподнялись немного... только немного. Ему показалось, как будто с них свисали невидимые гири. Они упали на простыню с глухим ударом.

Теперь не имеет значения, что она мне ввела. Это похоже на то, что ты пишешь на последней странице своего романа. КОНЕЦ.

Эта мысль не вызвала страха. Вместо этого он почувствовал что-то вроде спокойной эйфории.

Наконец она попыталась сделать это... сделать это...

— О, вот и ты! — сказала Энни и добавила с неуклюжим кокетством: — Я вижу, ты Пол... эти голубые глаза. Я тебе когда-нибудь говорила, какие у тебя замечательные глаза? Но я полагаю, это делали другие женщины — женщины намного моложе, привлекательнее меня и гораздо более дерзкие в проявлении своих чувств.

Вернулась. Подкралась ночью и убила меня, уколом или пчелиным укусом, не имеет разницы; и не нужен уже нож под кроватью. Ты теперь только последний номер в большом списке жертв Энни. И затем, когда начало распространяться оцепенение, вызванное уколом, он подумал почти с юмором: «Я оказался вшивой Шехерезадой».

Он думал, что через минуту наступит сон — бесконечный сон, но он не наступил. Он видел, как она опустила шприц в карман своей

юбки и затем уселась на кровать... не туда, где она обычно сидела однако; она уселась в ногах и некоторое время он видел только ее спину, когда она нагнулась, как будто проверяя что-то. Он услышал деревянный «санк» и металлический «клинк», а затем звук встряхивания чего-то, который был ему уже знаком. Вскоре он установил его. Возьми спички, Пол.

«Даймонд Блю Типс». Он не знал, что еще могло быть у нее там в ногах кровати, но одна из них была коробка спичек.

Энни повернулась к нему и опять улыбнулась. Что бы еще ни случилось, ее апокалиптическая депрессия прошла. Она заправила непослушный локон за ухо. Это выглядело странным; локон был сально грязным.

Тусклый грозный сальный о мальчик ты помнишь что один не такой плохой о мальчик я теперь окаменел все прошлое было прологом перед этим дерьмом хеу бейби это здесь есть главная линия о черт черт поberi но это кристальное дерьмо это выходит на волне высотой с милю на чертовом Ролсе это...

— Что ты хочешь услышать сначала, Пол? — спросила она. — Хорошие или плохие новости?

— Сначала хорошие. — Ему удалось выдавить из себя дурацкую ухмылку. — Думаю, плохие новости это то, что наступил мой КОНЕЦ, а? Думаю, тебе не очень понравилась книга, а? Плохо... но я старался. Я честно работал. Я только начал... ты знаешь... вошел во вкус.

Она посмотрела на него с упреком.

— Мне нравится книга, Пол. Я говорила тебе об этом, я никогда не лгу. Мне нравится она так сильно, что я не хочу читать ее больше, пока не будет конца. Я очень сожалею, что заставила тебя вставлять «н» самому... но это что-то вроде подглядывания.

Его большая дурацкая улыбка еще больше расплылась; он подумал, что скоро она наткнется на припрятанное под его спиной, завяжет любовный узел и скатится с плеч долой его бедная старая башка. Может, даже в подкладное судно рядом с кроватью.

Глубоко в затуманенной части его разума, куда еще не добрался наркотик, забили тревогу колокола. Ей понравилась книга, а это значило, что она не собиралась убивать его. Что бы ни происходило, она не хотела убивать его; и пока его суждение об Энни Уилкс не сбилось с пути, это означало, что у нее было припасено что-то еще худшее.

Теперь свет в комнате не был тусклым; он был абсолютно чистым и наполненным серым таинственным очарованием. При этом свете он мог представить в серо-металлическом тумане молча стоящих на одной ноге журавлей на берегу высокогорных озер, мог представить

вкрапления слюды на больших валунах, выступающих из весенних трав высокогорных лугов, светящиеся, как застекленные окна, мог представить эльфов, работающих в согласии под пропитавшимися росой листьями раннего плюща...

«О, малыш, ты окаменел», — подумал Пол и слабо хихикнул.

Энни улыбнулась в ответ.

— Хорошая новость, — сказала она, — заключается в том, что твоя машина пропала. Меня очень волновала твоя машина, Пол. Я знала, что для того, чтобы избавиться от нее потребуется ураган, подобный настоящему, и, может быть, даже он не сможет проделать этот фокус. Весенний паводок смыл грязную тварь Поумроя, но машина значительно тяжелее человека, не так ли? Даже если мужчина был тяжел, как кокадуди. Но гроза и весенний паводок вместе сделали свое дело. Твоя машина ПРОПАЛА. Это — хорошая новость.

— Что... снова забили тревогу колокола. Поумрой... ему знакомо это имя, но он не мог сказать точно, откуда он знал его. Затем он вспомнил. Поумрой. Последний Эндрю Поумрой, 23 года, из Порта Холодного Потока, Нью-Йорк. Обнаружен в заповеднике Гридер, где бы это ни было.

— Теперь, Пол, — сказала она натянутым голосом, который был хорошо ему знаком. — Не следует стесняться. Я знаю, что ты знаешь, кто был Энди Поумрой, потому что ты прочел мой альбом. Ты знаешь, я надеялась, что ты прочтешь его, иначе зачем бы я оставила его на виду? Я проверила и убедилась во всем. Я убедилась, потому что нити оказались порванными.

— Нити, — сказал он вяло.

— О, да. Я как-то прочитала о способе проверить, сует ли кто-нибудь нос в твои ящики. Ты обвязываешь каждый ящик очень тонкой ниткой. И если по возвращении домой ты обнаруживаешь ее разорванной, ты знаешь почему, не так ли? Потому что кто-то лазил туда. Вот видишь, как все просто.

— Да, Энни.

Он слушал, но ему очень хотелось выскочить из этого удивительного света.

Она снова наклонилась, чтобы проверить, есть ли у него что-нибудь в ногах; он опять услышал слабый глухой звук «кланк-кланк», дерево стучало по какому-то металлическому предмету; затем она обернулась, рассеянно откидывая назад волосы.

— Я сделала все то же с моим альбомом, только я не пользовалась нитками, я взяла мои собственные волосы. Я положила их поперек толщины книги в трех местах, и когда я вернулась сегодня утром, очень рано, крадучись, как маленькая мышка, чтобы не разбудить

тебя, все три волоса были разорваны. Итак, я узнала, что ты заглядывал в мой альбом.

Она помолчала и улыбнулась. Для Энни это была очень обаятельная улыбка, хотя и с неприятным оттенком, который он никак не мог распознать.

— Для меня это было неудивительно. Я давно знала, что ты выбираешься из комнаты. В этом заключаются плохие новости. Я давно знала об этом, очень давно, Пол.

Он полагал, что ему следовало бы рассердиться и испугаться. Она знала, знала почти с самого начала, казалось... но он чувствовал только эту, подернутую дымкой, блуждающую эйфорию. Ему казалось, что все, о чем она говорила, не было столь важным, как чудесный свет зарождающегося дня.

— Но, — сказала она деловым тоном, — мы говорили о твоей машине. Я надела на колеса шипованную резину, у меня есть комплект цепей, который я храню в моем убежище в горах. Вчера утром я почувствовала себя гораздо лучше. Я провела большую часть времени там на коленях в молитвах, и ответ пришел, как обычно. Выход был совсем прост, как это часто бывает. Все, что ты несешь Всевышнему в молитвах, Пол, Он воздаст тысячекратно.

Итак, надела на шипы цепи и медленно прокралась сюда. Это было нелегко, и я понимала, что могу попасть в аварию, несмотря на шипованную резину и цепи. Я также знала, что на таких извилистых высокогорных дорогах редко бывают «небольшие несчастные случаи». Но я чувствовала себя в безопасности, потому что Бог хранил меня.

— Это очень возвышает, Энни, — прохрипел Пол.

Она бросила на него встревоженный и одновременно слегка подозрительный взгляд... затем расслабилась и улыбнулась.

— У меня есть для тебя подарок, Пол, — сказала она мягко. И прежде чем он успел спросить, что это было — он не был уверен, хотел ли он какой-нибудь подарок от Энни, — она продолжала: — Дороги были ужасно скользкие. Я дважды чуть не разбилась... Во второй раз Старая Бесси скользила всю дорогу по кругу, вплоть до самого подножия горы.

Энни весело засмеялась.

— Затем я влетела в снежный сугроб. Это было около полуночи. Но мимо проходила машина, посыпающая дорогу песком, которая и помогла мне выбраться.

— Слава Департаменту дорожных служб! — сказал Пол, но это вышло как-то невнятно.

— Две мили до автомагистрали округа были последним трудным участком. Автомагистраль называется «Маршрут 9», ты знаешь. Это

именно та дорога, на которой ты потерпел аварию. Они посыпали ее песком. Я остановилась там, где ты разбился, и поискала твою машину. И я знала, что я должна сделать в случае, если я увижу ее. Потому что появятся вопросы, и я буду среди первых, кому они будут адресованы, по причинам, я думаю, для тебя ясным.

«Я опередил тебя, Энни, — подумал он. — Я изучил весь этот сценарий еще три недели назад».

— Я напомнила тебе обо всем, потому что это больше похоже на руку Провидения, чем на простое совпадение.

— Что было рукой Провидения? — спросил он.

— Твоя машина потерпела аварию почти в том самом месте, где я избавилась от этого ублюдка Поумроя. Того, кто представился художником.

Она с презрением махнула рукой, сдвинула ноги, производя при этом знакомый деревянный звук «кланк», как будто одна из ног терлась о что-то на полу.

— Я подобрала его на обратном пути из Истес-парк. Я была там на выставке керамики. Мне нравятся маленькие керамические фигурки.

— Я заметил это, — сказал Пол. Казалось, его голос прозвучал откуда-то из космических далей. Капитан Кирк! Раздается голос в эфире, — подумал он и сдавленно хмыкнул.

Та глубокая его часть, куда еще не добрался наркотик, пыталась предостеречь его, чтобы он замолчал, попросту заткнулся, но какой в этом был толк?

Она знала. Конечно, она знает — Пчелиное Божество Боуркас знает все.

— Мне особенно понравился пингвин на глыбе льда.

— Спасибо, Пол... он прелестный, не правда ли?

— Поумрой был туристом. У него за спиной был рюкзак. Он сказал, что был художником, хотя позднее я выяснила, что он был обыкновенным хиппи, наркоманом, грязной тварью; который в последние пару месяцев мыл посуду в ресторане Истес-парка. Когда я сказала ему, что направляюсь в Сайдуиндер, он ответил, что это было настоящим совпадением. Он сказал, что он тоже едет в Сайдуиндер — он получил задание от журнала в Нью-Йорке. Он собирался добраться до старого отеля и сделать зарисовки руин. Его картинки должны иллюстрировать статью, которая будет напечатана в журнале. Это был знаменитый старый отель под названием «Обзор». Он сгорел десять лет назад. Его сжег зритель. Он был сумасшедшим. Все в городе считали так. Но все равно, он уже мертв.

Я позволила Поумрою остаться здесь со мной. Мы были любовниками.

Она посмотрела на него черными глазами, горящими на одутловатом бледном лице. И Пол подумал: «Если у Эндрю Поумроя стоял на тебя, Энни, он действительно был таким же сумасшедшим, как и смотритель, сжегший отель».

— Затем я выяснила, что у него на самом деле не было никакого задания. Он просто делал зарисовки по собственной воле, надеясь затем продать их. Он не был даже уверен, что журнал готовит статью об «Обзоре». Я выяснила все это достаточно быстро! После этого я заглянула в его альбом для набросков. Я чувствовала, что имела полное право сделать это. Прежде всего я его кормила и спала с ним. В альбоме было всего только восемь или девять набросков, и они были ужасными.

Ее лицо сморщилось, и в один момент она стала такой, какой была при имитации крика поросенка.

— Я могла бы лучше нарисовать! Он застал меня разглядывающей картинки и взбесился. Он сказал, что я совала нос не в свои дела. Я не считала, что рассматривать вещи в моем собственном доме означало высматривать что-то. Я сказала ему, что если он художник, то я мадам Кюри. Он начал смеяться. Он смеялся надо мной. И я... я...

— Ты его убила, — сказал Пол. Его голос прозвучал глухо.

Она натянуто улыбнулась стене.

— Да, я полагаю, что сделала что-то в этом роде. Я уже хорошо не помню. Только когда он был уже мертв. Я помню это. Я, помню, обмыла его.

Он уставился на нее и почувствовал жуткий, слезливый ужас. Он представил голое тело Поумроя, плавающее в ванной, как кусок сырого теста, голова косо откинута назад, открытые глаза уставились в потолок...

— Я вынуждена была сделать это, — сказала она, слегка растягивая губы. — Ты, вероятно, не знаешь, что полиция может выяснить только по одной зацепке, по клочку нитки, или грязи под ногтями, или даже пыли в волосах трупа! Ты не знаешь, а я работала в больницах всю мою жизнь, и я знаю! Да, я знаю!

Она входила в состояние неистовства и Пол понимал, что ему следовало бы сказать что-нибудь, что по крайней мере временно успокоило бы ее, но его рот, казалось, не подчинялся, и он онемел.

— Они все против меня! Ты думаешь, они будут слушать меня, если я попытаюсь рассказать им, как это было? Ты так думаешь? Да? О нет! Они, вероятно, скажут что-нибудь сумасшедшее, вроде того, что я приставала к нему и он смеялся надо мной и поэтому я убила его! Скорей всего они скажут что-то в этом роде!

И ты знаешь что, Энни? Ты знаешь ЧТО? Я думаю, это должно быть немного ближе к правде.

— Грязные твари вокруг, они скажут ЧТО-ТО, что причинит мне неприятности и опорочит мое имя.

Она замолчала, часто и тяжело дыша, глядя на него тяжелым взглядом, как бы приглашая его осмелиться противоречить ей.

Только посмей!

Затем она взяла себя в руки и продолжала говорить более спокойным голосом.

— Я обмыла... ну... то, что осталось от него... и его одежду. Я знала, что делать. На улице шел снег, первый настоящий снег в году, и прогнозировали, что его навалит около фута на следующее утро. Я положила его одежду в пластиковый пакет, завернула тело в простыни и выбросила все в пересохшее русло на Маршруте 9 после наступления темноты. Я спустилась примерно на милю ниже того места, где рухнула твоя машина, и дошла до самого леса, где и выбросила его. Ты, наверное, думаешь, что я спрятала его, но ничего подобного. Я знала, что снег скоро закроет его, и рассчитывала, что весенние талые воды унесут его. Так все и произошло. Только я не думала, что его унесет так ДАЛЕКО. Они обнаружили тело через целый год после... после его смерти и почти за двадцать семь миль в сторону. Конечно, было бы лучше, если бы его не унесло так далеко, потому что в заповеднике всегда бродит много туристов и любителей пения птиц. Лес в здешнем округе значительно менее посещаем.

Она улыбнулась.

— Именно там находится сейчас твоя машина, Пол, где-то в лесу между Маршрутом 9 и заповедником Гридер. Это достаточно далеко, чтобы увидеть ее с дороги. Сбоку у Старой Бесси есть довольно мощный прожектор, я осветила им местность, но русло было пустым. Я обязательно схожу туда пешком и проверю, когда вода немного спадет, но я почти уверена, что все в порядке. Какие-нибудь охотники найдут ее года через два или лет через пять-семь, всю заржавленную и с гнездящимися в сиденьях бурундуками. Но к этому времени ты закончишь мою книгу, и будешь в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, или где пожелаешь, а я буду спокойно жить здесь. Может быть, мы будем иногда переписываться.

Она туманно улыбнулась улыбкой женщины, которая видит прекрасный замок в облаках. Затем ее улыбка исчезла, и она снова стала деловой.

— Итак, я отправилась обратно и всю дорогу упорно думала. Я должна была, потому что исчезновение твоей машины означало, что ты можешь остаться здесь, ты можешь закончить мою книгу. Ты знаешь, я не всегда была уверена в этом, хотя никогда не говорила тебе, потому что не хотела огорчать. Я не хотела огорчать тебя, потому

что знала, ты не сможешь тогда хорошо работать; это звучит намного холоднее, чем я по-настоящему думаю, мой дорогой. Видишь ли, я начала любить только одну часть тебя — ту, которая создает такие прекрасные романы, потому что только этой частью я владею. О другой части я ничего не знаю, и я предполагаю, что та часть может оказаться совсем неприятной. Я не кукла, я читала о так называемых «известных авторах», и я знаю, что очень часто они БЫВАЮТ совсем неприятными. Ну, например, Скотт Фицджеральд, или Эрнест Хемингуэй, или тот краснощекий парень из Миссисипи — Фолкнер или как его там — все они, может, и завоевали национальные премии и награды, но были ничем другим, как кокадуи — пьяницами и гуляками. Другие тоже, когда не писали свои замечательные книги, пьянствовали, распутничали, принимали наркотики и делали Бог знает что еще.

Но ты не похож на такого, и через некоторое время я узнала второго Пола Шелдона. Я надеюсь, ты не против того, что я говорю? Я полюбила вторую часть тоже.

— Спасибо, Энни, — сказал он с гребня золотой блестящей волны, а сам подумал: «Но ты могла прочитать обо мне плохое. Здесь те ситуации, когда мужчины подвергаются соблазну, сильно сокращены. Довольно трудно отправиться веселиться в бар, когда у тебя сломаны обе ноги, Энни. Что касается наркотиков, то Пчелиное Божество Боуркас делает это для меня».

— Не хотелось бы тебе остаться? — резюмировала она. — Этот вопрос я задавала себе неоднократно, и поскольку я не хотела вводить себя в заблуждение, я знала ответ на него; я знала его даже раньше, чем увидела царапины вот там, на косяке двери.

Она указала на дверь, и Пол подумал: «Держу пари, она знала с самого начала. Заблуждаться? Нет, это не для тебя, Энни. Только я сделал здесь достаточно, чтобы ввести в заблуждение нас обоих».

— Ты помнишь, когда я уехала в первый раз? После той глупой драки из-за бумаги?

— Да, Энни.

— Именно тогда ты впервые выбрался из комнаты, не так ли?

— Да. — Не было смысла отрицать.

— Конечно, тебе нужно было лекарство. Мне следовало бы знать, что ты сделаешь все, чтобы добыть пилюли. Тогда я взбесилась, ты знаешь. — Она нервно хихикнула.

Пол не присоединился к ней, даже не улыбнулся. Память об этом болезненном, бесконечном эпизоде с воображаемым голосом спортивного комментатора, делающим репортаж о состязании, была слишком сильна.

«Да, я знаю, ты взбесилась», — подумал он.

— Сначала я не была абсолютно уверена. Конечно, я заметила, что маленькие фигурки на столике в гостиной сдвинуты с места, но я думала, что я могла сделать это сама. Иногда я бываю очень забывчивой. Мне приходило в голову, что ты мог выходить из комнаты, но затем я подумала: «Нет, это невозможно. Он так тяжело ранен и кроме того, я заперла дверь. Я даже проверила, был ли все еще в кармане юбки ключ. Да, он был там. Тогда я вспомнила, что ты перебирался сам в кресло. Итак, может быть...»

— Я усвоила одно правило, когда в течение десяти лет была медсестрой: всегда стоит проверять все подозрения. Итак, я пересмотрела все лекарства, которые я хранила в ванной. Это были главным образом образцы, которые я притаскивала домой, пока работала в больнице. Если бы ты только ВИДЕЛ, чего только не валяется в больницах, Пол! Итак, тут и там я брала немного... ну... немного БОЛЬШЕ, чем нужно. И я не была исключением. Я хорошо знала, что нельзя брать много лекарств, в основе которых морфий. Они были заперты. Они были наперечет. Их учитывали. И если на какую-нибудь из сестер падает подозрение в «снятии стружек» — так это называется, за ней будет установлена слежка до тех пор, пока она не попадется. Тогда хлоп! — Энни с силой рубанула рукой. — Они вылетают с работы, и большинство из них уже никогда больше не наденет шапочку медсестры.

Я была умнее их.

Смотреть на эти коробки было все равно, что смотреть на фигурки на столике в гостиной. Я думала, что лекарство внутри них перемешано, и я была уверена, что одна из коробок, которая раньше была на дне, теперь может оказаться сверху другой коробки, но я не была УВЕРЕНА. И я МОГЛА бы сделать это сама, когда я была... ну... когда я была занята своими мыслями.

Затем два дня спустя после того, как я решила бросить думать об этом, я направилась к тебе, чтобы дать дневную дозу лекарства. Ты все еще спал. Я попыталась повернуть дверную ручку, но в течение нескольких секунд она не поворачивалась, как будто дверь была заперта. Затем ручка повернулась, и я услышала, как что-то забрело внутри замка. В этот момент ты зашевелился, и я, как всегда, дала тебе лекарство, как будто я ничего не подозревала. Я умею очень хорошо притворяться, Пол. После этого я помогла тебе перебраться в кресло с тем, чтобы ты мог писать. И когда я делала это, я чувствовала себя как Святой Павел по дороге в Дамаск. Мои глаза раскрылись. Я увидела, что к тебе возвращается цвет лица, я увидела, что ты передвигаешь ноги. Это причиняло тебе боль и ты мог двигать ими только немного, но все же ты ДВИГАЛ их. И руки твои также окрепли.

Я поняла, что ты почти ВЫЗДОРОВЕЛ.

Вот тогда я начала понимать, что у меня будут с тобой проблемы даже при условии, что никто из внешнего мира не будет подозревать об этом. Я смотрела на тебя и понимала, что не только я умею хранить секреты.

В ту ночь я заменила твоё лекарство на более сильнодействующее и, когда я убедилась, что ты не проснешься, даже если под твоей кроватью взорвать гранату, я взяла инструменты с моей полки в подвале и разобрала замок. И посмотри, что я нашла!

Она вынула что-то маленькое и темное из кармана мужской рубашки. Она вложила предмет в его онемелую руку. Он поднес руку близко к лицу и глуповато уставился на нее. Это был согнутый обломок ее шпильки.

Пол начал хихикать. Он не мог остановиться.

— Что здесь смешного, Пол?

— В день, когда ты уехала платить налоги, мне снова понадобилось открыть дверь. Кресло было слишком велико и оставило черные следы на косяке двери. Я хотел стереть их.

— Чтобы я не заметила их?

— Да. Но ты уже видела их, правда?

— После того, как я нашла мою шпильку в замке? — Она улынулась про себя. — Еще бы!

Пол кивнул и засмеялся еще сильнее. Он смеялся так сильно, что из его глаз полились слезы. Вся его работа... все его волнения. Все насмарку. Это казалось очень смешно.

Он сказал:

— Я боялся, что кусок шпильки мог испортить все дело... но этого не случилось. Я никогда не слышал, чтобы он дребезжал. И для этого была своя причина, не правда ли? Он никогда не дребезжал, потому что ты вытащила его. Какая же ты дура, Энни.

— Да, — сказала она и натянуто улыбнулась.

Она задвигала ногами и снова из-под кровати раздался глухой деревянный звук.

XXII

— Сколько раз ты всего выходил из комнаты?

Нож. Господи Иисусе, нож.

— Дважды. Нет, подожди. Я выходил еще раз вчера около пяти часов. Набрать воды в кувшин.

Это было правдой. Он НАБРАЛ воды в кувшин. Но он скрыл истинную цель своей третьей попытки. Та самая истинная цель,

настоящая причина, побудившая его выйти вчера из комнаты, находилась у него под матрасом. Принцесса на горошине. Пол на ноже для разделки мяса.

— Три раза, считая вчера.

— Говори правду, Пол.

— Три раза, клянусь тебе. И ни разу я не пробовал убежать. Ради Бога, Энни, я все-таки книгу здесь пишу или ты еще этого не поняла?

— Не поминай всуе Имя Божие, Пол.

— А ты не обращай со мной так! В первый раз мне было так больно, словно кто-то поставил меня голыми коленями на раскаленные угли. И этим «кто-то» была ты, Энни!

— Заткнись, Пол!

— Во второй раз мне просто хотелось жрать, и можешь быть уверена, я тут приберег кое-что на черный день, или на случай, если ты опять бросишь меня и укаатишь куда-нибудь. А потом меня стала мучить жажда. Вот и все. И никакой тебе конспирации.

— Но ведь ты не подходил к телефону и не трогал дверных замков, да, Пол, ты ведь у меня пайныка.

— Конечно, я подходил к телефону и замки тоже трогал... и далеко бы я ушел по такой грязище, даже если бы двери были открыты настежь?

Наркотик нахлынул на него тяжелой свинцовой волной и теперь ему хотелось только одного — чтобы она заткнулась и убралась отсюда. Она уже достаточно наколела его, чтобы узнать правду. Он боялся, что впоследствии придется расплачиваться за эти неосторожные излияния, но сначала ему хотелось спать.

— СКОЛЬКО РАЗ ТЫ ВЫХОДИЛ?

— Я тебе сказал...

— СКОЛЬКО РАЗ? — голос ее повышался. — ГОВОРИ ПРАВДУ.

— Я говорю! Три раза!

— СКОЛЬКО!!! Будь ты проклят!

Несмотря на лошадиную дозу, которую она ввела ему, Пол начинал бояться.

«В конце концов, даже если она что-то со мной и сделает, это не будет очень больно... и она сама хочет, чтобы я закончил эту книгу... она же так говорила...»

— Ты думаешь, я дура, — он заметил, какая у нее лоснящаяся кожа, словно пластик, которым покрывают каменную кладку. Казалось, на лице не было даже пор.

— Энни, клянусь тебе...

— О, лжецы всегда клянутся! Они ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ клясться! Ну что ж, продолжай в том же духе, считай меня дурой, если тебе хочется. Прекрасно, очень хорошо. Обращаться с нормальной женщиной, как

с дурой. Так вот что я тебе скажу, Пол, — я натянула волосы, свои собственные волосы, у каждого входа и выхода, ВЕЗДЕ, по всему дому. А потом я находила их порванными или вообще не находила. Они исчезали. Пуф! и нету... Не только на моем альбоме, но и в коридоре, и в моей спальне наверху... и в гараже... ПОВСЮДУ!

«Энни, как я мог войти в гараж, когда на двери в кухне столько замков?!» — хотел он спросить ее, но она не дала ему.

— А теперь ты продолжаешь утверждать, что это было всего три раза, мистер Красавчик. Так я скажу тебе, кто же здесь дурак, а кто нет!

Несмотря на наркотический дурман, он с ужасом уставился на нее. Он не знал, что ей ответить. Все было безумием... паранойей.

«Господи, — подумал он, сразу забыв про гараж. — Наверху? Она сказала наверху? НАВЕРХУ?»

— Энни, ради Бога, скажи мне, как я мог забраться наверх?

— ПРАВИЛЬНО! — закричала она резко, — КОНЕЧНО! Несколько дней назад я вошла в комнату, а ты уже умудрился сесть в кресло САМ, без посторонней помощи! Если ты мог сделать это, то ты мог и забраться наверх! ТЫ МОГ ПОЛЗТИ!

— Да, на своих сломанных ногах и раздробленных коленках, — сказал он.

Снова этот взгляд; черная расселина на цветущей лужайке. Энни Уилкс нет. Есть Пчелиное Божество Боуркас.

— Ты не хочешь быть пайнкой для меня, Пол, — прошептала она.

— Ну, Энни, одному из нас придется. То, что ты делаешь — не очень хорошо. Если ты просто попробуешь понять как...

— Сколько раз?

— Три.

— Первый раз за лекарством.

— Да. Капсулы Новрила.

— Во второй раз за едой. А в третий раз, чтобы набрать воды в кувшин.

— Да. Энни, меня так мутит...

— Ты наполнял кувшин в ванной здесь, в коридорчике.

— Да...

— Один раз за едой, один раз за лекарством, и один раз за водой.

— Да, я же говорю тебе! — он хотел закричать, но вместо этого раздалось лишь жалкое карканье.

Она снова полезла в карман юбки и достала нож, нож для разделки мяса. Его остро отточенное лезвие мерцало в разгорающемся свете утра. Внезапно она повернулась налево и бросила нож. Она бросила его с убийственно наигранной грацией масленичных карнавалов. Он

поткнулся в штукатурку, прямо под Триумфальной Аркой, трепетно дрожа тонким стальным телом.

— Я тут пошарила у тебя под матрацем, прежде чем вводить тебе «ПО». Я ожидала там найти капсулы, но нож явился для меня полным сюрпризом, я даже чуть сама не порезалась. Но ведь ты не клал его туда, нет?!

Он не ответил. Мозги его вертелись, подпрыгивали, как взбесившаяся карусель. Укол «ПО». Она это сказала? «ПО»? Его внезапно и остро осенило, что она намеревается вытащить нож из стены и кастрировать его.

— Нет, ТЫ не клал его туда. Ты один раз выходил за лекарством, один раз за едой и один раз за водой. Этот нож, наверное... ну да, он наверное ПРИПЛЫЛ сюда и незаметно сам скользнул под матрац. Да, именно так все и произошло, — Энни разразилась хохотом.

«ПО»? Боже милосердный, она ЭТО сказала?

— Будь ты проклят! — кричала она. — Будь ты проклят! СКОЛЬКО? СКОЛЬКО РАЗ?!

— Ну, хорошо, хорошо! Я взял нож, когда пошел за водой. Я признаюсь! Если ты думаешь, что я выходил для этого еще один раз, валяй, думай! Если хочешь пять раз, двадцать, пятьдесят, сто, пожалуйста! Я согласен. Я выходил столько раз, сколько тебе хочется!

На какой-то момент в своей злости и наркотическом опьянении он перестал понимать пугающе-туманный смысл этой фразы: «уколоть «ПО». Он так много хотел сказать ей, хотя знал, что бешеный параноик вроде Энни будет отрицать даже самые простые и явные истины. Было сыро, а скотч, как известно, не любит влаги, и в большинстве случаев ее маленькие капканчики могли попросту отклеиться и улететь со сквозняком. И крысы. Когда вода в подвале сошла, а хозяйка покинула дом, он слышал их возню. Конечно. Они бегали по дому и могли быть привлечены объедками, оставшимися после Энни. Крысы и были теми злыми гномами, которые порвали все ловушки. Но она бы только отфутболила подобную мысль. Она считает, что он вполне может пробежать нью-йоркский марафон.

— Энни... Энни, что ты имела в виду, когда сказала, что вколола мне «ПО»?

Но Энни занимало совсем другое.

— Я говорю, что это было семь раз, — сказала она мягко. — По меньшей мере семь. Семь раз, да?

— Если тебе так хочется, то да, семь. Что ты имела в виду, ког...

— Я вижу, что ты продолжаешь упрямиться, — сказала она. — Я полагаю, ребята вроде тебя, настолько привыкают врать в своих книгах, что и в реальной жизни не могут остановиться. Но, ладно,

Пол, все нормально. Потому что не это главное. Выходил ли семь раз, семнадцать или семьдесят — это не главное, это не меняет дела так же, как не меняет дела и то, что ты мне ответишь.

Он все плыл, плыл, плыл куда-то. Он закрыл глаза и слышал ее речь, доносящуюся издали... как потусторонний голос в облаках.

«Божество» — подумал он.

— Ты когда-нибудь читал про Кимберлийские алмазные копи, Пол?

— Я даже книгу про это написал, — сказал он безо всякой причины и засмеялся.

(«ПО»? укол «ПО»)

— Иногда местные рабочие воровали алмазы. Они заворачивали их в листья и прятали в прямой кишке. Если им удавалось пронести камни незаметно, они убегали. И знаешь ли ты, что делали британцы, когда ловили их?

— Убивали, я полагаю, — сказал он не открывая глаз.

— О нет! Это было бы все равно, что выкинуть дорогую машину только из-за сломанного дворника. Если они ловили беглеца, то делали так, чтобы он мог работать, но не мог больше сбежать. Прием назывался «хромота», Пол, и это как раз то, что я и собираюсь сделать с тобой. Для моей и... и твоей безопасности. Поверь, тебе нужно иметь какую-то защиту от самого себя. Просто запомни, маленькая боль, и все будет окончено. Постарайся запомнить и удержать это в голове.

Ужас, острый как лезвие бритвы, диким порывом ветра захлестнул его, прорвал туманную пелену наркотика, и он открыл глаза. Она поднялась и стягивала одеяло, обнажая его вывороченные ноги и обнаженные ступни.

— Нет, — сказал он. — Нет... Энни... что бы ты ни думала, но ведь мы можем обговорить все по-хорошему, не так ли?... пожалуйста...

Она наклонилась, выпрямившись, она сжимала топор в одной руке и паяльную лампу в другой. Отточенный край топора тускло поблескивал. На одной стороне лампы виднелась надпись «Бенц-О-мэтик». Она нагнулась еще раз и на этот раз появилась коробка спичек и темная бутылка. На бутылке была этикетка с одним единственным словом «Бетадин».

Он никогда не забудет этого, этих слов, этих названий.

— Энни, нет! — завизжал он, — Энни, я буду оставаться здесь! Я даже из постели вставать не буду! Пожалуйста! Господи, прошу тебя, не режь меня!

— Все будет хорошо, — сказала она, и лицо ее стало растерянно безучастным. Снова взгляд, темная расселина, неприкрытая угольная чернота. Прежде чем разум его окончательно заблудился в горящем

леса паники, он понял, что потом у нее останутся лишь смутные воспоминания о том, что она делала. Такие же смутные воспоминания остались у нее от того, как она убивала детей, стариков, пациентов в больнице и Эндрю Поумроя.

Кроме того, это была женщина, получившая диплом медсестры в 1966 году и говорившая, что работала медсестрой десять лет.

«Она убила Поумроя этим самым топором».

Он продолжал кричать, умоляя ее, но вместо слов вылетало лишь невнятное лепетание. Он пытался перевернуться, отвернуться от нее, ноги его кричали. Он пытался вытянуть их, успокоить, увести, колени его пронзительно вопили.

— Еще минуточку, Пол, — сказала она и откупорила бутылку. Затем плеснула красно-коричневую жидкость на его левую щиколотку. — Еще одну минуточку, и все будет кончено.

Она развернула топориче, сухожилия выступили на крепком запястье ее правой руки, и он увидел, что она по-прежнему носит аметистовое кольцо. Она полила топориче Бетадином. Он почувствовал этот запах, специфический запах больницы, всегда предшествующий уколу.

— Будет чуть-чуть больно, совсем чуть-чуть, — она перевернула топор и полила другую сторону. Он увидел редкие пятна ржавчины на лезвии, но через мгновение клейкая жидкость покрыла их.

Энни Энни о Энни пожалуйста пожалуйста нет пожалуйста не делай этого клянусь тебе я буду хорошим О ЭННИ ПРОШУ ТЕБЯ ПОЗВОЛЬ МНЕ БЫТЬ ХОРОШИМ...

— Чуть-чуть больно, и все. И с этим дурацким делом будет покончено. И нам обоим будет хорошо, Пол.

Она швырнула открытую бутылку Бетадина через плечо, лицо ее оставалось пустым и бесстрастным, отрешенно твердым, правая рука скользнула по рукоятке к стальному топоричу, левой рукой она ухватила за нижнюю часть рукояти и расставила ноги, как дровосек.

— Энни, пожалуйста, прошу тебя... НЕ ДЕЛАЙ МНЕ БОЛЬНО!!!

Топор со свистом опустился и вонзился, полностью войдя в живую плоть левой ноги Пола Шелдона прямо над щиколоткой.

Боль скрутила его тело в гигантский болт. Темно-красная кровь забрызгала ее лицо поперек, напоминая боевую раскраску индейца. Стена тоже была забрызгана кровью. Он ощутил скрежет металла о кость, когда она высвобождала топор. Не веря, он посмотрел вниз на себя. Простыня становилась багряно-красной. Он увидел, как корчатся пальцы ног. Затем он увидел, что она снова поднимает топор, с которого сбегают капли пурпура. Волосы ее вырвались из плена шпилек и теперь свободно ниспадали вокруг пустого, отчужденного лица.

Он попробовал откатиться назад, несмотря на боль в ногах и коленях и тут до него дошло, что голень его двигается, а ступня нет. Каждое движение расширяло рану от топора, делая ее похожей на раскрывающуюся пасть чудовища. Он имел достаточно времени, чтобы осознать, что ступня его теперь держится только на мышце икры, прежде чем топор опустилсЯ снова, точно в разверзнутую пасть раны, отрезая ногу до конца и уходя глубоко в матрац.

Энни вытащила топор и швырнула его в сторону. С отсутствующим видом она посмотрела на истекающий кровью обрубок, затем нагнулась и подняла коробок. Загорелась спичка. Затем она взяла паяльную лампу с надписью «Бенц-О-мэтик» и повернула клапан. Светильник зашипел. Кровь стекала по тому месту, где не было больше Пола Шелдона. Энни аккуратно держала спичку под горелкой. Раздалось «фуф». Появился длинный желтый язык пламени. Энни подкрутила клапан и огонь выровнялся в ровную голубую полосу.

— Я не могу наложить шов, — сказала Энни, — нет времени. Турникет слабый. Нет точки центрального давления. Надо прижечь.

Она наклонилась. Пол вскрикнул, когда огонь плеснул на сырой, кровоточащий обрубок. Закурился дымок. Сладковато запахло. Когда-то он со своей первой женой проводил медовый месяц на Гавайях. И этот запах напомнил ему лузу. Запах свиньи, которую доставали из ямы с раскаленными углями, где она готовилась целый день. Свинья была насажена на палку, прогибающуюся, черную, обгорелую палку.

Боль пронзительно кричала вместе с ним.

— Почти все, — сказала она и повернула клапан. Теперь простыня горела вокруг обрубка, который больше не кровоточил. Обрубок был черным, как шкура свиньи, когда ее вытаскивали из ямы. Элин тогда отвернулась, а Пол изумленно смотрел, как они снимали шкуру. Они делали это с такой легкостью, словно снимали свитер в жаркий денек.

— Почти все...

Она выключила паяльную лампу. Его нога лежала в линии огня, отделенная ступня дергалась подле. Она вышла и вернулась с его старым приятелем — желтым половым ведром. Она выплеснула содержимое ведра на огонь.

Он все кричал, кричал.

Боль! Божество! Боль! О Африка!

Она стояла и смотрела на него, на чернеющую окровавленную простыню. Стояла и смотрела в смутном оцепенении. Лицо у нее было такое, словно она слышала по радио, что в Турции или Пакистане во время землетрясения погибло десять тысяч человек.

— С тобой все будет хорошо, Пол, — сказала она, но голос ее стал внезапно испуганным. А глаза бесцельно забегали, как в тот раз, когда

ей казалось, что огонь его зарождающейся книги выходит из-под контроля. Вдруг она остановила их в одной точке с видимым облегчением.

— Я просто избавилась от мусора.

Она подняла его ногу. Пальцы на ней все еще судорожно сжимались. Но пока она шла к двери, они перестали двигаться. Он мог видеть шрам на стопе и вспомнил, как наступил на осколок бутылки, когда был совсем еще ребенком. Это было на Ривьере. Да, кажется именно там; он вспомнил, как он плакал тогда, а отец сказал ему, что это всего лишь маленький порез и чтобы он перестал вести себя, словно ему отрезали ногу целиком. Энни помедлила у двери и оглянулась на Пола, который визжал и корчился в обугленной, пропитанной кровью постели, лицо его было смертельно бледным.

— Теперь ты хромой, — сказала она, — не вини меня. Ты сам во всем виноват.

Она вышла.

Пол тоже.

XXIII

Облако вернулось. Пол нырнул в него, не заботясь о том, означало ли оно на этот раз смерть или просто потерю сознания. Он почти надеялся, что это была смерть. Просто... пожалуйста, чтобы не было больно. Ни боли, ни воспоминаний, ни страха, ни Энни Уилкз.

Он нырял в облако, погружался в него, смутно различая звуки собственного голоса, собственных воплей и запах собственного поджаренного мяса.

Когда к нему возвращались мысли, он думал:

«Божество! Убью тебя! Божество! Убью тебя! Божество!»

Потом было ничто и только ничто.

ЧАСТЬ III ПОЛ

Не хорошо. Последние полчаса я пытался заснуть и не смог. Писать здесь — это своего рода наркотик. Это единственное, чего я ожидаю, на что надеюсь. Сегодня я прочитал написанное... Это показалось мне ярким. Я знаю, мне все кажется таким очевидным, потому что все уголки недоступны другим. Все суеда. Но это кажется каким-то волшебством... Я просто не смогу жить в реальности. Там я сойду с ума.

Джон Фаулс
«Коллекционер»

I

ГЛАВА 32

— О, Боже, — просто ал Я и ко вульсив о дер улся вперед. Джеффри схватил друга за руку. Ров ый стук бараба ов пульсировал в его голове, ввергая в убийстве ое беспамятство. Пчели ый гул е прекращался и а секу ду, о и роились вокруг, слов о их притягивал маг ит. Джеффри подумал, что э им маг и ом

II

Пол приподнял пишущую машинку и потряс ее. Спустя время оттуда вылетел маленький кусочек металла и упал на доску, что лежала поперек кресельных подлокотников. Он поднял его.

Это была буква «т». Из пишущей машинки выпала буква «т».

Он подумал: «Я буду жаловаться начальству. Я не просто буду просить, черт возьми, я буду ТРЕБОВАТЬ новую машинку. У нее водятся деньжата, я знаю, может быть, они у нее зарыты под сараем в консервной банке, или замурованы в стене в ее Месте Смеха, но бабки у нее есть. А буква «т», между прочим, одна из наиболее употребляемых в английском языке!»

Конечно, ни о чем он просить не будет, а тем более не будет ничего требовать.

Жил на свете когда-то такой человек, который по крайней мере попробовал бы попросить. Человек этот был в самых близких отношениях с девчонкой по имени Боль. Тому человеку нечего было терять, и даже эта вшивая книжонка не удержала бы его; тот человек попросил бы. Как бы больно ему ни было, тот человек имел достаточно храбрости (или наглости), чтобы рискнуть и пойти против Энни Уилкз.

Он, ОН был этим человеком. Наверное, ему должно было быть стыдно. Но тот человек имел два больших преимущества перед этим, у ТОГО человека было две ноги...

Некоторое время Пол задумчиво сидел, перечитывая последнюю строчку и мысленно вставляя пропущенные буквы, затем он просто вернулся к работе.

Лучше так.

Лучше не спрашивать.

Лучше не провоцировать.

За окном жужжали пчелы.

Стоял первый день лета.

III

были они.

— Пустя меня, — прорычал Ян и повернулся к Джеффри, его правая рука сжималась в кулак, глаза безумно вытаращились на свирепом лице. Казалось, он не понимает, кто его удерживает. Джеффри с холодной уверенностью понимал, что, увидев его ими за маскирующими кустами, могло све-

сти Яна с ума. То́г продолжал покачива́ться на самом краю обрыва и малейший толчок мог оказа́ться роковым. Если это случится, то Мизери погибла.

— Ян...

— Пуст́и меня́, говорю́, — с нечеловеческой силой Ян дернулся снова, и Хезекьях с ужасом завопил.

— Не́г босс, не делай этого, не делай пчелы злой, не делай их кусать хозяйка!

Ян, казалось, не слышал. С пустыми и дикими глазами он набросился на Джеффри, сгукнув друга в скулу. У Джеффри перед глазами поплыли круги.

Но, несмотря на это, он увидел, как Хезекьях начал опускать свой ГОША — смертоносный мешок, наполненный песком, которым пользуются Боуркас, — одновременно визжа: «Не́г, дайте я сделаю это!»

С трудом Хезекьях спустил гоша до самого конца и стал раскачивать на длинной кожаной веревке, как маятник.

За́тем голова Джеффри откинулась назад под новым ударом. Э́тот удар разбил ему губу, и он почувствовал, как теплый сладковато-соленый вкус крови заполняет рот. Послышался резкий греск, и рубашка Яна, теперь выгоревшая и порванная, начала расползаться, когда Джеффри ухватился за нее. Еще мгновение, и Ян был бы свободен. Джеффри со смутным удивлением понял, что это та самая рубашка, которая была на Яне три дня назад во время приема у Барона и Баронессы... Конечно, это та самая рубашка. С тех пор не только у Яна, но и ни у кого из них не было никакой возможности переодеться. Всего три дня тому назад... Но рубашка имела такой вид, будто ее не снимали последние три года. И Джеффри показалось, что после приема прошло уже три сотни лет.

«ВСЕГО ТРИ ДНЯ НАЗАД» — подумал он снова с гупым удивлением, когда Ян опять набросился на него.

— Пуст́и, черт тебя побери! — окровавленный кулак Яна вновь и вновь опускался на лицо Джеффри, друга, за которого Ян отдал бы жизнь, будь он в здравом уме.

— Ты хочешь продемонстрировать свою любовь тем, что убьешь ее? — спросил Джеффри мягко. — Если ты этого хочешь, старина, то валяй, можешь бить меня до бесчувственности.

Ян заколебался. Разум возвращался наконец в этот переполненный ужасом и безумием туман.

— Я должен идти к ней, — пробормотал он, как во сне. — Мне жаль, что я поднял на тебя руку, Джеффри, мне действительно очень жаль, старик, но я уверен, ты все понимаешь... но я должен... ты видишь ее... — он посмотрел опять туда, где на прогалине в джунглях стояла Мизери, привязанная к дереву. Руки ее были запрокинуты над головой, что-то блестящее на ее запястьях приковывало ее руки к нижней ветке эвкалипта, который был единственным деревом на поляне. Это «что-то», по-видимому, очень понравилось людям Боуркас, когда они отправляли Барона Хайжигу в пасть идола, обрекая его на ужасную смерть: это были наручники из вороненой стали.

На этот раз уже Хезекьях ухватил Яна, но кусты зашеле-стели, и когда Джеффри посмотрел на поляну, дыхание у него перехватило. Он почувствовал себя человеком, которому надо взобраться на скалу с грузом очень опасной и капризной взрывчатки в руках.

«ОДИН УКУС, — подумал он. — только один укус, и для нее все будет кончено».

— Нет, босс, не надо, — испуганно и нетерпеливо повторял Хезекьях. — Босс сам говорил... если туда пойдем, пчелы проснутся будут, а если пчелы будут проснуться, то ей надо, чтобы один раз укусил, а не много тысяча раз укусил. Если пчелы проснутся будут, мы все будем умереть, но она самой первой будет умереть, самый ужасный смерть будет умереть...

Понемногу Ян ослабел в железных тисках двух мужчин — черного и белого, Он напряженно смотрел на поляну, словно не желая этого, но не в силах отвернуться.

— Тогда что мы должны сделать? Что мы должны сделать для моей милой бедняжки?

«Я не знаю», — чуть не вырвалось у Джеффри, но даже в состоянии того жуткого оцепенения, в котором он находился, он нашел в себе силы прикусить язык, промолчать. Не в первый раз Джеффри приходило на ум, что само обладание женщиной, которую сам Джеффри любил гайно и горячо, удовлетворяло эгоизм Яна и погасало его почти женской истеричности, чего никогда не позволял себе Джеффри. Но до конца дней своих он осганеся другом Мизери.

«Да, именно другом», — с неуместной иронией подумал Джеффри, и уже не мог оторвать взгляда от прогалицы. От своего ДРУГА.

На Мизери ничего не было, но Джеффри подумал, что в данный момент даже самый большой ханжа в их деревушке, из тех, кто трижды в неделю ходит в церковь, не обвинил бы ее в бесстыдстве и непристойности. Этот ханжа, возможно, с воплем убежал бы при виде Мизери, но не оскорбленная скромность явилась бы причиной его крика, а ужас и отвращение. На Мизери ничего не было надето, но она не была голой.

Она была покрыта пчелами, пчелы составляли ее одежду. От пальцев ног до корней своих прекрасных каштановых волос она была покрыта пчелами. Казалось, что она одета в монашескую рясу странного вида. Странную, потому что ряса шевелилась и изгибалась на выпуклости груди и бедер, хотя не было никаких признаков ветра. Лицо ее было скрыто живым покрывалом, напоминающим мусульманскую чадру — только синие глаза проглядывали сквозь пчелиную маску, которая плотным слоем покрывала ее лицо, пряча нос, рот, подбородок и брови. Множество пчел, гигантских, коричневых и самых ядовитых во всей Африке, переползали через стальные браслеты наручников, вливаясь в шевелящуюся массу живых перчаток на ее руках.

Пока Джеффри наблюдал, все больше и больше пчел слеталось оговсюду; с ужасом он обнаружил, что большинство их летело с запада, где ухмылялось темное каменное лицо Божества.

Барабанный бой пульсировал в своем ровном ритме. Он действовал одуряюще и усыплял пчел. Но Джеффри знал, что сон это обманчив. Он видел, что произошло с баронессой, и можно только благодарить Бога, что Он уберет Яна... Сонное «хум-м-м» тогда перешло в жуткий визг, звук, который сначала был заглушен, а потом и вовсе утонул в ленивом гуле, это был вопль агонизирующей женщины... Она была пустым и глупым существом, к тому же опасным — она сама обрекла себя на смерть, когда выпустила гигантскую змею Стрингфеллоу, — но глупая или нет, опасная или нет, ни одна женщина и ни один мужчина не заслуживают такой ужасной смерти.

В голове Джеффри эхом отзывался вопрос Яна: «Что нам надо делать для нее?»

Хезекьях сказал: «Ничего сейчас не сделать, босс, но она не в опасности. Пока барабаны бьют, пчелы будут спать. И госпожа тоже будет спать».

Теперь пчелы покрывали ее толстым подвижным одеялом, ее глаза, открытые, но невидящие, казалось, находились в живой пещере ползающих, копошащихся пчел.

— А если барабаны остановятся? — спросил Джеффри низким бессильным голосом, и барабаны остановились.

В какой-то момент

IV

Пол скептически прочитал последнюю строчку, затем поднял машинку (он продолжал поднимать ее, как гантель, когда Энни не было в комнате, Бог знает зачем) и встряхнул ее еще раз. Зазвякали клавиши и на доску, служившую письменным столом, опять выпал кусок металла.

С улицы доносился рев ярко-синей газонокосилки: Энни приводила газон в порядок, чтобы эти кокадуды Ройдманы не сказали ничего плохого в городе.

Он поставил машинку на место, затем приподнял ее так, чтобы можно было выудить из нее новый сюрприз. Он смотрел на нее в ярком солнечном свете угасающего дня и не мог поверить своим глазам.

На выпуклом, слегка замазанном чернилами металле, на головке клавиши были напечатаны Е/е. В дополнение ко всему старая машинка теперь выбросила наиболее употребляемую в английском алфавите букву.

Пол взглянул на календарь. Картинка изображала заливной луг, а надпись под ней гласила «Май»; но Пол теперь сам отмечал дни на клочке бумаги, и согласно его домашнему календарю, сегодня было 21 июня.

«Выкатывайтесь, эти ленивые, неопределенные, сумасшедшие дни лета», — подумал он кисло и швырнул клавишу-молоточек в корзину для мусора.

«Ну и что же мне теперь делать?» — подумал он; конечно он знал, что последует затем. Писание от руки — вот, что будет.

Но не сейчас. Хотя несколько секунд назад он несея как на пожар, чтобы заманить Яна, Джеффри и занятого Хезекьях в засаду Боуркас, в то время как все остальные могли добраться до пещер за лицом идола для восторженного финала, он вдруг почувствовал усталость.

Завтра.

Он перейдет на обычное письмо завтра.

К черту писание от руки. Пожалуйся на машинку, Пол.

Но он не сделает ничего такого. Энни слишком страшно мстит.

Он прислушался к монотонному рычанию газонокосилки, увидел ее тень и, как часто случалось, когда он думал, насколько безумной становилась Энни, перед ним возникал взмывающий вверх и опускающийся топор, вставало изображение ее ужасного, безразлично-мертвенного лица, забрызганного его кровью. Все было ясно. Каждое произнесенное ею слово, каждое слово, которое она выкрикнула, пронзительный визг топора, отлетающего от разрубленной кости, кровь на стене. Все совершенно ясно. И как он уже часто делал, он постарался заблокировать свою память и взять себя в руки.

Перед решающим сюжетным поворотом в «Скоростных машинах», связанным с почти фатальной аварией Тони Бонасаро при его последней отчаянной попытке уйти от полиции (и это вылилось в эпизод допроса, проводимого в больнице бывшим партнером Тони лейтенантом Грейем), Пол разговаривал со многими жертвами аварий. И все время он слышал одно и то же. Все преподносилось по-разному, но смысл всегда оставался следующим: «Я помню, как садился в машину. Помню, как пришел в себя здесь. Больше ничего не помню».

Почему с ним не могло быть так же?

Потому что писатели помнят все, Пол. Особенно боль. Раздень писателя догола, укажи на шрамы и он расскажет тебе историю каждого из них, даже самого маленького. От больших шрамов можно

получить роман, а не амнезию. Для того, чтобы стать писателем, достаточно малого таланта, но единственным требованием при этом является способность помнить историю каждого шрама.

Искусство состоит из стойкости памяти.

Кто сказал это? Томас Жаж? Уильям Фолкнер? Синди Лоупер?

Последнее имя вызвало особую ассоциацию, болезненную и несчастную в данных условиях: воспоминание о Синди Лоупер, весело ищущей свой путь в жизни через «Девушки хотят только развлекаться». Там все было ясно: «О, дорогой папа, ты по-прежнему остаешься самым любимым / но девушки хотят развлечений / когда рабочий день завершается / девушки хотят развлекаться».

Вдруг ему страшно захотелось послушать какой-нибудь хит рок-н-ролла, гораздо сильнее, чем ему хотелось сигарету. Это не обязательно должна быть Синди Лоупер. Любой сойдет. Иисус Христос, Тед Ньюджент — все подойдет.

Топор опускался.

Шепот топора.

Не думай об этом.

Но это было глупо: он продолжал уговаривать себя не думать об этом, прекрасно понимая, что это было в нем как кость в горле. Оставит ли он ее там или будет мужчиной, которому все осточертело, и он постарается избавиться от этой мысли?

Было еще одно воспоминание, убеждающее Пола Шелдона в том, что в прошлом все было хорошо. Это было воспоминание об Оливере Риде, сумасшедшем, но обладающим даром убеждения ученым в кинокартине Дэвида Кронинберга «Толпа». Рид убеждает своих пациентов в Институте Психоплазмы (название Пол считал особенно забавным) «пройти через все это! Пройти через все испытания!»

Ну... может, иногда это и не был такой плохой совет.

Я прошел через это однажды. И достаточно.

Ерунда все это. Если бы было достаточно пройти испытания однажды, он был бы таким же дерьмовым торговцем пылесосами, как его отец.

Тогда пройди через все это, через все испытания, Пол. Начни с Мизери.

Нет.

Да.

Пошел ты...

Пол откинулся назад, положил руку на глаза и, желая того или нет, начал заново переживать все это.

Он не умер, не заснул, но через некоторое время после того, как Энни изуродовала его, боль ушла. Он плыл по течению, чувствуя себя вне тела, подобно оторвавшемуся от привязи воздушному шарик, наполненному чистыми помыслами.

О, черт, почему он волнуется? Она сделала это; и все временное пространство между тогда и теперь было заполнено болью, скукой и случайными приступами работы над его глупой мелодраматической книгой, чтобы избежать первых двух. Все было бессмысленным.

О, но это не так — во всем есть смысл, Пол. Это связующая нить, проходящая через все. Нить, которая проходит так стабильно. Неужели ты не видишь ее?

Мизери, конечно. Вот нить, связывающая все; правильная или неправильная, она была чертовски глупой.

Слово «Мизери» как нарицательное имя существительное обозначало страдание, боль, обычно длительную и часто тупую; как имя собственное оно означало характер и сюжет, причем последний, несомненно длинный и бессмысленный, но тем не менее очень скоро заканчивающийся. «Мизери» сопровождало его все последние четыре (а может быть, пять) месяцев жизни. Да, много боли, страданий, «Мизери» изо дня в день... но, конечно, это было все слишком просто...

Нет, Пол. Ничего нет простого в «Мизери». За исключением того, что ты обязан ей своей жизнью, так что это может быть... потому что ты прежде всего оказался Шехерезадой, не правда ли?

Он снова постарался отогнать эти мысли, но не мог. Память настойчива, вот и все. Жалкие писаки хотят развлекаться. Затем возникла неожиданная идея, которая дала абсолютно новый ход мыслям.

Несмотря на всю очевидность, ты не замечаешь того, что был — есть — Шехерезадой также и для себя.

Он заморгал, опуская руку и глупо уставившись на лето, которого не ожидал уже увидеть. Промелькнула тень Энни и исчезла.

Неужели это правда?

«Шехерезада для себя?» — подумал он снова. Если так, то тогда он столкнулся с колоссальным идиотизмом: «ты обязан жизнью тому факту, что хотел закончить дерьмо, которое Энни заставила тебя писать». Ему следовало бы умереть... но он не мог. Не мог, пока не узнает, чем все закончится.

Да ты просто сумасшедший!

Ты думаешь? Ты уверен?

Нет. Больше он ни в чем не был уверен. За одним исключением: вся его жизнь вращалась вокруг «Мизери» и продолжала зависеть от нее.

Его сознание поплыло.

«Облако, — подумал он, — начни с облака».

VI

К этому времени облако потемнело, сгустилось и как-то разгладилось. Чувство парения уступило место чувству скольжения. Иногда приходили мысли, иногда была полная пустота, а иногда он смутно слышал где-то вдалеке голос Энни, звучащий с той же интонацией, какая была при сжигании рукописи, когда огонь грозил выйти из повиновения: «Выпей это, Пол... на!»

Скольжение?

Нет.

Это был не совсем правильный глагол. Более точным был — угасание. Он вспомнил телефонный звонок в три часа утра, когда он был в колледже. Заспанный надзиратель четвертого этажа барабанил в его дверь, вызывая выйти и ответить на проклятый звонок. Это была мать: «Приезжай домой как можно скорее, Паули. Отца разбил паралич. Он угасает». И он помчался домой так быстро, как только мог, выжимая из своего старенького «Форда» все 70, несмотря на то, что свыше 50 появлялось угловое колебание передних колес, но все было напрасно. Когда он прибыл на место, отец уже больше не угасал. Он угас.

Насколько близок он сам был к состоянию угасания в ту ночь с топором? Он не знал, но почти полное отсутствие боли в течение последующей недели после ампутации ноги было явным показателем, насколько близко. И паника в ее голосе.

Он лежал в полукоме, тяжело дыша из-за респираторной депрессии, которая явилась побочным эффектом лекарств; снова была поставлена капельница с глюкозой. Но из этого состояния его вывел барабанный бой и жужжание пчел.

Барабаны Боуркас. '

Пчелы Боуркас.

Видения Боуркас.

Он медленно и неумолимо истекал кровью, которая уходила в землю и племена, которые не пересекали границ бумаги, на которой он писал.

Видение божества, лицо божества, задумчивое и выветренное, неясно вырисовывалось сквозь зелень джунглей. Черное божество, черный континент, каменная голова, полная пчел. Но над всем этим возникала картина, становящаяся со временем все яснее и яснее (как будто гигантский слайд проектировался напротив облака, в котором он лежал). Это была поляна, на которой стояло только одно эвкалип

товое дерево. С самой нижней ветки его свисала пара старомодных стальных наручников. Вокруг них вились пчелы. Наручники были пустыми. Они были пустыми, потому что Мизери...

...сбежала? Она сбежала, не так ли? Именно так предполагались разворачиваться события?

Вполне возможно..., но сейчас он не был в этом уверен. Именно ли это означали пустые наручники? Или, может быть, ее утащили? Утащили вовнутрь идола? Утащили к царице пчел, Великому Детищу Боуркас?

Ты тоже был Шехерезадой для себя.

Для кого ты рассказываешь эту историю, Пол? Кому ты ее рассказываешь? Энни?

Конечно нет.

Появилась боль. И зуд. Облако начало снова светлеть, и в нем появился просвет. Пол мельком осмотрел комнату, которая была плоха, и Энни, которая была еще хуже. И все же он решил жить. Одна его половина, которая была так же расположена к сериалам, как Энни, решила, что он не может умереть пока не увидит, чем все это закончится.

Убежала ли она с помощью Яна и Джеффри?

Или ее утащили в голову божества?

Нелепо, но на все эти глупые вопросы требовался ответ.

VII

Она не позволила ему сразу возвращаться к работе. Он видел по ее глазам, как она испугалась и все еще была напугана. Насколько близок он был к концу. Она проявляла подчеркнутую заботу о нем: меняла повязки на мокнувшем обрубке через каждые восемь часов (а сначала она заявила ему с видом человека, который знает, что она никогда не получит медаль за содеянное, хотя и заслуживает ее, что она делала перевязки каждые четыре часа), обмывала губкой, обтирала спиртом, как будто отрицая, что уже сделала. «Работа, — сказала она, — навредит тебе. Она задержит твое выздоровление, Пол. Я не говорила бы так, если бы это было неправдой, поверь мне. По крайней мере ты знаешь, что будет дальше. Я умираю от любопытства».

Оказалось, она прочитала все, что он написал, можно сказать, всю его предоперационную работу, пока он медленно умирал... более трехсот страниц рукописи. В последние сорок страниц он не вставил «н»; Энни сделала это. Она показала ему свою работу с вызывающей гордостью. Ее «н» были аккуратны, как в учебнике, по сравнению с его буквами, которые деградировали в горбатые каракули.

И хотя Энни никогда не говорила этого, он полагал, что она вставила «н» либо как еще одно доказательство ее заботы о нем: «Как ты можешь говорить, что я была жестока с тобой, Пол, когда ты видишь, что я вставила все «н»?», — или как акт искупления, или даже, возможно, как квази-суеверный ритуал: определенное количество обмываний, достаточно частая смена повязок, определенное количество вставленных «н» — и Пол будет жить.

Боуркас — женщина-пчела исполнит сильный магический обряд, Бвана, по вставлению этих кокадуди «н» и опять все будет хорошо.

Вот так она начала... но потом вступила в силу «готта». Пол знал все симптомы. Когда она сказала, что умирала от желания узнать, что произойдет далее, она не врала.

А разве ты не продолжал жить, чтобы узнать, что произойдет дальше? Разве ты не так говорил?

«Безумие, как таковое — постыдно, даже в его абсурдности», — подумал он.

«ГОТТА».

Он был вынужден признать, что это было что-то такое, что он мог породить в книгах «Мизери» почти по желанию, но в других романах это ему не удавалось. Ты точно не знаешь, где найти «готта», но всегда знаешь, когда ее нашел. Она заставляла отклоняться до предела стрелку в счетчике Гейгера. Даже сидя перед машинкой слегка под хмельком, попивая черный кофе и похрустывая «Ролейд» через каждые два часа (зная, что должен бросить курить по крайней мере по утрам, но не способный заставить себя), через месяцы после завершения и световые годы после публикации романа ты знаешь, когда поймал «готту». Обладание ею всегда заставляло его чувствовать небольшой стыд — это значило быть управляемым. Но она также давала ему чувство защищенности в работе. Боже, дни пролетали, и убежище на бумаге становилось совсем маленьким, свет тусклым, невольно подслушанные разговоры скучными. Ты спешил, потому что это было все, что ты мог делать. Конфуций учил, если человек хочет вырастить один ряд кукурузы, то ему сначала нужно перелопатить одну тонну навоза. Затем наступал день, когда убежище расширялось до размеров Видения Будущего и свет сиял, как солнечный луч в киноэпопее Сесиль В. Де Милль, и ты понимаешь, что постиг «Готта».

«Готта», как например в случае, когда человек, который весь день на работе мечтал о том, чтобы вернуться домой, говорит жене, что почитает еще пятнадцать минут, ибо хочет узнать, чем кончится дело в этой главе, хотя он прекрасно понимает, что все будет благополучно и что жена его уже будет спать, когда он закончит главу.

Или «готта» как в случае: я знаю, что надо готовить ужин; он с ума сойдет, если узнает, что я опять смотрела ящик, но я же должна узнать, что из всего этого выйдет.

Я должна знать, убьют ли ее. Я должна знать, поймают ли он негодяя, убившего его отца. Я должна знать, застучает ли она свою подружку в постели со своим мужем.

Эта «готта» страшнее драки в грязном кабаке, она прекрасна как ночь с самой искусной девочкой. О, Боже, это ужасно, но Боже, как это прекрасно! И в конце концов неважно, насколько это грубо и жестоко, потому что, как в песне у Джексона, не останавливайся, пока не получишь своего.

VIII

Ты также был Шехерезадой дня себя.

Но тогда он не мог ясно сформулировать или даже понять эту мысль — боль была невыносимой. Но он все равно знал об этом, не правда ли?

Не ты. Ребята на конвейере. Они знали.

Да. Это звучит правдоподобно.

Звук работающего мотора стал громче. На миг показалась Энни. Она взглянула на него, заметила его взгляд и помахала рукой. Он поднял руку в ответ, ту, на которой все еще оставался большой палец. Она снова исчезла из виду. Деловая.

Он наконец смог убедить ее, что возвращение к работе поможет ему продвинуться вперед, а не отбросит назад... Его преследовали специфические образы, которые соблазняли его из облака. Да, «преследовали» — было правильным словом: пока они не были записаны на бумаге, они были тенями, преследовавшими его.

И хотя она не верила ему, она разрешила приступить к работе. Не потому что он убедил ее, а из-за «готты».

Сначала он мог работать только в болезненно короткие приливы энергии — пятнадцать минут, может быть, полчаса, если работа действительно требовала этого от него. Даже эти короткие периоды были агонией. Смена положения заставляла обрубок слегка оживать, как воспламеняется тлеющая головешка от легкого дуновения ветерка. Нога сильно болела, пока он писал, но это было не самое худшее. Гораздо хуже было в течение часа или двух после, когда его сводил с ума свербящий зуд в заживающем обрубе, как будто там кишели сонные пчелы.

Он был прав, а не она. Он никогда бы не поправился, вероятно не смог бы сделать это в подобной ситуации, но его здоровье улучшалось

и возвращалась сила. Он понимал, что горизонты его интереса сжимались, но он принимал это как плату за жизнь. Вообще было удивительно, как он выжил.

Сидя здесь перед пишущей машинкой со все увеличивающимся количеством выпавших букв-зубов, оглядываясь назад на тот период, в котором было больше работы, чем событий, Пол кивал головой. Да, уносясь в бредовые фантазии, он считал, что был Шехерезадой для себя, женщиной-мечтой. Ему не нужен был психиатр, чтобы установить в процессе писания автоэротическую сторону дела: ты бьешь клавиши вместо своего мяса, но оба эти акта во многом зависят от сообразительности, быстроты рук и искреннего посвящения себя искусству.

Но не было ли во всем этом своего рода подвоха? Поскольку раз уж он начал писать снова... то, она не станет прерывать его, но каждый день будет забирать написанные страницы сразу, как только он сделает их, под предлогом вставки пропущенных букв. Но на самом деле — он знал это теперь, как знают сексуально проницательные мужчины, по каким вечерам нужно «выкладываться», же жалея сил, а по каким можно этого не делать, — чтобы держать себя в курсе событий. Чтобы удовлетворить свою потребность, свою «готту».

Сериалы. Да. Вернемся к ним. В последние месяцы она ходит на них каждый день вместо одной субботы, и ее сопровождает Пол — ее любимый писатель вместо Пола — старшего брата.

Его ежедневная порция работы постепенно увеличивалась, поскольку боль медленно спадала и возвращалось его долготерпение... но в то же время он не мог достаточно быстро писать, чтобы удовлетворить ее потребности.

«Готта», которая поддерживала в них обоих жизнь, а это было так, ибо без нее она давно бы убила их обоих, явилась также причиной потери его большого пальца. Это было ужасно, но в то же время в этом было что-то забавное.

Немного иронии, Пол, тебе не повредит.

И подумай, могло быть гораздо хуже.

— У меня остался только один большой палец, — сказал он и начал бешено смеяться в пустой комнате перед ненавистной машинкой с ее безумной ухмылкой. Он смеялся до боли в животе и в обрубке. Смеялся, пока не заболела голова. В какие-то моменты смех перемежался ужасными всхлипываниями, которые провоцировали боль даже в том, что осталось от его левого пальца. И только тогда он наконец успокоился и задал себе вопрос, насколько близок он был к безумию.

Но он считал, что не это было важно.

Однажды, незадолго до ампутации пальца — примерно за неделю до того, — Энни вошла к нему с двумя гигантскими тарелками ванильного мороженого, банкой шоколадного сиропа и кувшином, в котором подобно каплям крови краснели вишни в мараксине.

— Я подумала, почему бы мне не сделать пломбир, Пол, — сказала она весело, но с какой-то фальшивой ноткой в голосе. Полу не понравился этот тон и ее смущенный вид. «Ой, я такая шалунья!» — говорили ее глаза. Это заставило его насторожиться. Полу слишком легко было представить себе, что именно такое выражение было на ее лице, когда она подкладывала кучу грязного белья или дохлую кошку на ступеньки.

— О, спасибо, Энни, — сказал он, наблюдая, как она наливает сироп и выпускает из консервной банки два белых воздушных облака взбитых сливок. Она все делала очень быстро, и эта ловкость выдавала в ней страсть к сладкому, настоящую сахарную наркоманию.

— Не стоит благодарить. Ты заслужил это своим упорным трудом. — Она подала ему пломбир. После третьей ложки ему уже не хотелось сладкого, но он продолжал есть. Это было разумнее. Основное правило выживания в его ситуации: если угощает Энни, лучше всего не отказываться.

Некоторое время царила тишина, потом Энни положила ложку, тыльной стороной ладони вытерла шоколадный сироп и растаявшее мороженое с подбородка и нежным голосом сказала:

— Расскажи, чем все окончилось.

— Что? — Пол опустил ложку.

— Расскажи мне, чем вся история кончилась. Я не могу ждать. Я просто не в силах.

Разве он не знал, что рано или поздно это случится? Знал. Если бы ей принесли все двадцать серий про Человека-Ракету, стала бы она ждать целую неделю или даже один день, чтобы посмотреть следующую часть?

Он посмотрел на полуразрушенную глыбу ее чудовищно сладкого мороженого. Одна вишня почти утонула во взбитых сливках, другая бессильно плавала в жидком шоколаде. Он вспомнил гостиную и валявшиеся повсюду тарелки с остатками сладостей.

Нет. Энни не из тех, кто будет ждать, Энни посмотрела бы все двадцать серий за одну ночь, даже если бы глаза у нее слезились, а голова раскалывалась от усталости.

Потому что Энни слишком любит сладкое.

— Я не могу сделать этого, — сказал он. Лицо ее сразу потемнело, но разве не промелькнуло на нем и легкое облачко облегчения?

— Вот как! А почему?

«Потому, что наутро ты не пощадишь меня» — подумал Пол, но сдержался и не произнес этого вслух.

— Потому, что я скверный рассказчик, — ответил он вместо этого.

Она проглотила остатки своего пломбира в два огромных глотка, у Пола от такой дозы немедленно началась бы ангина. Затем она оставила тарелку и посмотрела на него со злобой. Она смотрела на него не как на Пола Шелдона, а как на человека, который посмел критиковать САМОГО ВЕЛИКОГО ПОЛА ШЕЛДОНА!

— Если ты такой скверный рассказчик, то почему же все твои книги становятся бестселлерами и почему же миллионам людей нравятся книги, которые ты пишешь?

— Я не говорил, что плохо пишу истории. Как раз наоборот, это у меня неплохо получается. Но РАССКАЗЫВАТЬ я не умею.

— Все это только твои кокадулы отговорки, — лицо ее темнело. Руки сжимались в кулаки, отчетливо белея на темной юбке. Энни-Ураган вернулась, и все сразу встало на свои места. Он как всегда боялся ее, но тем не менее чувствовал ее растерянность. Сама жизнь уже не имела для него большого значения, ему было все равно, жить или умереть, тем более что смерть принесла бы ему облегчение. Он боялся другого, он боялся, что она причинит ему боль.

— ЭТО НЕ ОТГОВОРКИ, — ответил он. — Это две вещи несовместимые, как да и нет, Энни. Люди, которые РАССКАЗЫВАЮТ истории, не умеют ПИСАТЬ их. Если ты на самом деле думаешь, что люди, которые могут хорошо писать, треплются день и ночь, то кто же тогда эти несчастные бедняги, именуемые писателями, которые не могут связать два слова и сидят с несчастным видом перед телекамерой, когда у них берут интервью для телевидения.

— И все равно я не хочу ждать, — мрачно сказала она. — Я сделала тебе этот чудесный пломбир и уж кое-что ты мог бы мне рассказать. Я же не прошу тебя рассказывать все, я полагаю... но... Барон убил Калторпа? — глаза ее сверкнули. — Если он убил, то что он сделал с телом? Наверное, оно будет лежать разрубленное до тех пор, пока жена не найдет его в сундуке. Я так думаю.

Пол покачал головой, показывая, что он ничего не будет рассказывать.

Она еще больше помрачнела.

— Ты заставляешь меня злиться, Пол. И ты знаешь это, — сказала она еще более мягким голосом. Пока еще мягким голосом.

— Знаю, конечно, но ничем помочь не могу.

— А я могла бы. Могла бы заставить тебя рассказывать. И я смогу сделать это, — но притом она выглядела растерянной, словно понимала, что ничего она не сможет.

— Энни, помнишь, ты мне рассказывала, что ребенок говорит матери, когда она застает его играющим с едкой кислотой и отбирает опасную игрушку? Он говорит ей: «Мамочка — ты нехорошая!» Ты сейчас говоришь мне то же самое: «Пол, ты нехороший!»

— А ты просто сводишь меня с ума, и я за себя не отвечаю, — сказала она, но он уже чувствовал, что кризис миновал и гроза прошла стороной... Она страшно напугана и озадачена таким его поведением.

— Но все-таки я рискну, — сказал он. — Я как та мать. Я не рассказываю тебе не потому, что хочу обидеть или позлить тебя, а потому что хочу, чтобы книга тебе действительно понравилась... А если я расскажу, что будет дальше, то книга разонравится тебе и ты не захочешь ее читать.

«И что тогда будет со мной, Энни?» — закончил он про себя.

— Скажи хотя бы, знает ли этот негр Хезекьях, где отец Мизери? Хотя это ты можешь мне сказать?

— Что ты хочешь, чтобы я написал книгу или чтобы я заполнял анкету?

— Не говори со мной в таком тоне!

— А ты не притворяйся, будто не понимаешь, о чем я говорю! — закричал он в ответ. Она с испугом и изумлением отшатнулась от него. На ее лице не осталось и намека на мрачность и злость, остался лишь смущенный взгляд напуганной девочки.

— Ты хочешь разрезать Золотого Гуса, — продолжал он, — но вспомни, что случилось с человеком, сделавшим это! Тот человек остался ни с чем. У него был только дохлый гусь и куча бесполезных кишок.

— Ну ладно, — сказала она. — Хорошо, Пол. Ты будешь доедать пломбир?

— Я больше не могу есть, — сказал он.

— Понимаю. Я тебя расстроила. Извини. Я думаю, что ты прав. Мне не надо было спрашивать ни о чем, — она снова была совершенно спокойна. Он боялся, что у нее снова начнется депрессия или очередной приступ ярости, но ничего подобного не происходило. Все продолжалось, как всегда, все погрязло в обычной каждодневной рутине. Пол писал, Энни каждый день прочитывала написанное, прошло довольно много времени после этого спора, так что Пол не сразу понял связь между этим событием и ампутацией пальца. Но теперь, теперь он догадался.

«Я пожаловался на пишущую машинку», — подумал он, глядя на нее и прислушиваясь к шуму мотора. Теперь этот гул был слабее, но не потому что Энни отошла подальше, а потому что Пол отдалился от реальности. Он задремал. Он теперь частенько делал это. Просто дремал, как какой-нибудь старый пердун из богадельни.

«Не так уже это и много, я всего только один раз пожаловался на пишущую машинку. Но и одного раза было достаточно, не так ли? Даже более чем достаточно. Это было... так... через неделю после ее вонючего пломбира. Всего одна неделя и одна жалоба. Я просто сказал ей, что звук пустой клавиши действует мне на нервы. Я даже не просил у нее купить другую подержанную машинку у этой Нанси, как ее там... Я просто сказал, что этот звук меня раздражает, и потом все произошло очень быстро... И вот Пол Шелдон смотрит на большой палец левой руки Пола Шелдона и не видит его. Если она сделала это не из-за того, что я пожаловался на пишущую машинку, тогда что? Тогда она сделала это потому, что я отказал ей, и ей пришлось примириться с этим.

Это было актом мести. Месть была результатом осознания. Осознания чего? Ну, того, что не все ниточки в ее руках, что у меня тоже есть очень сильный козырь против нее. Я владею силой «готта».

В конце концов я оказался довольно сносной Шехерезадой.

Это было безумно. Это было забавно. Но это еще было реально. Те, кто не понимают этой силы, не понимают, насколько заразны вирусы искусства — даже самой дешевой беллетристики — те люди посмеялись бы над ним. Но он знал, что прав.

Домохозяйки бросают все свои дела или изменяют свой распорядок, чтобы посмотреть очередную серию бесконечного телевизионного сериала, а те, кто работают, покупают видеомэгнитофоны, чтобы посмотреть эту серию вечером, когда вернутся домой. Когда Артур Конан-Дойль убил Шерлока Холмса, сбросив его в Рейхенбахский водопад, вся викторианская Англия потребовала его воскрешения. Протест был выражен в духе Энни Уилкс — не печаль от потери близкого и любимого человека, а возмущение и ярость. Дойль был обруган собственной матерью, когда написал ей, что собирается расстаться с Холмсом, он получил разгневанный ответ: «Убить такого чудесного мистера Холмса? Глупости! ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ!»

Или был случай с его другом Гари Рудмэном, который работал в библиотеке «Боулдер Паблик». Когда однажды Пол заехал, чтобы навестить его, он обнаружил, что окна его зашторены, а на двери висит траурный креп. Обеспокоенный Пол начал стучаться к нему. Он стучал довольно долго, пока голос Гари не ответил ему: «Убирайся. У меня сегодня депрессия. Умер один человек. Очень близкий мне человек». Когда Пол спросил кто, Гари ответил: «Ван дер Вальк». Пол услышал, как Гари отходит от двери, и хотя он продолжал ломиться в его дверь, тот так и не открыл. Ван дер Вальком оказался вымышленный персонаж в детективах Николаса Фрилинга.

Пол был убежден, что в поведении Гари была фальшь, он думал, что все это слишком претенциозно и искусственно. Короче говоря,

поза. И он не сомневался в этом до восемьдесят третьего года, тогда он прочитал «Мир по Гарпу». Он, конечно, напрасно стал читать перед сном сцену, где младший сын Гарпа погибает, наткнувшись на рычаг переключения скоростей.

Прошло несколько часов, прежде чем он смог уснуть. Эта сцена очень живо стояла у него перед глазами. Прежде он считал абсурдным так сопереживать вымышленному человеку, переворачивающемуся в машине. Но на этот раз он именно сопереживал. Он осознал, насколько серьезно относился Гари Рудмэн к Ван дер Вальку.

И это напомнило ему другой случай: когда ему было двадцать лет, он жарким летним деньком закончил читать «Повелитель мух» Голдинга, потом он пошел к холодильнику за лимонадом и вдруг... неожиданно для самого себя он круто изменил направление и со все возрастающей скоростью побежал в ванную. Там он нагнулся над раковиной и его вырвало.

Пол внезапно вспомнил другие примеры: как в доках Балтимора собиралась толпа, когда привозили новое издание романов Диккенса, «Крошку Дорри» или «Оливера Твиста»; вспомнил старую леди ста пяти лет, заявившую, что будет жить, пока мистер Голсуорси не закончит «Сагу о Форсайтах», и умершую меньше чем через час после того, как ей прочли последнюю страницу последнего тома; вспомнил молодого альпиниста, которого госпитализировали с предположением смертельной гипотерии после того, как его друг сутки читал ему «Властелин Колец», пока тот не начал впадать в коматозное состояние; вспомнил сотни и сотни подобных случаев.

Любой «популярный» автор в художественной литературе, полагал он, мог бы привести собственные примеры того, как читатели полностью уходят в мир своего воображения, который населен персонажами вымышленными... иными словами, пример КОМПЛЕКСА ШЕХЕРЕЗАДЫ. Пол думал в полудреме, под звуки мотора сенокосилки, которые нахлынывали и отступали, наполняя даль переливчатым эхом. Он вспомнил, как получил два письма, где предлагалось создать парк Мизери по типу парков Диснея. К одному из этих писем прилагалось даже несколько набросков и план работы.

Но главный приз и голубую ленту победителя получила некая миссис Роумэн Д. Сэндпайпер III, Инк Бич, Флорида (это было еще до того, как появилась Энни Уилкз). Миссис Роумэн Д. Сэндпайпер, крещенная Вирджинией, превратила свою верхнюю комнату в гостиную Мизери. Она прилагала фотографии прялки Мизери, секретера Мизери, (вместе с запиской мистеру Фаверей, что она будет на школьном вечере двадцатого ноября — записка была написана каллиграфическим почерком бесполого существа. Пол подумал, что он мало подходит для

почерка его героини), кушетка Мизери, образец вышивок Мизери «Пусть любовь направит тебя; но не ты направляй любовь!», и т.д.

Вся меблировка, говорилось в письме миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер, была подлинной, а не копией или подделкой.

А поскольку Пол не мог этого опровергнуть, он сразу поверил, что так оно и есть. Тогда вся эта подлинность должна была обойтись миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер в тысячи долларов. Миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер поспешила уверить его, что она не использует персонаж, принадлежащий перу мистера Шелдона, в целях получения прибыли, и ни в коем случае — упаси Бог — не собирается предпринимать в этом отношении никаких шагов. Но она ХОЧЕТ, чтобы мистер Шелдон посмотрел прилагаемые фотодокументы и указал ей на ее ошибки и неточности, коих, по ее мнению, должно быть очень много. Миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер также надеялась на его мнение. Разглядывая эти изображения, он испытывал странное, почти неуловимое чувство, будто кто-то подглядел и сфотографировал картины его собственного воображения. Он уже знал, что когда бы он ни пробовал вспомнить и представить себе маленькую гостиную Мизери, в голове его сразу будут возникать фотографии «Полароид» миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер, затмевая его воображение своей бодрой, но одномерной конкретностью. СКАЗАТЬ ЕЙ какие детали неточны? Это было бы безумием. С того момента ОН будет единственным человеком в мире, которого будет интересовать этот вопрос. Поэтому он ответил ей кратким письмом, в котором поздравлял ее и выражал свое восхищение, но где ни слова не говорилось об ошибках или неточностях. Через некоторое время он получил следующее послание. Если в первом письме было две страницы, написанные от руки, и семь фотографий «Полароид», то это послание включало в себя десять страниц и СОРОК фотографий. Письмо представляло собой исчерпывающее (и потому ужасно утомительное) описание того, где и как миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер нашла каждый предмет, сколько за него заплатила, сколько ушло на реставрацию и т.д. Миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер рассказала ему, что разыскала некоего джентльмена по имени Маккиббон, которому принадлежало старое охотничье ружье мелкого калибра, и он, по просьбе миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер, прострелил спинку кресла. Пока миссис Роумэн Д. («Вирджиния») Сэндпайпер не могла поклясться, что это было точно такое ружье, но она точно знала, что калибр был именно тот. Фотографии были еще более детальными. И если бы не пояснительные надписи на обратной стороне, они бы напоминали картинки-загадки из журналов («Что

изображено на этой картинке?)), где в увеличенном виде нарисованы или сфотографированы разные вещи, причем так, что нельзя понять, что это такое, например, человеческая рука, напоминающая огромный столб, или кольцо на крышке пивной банки, похожее на скульптуру Пикассо. Пол не стал отвечать на это письмо, что не остановило миссис Роумэн Д. («Вирджинию») Сэндпайпер, которая прислала еще пять писем, прежде чем обиженно замолчать. Последнее письмо было сухо подписано миссис Роумэн Д. Сэндпайпер. Прежние настойчивые намеки называть ее просто «Вирджиния» сами собой испарились.

Чувства, овладевавшие этой женщиной, сильно отличались от параноического «идэ-фикс» Энни Уилкз, но Пол понял, что в сущности это были одни и те же чувства. Комплекс Шехерезады. Обычная непоборимая сила «лотта».

Он погружался все глубже и глубже. Он спал.

Х

В эти дни он много дремал, засыпая неожиданно, а иногда в неподходящее время, как обычно бывает со стариками, и спал, как спят старики, то есть от внешнего бодрствующего мира его отделяла только тонкая кожа. Он продолжал слышать рычащий мотор, но его звук становился глубже, грубее, резче, как звук электроножа.

Он выбрал неудачный день, чтобы пожаловаться на машинку и выпавшую «Н». И, конечно, это был неудачный день, чтобы сказать «нет» Энни Уилкз. Наказание можно было отсрочить... но избежать — никогда.

«Хорошо, если это так действует тебе на нервы, у меня есть средство отвлечь тебя от этой проклятой «н». Он услышал, как она шарит по кухне, разбрасывая вещи и проклиная все кругом на своем странном языке. Через десять минут она вошла в комнату со шприцем, наполненным Бетадином, и электрическим ножом. Пол сразу же закричал. Он чувствовал себя подопытным животным, как собаки Павлова. Когда Павлов звонил в колокол, у собак выделялась слюна. Когда Энни вошла в комнату со шприцем, бутылкой Бетадина и острым режущим предметом, Пол начал кричать. Она положила нож на выступ кресла; он умолял ее, кричал и обещал быть хорошим. Когда он попытался увернуться от шприца, она приказала ему сидеть спокойно и вести себя хорошо, иначе то, что должно произойти, произойдет все равно, но уже без всякой анестезии. Но он продолжал увертываться от иглы, хныкая и умоляя ее. Энни высказала предположение, что при подобном поведении ей придется опробовать нож на его горле и покончить с этим.

После этого он утихомирился и позволил ей сделать укол. Бетадин достиг пальца левой руки одновременно с лезвием ножа (когда она включила нож и лезвие начало быстро двигаться назад и вперед в воздухе, наполненном мельчайшими капельками распыленного Бетадина, она, казалось, не заметила этого и в результате в воздухе было развезено много красных капель). Потому что, когда Энни решается на какое-нибудь действие, она безусловно выполняет его. Энни невозможно было умолить, на нее не действовали крики, у нее были непоколебимые убеждения.

Когда гудящее, вибрирующее лезвие погрузилось в мягкую ткань между большим пальцем и указательным, она снова заверила его в своей любви таким голосом, который должен был обозначать, что матери-гораздо-больнее-чем-Паули.

Тогда в ту ночь...

Это не сон, Пол. Ты думаешь о таких вещах, о которых ты не смеешь думать, когда ты бодрствуешь. Итак, проснись! Ради бога, проснись!

Он не мог проснуться.

Она отрезала ему палец утром, и тем же вечером она весело ворвалась в его комнату, где он сидел, одурманенный наркотиком и болью, прижав к груди забинтованную левую руку. Она притащила торт и пропела своим глухим голосом «Поздравляю с днем рождения!». И хотя это совсем не был его день рождения, весь торт был украшен свечами, а в самом центре его красовался, как большая дополнительная свеча, его серый отрубленный палец, воткнутый в глазировку. Ноготь на нем был немного шероховатый, потому что Пол иногда обгрызал его в процессе подыскивания нужного слова. Она сказала ему: «Если ты обещаешь мне быть хорошим, Пол, я позволю тебе съесть кусочек именинного торта и тебе не придется есть особые свечи». Итак, он обещал ей быть хорошим, потому что он не хотел, чтобы его заставили есть особые свечи, а также потому, и главным образом потому, конечно же потому, что Энни была великолепна, Энни была замечательна, давайте поблагодарим ее за угощение, а также за то, что мы не должны есть девочек, а только хотим подурочиться, хотя иногда забавы бывают злыми пожалуйста не заставляй меня есть мой собственный палец Энни мама Энни боже когда Энни рядом лучше оставаться честным она знает когда ты спишь она знает когда ты просыпаешься она знает был ли ты хорошим или плохим поэтому будь хорошим ради бога тебе лучше не кричать тебе лучше не дуться не вопить не...

Он не закричал.

И теперь, когда он проснулся, он закричал, резко дернувшись вперед, что отозвалось болью во всем теле, едва сознавая, что его губы

плотно сжаты вместе, чтобы удержать крик внутри, хотя ампутация произошла больше месяца назад.

Он был так поглощен мыслью о том, чтобы не закричать, что не сразу заметил, что въезжало на подъездную аллею; и когда он УВИДЕЛ это, он сначала принял это за мираж.

Это была полицейская машина штата Колорадо.

XI

Вслед за ампутацией пальца наступил скучный период, когда единственным самым большим достижением Пола, кроме работы над романом, было постоянное нахождение в курсе событий дня. Он стал проявлять патологический интерес к этому, проводя иногда по пять минут в оцепенении и прокручивая обратно в памяти прошедший день, чтобы проверить, не забыл ли он чего-нибудь.

«Я становлюсь таким же плохим, как она», — подумал он однажды.

Но его разум ответил утомленно: Ну и что?

После ампутации ноги во время так жеманно называемого Энни «периода выздоровления» дела с книгой обстояли прекрасно. Нет, прекрасно не было напускной скромностью, если вообще существовало такое понятие. Работа продвигалась УДИВИТЕЛЬНО хорошо для человека, который однажды посчитал невозможным писать без сигарет, или если у него болела голова или спина. Было бы мило признать, что он вел себя героически, но он полагал, что это была единственная возможность убежать от действительности, ибо боль была нестерпимой. Когда наконец начался процесс выздоровления, он подумал, что «дикий зуд» в ноге, которой больше не существовало, был даже хуже, чем боль. Больше всего его беспокоил свод отсутствующей стопы. Время от времени он просыпался по ночам и большим пальцем правой ноги пытался почесать воздушное пространство на четыре дюйма ниже того места, где теперь оканчивалось его тело.

Но он все равно продолжал работать.

После ампутации пальца и того странного празднования дня рождения с именинным тортом, в мусорной корзине снова начало увеличиваться число скомканных бумажек. Потеря ноги, почти смерть, и... возвращение к работе. Затем потеря пальца, и снова своего рода фатальные неприятности. Неужели же нет спасения?

У него поднялась температура, и он провел в связи с этим неделю в постели. Но болезнь была несерьезной, самая высокая температура не превышала 100.7 и из-за такой ерунды не стоило разыгрывать мелодраму. Температура скорее поднялась в связи с его общей переутомленностью и слабостью, а не была вызвана какой-нибудь

специфической инфекцией. Для Энни не существовало проблем в борьбе с повышенной температурой. Среди многочисленных сувениров у нее был Кефлекс и Ампицилин. Она дала ему их, и ему стало лучше... настолько лучше, насколько это было возможно в таких странных условиях во всяком случае.

Но что-то все-таки было не в порядке. Казалось, он потерял жизненную силу, что и привело в результате к полной мешанине в голове. Он попытался обвинить в этом пропавшую «н» и раньше соглашался с этим, но в действительности, что означало недостающее «н» по сравнению с недостающей ногой, а теперь и пальцем?

Но какова бы ни была причина, что-то разрушило мечту, что-то сводило на нет то убежище на бумаге, являющееся для него окном в мир. Когда-то — и он мог поклясться в этом! — это окно было таким большим, как тоннель Линкольна. Теперь оно было не больше дырки от сучка, через которую можно с тротуара подглядывать за интересующей частью здания. Вы вынуждены всматриваться и вытягивать шею, чтобы что-нибудь увидеть, и чаще всего наиболее интересные вещи происходят за пределами вашего поля зрения... и не удивительно: обуженное поле зрения так мало.

Практически было очевидно, что произошло вслед за ампутацией пальца и что вызвало приступ лихорадки. Язык книги стал опять напыщенным и ветвистым — это не была пародия, нет, но он постоянно развивался в том направлении, и Пол был беспомощен остановить это. То там, то сям начали появляться ошибки с хитростью крыс, плодящихся по углам подвала: на тридцати страницах барон превратился в виконта из «Приключений Мизери». Ему пришлось вернуться назад и все это вырвать.

«Ничего страшного, Пол», — говорил он себе снова и снова в последние дни перед тем, как машинка выплюнула «т», а затем «е» (проклятая штука совсем развалилась). Так это и было. Работать на ней было просто мучением, но завершение работы означало конец его жизни. Второе начало казаться более привлекательным по сравнению с первым, учитывая все то, что было вышеупомянуто об ухудшении состояния его тела, разума и духа.

И книга продвигалась несмотря ни на что, казалось, независимо от них. Ошибки в работе были досадными, но незначительными. У него было больше хлопот с фантазией, чем когда-либо раньше. Игра «Сможешь ли ты?» казалась надуманной церемонией, а не простым хорошим развлечением. И все же книга продолжала раскручиваться, несмотря на все ужасные пытки, которым Энни подвергала его. Он мог сетовать на то, что вместе с полпинтой крови, потерянной при ампутации пальца, из него вытекло что-то, может быть, его мужество,

но все же, черт возьми, это был хороший роман, лучший из всего сериала о Мизери. Сюжет был мелодраматичным, но хорошо построенным, и по его собственному скромному суждению вполне увлекательным. Если он когда-либо будет опубликован где-нибудь еще помимо Издательства Энни Уилкс с ограниченными правами (один экземпляр), он полагал, его можно будет продавать как сумасшедшую смесь всех жанров. Да, он надеялся, что он пройдет через все испытания, если выдержит проклятая машинка.

«Ты такой стойкий», — подумал он однажды после выполнения очередного упражнения по поднятию машинки. Его худые руки дрожали, а обрубок большого пальца ужасно болел, на лбу выступил пот.

Ты был стойким молодым бездельником, желающим сохранить свою жизнь с помощью этого усталого, старого, гнусного куска дерьма, правда? Только ты уже выбросил одну клавишу, и я вижу, что некоторые другие — «т» и «г» например — начинают пошаливать: иногда наклоняясь в одну сторону, иногда — в другую, иногда взлетая немного выше линии, иногда опускаясь ниже. Боюсь, что эта старая развалина окажется победителем, мой друг. Как бы она не доконала тебя до смерти... и похоже старая ведьма знает об этом. Может, поэтому она отрезала мой палец. Как говорится в старой поговорке, она может быть сумасшедшей, но не глупой.

Единственное, что я не буду делать, так это кричать.

Я не закричу.

Я.

Не буду.

XII

Я не закричу!

Он сел у окна совсем проснувшись, проснувшись настолько, чтобы видеть теперь, что въезжающая на аллею машина была такая же реальная, какой была когда-то его левая нога.

Кричи! Черт тебя возьми, кричи!

Он очень хотел, но страх был слишком сильным — даже очень сильным. Он не мог открыть рот. Он попытался, и перед его глазами встала картина капающих с лезвия ножа коричневатых капель Бетадина. Он попытался, и в ушах у него зазвенел топор, ударяющийся о его кость, и мягкий звук «флампа», когда у нее в руке вспыхнула паяльная лампа.

Он попытался открыть рот и не смог. Попытался поднять руки и не смог.

Ужасный стон раздался между сжатых губ, и его руки легонько наугад забарабанили о бока машинки. Но это было все, что он мог

сделать, все, что позволяло сделать его самообладание. Ничто, что было раньше, за исключением, пожалуй, того момента, когда он понял, что его левая ступня отрублена, хотя его левая нога двигалась, не было столь ужасным, как эта чертова неподвижность. Все это просто мелькнуло у него в голове не более чем за пять-десять секунд, но Полу Шелдону показалось, что прошли годы.

Невооруженным глазом было видно, что это спасение: все, что ему нужно было сделать, это разбить окно и сломать замок, на который сука заперла его язык, и закричать: «Помогите мне! Помогите мне, спасите меня от Энни. Спасите меня!»

В то же время другой голос кричал: Я буду хорошим, Энни! Я не буду кричать! Я буду хорошим, я буду хорошим, ради бога! Я обещаю не кричать — только не отрезай больше ничего от меня!

Знай он раньше, как страшно она будет запугивать его или как много из того, что составляло его сущность — печень и глаза — она соскоблила ножом... Он знал, как постоянно она его терроризировала, но он не знал, как много было стерто из его объективной реальности, из того, что когда-то он считал само собой разумеющимся.

Он точно знал только одно: у него были гораздо более важные проблемы, чем паралич языка, гораздо больше проблем представляло то, что он писал, а не выпавшая буква, или лихорадка, или ляпусы в сюжете, или даже потеря силы воли, мужества. А правда была так проста, она была ужасающе проста. Он умирал по частям, но смерть подобным образом не была столь плоха, как он боялся. Но он также постепенно ИСЧЕЗАЛ как личность и это было ужасно, потому что это напоминало слабоумие.

Не кричи! — раздался панический голос в тот момент, когда полицейский открыл дверь машины и вышел из нее, поправляя свою форменную фуражку. Это был молодой человек лет двадцати двух — двадцати трех в солнцезащитных очках, таких темных и блестящих, что напоминали сырую нефть. Он немного замешкался, поправляя складки на своих форменных брюках цвета хаки, в тридцати ярдах от человека с голубыми глазами на бледном старческом лице, который уставился на него через окно, стеноя сквозь сжатые губы и беспомощно барабанил руками по доске, лежащей поперек подлокотников кресла.

Не кричи.

(да кричи)

Кричи и все будет кончено, кричи и всему придет конец.

(нет, этому не будет конца пока я не умру)

Пол, о боже, ты уже умер? Кричи, ты дерьмо поганое, ублюдок!

КРИЧИ, ТВОЮ МАТЬ!!!

Его губы разжались, выпуская неистовый звук. Он рывком набрал полные легкие воздуха и закрыл глаза. Он не имел понятия, что из него вылетит, вылетит ли вообще, пока не прозвучало: Африка!

Его дрожащие руки взлетели вверх, как птицы, и обхватили голову, как будто удерживая там его взорвавшиеся мозги: Африка! Африка! Помоги мне! Помоги мне, Африка!

ХIII

У него широко раскрылись глаза. Полицейский рассматривал дом. Пол не мог видеть его глаз из-за очков, но наклон головы выдавал умеренное замешательство. Он сделал шаг вперед и остановился.

Пол посмотрел на доску. Слева от машинки стояла тяжелая керамическая пепельница. В другие времена она была бы наполнена окурками, но теперь в ней не было ничего более вредного для его здоровья, чем обрезки бумаг и замазка для текста. Он схватил ее и швырнул в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Для Пола это был самый освободительный звук, когда-либо слышанный им.

«Стены разрушились, — подумал он, ничего не соображая, и закричал: Сюда! Ко мне! Будь осторожен с женщиной! Она сумасшедшая!»

Полицейский устался на него с открытым ртом. Затем полез в нагрудный карман и вытащил оттуда что-то, что могло быть только фотографией. Он взглянул на нее и направился к обочине дороги. Там он произнес только четыре слова, которые услышал Пол, четыре последние слова, которые он вообще успел произнести. Вслед за этим он издал ряд невнятных звуков, но не слов.

— О, черт! — воскликнул полицейский. — Да это вы!

Внимание Пола было так сильно привлечено к полицейскому, что он не видел Энни до тех пор, пока не стало слишком поздно. Когда же он заметил ее, он был поражен настоящим суеверным ужасом. Энни ПРЕВРАТИЛАСЬ в фурию, нечто среднее между женщиной и сверхъестественным фантастическим кентавром. С ее головы слетела бейсбольная шапочка, лицо приняло злобное выражение. В одной руке она держала деревянный крест. Он предназначался для могилы Босси. Пол не помнил, была ли это Босси №1 или №2, которая в конце концов прекратила мычать. Та Босси действительно умерла и, когда весной земля стала достаточно мягкой, Пол наблюдал из своего окна, иногда онемев от страха, а иногда преодолевая подступающие приступы смеха, как она сначала копала могилу (на это у нее ушел почти весь день), а затем волочила Босси (которая тоже оттаяла) из сарая. Для этого она использовала цепь, прикрепленную к трейлеру-прицепу. Другой конец цепи она обвязала поперек коровы. Пол заключил

при сам с собой, что Босси разорвется пополам, прежде чем Энни доволочет ее до могилы, но на этот раз он проиграл. Энни швырнула Босси в яму и начала флегматично засыпать ее землей; эту работу она закончила незадолго до наступления темноты.

Пол наблюдал, как она установила крест и затем прочитала над могилой молитву в свете молодой весенней луны.

Теперь она держала крест, как копье, направляя потемневший конец вертикальной стойки прямо в спину полицейского.

— Сзади! Оглянись! — завопил Пол, сознавая, что было поздно.

С пронзительным визгливым криком Энни вонзила крест.

— Ах! — сказал полицейский и медленно побрел на газон, выгнув пробитую спину и выпятив живот. Его лицо напоминало лицо человека, у которого либо выходил почечный камень, либо которого страшно мучили газы. Крест начал опускаться на землю, когда полицейский достиг окна, в котором сидел Пол, и его серое лицо инвалида обрамляли осколки разбитого стекла. Полицейский медленно протянул к нему обе руки. Он смотрел на Пола как человек, пытающийся почесать то место, до которого невозможно дотянуться.

Энни стояла неподвижно, прижав растопыренные пальцы к груди. Затем она рванулась вперед и выдернула крест из спины полицейского.

Он повернулся к ней, пытаясь выхватить пистолет, но Энни опередила его и направила крест в его живот.

— Ах! — сказал еще раз полицейский и упал на колени, обхватив живот. Когда он согнулся вперед, Пол увидел разрез на его коричневой форменной рубашке, куда пришелся первый удар.

Энни снова выдернула крест, его заостренный конец отломился, оставляя неровный обломок. Она всадила его в спину молодого человека между лопатками. Она выглядела, как женщина, убивающая вампира. Первые два удара, видимо, проникли достаточно глубоко, чтобы поранить его, но в последний раз опорная стойка креста вошла в спину преклоненного полицейского по меньшей мере дюйма на три, вынуждая его упасть на землю плашмя.

— Вот так! — крикнула Энни, выдергивая мемориальную доску Босси из его спины. — КАК ТЕБЕ ЭТО НРАВИТСЯ, СТАРАЯ ГРЯЗНАЯ ТВАРЬ?

— Энни, прекрати! — заорал Пол.

Она взглянула на него, ее темные глаза сверкали, как монеты, вокруг лица разметались грязные, нечесанные волосы, в уголках рта застыла радостная усмешка лунатика, который по крайней мере на миг отбросил все стеснения. Она отвела взгляд вниз на лежащего полицейского.

— Вот так! — закричала она и начала вонзать крест в его спину, и в задницу, и в бедро, и в шею, и в промежность. Она пронзила его

раз шесть, выкрикивая каждый раз «Вот так!». Затем вертикальная стойка креста раскололась.

— Вот так! — закричала она в последний раз и направилась туда, откуда она прибежала. Прежде чем исчезнуть из вида, она отшвырнула окровавленный крест в сторону, как будто он ее больше не интересовал.

XIV

Пол положил руки на колеса кресла, не имея представления, куда направиться или что вообще ему делать, когда он попадет в кухню. Возможно за ножом? Нет, он не будет пытаться убить ее; ей достаточно заметить нож в его руке, и она бросится под навес за своим пистолетом. Нет, не чтобы убить ее, а чтобы защитить себя от ее мести, вскрыв себе вены. Он не был уверен в том, насколько окончательно было его намерение, но он считал это хорошей идеей, потому что если еще осталось время для ухода со сцены, то им нужно воспользоваться. Ему надоело терять куски своего тела для удовлетворения ее бешенства.

Затем он увидел то, что заставило его замереть на месте.

Полицейского.

Он был еще жив.

Он приподнял голову. Очки упали с него. Теперь Пол смог увидеть его глаза. Теперь он понял, как молод был он; как молод, ранен и испуган. Кровь текла по его лицу ручьями. Ему удалось встать на руки и колени, вслед за чем он клюнул носом и снова, с трудом приподнялся. Он начал ползти по направлению к машине.

Он преодолел полпути между домом и аллеей и на легком травяном склоне потерял равновесие и упал на спину. Минуту он лежал там с поднятыми ногами, выглядя так же беспомощно, как перевернутая черепаха. Затем он медленно перевернулся на бок и начал страшную работу, чтобы снова встать на ноги. Его форменная рубашка и брюки были запачканы кровью — маленькие пятнышки, медленно расплываясь, соединялись с другими и пятно становилось все больше и больше.

Полицейский достиг дороги.

Неожиданно усилился шум работающей газонокосилки.

— Оглянись! — закричал Пол. — Оглянись, она приближается!

Полицейский повернул голову. Слабая тревога отразилась на его лице, и он еще раз стал нащупывать свой пистолет. Он выхватил его — довольно большой и черный с длинным стволом и коричневой рукояткой. Затем снова появилась Энни, высоко восседая в седле и ведя газонокосилку на предельной скорости.

— Застрели ее! — закричал Пол. Но вместо того, чтобы застрелить Энни Уилкс из своего большого пистолета, он сначала неловко промахнулся, а затем уронил его.

Полицейский протянул руку за пистолетом, но Энни повернула машину и наехала на руку. Кровь брызнула струей, и ребенок в военной форме закричал. Раздался резкий лязгающий звук, когда вращающийся нож косилки наткнулся на пистолет. Затем, разворачивая машину, Энни на одну секунду задержала взгляд на Поле, и он почувствовал, что означал этот мгновенный взгляд: сначала полицейский, потом ты.

Ребенок снова лежал на боку. Когда он увидел, что косилка несется прямо на него, он перекатился на спину и стал неистово отталкиваться пятками о дорожную грязь, стараясь заползти под свою машину, где она не смогла бы его достать.

Но он даже не добрался до машины. Энни дала газ и направила косилку на его голову.

Пол поймал последний взгляд обезумевших от ужаса карих глаз, увидел клочья коричневой рубашки, свисавшие с руки, поднятой в слабой попытке защититься; и когда глаза исчезли, Пол отвернулся.

Косилка неожиданно задержалась и раздалась быстрые, странные, глухие булькающие звуки. Пол закрыл глаза. Его вырвало тут же рядом с креслом.

XV

Он открыл их только тогда, когда услышал дребезжание ключей в кухонной двери. Дверь в его комнату открылась. Он увидел, как она вошла в коридор в своих старых коричневых ковбойских сапогах и голубых джинсах с побрякивающей связкой ключей, свисающей с ремня; ее мужская рубашка была запятнана кровью. Он съежился от страха. Он хотел сказать: «Если ты отрежешь мне что-нибудь еще, Энни, я умру. И для этого не потребуются шока от еще одной ампутации. Я покончу с собой». Но из него ничего не вылетело, только мрачные звуки, которые показались ему противными.

Она не дала ему возможности говорить.

— И до тебя очередь дойдет, — сказала она и захлопнула дверь. Один из ее ключей повернулся в замке — новом замке Кригса, перед которым оказался бы бессильным даже Том Твифорд. Затем она крупным шагом спустилась в прихожую, и глухой стук ее каблучков затих.

Он повернул голову и тупо посмотрел в окно. Он мог видеть только часть тела полицейского. Его голова все еще находилась под косилкой,

которая в свою очередь была наклонена углом к машине. Газонокосилка представляла собой маленький трактор, предназначенный для обработки скорее больших, чем средних газонов. Она была создана так, что не могла сохранять устойчивость, если под нее попадали камни, бревна или головы полицейских. Если бы полицейская машина не была припаркована там, где она находилась, и если бы полицейский не был бы от нее так близко, косилка, вполне вероятно, перевернулась бы, сбрасывая Энни. Это могло не причинить ей никакого вреда, но и могло довольно сильно ранить ее.

«У нее дьявольское везение», — с ужасом подумал Пол и увидел, как она сначала выровняла косилку, а затем одним мощным рывком отъехала от полицейского. Косилка боком задела полицейскую машину и содрала с нее краску.

Теперь, когда он был мертв, Пол мог рассмотреть его. Полицейский выглядел, как большая кукла, с которой небрежно обращалась целая ватага ребят. Пол почувствовал громадную болезненную симпатию к этому неизвестному молодому человеку, но к этому чувству примешивалось другое. Он попробовал разобраться в нем и не очень удивился обнаружив, что это была зависть. Полицейский никогда не вернется домой к своей жене и детям, если таковые имелись, но с другой стороны он убежал от Энни Уилкз.

Она схватила окровавленную руку и вытащила его на дорогу; а затем поволокла к дверям сарая, которые были приоткрыты. Когда она вышла из сарая, то прикрыла их. Затем она направилась к полицейской машине. Она двигалась со спокойствием, граничащим с безмятежностью. Она завела машину и въехала на ней в сарай. Выйдя из сарая во второй раз, она почти полностью закрыла двери, оставляя только щель, в которую могла проскочить сама.

Она прошла по аллее и осмотрелась вокруг, держа руки на бедрах. И снова Пол отметил замечательное выражение безмятежности.

Дно косилки было запачкано кровью, главным образом вокруг выпускной системы, из которой все еще капала кровь. Маленькие клочки формы цвета хаки валялись на дороге или развевались в свежескошенной траве на краю газона. Все кругом было измазано кровью. Пистолет полицейского с длинной вмятиной из блестящего металла, обезображивающей его дуло, лежал в пыли. Квадратная плотная белая бумажка зацепилась за колючки кактуса, посаженного Энни в мае. Расщепленный крест Босси лежал на дороге как свидетель всей отвратительной сцены.

Она скрылась из поля зрения, направляясь опять к кухне. Когда она вышла из нее, он услышал ее пение: «Она будет управлять шестью белыми конями, когда ПРИЕДЕТ... она будет управлять шестью

белыми конями, когда она ПРИЕДЕТ! Она будет управлять шестью белыми КОНЯМИ... управлять шестью белыми КОНЯМИ!!!»

Когда он ее снова увидел, то в руках у нее был большой зеленый мешок для мусора и еще три или четыре торчали из задних карманов джинсов. Большие пятна пота темнели на ее рубашке под мышками и вокруг шеи. Когда она повернулась, он увидел пятно пота, отдаленно напоминающее дерево, выросшее у нее на спине.

«Эти мешки предназначены для ключев одежды», — подумал Пол, но он знал, что ей придется положить туда еще много других вещей.

Она подобрала обрывки формы и крест, переломила его на две части и бросила в пластиковый мешок. Невероятно, но преклонила колена после этого. Затем подняла пистолет, открутила цилиндр, высыпала пули, положила их в карман джинсов, вставила обратно цилиндр отработанным резким движением рук и засунула пистолет за пояс. Потом сорвала клочок бумаги с кактуса и задумчиво посмотрела на него. Сунув его в другой карман, она направилась в сарай, где оставила мешки с мусором, а затем вернулась в дом.

Проходя под окном Пола, она обратила внимание на какой-то предмет. Им оказалась пепельница. Энни подняла ее и вежливо подала ему через разбитое окно.

— Пожалуйста, Пол.

Он молча взял ее.

— Я соберу бумажные вырезки позднее, — сказала она, как будто это волновало его. В какой-то момент он подумал о том, чтобы бросить тяжелую керамическую пепельницу ей в голову, когда она нагнется, расколоть ей череп и выпустить болезнь, гнездящуюся у нее в мозгу.

Затем он подумал, что же будет в этом случае с ним, что МОЖЕТ случиться с ним, если он только ранит ее; и поставил пепельницу на место дрожащими руками.

Она взглянула на него.

— Это не я убила полицейского.

— Энни...

— ТЫ убил его. Если бы ты держал свой язык за зубами, я бы дала ему спокойно уехать. Он был бы жив сейчас, и не было бы такого беспорядка и не нужно было бы убирать столько грязи.

— Да, — сказал Пол. — Он был бы далеко отсюда. А что будет со мной, Энни?

Она вытягивала шланг из подвала, находящегося как раз под окном Пола, и наматывала его на руку.

— Я не знаю, о чем ты?

— Ты знаешь.

Несмотря на шок, он был спокоен.

— У него была моя фотография. Она в твоём кармане, не правда ли?

— Не спрашивай меня ни о чём, и я не буду тебе лгать.

Сбоку дома слева от окна был водопроводный кран, и она начала надевать на него конец шланга.

— Появление полицейского с моей фотографией означает, что найдена моя машина. Мы оба знали, что так случится. Я только удивляюсь, что для этого потребовалось столько времени. В романе машина могла бы быть смыта водой, и я думаю, что смог бы заставить людей поверить в это. Но в настоящей жизни это невозможно. А мы продолжали обманывать сами себя, не так ли, Энни? Ты из-за книги, а я из жажды жизни — несчастной, как оказалось.

— Я не знаю, о чём ты говоришь.

Она открыла кран.

— Все, что я знаю, так это то, что ты убил этого бедного ребёнка, когда швырнул пепельницу из окна. Ты путаешь то, что могло произойти С ТОБОЙ, с тем, что произошло С НИМ.

Она ухмыльнулась. В этой улыбке сквозило безумие, но он также заметил в ней что-то ещё, что-то, что действительно напугало его. Он увидел сознательное злонамерение — демона, скачущего в её глазах.

— Ты сука, — сказал он.

— Сумасшедшая сука. Это ты хотел сказать? — спросила она, все ещё улыбаясь.

— О, да, ты сумасшедшая, — сказал он.

— Ну хорошо, мы поговорим ещё об этом, ладно? Когда у меня будет больше времени. Мы НЕМНОГО поговорим об этом. А сейчас я занята, как ты можешь видеть.

Она размотала шланг и включила воду. Примерно полчаса она смывала кровь с косилки и дороги, с края газона, и в струе воды сверкали и переливались разноцветные радуги.

Затем она закрутила кран и пошла вдоль шланга, наматывая его на руку. Было ещё довольно светло, но её тень уже бежала за ней. Было шесть часов вечера.

Она отсоединила шланг от крана, открыла подвал и бросила туда зелёную пластиковую змею. Закрыла подвал, задвинула засов и выпрямилась, обозревая покрытую лужами подъездную аллею и траву, которые выглядели как после выпадения сильной росы.

Энни подошла опять к косилке, забралась на неё, включила мотор и подала назад. Пол слегка улыбнулся. Ей дьявольски везло, и когда она была в затруднении, она становилась почти дьявольски умна — ПОЧТИ было ключевым словом. Она тихонько исчезала в Боулдер, почти по-змеиному ускользала, главным образом благодаря везению. Теперь она ускользала снова. Он понял это. Она смыла кровь с косилки, но

забыла о ноже внизу. Она могла вспомнить об этом потом, но Пол не думал так. Случалось, у нее выпадали из памяти некоторые вещи. Ему пришло в голову, что разум и косилка имели много общего: то, что было на виду, было в порядке. Но если взглянуть на них в работе, то можно увидеть покрытую кровью убийственную машину с очень острым ножом.

Она вернулась к двери кухни и снова вошла в дом, поднялась наверх, и он услышал, как она некоторое время копошилась там. Затем она спустилась вниз, более медленно, волоча за собой что-то мягкое и тяжелое. После минутного раздумья Пол подкатил кресло к двери и прислонил к ней ухо.

Неясные, удаляющиеся шаги. И этот тихий звук чего-то падающего с глухим стуком. И вдруг его мозг пронзила вспышка панической догадки и кровь бросилась в лицо от охватившего его ужаса.

Навес! Она ходили под навес за топором! Это опять топор!

Но это был только минутный атавизм, и он грубо отбросил его. Она не ходила под навес, она направлялась в подвал. Волочила что-то в подвал.

Он услышал, что она снова поднимается по лестнице, и откатил кресло к окну. И так как ее шаги замерли у его двери, а затем в замке зашевелился ключ, он подумал: «Она пришла, чтобы убить меня». И единственной реакцией на эту мысль было усталое облегчение.

XVI

Дверь открылась, Энни стояла на пороге, задумчиво глядя на него. Она переоделась в свежую белую рубашку и хлопчатобумажные брюки... Маленькая сумка цвета хаки болталась у нее на плече.

Когда она вошла, он с удивлением обнаружил, что может говорить и говорить с большим достоинством.

— Подойди и убей меня, Энни, если именно это ты собираешься сделать. Но сделай это быстро, не отрезай от меня ничего.

— Я не собираюсь убивать тебя, Пол, — она помедлила. — В конце концов мне могло не повезти. Мне СЛЕДОВАЛО бы убить тебя, я знаю, но ведь я ненормальная, правда? А сумасшедшие часто не следуют собственным интересам, ведь так?

Она подошла сзади и покатила кресло из комнаты в холл. Он мог слышать, как ее сумка хлопает ее по боку, и ему пришло в голову, что никогда прежде она не носила такую сумку. Если прежде она отправлялась в город в платье, то брала с собой нелепый огромных размеров кошелек, вроде тех, что тетеньки из общества трезвости мастерят для благотворительных аукционов. Если же на ней были брюки, то она ехала с бумажником в кармане, как мужчина.

Солнечный свет, проникающий в кухню, был ярко-золотым. Тени от ножек стула лежали на линолеуме горизонтальными полосами, напоминая тень тюремной решетки. Если верить часам над плитой, было четверть седьмого, и хотя не было причин думать, что она помнит о них лучше, чем о календаре, который до сих пор показывал май, они казались правильными. Он слышал, как в поле начинали петь сверчки.

«Я не слышал этот звук с детства», — подумал он, и ему стало до слез жалко самого себя.

Она втолкнула кресло в кладовку, дверь в подвал оставалась открытой. Желтый свет немедленно погибал, если ему случалось заглядывать сюда — в эту затхлую темноту. Здесь еще сохранился запах дождя, который все затопил тогда, в конце зимы.

«Внизу пауки, — подумал он, — пауки, мыши и крысы».

— Ну-ну,- сказал он, — значит, я выбываю из игры.

Она поглядела на него с полным безразличием, и он понял, что после убийства полицейского она выглядит вполне нормально. Лицо у нее было озабоченное, как будто она готовилась к большому приему гостей.

— Ты отправишься вниз, — сказала она. — Так что выбирай: отнести тебя на закорках или скатишься туда на собственной заднице.

— Первое, — быстро произнес он.

— Очень мудро. Иногда тебе не откажешь в сообразительности, — она повернулась так, чтобы он мог обхватить ее руками за шею. — И не предпринимай никаких глупых попыток задушить меня. Не делай глупостей, Пол. Я получила разряд по карате в Харрисбурге. Я им неплохо владею. Мне стоит только перекинуть тебя, и ты поломаешь спину. Пол внизу хотя и грязный, но достаточно твердый.

Она легко подняла его. Ноги его, криво и безобразно сросшиеся, бессильно свисали. Левая нога с солевым куполом вместо колена была на целых четыре дюйма короче правой. Он как-то раз попробовал встать на правую ногу, и ему это удалось, правда ненадолго, и боль была такой ужасной, что он несколько часов не мог прийти в себя. Даже лекарство не снимало эту боль, от которой внутри у него все дрожало.

Она понесла его вниз во все более усиливающийся запах старого камня, мокрого дерева, застоялой воды и гниющих овощей. В подвале висело три лампочки на кривых проволоках и без плафонов. По углам свисала толстая серая паутина. Сами стены были каменными и побелены так неаккуратно, что, казалось, будто ребенок рисовал на них известью. Здесь было прохладно, но это была промозглая прохлада подземелья.

Он никогда не находился так близко возле нее, как сейчас, когда она несла его на спине вниз по ступенькам. Но такая близость была не слишком приятной. Он чувствовал запах пота, и хотя на самом деле ему прежде нравился запах свежего слегка вспотевшего тела — он ассоции-

фовал его с трудом, физическими усилиями, работой человеческого тела, короче говоря, вещами, которые он уважал, — то этот запах, запах Энни, был отвратительным, похожим на запах грязного белья. Он подумал, что с мытьем Энни вышла та же штука, что и с ее календарем — она забыла про это. Он увидел желто-коричневую серу в ее ушах и с отвращением удивился, как она может еще что-то слышать.

Здесь в одной из каменных стен находился вечного скрипа и нытья пружин матрац. Подле него она поставила плоскую одноногую подставку для телевизора, на которой находилось несколько жестянок и бутылочек. Она подошла к матрацу, повернулась и сказала:

— Слезай, Пол.

Он разжал руки и упал на матрац. Пока она рылась в своей сумке цвета хаки, он встревоженно наблюдал за ней.

— Нет, — сразу сказал он, как только увидел, что она достала желтый целлулоидный шприц и запечатанную иглу. — Нет! Нет!!!

XVII

— О, малыш, — сказала она. — Видишь, Энни сегодня в пупидуди настроении. Мне бы хотелось, чтобы ты РАССЛАБИЛСЯ сегодня, Пол.

Она положила шприц на подставку для телевизора.

— Это Скополамин, в основе которого морфий. Тебе повезло, у меня вообще нет морфия. Я рассказывала тебе, как тщательно его охраняли в больнице. Я оставлю его, потому что здесь очень сыро и твои ноги могут страшно разболеться, прежде чем я вернусь.

— Минуточку. — Она заговорщицки подмигнула ему и в этом мигании был какой-то беспокоящий скрытый смысл. Так один конспиратор может подмигивать другому. — Ты выбросил одну кокадуди пепельницу, а я так занята, как однорукий обойщик. Я сейчас вернусь.

Она поднялась наверх и вскоре вернулась с диванными подушками из гостиной и простынями с ее кровати. Она поставила подушки за ним так, чтобы он мог удобно сидеть. Но он чувствовал зловещий холод камней через них, готовый заморозить его.

На подставке появились три бутылки пепси. Она открыла две из них и одну подала Полу. Свою она перевернула вверх дном и выпила полбутылки не отрываясь; затем она приглушила рукой отрыжку.

— Нам нужно поговорить, — заявила она. — Или скорее я должна поговорить, а ты должен послушать.

— Энни, когда я сказал, что ты сумасшедшая...

— Тихо! Ни слова об этом. Может мы поговорим об этом позднее. Но я не собираюсь заставлять тебя когда-либо изменять свое мнение о чем-либо, Мистер Красавчик, который полагает, что он жив. Все, что я

сделала, это вытащила тебя из разбитой машины прежде, чем ты замерз в ней насмерть, и наложила лубок на твои бедные сломанные ноги, дала тебе лекарство, чтобы облегчить твои страдания. Я ухаживала за тобой, заставила тебя уничтожить плохую книгу и уговорила написать лучшую из твоих книг. И если это сумасшествие, то посади меня в клетку.

«О, Энни, если бы только кто-нибудь смог», — подумал он и, прежде чем смог остановить себя, выпалил: — Ты также отрезала мою долбанную ногу.

Ее рука взметнулась, как кнут, и раздался чмокающий звук оплеухи.

— Никогда не выражайся так при мне, — сказала она, — Я была выведена из себя. Скажи спасибо, что я не отрезала тебе твои яйца. А я думала об этом.

Он посмотрел на нее, и его желудок сжался и похолодел.

— Я знаю, ты бы сделала это, Энни, — сказал он тихо.

Ее глаза расширились и минуту она выглядела и озадаченной, и виноватой — Капризная Энни вместо Злобной Энни.

— Послушай меня. Послушай меня внимательно, Пол. С нами будет все в порядке, если до наступления темноты никто не спохватится этого парня. Через полтора часа совершенно стемнеет. Если же кто-нибудь появится раньше...

Она схватила сумку цвета хаки и вытащила из нее пистолет полицейского. Свет подвальных ламп молнией блеснул на затворе, пробитом косилкой.

— Если кто-нибудь появится раньше, то... Кто бы ни появился — сначала тебя, а потом себя.

Как только стемнело, она сказала, что собирается угнать полицейскую машину в Место Смеха. Рядом с лачугой имелась пристройка, куда она могла безопасно припарковать машину, чтобы ее не было видно. Она полагала, что единственная опасность быть замеченной может встретиться на Маршруте 9, но даже там риск будет малым, так как она должна проехать по этому участку всего четыре мили. Проскочив этот отрезок пути, она поедет вверх в горы по малооживленной дороге, проходящей среди пастбищ и лугов; многие дороги практически совсем не используются, потому что скот в этом высокогорье стал редкостью. Несколько дорог по ее словам были перекрыты. У нее и Ральфа имелись ключи от ворот; они получили их, когда покупали этот дом. Им не нужно было спрашивать их у хозяев земли между дорогой и лачугой в горах. Это были так называемые пограничные, СОСЕДНИЕ территории, сказала она Полу, умудряясь вложить в приятное слово столько неожиданных нюансов: подозрение, презрение, горькую радость.

— Я бы взяла тебя с собой, чтобы все время приглядывать за тобой, поскольку ты показал, что тебе нельзя доверять. Но, к сожалению,

это невозможно. Можно бы спрятать тебя в багажнике машины по дороге вверх, но как тебя доставить обратно? Я лично воспользуюсь велосипедом Ральфа. Есть вероятность, что я свалюсь с него и сломаю себе ШЕЮ!

Она весело засмеялась, показывая, каким посмешищем она была бы в том случае, но Пол не поддержал ее.

— Если бы это случилось, Энни, что было бы со мной?

— О, все было бы прекрасно, Пол, — сказала она безмятежно. — Боже, какой ты мнительный!

Она подошла к одному из подвальных окон и постояла там минуту, глядя на улицу и оценивая, насколько стало темно. Пол уныло наблюдал за ней. Он не считал, что с ним будет все в порядке, если она упадет с велосипеда мужа или разобьется на одной из немощенных горных дорог. Во что он действительно верил, так это в то, что он умрет здесь собачьей смертью; когда все будет кончено, он станет добычей для крыс, которые и сейчас, несомненно, следили за этими непрошенными двуногими, захватившими их жилище. Теперь на двери кладовой красовался замок Кригса и засов толщиной с его запястье. Окна подвала как бы отражая паранойю Энни (и Пол подумал, что в этом не было ничего странного; разве не все дома через какое-то время начинали отражать индивидуальность их обитателей?) являли собой не более чем грязные амбразуры примерно дюймов двадцать на сорок. Он не думал, что смог бы пролезть через них даже в те дни, когда чувствовал себя более здоровым, а теперь особенно. Он мог бы разбить окно и позвать на помощь, если кто-нибудь появится здесь до того, как он умрет с голоду; но это было малоутешительным.

Первые приступы резкой боли просочились в ноги, как отравленная вода. И потребность — его тело вопило о Новриле. Это была «готта», не правда ли? Конечно же да.

Вернулась Энни и забрала третью бутылку пепси.

— Я принесу еще две перед уходом, — сказала она. — Просто мне сейчас необходим сахар. Ты не возражаешь?

— Абсолютно нет. Мой пепси — твой пепси.

Она сорвала крышку и жадно выпила. Пол подумал: «Чаг-а-лаг, чаг-а-лаг, заставь ее захотеть прокричать хи-де-хо. Кто это был? Роджер Миллер, правильно? Забавно, что за чушь приходит мне в голову».

Веселая чушь.

— Я собираюсь положить его в машину и отвезти в Место Смеха. Я собираюсь забрать все его вещи. Я поставлю машину в пристройку, похороню его... его... ну, ты знаешь, его ОСТАНКИ в лесу.

Он ничего не сказал. Он продолжал думать о Босси, мычащей, мычащей и мычащей до тех пор, пока она уже больше не смогла мычать,

потому что была мертва. Еще одна из великих аксиом Жизни на Западном Склоне заключалась в следующем: мертвые коровы не мычат.

— У меня есть цепь. Я хочу использовать ее. Если появится полиция, это может вызвать у них подозрение; но лучше пусть они заподозрят что-нибудь, чем я позволю им добраться до дома и услышать, как ты поднимаешь кокадуи шум, чтобы привлечь к себе внимание. Я уже подумывала о том, чтобы вставить тебе в рот кляп, но это опасно, особенно потому, что ты принимаешь лекарства, влияющие на дыхание. Или тебя может вырвать. Или у тебя заложит нос от слишком большой сырости. Если так произойдет и ты не сможешь дышать через рот...

Она отвела взгляд и заткнулась; она молчала, как камни в стене подвала, и ее взгляд был так же пуст, как бутылка из-под пепси, выпитого ею. «Заставь ее захотеть прокричать хи-де-хо. А сегодня Энни кричала хи-де-хо? О, братья, Энни будет кричать хи-де-хо до тех пор, пока весь двор не станет уги». Он засмеялся. Она не подала признака, что слышала его.

Через некоторое время Энни медленно начала возвращаться к действительности, осмотрелась вокруг, моргая.

— Я хочу воткнуть записку в одно из звеньев в заборе, — сказала она медленно. — В пятидесяти пяти милях отсюда есть город Стимбоут Хевн — не правда ли смешное название? Там на этой неделе, как говорят, Самый Большой Блошинный Рынок. Он проводится там каждое лето. Там всегда очень много торговцев керамикой. Я напишу в записке, что уехала в Стимбоут Хевн за керамикой и останусь там на ночь. И если кто-нибудь потом спросит, где я была, они смогут проверить запись; затем я скажу, что там не оказалось того, что мне нужно, и я поехала домой. Я только устала. Вот что я скажу. Я скажу, что остановилась у края дороги, чтобы вздремнуть немного, потому что боялась заснуть прямо за рулем. Я скажу, что собиралась только немножко отдохнуть, но оказалось, что я так устала, что проспала всю ночь.

Это заявление привело Пола в полное смятение своим коварством. Он неожиданно понял, что Энни делала именно то, чего он не мог: она играла в игру «Можешь ли ты?» в настоящей жизни. «Может быть, — подумал Пол, — вот почему она не пишет книг. Ей этого не нужно».

— Я вернусь домой так скоро, как только смогу, потому что полиция обязательно ПРИЕДЕТ сюда, — сказала она. Эта перспектива, казалось, ни в коей мере не нарушила фантастического спокойствия Энни, хотя Пол не мог поверить в это. Она не совсем понимала, как близки они были теперь к концу игры.

— Я не думаю, чтобы они приехали ночью; только может проездом они заглянут сюда. Как только они убедятся в его отсутствии, они

поедут по его маршруту, пытаясь выяснить, где он останавливался. Как ты думаешь, Пол?

— Да.

— Мне следует вернуться перед их прибытием. Если я отправлюсь на велосипеде в первую ночь, я, может, даже успею вернуться до полудня. Я должна опередить их, потому что, если он отправился из Сайдуиндера, он мог сделать множество остановок перед тем, как добраться сюда.

К тому времени, как они приедут сюда, ты должен снова быть в своей очень уютной комнате. Я свяжу тебя, или заткну рот кляпом. Ты можешь даже украдкой подглядывать, когда я пойду разговаривать с ними. Потому что я думаю, их будет двое на сей раз.

Пол был согласен.

Она удовлетворенно кивнула.

— Но я справлюсь и с двумя, если придется. — Она погладила сумку хаки. — Я хочу, чтобы ты помнил о пистолете того ребенка, пока будешь питать, Пол. Я хочу, чтобы ты запомнил, что я только собираюсь поговорить с полицейскими. Мешок не будет закрыт на молнию. ТЫ сможешь увидеть ИХ, но если ОНИ увидят ТЕБЯ, Пол — либо случайно, либо потому что ты попытаешься сделать завтра то же, что сделал сегодня, если такое произойдет, я тут же выхвачу пистолет и начну стрелять. На твоей совести уже смерть того ребенка.

— Ерунда, — сказал Пол, понимая, что она ударит его.

Но она не ударила. Она только улыбнулась своей невозмутимой материнской улыбкой.

— Меня не обманешь, что тебе все равно, — сказала она. — Меня не обманешь, и ты ЗНАЕШЬ это. Я хорошо понимаю, что тебя мучило бы убийство еще двух человек, даже если бы это помогло тебе... Но это не поможет, Пол. Потому что, если мне придется стрелять в двух, то я убью четырех. Их... и нас. И знаешь что? Я думаю, что тебя также волнует твоя собственная шкура.

— Не очень, — ответил он. — Я скажу тебе правду, Энни, я каждый день все больше и больше хочу избавиться от моей шкуры.

Она засмеялась.

— О, я уже это слышала. Но тогда пусть они увидят, что ты приложил руку к их гибели! Тогда это другое дело! Да! Когда они поймут ЭТО, они разразятся громкой бранью и закричат, и станут настоящим ОТРОДЬЕМ!

Но даже это не остановит тебя, правда, Энни?

— Во всяком случае, — сказала она, — я только хотела, чтобы ты знал, как обстоят дела. И если тебе действительно наплевать, то выстави свою голову, когда они приедут. Делай, как знаешь. Тебе решать.

Пол ничего не сказал.

— Когда они приедут, я встречу их прямо здесь на дороге и скажу, что да, здесь был полицейский. Я скажу, что он приезжал, как раз когда я готовилась поехать в Стимбоут посмотреть на керамику. Я скажу, что он показывал мне твою фотографию. Я скажу, что не видела тебя. Затем один из них спросит меня: «Это было прошлой зимой, миссис Уилкз, как вы можете быть так уверены?» А я скажу: «Если бы Элвис Пресли был еще жив, и вы видели его прошлой зимой, вы бы узнали ЕГО, увидев фотографию?» И он ответил бы да, вероятно, так. Но какое это имеет отношение к стоимости кофе в Борнео, и я скажу ему, что Пол Шелдон мой любимый писатель, и я видела его фотографии много раз. Я должна сказать это, Пол. И ты знаешь почему?

Он знал. Ее хитрость и изворотливость продолжали изумлять его. Он полагал, что этого не должно быть больше, но это было. Он вспомнил заголовок под фотографией Энни в камере предварительного заключения; фото сделано в перерыве между концом совещания и возвращением суда. Он помнил его слово в слово: «СТРАДАЯ? ТОЛЬКО НЕ ЛЕДИ-САНА». Энни спокойно читает в ожидании вынесения приговора.

— Так что, — продолжала она, — я скажу, что полицейский записал все в свою записную книжку и поблагодарил меня. Я скажу, что приглашала зайти его в дом на чашку кофе, хотя очень торопилась, и они спросят меня, почему. Я скажу, что он, вероятно, знал о моих прежних бедах, и я хотела убедить его, что у меня здесь все в порядке. Но он отказался от кофе, потому что ему нужно было ехать дальше. Тогда я спросила, не захочет ли он взять с собой холодного пепси, потому что день был очень жаркий, и он сказал да и поблагодарил меня за мою любезность.

Она выпила вторую бутылку пепси и держала пустую пластиковую упаковку между ними. Через прозрачный пластик ее глаз казался огромным и дрожащим, как глаз циклопа. Сбоку ее головы выросла волнистая, гидроцефальная выпуклость.

— Я остановлюсь примерно в двух милях выше по дороге, — сказала она, — и брошу бутылку в канаву. Но сначала я поставлю на нее его отпечатки пальцев, конечно.

Она презрительно улыбнулась.

— Отпечатки пальцев, — сказала она. — Тогда они узнают, что он проехал мимо моего дома. Или ПОДУМАЮТ, что узнают, и это уже хорошо, не так ли, Пол?

Его смятение и испуг усугубились.

— Итак, они поедут вверх по дороге и не найдут его. Он просто исчезнет. Подобно тем индуистским божкам, которые играют на своих

флейтах до тех пор, пока не вылезут из корзины веревки, по которым они заберутся вверх и исчезнут. Фу!

— Фу, — сказал Пол.

— Им не потребуется много времени, чтобы вернуться назад. Я знаю это. В конце концов после того, как они не найдут и следа его, за исключением выброшенной им бутылки, они решат, что лучше разузнать больше обо мне. Но я ведь сумасшедшая, не так ли? Все газеты писали так.

Но они поверят мне сначала. Я не думаю, что они захотят зайти в дом и обыскать его. Может быть, но не сначала. Они заглянут в другие места сначала и подумают о других вещах, прежде чем вернуться сюда. У нас будет немного времени. Может быть, даже целая неделя.

Она посмотрела на него оценивающе.

— Ты должен будешь писать побыстрее, Пол, — сказала она.

XIX

Стало темно, но полиция не появилась. Однако Энни не осталась с Полом до наступления темноты; она должна была застеклить окно в спальне, собрать обрывки бумаги и осколки стекла, разбросанные по газону. «Когда полиция приедет завтра разыскивать своего потерявшегося ягненка, — сказала она, — мы не хотим, чтобы она увидела здесь что-то необычное, правда, Пол?»

Дай им только заглянуть под газонокосилку, деточка. Дай им только заглянуть туда, и они увидят много из ряда вон выходящего.

И как бы он ни старался заставить работать свое живое воображение, он не мог приблизиться к сценарию, который бы постепенно подвел его к этому.

— Тебя не удивляет, что я рассказываю тебе все это, Пол? — сказала она перед тем, как подняться наверх. — Почему я посвятила тебя в мой план, да еще с такими подробностями?

— Нет, — сказал он несмело.

— Отчасти потому, что я хотела, чтобы ты точно знал, какая должна быть твоя линия поведения, и главным образом, что ты должен делать, чтобы остаться живым. Я также хотела, чтобы ты знал, что я покончу со всем этим сегодня. За исключением книги. Я еще хочу прочитать ее.

Она улыбнулась. Улыбка была одновременно сияющей и мечтательной.

— Это действительно самая лучшая история Мизери из всех книг и я страстно желаю узнать, чем все это кончится.

— И я тоже, Энни, — сказал он.

Она посмотрела на него встревожено.

— Как... но ведь ты знаешь, не правда ли?

— Когда я начинаю книгу, мне всегда КАЖЕТСЯ, что я знаю, что из этого выйдет. Но на самом деле ни одна книга не оканчивалась ТОЧНО так. И это даже неудивительно, поскольку ты не прекращаешь думать о сюжете. Создание книги слегка напоминает запуск межконтинентальной баллистической ракеты... только она путешествует во времени, а не в пространстве. Книжное время — это время, которое герои проживают в романе, а настоящее время — это время, которое писатель проводит за написанием романа. Писать роман точно так, как ты задумал, это все равно, что запускать ракету Титан, осуществляя падение полезной нагрузки через баскетбольное кольцо. Это выглядит хорошо на бумаге, и есть люди, делающие подобные вещи, которые скажут вам, что это просто, как пирог, и даже будут стараться не рассмеяться при этом, но обстоятельства всегда против нас.

— Да, — сказала Энни, — я понимаю.

— У меня должна быть прекрасная навигационная система, потому что я обычно держусь скрытно и, если у тебя достаточно взрывчатого вещества под носом, то это очень хорошо. Сейчас я вижу ДВА возможных варианта окончания книги. Один очень грустный. Другой — что тебе стандартный голливудский «хэппи энд» — по крайней мере оставляет некоторую надежду на будущее.

Энни выглядела встревожено... и неожиданно грозно.

— Ты не собираешься убить ее СНОВА, ведь так, Пол?

Он немного улыбнулся.

— А что бы ты сделала, Энни, если бы я так поступил? Убила меня? Меня это нисколько не пугает. Я могу не знать, что произойдет с Мизери, но я знаю, что будет со мной... и с тобой. И я напишу КОНЕЦ, и ты прочтешь, и затем ты напишешь КОНЕЦ, правда? Наш КОНЕЦ. Это то, о чем я не должен догадываться. Правда в действительности не страннее вымысла, что бы там ни говорили. Ты давно ТОЧНО знала, чем все кончится.

— Но...

— Думаю я знаю, каков будет конец. Я уверен на восемьдесят процентов. Если все будет так, ты будешь довольна. Но даже если это и произойдет так, как я думаю, никто из нас не узнает всех подробностей, пока я не напишу их, так ведь?

— Нет... Я думаю, нет.

— Помнишь ли ты, что обычно говорится в рекламе в старом Грейхаунд-автобусе: Приобретение — это половина удовольствия.

— В любом случае это почти конец, правда?

— Да, — согласился Пол, — почти конец.

Прежде чем оставить его, она принесла ему еще пепси, коробку крекеров, сардины, сыр... и подкладное судно.

— Если ты принесешь мне мою рукопись и одну из этих желтых папок, я смогу писать от руки, — сказал он. — Я скоротаю время.

Она подумала, затем кивнула головой с сожалением.

— Я бы с удовольствием так сделала, Пол. Но для этого нужно оставить гореть хотя бы одну лампочку, а я не могу рисковать.

Он подумал, что останется в подвале один, и почувствовал, как от паники у него вспыхнуло лицо, но только на минуту. Затем оно остыло, и Пол покрылся гусиной кожей. Он представил прячущихся в норах крыс, он представил, как они выходят из них с наступлением темноты, чувствуя его беспомощность.

— Не оставляй меня в темноте, Энни. Пожалуйста, не делай этого.

— Я вынуждена. Если кто-нибудь заметит свет в моем подвале, то может остановиться, чтобы посмотреть, независимо от того, перекрыта аллея цепью или нет, есть записка на заборе или нет. Если я оставлю тебе карманный фонарик, ты можешь попытаться сигналить им. Если я дам тебе свечу, ты можешь попытаться поджечь дом. Вот видишь, как хорошо я тебя знаю?

Он едва осмеливался упоминать то время, когда выбирался из комнаты, потому что это приводило ее в бешенство. Теперь его страх остаться одному здесь, в темноте, вынудил его к этому.

— Если бы я хотел поджечь дом, Энни, я мог бы сделать это давно.

— Тогда было другое дело, — сказала она коротко. — Мне очень жаль, что тебе не нравится оставаться в темноте. Но ты сам виноват, поэтому перестань быть отродьем. Я должна идти. Если ты почувствуешь необходимость в инъекции, уколись в ногу.

Она посмотрела на него.

— Или уколись в задницу.

Она направилась к лестнице.

— Тогда закрой окна! — закричал он ей вслед. — Возьми листы бумаги... или... или... покрась их черной краской... или... боже, Энни, крысы! КРЫСЫ!

Она остановилась на третьей ступеньке, глядя на него сверху вниз глазами, напоминающими пыльные десятицентовики.

— У меня нет времени заниматься такими вещами, — сказала она. — И крысы не сделают тебе ничего плохого. Они могут признать тебя за своего, Пол, или даже усыновить.

Энни засмеялась. Поднимаясь по лестнице, она смеялась все сильнее и сильнее. Раздался щелчок выключателя и погас свет, а Энни

продолжала смеяться. Пол приказал себе не кричать, не унижаться. Но сырой мрак и гул ее смеха... это чересчур, и он пронзительно завопил, чтобы она не оставляла его одного. Но в ответ она только продолжала смеяться. Последовал звук захлопываемой двери. Ее смех стал приглушенным, но все еще был слышен. Он раздавался с другой стороны двери, где был свет; затем щелкнул замок и закрылась еще одна дверь. Ее смех стал совсем тихим (но все же был); щелкнул еще замок и лязгнул засов. Ее смех удалялся, ее смех звучал с улицы. И даже после того, как она завела машину, выехала, перекрыла дорогу цепью и уехала, ему казалось, что он все еще слышал его. Ему казалось, что он все еще слышал, как она смеялась, смеялась и смеялась.

XXI

Камин неясным провалом темнел в центре комнаты, напоминая собой осьминога. Он подумал, что сможет слышать бой часов в комнате, если ночь будет тихой, но подул крепкий летний ветер, как это часто случалось в последние ночи, и только время растягивалось в бесконечность. Когда ветер стихал, он слышал пение сверчков где-то снаружи... и потом иногда — осторожный звук, заставляющий его вздрагивать: тихий и быстрый звук крысы.

Но он боялся не крыс, нет. Он боялся полицейского. Даже его по-дурацки яркое воображение редко рисовало ему такие ужасы раньше. Раньше, но не теперь. И когда это случилось, то только Бог помог ему. Бог согрел его сердце в эту ужасную минуту...

О чем бы он ни думал, это не имело никакого значения, потому что никак не выделялось из полной всеобщей тьмы. В этой темноте все разумное выглядело тупостью, а любая логика казалась сном или мечтой. В темноте он думал кожей.

Он все время видел полисмена, возвращавшегося к жизни, к СВОЕЙ ОСОБОЙ жизни — он был там, в сарае. Он высвободился из-под сена, которым Энни прикрыла его, и это сено падало на его плечи и колени. Лицо его застыло в кровавой бесчувственности, изрезанное ножами сенокосилки. Он видел, как тот выползает из сарая и движется по подъездной аллее к стене дома, одежда его развевается на ветру. Видел, как он таинственно просочился сквозь стену и его Мертвое тело возникает уже здесь.

Видел его, ползущего по утопанному грязному полу, и малейший шорох Пол воспринимал не как крысиную возню, а как звук его неотвратимого приближения. И единственная мысль, живущая в мертвом мозгу полицейского:

«Ты убил меня. Это ты раскрыл свою вонючую пасть и убил меня. Это ты бросил пепельницу и убил. Ты, сукин сын, ты мой убийца».

Один раз Пол почувствовал мертвые пальцы, скользящие по его щекам и шее, он громко закричал, дергая ногами и обезумев стал хлопать себя по лицу. Это оказался огромный паук.

Боль в ногах ненадолго отпустила, но возникло отчетливое желание: ЛЕКАРСТВО.

Ужас его несколько рассеялся. Глаза постепенно привыкли к темноте, и это было спасением, хотя смотреть особо было не на что — камин, куча угля, стол с банками и всякой утварью... и справа от него... что это за очертания? Вон там, прямо возле полок? Он знал. Но что-то в этой фигуре делало ее зловещей. Высокое, круглое, на трех ногах, оно напоминало машины смерти из романа Уэллса «Война миров». Некоторое время Пол с интересом рассматривал это, потом задремал, проснулся, снова посмотрел и подумал:

«Конечно. Я должен был догадаться с самого начала. Это машина смерти. И если на Земле есть хоть один марсианин, то это Энни Уилкз, мать твою. Это ее жаровня, ну конечно! Тот самый крематорий, в котором я сжег «Скоростные машины», потому что так захотелось ей». Он немного пошевелился, потому что его снова стало клонить ко сну, и застонал. Боль в ногах, особенно в остатке его левого колена и в тазу. Это несомненно означало, что предстоит действительно не слишком веселая ночь. Потому что болей в тазу он не ощущал уже месяца два.

Он понял, что ему нужен наркотик, достал шприц, потом положил обратно. Она сказала, что доза очень легкая. Лучше всего сохранить на потом. Он услышал легкое поскребывание и быстро глянул в угол, ожидая увидеть полицейского, ползущего к нему, вперив светящийся ненавистью глаз, чудом уцелевший на кровавом месиве лица.

«Если бы не ты, я бы сидел сейчас дома перед телевизором и щупал свою жену за задницу».

Нет никакого полисмена. Только смутные очертания, которые могут быть игрой воображения, но больше похожат на крысу. Он облегченно вздохнул. О, какая же длинная ночь предстоит ему.

XXII

Он задремал ненадолго, а когда проснулся, обнаружил, что лежит на левом боку и голова у него свесилась, как у пьяного. Он выпрямился, взял свое подкладное судно — мочеиспускание было болезненным, и он с испугом понял, что началась урино-инфекция. Теперь он был очень уязвим. Всякое дерьмо липло к нему. Он отставил мочеприемник в сторону и снова достал шприц.

«Легкая доза Скополамина, так она говорила. Может быть, и так. А может, она и напихала туда каких-нибудь наркотиков. Прямо как в том рассказе про Бринга Горьяра...»

Он слегка улыбнулся неужели все будет так плохо? И немедленно прозвучал в нем ответ: «Нет, черт возьми, НЕТ! Все будет хорошо. Сваи исчезнут навсегда, Не будет больше отливов. Никогда не будет».

С этой мыслью он нащупал пульс на левом бедре, и хотя никогда прежде не делал самому себе впрыскиваний, сейчас он уколол себя умело и быстро.

XXIII

Он не умер и не уснул. Боль ушла, и он плыл куда-то, почти не чувствуя пут на своем теле, воздушное облако мыслей лениво тянулось следом, удерживаемое на конце длинной нити.

«Да ты и сам перед собой тоже разыгрываешь Шехерезаду», — подумал он и посмотрел на жаровню. Он думал о марсианах и их смертоносных лучах, которые подожгли Лондон.

Вдруг он вспомнил песню, дискотечную мелодию группы «Трэмпс»:

«Крошка, подожги мамочку»...

Что-то вспыхнуло и погасло.

Какая-то идея.

«...подожги мамочку, крошка...»

Пол Шелдон спал.

XXIV

Когда он проснулся, подвал наполнялся серым светом занимающегося дня. На подносе, который Энни оставила для него, сидела огромная крыса и грызла кусочек сыра, длинный серый хвост ее лежал вокруг туловища.

Пол закричал, толкнул поднос, громыхнул чем-то и закричал опять. Крыса убежала. Боль снова начала ползти вверх по его ногам.

Она оставила ему какие-то капсулы. Он знал, что Новрил больше не подействует на него, но все же это лучше, чем ничего.

Ну болит не болит, а уже время для утренней дозы, да, Пол?

Он ополоснул две чашки пепси-колой и разогнулся, чувствуя неприятную дрожь в пояснице. Он здесь сильно оброс, ну и ладно. Вот и замечательно.

«Марсиане, — подумал он, — Марсианская машина смерти». Он посмотрел на треножник, думая, что в утреннем свете он будет похож

на жаровню: жаровня и больше ничего. Поэтому он был сильно удивлен, когда обнаружил, что марсианская машина смерти и разрушений все еще стоит в углу.

У тебя, кажется, есть идея? И какая же?

Снова вернулась песня, песня «Трэмпс».

«Давай, крошка, поджигай, поджигай мамочку...»

И тут пришла посылочка от ребят из мастерской.

Тебе ничего не нужно поджигать сейчас или здесь. Да какого хрена, о чем мы тут болтаем, мужики, а?!

И вот это пришло, пришло мгновенно, как обычно и приходят все хорошие идеи, идея кругленькая, гладенькая и абсолютно непогрешимая в своем упомогающем совершенстве.

«ПОДОЖГИ МАМОЧКУ...»

Он посмотрел на треножник. Он думал, что ему будет неприятно видеть эту штуку, потому что именно на ней Энни и заставила его сжечь книгу. Ему действительно было больно и неприятно, но эта боль казалась бледной и неинтересной, по сравнению с болью в суставах. Что она вчера ему говорила?

«Все, что я делала — это пыталась отговорить тебя от самой плохой твоей книги и повернуть тебя носом к тому лучшему, что ты написал...»

Может быть, это в своем роде правильно. Может быть, он просто слишком преувеличивал достоинства «Скоростных машин».

Ты просто пытаешься зализывать собственные раны, — нашептывала ему часть его разума. — Если ты когда-нибудь выберешься отсюда, ты сможешь создать множество таких вещей и даже лучше, тебе для этого не понадобится твоя левая нога — черт, да тебе еще пять пальцев осталось. Да ладно, в протезировании сейчас творят чудеса. Нет, Пол, сначала чертовски хорошая книга, потом чертовски хорошая нога. Давайте не будем себя обманывать, мистер Шелдон.

Пока что другая, более глубокая часть его разума подозревала, что думать так — значит обманывать себя.

Не надо врать себе, Пол. Говори только правду. Эту дурацкую чертову правду. Не лги самому себе. Парень, который пишет книги вроде тебя, — это человек, который врет всем и каждому, поэтому он не может лгать самому себе. Это, конечно, забавно, но это так. Если однажды ты влипнешь в это дерьмо, то потом уже увязнешь так, что придется тебе на брокера переучиваться или еще кого-нибудь в этом роде, потому что все твои таланты пойдут насмарку.

Так что же на самом деле правда?

Правда, если ты так настаиваешь, это то, что звание «популярного писателя», данное тебе в прессе, всегда обижало тебя, потому что не соответствовало тому имиджу и твоему мнению о себе как о Серьезном

Писателя, который иногда пишет дешевые бестселлеры, чтобы субсидировать свою (маэстро, туш!) НАСТОЯЩУЮ РАБОТУ! Ненавидел ли ты Мизери? Ненавидел по-настоящему? Если так, то почему ты так легко вернуться в мир этой книги? Ничего легче: все равно что лечь в теплую ванну с хорошей книжкой в одной руке и бутылкой пива в другой. Возможно, что ты ненавидел ее только потому, что ее портрет на суперобложке отвлекал внимание от портрета автора на титульном листе, и это не давало критикам видеть с кем, с каким классным парнем они имеют дело.

В результате твои «серьезные произведения» все более становились средством самовыражения, гласом вопиющего, не так ли?

«Поглядите на меня. Поглядите, какие замечательные вещички я пишу! Эй, ребята! Вы только гляньте, вот у этой штуки скользкая перспектива! А вот в этой — постоянный поток сознания, здорово, правда?! Это моя НАСТОЯЩАЯ РАБОТА, вы, задницы! Да как вы смеете отворачиваться от меня! Как вы смеете! Вы вонючки! Не смейте отворачиваться от моей настоящей работы! Это моя самая НАСТОЯЩАЯ РАБОТА! ВОТ Я ВАМ СЕЙЧАС ПОКАЖУ...»

Что? Что ты им покажешь? Что бы ты с ними сделал? Ноги бы поотрезал? Или пальцы бы повыломал?

Пола затрясло от внезапной лихорадки. Ему захотелось пописать. Он взял судно, и в конце концов ему это удалось, несмотря на боль, еще худшую, чем в первый раз. Он застонал.

Наконец Новрил начал действовать — его стало клонить ко сну.

Закрывающимися глазами он посмотрел в угол на тренажник.

А что бы ты почувствовал, если бы она заставила тебя сжечь «Возвращение Мизери»? — шепнул ему внутренний голос, и он слегка вздрогнул. Уже уплывая в сладкой дреме, он осознал, что ему это будет неприятно, да, это будет ужасно неприятно, ему будет так же больно, как и когда «Скоростные машины» обращались в дым и пепел. Эту боль можно будет сравнить с болью в воспаленных суставах и раздробленных ногах.

Но еще он осознал, что дело не в этом, дело в том, что будет чувствовать ЭННИ УИЛКЗ.

Возле жаровни стоял стол, на котором было с полдюжины всяких банок и кувшинов.

Среди них была и банка с керосином.

Что если Энни хоть раз закричит от боли? Разве тебе не интересно, как это звучит? Любопытно, правда? Как говорится: месть это такое блюдо, которое лучше подавать холодным.

Пол еще раз вспомнил песню и заснул. На лице его застыла улыбка.

Когда в четверть третьего вернулась Энни, волосы ее, обыкновенно курчавые, были ровно уложены вокруг головы. Она находилась в молчаливом настроении, которое свидетельствовало скорее об усталости и задумчивости, чем о депрессии. Когда Пол спросил, все ли прошло нормально, она кивнула.

— Да, мне кажется, что все нормально. Я все никак не могла уехать. Что-то сломалось, и я провозилась на дороге, иначе я вернулась бы час назад. Как твои ноги, Пол? Сделать тебе еще укол или сначала пойдем наверх.

После того, как он почти двадцать часов провел в этой сырости, ноги его были словно утыканы ржавыми иголками. Ему очень хотелось укола, но не здесь. Здесь лекарство бы просто не подействовало.

— По-моему, все о'кей.

Она повернулась к нему спиной и присела на корточки.

— Ладно, держись. Но помни, что я тебе говорила про возможные глупости и всякое такое. Я очень устала и могу неправильно понять твои шуточки.

— Знаешь, Энни, кажется, мне не до шуток.

Сипло брюзжа, она подняла его, и Полу пришлось закусить губу, чтобы не закричать, подавить в себе агонизирующий вопль. Она прошла через комнату к ступенькам, голова ее была повернута немного вбок, и он понял, что она смотрит на столик, уставленный банками. Она посмотрела туда мельком, вроде бы случайно, но Пол был уже уверен, что она заметит исчезновение баночки с керосином. В данный момент жестянка была засунута им в трусы. Спустя многие месяцы после своего первого воровства, он впервые нашел в себе мужество украсть еще что-то... но если ее руки соскользнут, когда она будет подниматься по лестнице, то она может ухватиться за кое-что еще, поинтереснее его тощей отвислой задницы.

Потом она отвела взгляд от стола, и он почувствовал такое облегчение. Она всегда умела сохранять бесстрастное лицо, но на этот раз он думал, он НАДЕЯЛСЯ, что сумел ее надуть.

И на этот раз он действительно надул ее.

— Ты, Энни, займись собой, а потом сделаешь мне укол, — сказал он, когда она уложила его обратно в постель.

Она изучающе взглянулась в его бледное лицо, покрытое бусинками пота. Затем кивнула и покинула комнату.

Как только она вышла, плоская жестянка выскользнула из его трусов и скользнула под матрац. С тех пор как она вытащила оттуда нож, он ничего не клал туда больше. Но он и не собирается оставлять там надолго эту баночку. До конца дня, не дольше, но придется ей побыть там. Вечером он намеревался положить ее в другое, более надежное место.

Она вернулась и сделала ему укол. Затем она положила на подоконник несколько остро заточенных карандашей, подкатила кресло к кровати.

— Ну вот! — сказала она. — Я собираюсь пойти поспать. Если придет машина, я услышу. Если же мы будем одни, то я, наверное, просплю до завтрашнего утра. Захочешь встать и поработать — вот твое кресло. Хотя я искренне не советую тебе вставать, пусть твои ноги согреются.

— Сейчас я все равно не в состоянии, но думаю, что вечером буду исправно нести службу. Я вполне понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что время летит.

— Я рада, что ты понимаешь это, Пол. Как ты думаешь, сколько тебе потребуется времени?

— При обычных обстоятельствах я сказал бы месяц. Если так, как я работал потом — две недели. Если начнется настоящая гонка — пять дней. Или, может быть, неделя. Пусть в сыром виде, но должно быть готово.

Она вздохнула и с тупой сосредоточенностью стала изучать свои руки.

— Я знаю, это будет меньше двух недель.

— Я бы хотел, чтобы ты пообещала мне одну вещь.

Она посмотрела на него без злобы или подозрения, просто с удивлением.

— Что?

— Не читать больше пока я не... пока мне не придется... ну ты знаешь...

— Остановиться?

— Ну да, пока мне не придется остановиться. Так ты получишь завершение целиком, а не по кусочкам и это произведет большее впечатление, понимаешь?

— Это будет хорошо, да?

— Да, — Пол улыбнулся. — Это будет здорово. Это будет очень даже круто.

XXVII

Тем же вечером, часов в восемь, он осторожно поднялся и перебрался в кресло. Он прислушался, но сверху не доносилось

никаких звуков, даже пружины не скрипели в матрасе. Она, наверное, действительно ОЧЕНЬ устала.

Пол достал жестянку и покатил к окну, где базировался его передвижной писательский лагерь: здесь находилась его машинка с тремя выпавшими зубами, корзина для бумаг, карандаши, копирки, блокноты и кучи исписанных листков, половину из которых нужно было отправить в мусор.

Здесь, совершенно невидимая постороннему взгляду, была дверь в другой мир. И за этой дверью обитал призрак писателя Пола Шелдона, талант которого теперь уподобился детским передвижным картинкам.

С привычной легкостью он протиснулся на кресле между кучами бумаги, прислушался еще раз, нагнулся и вытянул кусок плитуса длиной примерно дюймов в восемь. Впервые он заметил, что плитус не держится в этом месте примерно с месяц тому назад. И по тонкой пленке пыли он понял, что («В следующий раз завяжи волос для большей уверенности» — подумал он) Энни не знает ничего об этом. За рейкой сохранилось узкое пространство, где не было даже пыли.

Он поставил банку туда и затолкнул рейку обратно на место. В одну, совершенно жуткую минуту ему показалось, что сверху перестал доноситься храп («О, Боже! Ее проклятые глаза слишком хорошо видят!»), и затем он осторожно заскользил назад от стены.

Пол внимательно прислушивался еще некоторое время, потом открыл блокнот, взял карандаш и нашел убежище на бумаге.

Следующие четыре часа он писал, не отрываясь, пока не затупились все четыре карандаша, которые она ему приготовила. Тогда он подкатил к кровати, забрался в постель и отключился.

XXVIII

Руки Джеффри напичканы свинцом. Последние пять минут он стоял в глубокой тени возле хижины, принадлежащей М'Кибби. На голове он держал сундук Баронессы и это делало его похожим на испугавшего циркового силача.

Как только Джеффри понял, что никакие доводы Резеньяка не убедили М'Кибби покинуть хижину, он услышал какое-то движение.

Джеффри отодвинулся еще дальше, мышцы его напряженно подрагивали. М'Кибби был хранителем огня, и в его хижине было больше сотни хорошо просмоленных факелов. Эта стала добывалась из

стволов нукаросных деревьев и Боуркас называли ее Огненное масло или Кровь огня.

Как и многие в сущности примитивные языки, язык Боуркас порою отражал некоторые понятия весьма иллюзорно.

«Ладно. Как бы они там ни называли это вещество, а факелов в жизни достаточно, чтобы поджечь всю деревню, — подумал Джорджи. — Ну и веселенький же будет ветерок, с огоньками.»

XXIX

При звуке приближающегося мотора он застыл с карандашом в руках, не дописав слова. Пол удивлялся собственному спокойствию. Вместо, казалось бы, естественной в таком случае бури эмоций, он почувствовал лишь легкое раздражение от того, что его прервали в тот самый момент, когда он начал порхать словно бабочка и жалить подобно пчеле. Каблуки Энни загрохотали вниз по лестнице.

— Исчезни из виду! — лицо ее было мрачным и напряженным. Сумка цвета хаки висела через плечо и была незастегнута.

— Исчезни...

Она приостановилась и увидела, что он уже откатил кресло от окна. Она оглянулась еще раз, чтобы убедиться, что на подоконнике не осталось его вещей, затем кивнула.

— Ты будешь паинькой, Пол?

— Да, — сказал он.

Глаза ее изучающе скользили по его лицу.

— Я тебе доверяю, — сказала она наконец, повернулась, вышла и закрыла за собой дверь. Закрыла, но не заперла.

Автомобиль свернул на подъездную аллею. По ровному, сонному стуку мотора легко было догадаться, что это «Плимут 422». Пол услышал, как со стуком захлопнулась дверь кухни и подобрался поближе к окну, чтобы лучше видеть происходящее, но в то же время находиться в тени. Этот «авианосец» подкатил к месту, где остановилась Энни, и мотор заглох. Водитель вышел из машины. Теперь он стоял почти на том самом месте, где стоял молодой полицейский, когда произнес свои последние слова... но никакого сходства между ними не было. Тот, первый полисмен был совсем молоденьким, чуть ли не подростком. Новичок, который шел по холодному следу одного полудурка писателя, который сначала перевернулся в машине, а потом

уковылял в лес помирать или до сих пор гуляет, с блаженным видом любуясь окрестностями.

А этому полицейскому, появившемуся из-за колеса «авианосца», было около сорока лет. Про таких обычно говорят «косая сажень в плечах». Лицо словно высечено из гранита, только узкие щелки глаз да резкие линии возле уголков рта. Энни была крупной женщиной, но рядом с этим парнем казалась маленькой и невзрачной.

Разница состояла еще и в том, что полицейский, которого убила Энни, был один. А сейчас на машины вышел второй человек, невысокого роста блондин в штатском.

«Давид и Голиаф», — подумал Пол.

Мужчина в штатском не просто обошел вокруг машины, он скорее засеменял вокруг нее. Он выглядел старым, уставшим, невыспавшимся человеком. Но светло-голубые глаза на сонном лице были живыми и замечали все.

Они заговорили с Энни, и та отвечала им что-то, сначала глядя снизу вверх на Голиафа, а потом повернулась к Давиду и продолжала говорить уже сверху вниз. Полу стало интересно, что случится, если он снова выбьет окно и закричит. Он подумал, что восемь шансов из десяти, что они возьмут ее. Конечно, она не слишком медлительна, но все же в быстроте ей будет далеко до полицейского, хоть он и такой огромный, голыми руками сможет вывернуть дерево с корнем. А неловкое топтание на месте этого полицейского в штатском так же обманчиво, как и его полусонный вид. Но, увидев его, они могут замешкаться, растеряться и тогда это даст ей шанс.

И кроме того, пальто на штатском. Оно было застегнуто, несмотря на жару. Пока он расстегнет его, чтобы достать свой пистолет, она успеет выпустить ему десяток пуль в голову. Слишком далеко все зашло.

«Я его не убивала, так и знай. Это ТЫ убил его. Если бы не открывал рта и не кидался пепельницами, я бы отпустила его на все четыре стороны. Он остался бы жив...»

Верил ли он этому? Нет, конечно, нет. Но оставалось какое-то сильное болезненное чувство вины — как глубокая ноющая рана от ножа или от жала пчелы. Будет ли он молчать только потому, что у нее остаются два шанса из десяти, что она справится с этими двумя? Если он закричит, он поможет ей воспользоваться этими двумя шансами.

Он снова почувствовал вину. Но на этот раз все прошло очень быстро. Ответ был совершенно однозначным — нет. И не потому, что он не мог рисковать чужими жизнями. Правда была проста: он хотел сам, собственноручно, отомстить Энни Уилкс.

«Все, что могут они, это засадить ее в тюрьму, — подумал он. — А я знаю, как отомстить этой суке, я знаю, как причинить ей боль».

Всегда, конечно, существовала вероятность, что они могут учуять крысу. В конце концов, это их работа, и они должны знать всю подноготную Энни. И если дела повернутся именно таким образом, то... Но он подумал, что, возможно, Энни удастся уйти от закона и сейчас, но теперь уж это будет в последний раз.

Пол полагал, что теперь он знает об этой истории все, что ему нужно. После своего долгого сна Энни регулярно слушала радио. Исчезновение полицейского Дьюэна Кушнера, несомненно, было главной новостью последних дней. Тот факт, что он разыскивал крутого писателя Попа Шелдона, был упомянут, но эти два события никак не связывались между собой, и исчезновение Кушнера никак не связывали с личностью Пола. По крайней мере, пока.

Весенние потоки отодвинули его «Камаро» миль на пять вниз по течению. Наверное, он лежал бы где-нибудь в лесу еще не один год, если бы не счастливое совпадение. Двое вертолетчиков Национальной Гвардии увидели, что солнце отражается от останков лобового стекла его «Камаро» и приземлились посмотреть, что это там блестит. Серьезность самой аварии была несколько замаскирована многочисленными вмятинами, которые появились в результате последнего путешествия автомобиля вниз по водам. Обнаружила ли судебная экспертиза (если таковая вообще имела место) следы крови в машине или нет, об этом ничего не сообщалось. Но Пол знал, что даже глубокий анализ не поможет ничего обнаружить после того, как автомобиль сначала пролежал под снегом, который потом растаял и смыл любые возможные следы.

Кроме того, он полагал, что все внимание штата Колорадо отдано пропаже Дьюэна Кушнера, и появление этих двоих послужило тому доказательством.

До сих пор все подозрения сводились к трем пунктам: самогон, марихуана, кокаин. Кушнер мог случайно наткнуться на незаконную перегонку, или плантацию анаши, или еще что-нибудь в этом роде. И так как надежда найти Кушнера таяла, вопрос почему он был здесь один, приобретал все большее значение. И пока Пол раздумывал, имеет ли штат Колорадо достаточно денег для финансирования службы автоинспекции, ребята из этой самой службы уже прочесали всю округу в поисках Кушнера. Шансов не было.

Голиаф указал рукой на дом. Энни пожала плечами и покачала головой. Давид тоже сказал что-то. Через мгновение Энни закивала и повела их по дорожке к двери в кухню. Скрипнули петли, и Пол услышал, как они вошли. Звуки стольких ног казались неправдоподобной, пугающей мистификацией.

— В котором часу он приезжал? — спросил Голиаф. Это должен был быть именно Голиаф. У него был громкий грубый прокуренный голос.

Энни сказала, что около четырех. Плюс-минус десять минут. Она только что закончила подстригать газон, часов на ней не было. Была жуткая жара, она все достаточно хорошо помнит.

— И сколько он здесь пробыл, миссис Уилкз? — спросил Давид.

— Мисс Уилкз, позволю себе напомнить...

— Извините.

Энни сказала, что она точно не помнит, но пробыл он недолго. Ну, может быть, минут пять.

— Он вам показывал фотографию?

Энни говорила, что да, что он для этого и приезжал. Пол восхищался, как складно она все говорила, даже приятно.

— И вы узнали человека на фотографии?

Энни сказала, что конечно, это был Пол Шелдон, она его сразу узнала.

— У меня есть все его книги, — сказала она, — мне они очень нравятся. Этот пропавший офицер Кушнер. Он сказал, что тогда я понимаю в чем дело. Он выглядел очень растерянным и было видно, что ему очень жарко.

— Да, это был жаркий денек, правильно, — сказал Голиаф, и Пол вздрогнул от того, что голос раздался слишком близко. Где же они были? В гостиной? Да, скорее всего в гостиной. Он двигался, как рысь, этот полицейский, несмотря на всю его величину. Когда ответила Энни, ее голос тоже раздался совсем близко. Значит, полицейские ходили по гостиной, а Энни следом за ними. Она не просила, но они сами ходили везде. И разглядывали все.

Хотя ее любимый писатель находился менее чем в тридцати пяти футах от нее, Энни продолжала сочинять: она спросила, может быть он зайдет и выпьет охлажденного кофе? Но он сказал, что не может. Тогда она спросила, хочет ли он взять с собой бутылочку...

— Пожалуйста, не сломайте! — Энни прервала собственную речь резким голосом. — Я люблю свои вещички, а они очень хрупкие.

— Простите, мэ. — Это должно быть Давид, голос у него низкий и шепчущий, одновременно смущенный и испуганный. При других обстоятельствах он показался бы забавным для полицейского, но обстоятельства были иными и Пол совсем не забавлялся. Он сидел, напряженно прислушиваясь, и услышал тихий звук, будто что-то осторожно ставили на место (возможно пингвина на льдине), он судорожно вцепился в ручки кресла. Он представил себе, что Энни теребит свою сумочку. Он ожидал, что один из полицейских, скорее всего Голиаф, спросит, что, черт возьми, у нее там.

Тогда началась бы пальба.

— Что вы говорили? — спросил Давид.

— Я говорила, что я спросила, может быть, он хочет взять с собой бутылочку охлажденного пепси, потому что очень жарко. Я всегда держу в холодильнике несколько бутылок, так, чтобы они не замерзли. Он сказал, что это было бы здорово. Он был очень вежливым мальчиком. Почему вы отпустили его одного, такого молоденького?

— Он выпил пепси здесь? — спросил Давид, игнорируя ее вопрос. Его голос оставался близко. Значит, он пересек гостиную. Полу не нужно было закрывать глаза, чтобы представить себе, как он стоит там, глядя в коротенький коридорчик, который шел от кухни в ванную и затем упирался в дверь его комнаты. Пол сидел напряженно выпрямившись, жилка бешено пульсировала на его тощей жилистой шее.

— Нет, — спокойно, как всегда, сказала Энни. — Он взял ее с собой. Он сказал, что ему надо ехать дальше.

— А что там, внизу? — спросил Голиаф. Раздался глухой стук каблуков, когда ступил с ковра на голый пол в коридоре.

— Ванная и свободная спальня. Я сплю там иногда, когда слишком жарко. Посмотрите, если хотите, но обещаю вам, что у меня нет полицейских под кроватью.

— Нет, мэм, конечно нет, — сказал Давид, и его забавный голос и звуки шагов стали уходить в сторону кухни. — А может, он выглядел возбужденным или взволнованным, вы не заметили?

— Вовсе нет, — сказала Энни, — только несмелым, растерянным. Пол снова начал дышать.

— Может быть, чем-то озабоченным?

— Нет.

— Он сказал, куда он потом собирался?

Хотя полицейские, конечно, этого не заметили, но привычное ухо Пола уловило ее секундное колебание.

— Нет, — сказала она наконец.

— Спасибо, мэм, за сотрудничество, — сказал Давид, — но мы можем еще заехать.

— О'кей, — сказала Энни, — я последние дни никого не вижу.

— Вы не возражаете, если мы посмотрим в сарае? — спросил Голиаф.

— Конечно, нет. Но не забудьте поздороваться, когда войдете.

— С кем поздороваться, мам? — спросил Давид.

— С Мизери, — сказала Энни, — моей свиньей.

XXXI

Она стояла в дверях, пристально глядя на него. Так пристально, что его лицо начало ощущать тепло и ему показалось, что он покраснел. Два полицейских отбыли три минуты назад.

— Ты видишь что-то зеленое? — спросил он наконец.

— Почему ты не вопил? — Оба полицейских слегка коснулись своих шляп, садясь в машину, но никто не улыбнулся, и Пол успел заметить из своего узкого углового окна выражение их глаз. Они знали, кто она была. — Я ожидала твоего вопля. Они бы навалились на меня, как лавина.

— Может быть. А может, и нет.

— Но почему ты не закричал?

— Энни, если ты думаешь, что всю твою жизнь должно происходить непременно самое худшее, что ты воображаешь, то иногда ты должна ошибаться.

— Не язви мне!

Он понял, что под ее напускным безразличием скрывается смущение и замешательство. Его молчание шло вразрез с ее представлением о существовании на земле, как Борьбе Честной Энни с Уродливой, Грубой Командой, которой она навесила ярлык «Кокадуди Ублюдки».

— Кто язвит? Я обещал тебе, что не открою рот — так я и сделал. Я хочу закончить мою книгу в относительно мирной обстановке. И я хочу закончить ее для тебя.

Она посмотрела на него: ее взгляд выражал сомнение и желание поверить, боязнь поверить... и в конечном счете все равно веру. И она была права, потому что он говорил правду.

— Тогда займись делом, — сказала она мягко. — Займись немедленно. Ты видел, как они смотрели на меня.

XXXII

В течение нескольких дней жизнь протекала так же, как и до убийства Дьюэна Кушнера; вполне можно было поверить, что его никогда и не было. Пол почти постоянно писал. Пока что он отказался от машинки. Энни поставила ее на камин под «Триумфальной аркой» без каких-либо комментариев. За эти два дня он исписал три пачки бумаги. Осталась только одна. Когда он испишет и ее, ему придется перейти на блокнот для стенографирования. Она заточила ему полдюжины карандашей, он исписал их все, и Энни заточила их снова. Они постоянно тупились; он сидел на солнце у окна, склонившись над работой, иногда рассеянно царапая воздух большим пальцем правой

ноги в том месте, где была душа его левой ступни, и прячась в убежище на бумаге. Оно широко зияло опять, и книга неслась к своему кульминационному пункту, как на ракете. Он видел все с абсолютной ясностью: три группы людей, дьявольски добивающихся Мизери в проходах за лбом идола, две хотят убить ее, а третья — Ян, Джеффри и Хезекьях — пытаются спасти ее... в то время как внизу горит деревня Боуркас и оставшиеся в живых собрались у одного выхода — левого уха идола, чтобы резать и убивать КАЖДОГО, кому удастся выбраться оттуда.

Это гипнотическое состояние поглощения работой было грубо прервано, но не нарушено на третий день после визита Давида и Голиафа появлением автофургона кремового цвета марки «Форд» и надписью на боку КТКА. Сзади было полно видеоаппаратуры.

— О, Боже! — воскликнул Пол, понимая весь комизм положения и испытывая нечто среднее между изумлением и ужасом. — Что за черт! В чем дело?

Фургон едва остановился, как одна из задних дверей широко распахнулась и из нее выпрыгнул парень в рабочих брюках и рубашке навыпуск. В одной руке у него было что-то большое и черное, напоминающее пистолет. Сначала Полу показалось, что это был газовый пистолет. Затем он поднял его на плечо и направил на дом; тут Пол увидел, что это была мини-камера. С переднего сиденья фургона выпрыгнула молодая симпатичная женщина, поправила прическу и задержалась на минуту перед боковым зеркалом заднего обзора машины, чтобы бросить последний оценивающий взгляд на свою косметику перед тем, как присоединиться к оператору.

Глаза внешнего мира, от которых Леди-Сатане удавалось ускользать в последние годы, теперь вновь в полной мере обратились к ней.

Пол быстро отпрянул назад, надеясь, что успел вовремя. «Итак, если ты хочешь знать все наверняка, то послушаешь шестичасовые новости», — подумал он и поднял обе руки ко рту, чтобы скрыть улыбку.

Дверь с грохотом распахнулась и закрылась снова.

— Какого черта вы здесь делаете? — завопила Энни. — Убирайтесь вон с моей земли!

— Миссис Уилкз, не могли бы вы сказать только несколько...

— Это вы можете заработать пару патронов, если не поторопите вашего кокадуи бездельника и не уберетесь отсюда!

— Миссис Уилкз, я Гленна Робертс из КТКА...

— Мне все равно, будь вы даже Джон Иисус Джоникейк Христ с планеты Марс! Убирайтесь с моей земли или я убью вас!

— Но...

— ВОН!

О Энни, О Иисус, Энни убила эту глупую молодую девушку...

Он снова прильнул к окну. У него не было выбора: он должен был подглядывать. Он почувствовал облегчение. Энни выстрелила в воздух. Это возымело свое действие. Гленна Робертс головой нырнула в фургон. Оператор направил свою камеру на Энни; Энни в свою очередь направила ружье на него. Оператор, решивший, что ему больше хочется жить, чем крутить пленку о Леди-Сатане, немедленно шмыгнул на заднее сиденье фургона, который помчался обратно по аллее, прежде чем успели закрыться двери.

Некоторое время Энни стояла, наблюдая за их стремительным отъездом, держа в одной руке ружье, а затем вернулась в дом. Он услышал, как она со стуком бросила ружье на стол и направилась в комнату Пола. Когда она вошла, Пол отметил, что выглядела она гораздо хуже, чем когда-либо: лицо измученное и бледное, глаза постоянно метали молнии.

— Они вернулись, — прошептала она.

— Не принимай близко к сердцу.

— Я знала, что все эти ублюдки вернутся. И сегодня они приехали.

— Их нет. Ты заставила их убраться.

— Они НИКОГДА не уберутся. Кто-то сказал им, что полицейский был в доме Леди-Сатаны перед исчезновением. Вот они и здесь.

— Энни.

— Ты знаешь, чего они хотят? — спросила она.

— Конечно. Я имел отношение к прессе. Они хотят две вещи: записать тебя на магнитофонную пленку и купить мартини, когда наступит Счастливый Час для кого-нибудь из них. Но, Энни, ты же устроила...

— Вот, чего они хотят, — сказала она и подняла согнутую руку ко лбу. Затем неожиданно резко отдернула ее, открывая четыре глубокие кровавые борозды. Кровь побежала из-под бровей вниз по щекам с обеих сторон носа.

— Энни! Прекрати!

— И вот чего! — Она шлепнула себя по левой щеке левой рукой достаточно сильно, чтобы остался отпечаток. — И вот чего! — Правая щека получила даже больше, значительно больше, чем левая: из выемок, сделанных ногтями, вытекали капельки крови.

— Прекрати! — закричал он.

— Вот чего они добиваются! — вновь прокричала она, затем подняла руки ко лбу и прижала их к ранам, пачкая их в крови. Минуту она протягивала к нему окровавленные ладони, и потом с трудом побрела из комнаты.

Только через долгий, долгий промежуток времени Пол смог начать писать снова. Сначала работа продвигалась медленно — образ Энни,

оставляющей кровавые борозды на лице, был назойливым — и Пол подумал, что ничего хорошего это не сулило и лучше прервать работу на денек, когда роман захватит его вновь и он окунется в него с головой.

Как всегда он провел эти дни с чувством блаженного облегчения.

XXXIII

На следующий день приехало еще больше полиции, на этот раз местные мужланы. С ними был тощий мужчина с чемоданом, в котором могла быть только стеномашина. Энни стояла с ними на аллее, выслушивая их с ничего не выражающим лицом. Затем она повела их в кухню.

Пол сидел спокойно с блокнотом на коленях и прислушивался к голосу Энни, делающей заявление, которое ничем не отличалось от того, что она рассказала Давиду и Голиафу четыре дня назад. «Это, — подумал Пол, — не что иное как явная ложь». Ему смешно было слушать ее, и он был потрясен тем, что почувствовал легкую жалость к Энни Уилкз.

Полицейский из Сайдуиндера, задававший больше всех вопросов, вдруг начал говорить Энни, что она может при желании нанять адвоката. Энни отказалась и просто повторила свою историю. Пол не смог обнаружить никаких отступлений.

Они провели на кухне полчаса. Перед уходом один из них спросил, откуда у нее такие страшные царапины на лбу.

— Я поцарапалась ночью, — сказала она. — Меня мучили кошмары.

— Что это было? — спросил полицейский.

— Мне приснилось, что люди припомнили мне все, что было раньше, и начали опять выяснять все снова.

Когда они уехали, Энни вошла к нему в комнату. Ее лицо было одутловатым, холодным и нездорового цвета.

— Это место превращается в Гранд Централь, — пошутил Пол. Она не улыбнулась.

— Сколько еще до завершения книги?

Он замаялся, посмотрел на грудку машинописных листов с неровной кучкой сверху, написанной от руки, затем снова на Энни.

— Два дня, — наконец сказал он, — может быть три.

— Следующий раз они придут с ордером на обыск, — сказала она и вышла прежде, чем он успел ответить.

В тот вечер она вошла к нему где-то в четверть двенадцатого и сказала, что он еще час назад должен был быть в постели.

Пол поднял глаза, выведенный из глубоко мечтательного состояния. Джеффри, который оказался героем, только что встретился лицом к лицу с ужасной царицей пчел, с которой ему придется сражаться на смерть за жизнь Мизери.

— Ничего, — сказал он. — Я скоро лягу. Мне нужно одну мысль, иначе она ускользнет.

Он встряхнул рукой, которая болела и дрожала. Большая твердая опухоль полумозоль-полуводяной пузырь выросла на внутренней стороне его указательного пальца на месте, где наиболее сильно давление карандаша. Он принял пилюли, и они должны устранить боль, но они также затуманивали сознание.

— Ты считаешь, что это хорошо, не так ли? — спросила она мягко. — Действительно хорошо? Ты не делаешь больше это только для меня, так ведь?

— О, нет, — сказал он. Минуту он был на грани того, чтобы сказать еще что-нибудь, что-то вроде: «Это никогда не было для тебя, Энни, или для всех других людей, подписывающих свои письма «Ваша самая большая поклонница». В тот момент, когда ты начинаешь писать, все остальные люди остаются на другом конце галактики. Это никогда не было для моих экс-жен, или моей матери, или моего отца. Причиной, по которой писатели почти всегда делают посвящение на книге, заключается в том, Энни, что в конце концов страдает их самолюбие».

Но было бы немудро сказать ей подобную вещь.

Он писал до рассвета, а затем упал в кровать и проспал четыре часа. Его сны были путанные и неприятные. В одном из них отец Энни взбирается вверх по длинному пролету лестницы. У него в руках была корзина с газетными вырезками. Пол попытался окликнуть его, предупредить, но каждый раз, когда он открывал рот, из него ничего не вылетало, кроме логически обоснованного параграфа повествования. И хотя этот параграф был каждый раз другим, он всегда открывался следующими словами: «Однажды, примерно неделю спустя...» Затем появлялась Энни Уилкз, она с воплями пронеслась вниз по коридору, широко раскинув руки, чтобы столкнуть своего отца... ее крики постепенно становились сверхъестественными, а тело покрывалось рябью, съеживалось и изменялось, потому что Энни превращалась в пчелу.

XXXV

На следующий день никто из официальных лиц не появился, но показалось множество неофициальных. Окрестные мужланы. Одна из машин была полна подростками. Когда они свернули на подъездную аллею, чтобы развернуться, Энни выскочила к ним и заорала, чтобы они убирались вон, иначе она перебьет их, грязных собак.

— Пошла ты, Леди-Сатана! — закричал один из них.

— Где ты зарыла его? — вторил другой, когда машина удалялась в клубах пыли.

Третий швырнул пивную бутылку. Когда машина удалялась, Пол увидел полоску липкой бумаги на заднем стекле, на которой было написано: «ПОБОРИМ УНЫНИЕ В САЙДУИНДЕРЕ».

Через час он увидел Энни, которая уныло шествовала мимо его окна в сарай, натягивая рабочие перчатки. Немного погодя она вернулась с цепью. Ей понадобилось время, чтобы переплести крепкие стальные звенья колючей проволокой. Когда это колючее сооружение было натянуто через дорогу, она полезла в свой нагрудный карман, достала оттуда несколько красных лоскутков и привязала их к цепи, чтобы ее лучше было видно.

— Это не поможет против полиции, — сказала она, входя в комнату, — но отвадит остальных ублюдков.

— Да.

— Твоя рука... опухла.

— Да.

— Я не люблю надоедать, Пол, но...

— Завтра, — ответил он.

— Завтра? Правда? — Она сразу же повеселела.

— Да, я так думаю. Возможно к шести.

— Пол, это замечательно! Можно мне начать читать сейчас или...

— Я бы предпочел, чтобы ты подождала.

— Тогда я подожду.

В ее глаза опять закрался нежный, чувственный взгляд. Он больше всего ненавидел, когда она выглядела именно так.

— Я люблю тебя, Пол. Ты знаешь это, правда?

— Да, — сказал он. — Я знаю.

И снова склонился над блокнотом.

XXXVI

В тот вечер она принесла ему таблетку Кеффлекса — воспаление мочевого пузыря уменьшалось, но очень медленно — и ведро со льдом.

Рядом с ним она положила аккуратно свернутое полотенце и вышла, не сказав ни слова.

Пол отложил в сторону карандаш: он должен был пальцами левой руки разогнуть пальцы на правой руке, и опустил руку в лед. Он держал ее там до тех пор, пока она почти полностью не онемела. Когда он вынул ее, опухоль показалась значительно меньшей. Он завернул руку в полотенце и сидел так, глядя в темноту, пока она начала покалывать. Он отложил в сторону полотенце, согнул руку немного (в первый раз это вызвало болевую гримасу, но затем рука стала гибкой) и приступил к работе.

На рассвете он медленно подкатил кресло к кровати, завалился в нее и сразу же уснул. Ему снилось, что он заблудился в снежном урагане, но только это был не снег. Это были страницы, хаотично летающие по воздуху, и каждая страница была отпечатана на машинке. В тексте отсутствовали все «н», «т», «е». Пол понял, что если он останется живым после окончания метели, то ему придется самому вставлять их от руки.

XXXVII

Он проснулся около одиннадцати, и как только Энни услышала, что он заворочался, она вошла в комнату с апельсиновым соком, таблетками и миской горячего куриного бульона. Она произнесла с волнением: — Сегодня особый день, Пол, не правда ли?

— Да.

Он попытался поднять ложку правой рукой, но не смог. Она была опухшая и красная, такая отекаящая, что кожа на ней блестела. Когда он попытался сжать ее в кулак, то почувствовал, как в нее вонзились длинные металлические стержни. Он подумал, что последние несколько дней напоминали бесконечный собственноручно написанный кошмар.

— О, твоя бедная РУКА! — закричала она. — Я дам тебе еще одну таблетку. Я сейчас принесу!

— Нет, не надо. Я хочу, чтобы у меня была чистая голова.

— Но ты не сможешь писать такой рукой!

— Нет, — согласился он. — Моя рука никуда не годится. Я собираюсь закончить мою малышку так же, как начал, — на машинке. Осталось восемь или десять страниц, я уверен, что она выручит меня. Я полагаю, что пробьюсь сквозь эти «н», «т», «е».

— Мне следовало достать тебе другую машинку, — сказала она. Она выглядела искренне огорченной, в глазах у нее стояли слезы. Пол подумал, что такие неожиданные моменты были самыми страшными, потому что в них проявлялась та женщина, какой она могла бы быть,

если бы получила правильное воспитание или если бы яд, выбрасываемый ее внутренними железами, был менее сильным. Или бы все вместе.

— Я дура. Мне трудно признаться, но это так. Все произошло потому, что я не хотела допустить, что женщина из Дартмонгера взяла лучшее у меня. Мне очень жаль, Пол. Твоя бедная рука.

Она подняла ее, нежная, как Ниоба, и в итоге поцеловала ее.

— Ну ладно, все в порядке, — сказал он. — Мы прорвемся, Даки Дэддлз и я. Я ненавижу ЕГО, но чувствую, что он также ненавидит МЕНЯ; поэтому, я думаю, мы — равны.

— О ком ты говоришь?

— О машинке. Я дал ей прозвище по имени героя мультфильма.

— О... Взгляд ее затуманился и стал отсутствующим. Она отключилась. Он терпеливо ждал ее возвращения, поедая тем временем суп. Он делал это неуклюже, держа ложку между первым и вторым пальцами левой руки.

Наконец она вернулась в действительность и посмотрела на него, лучезарно улыбаясь, как только что проснувшаяся женщина, которая понимает, что день будет прекрасным.

— О, суп уже весь? Я сегодня особенно постаралась.

Он показал ей пустую миску, ко дну которой прилипли несколько макаронин.

— Смотри, Энни, какой я Ду-Би, — сказал он без тени улыбки.

— Ты самый лучший Ду-Би, Пол, какой когда-либо здесь был. И ты добьешься многого! Да... только подожди! Подожди, и ты увидишь!

Она вышла, оставив Пола глядящим сначала на календарь, а потом на «Триумфальную арку». Он поднял глаза на потолок и увидел трещины в форме W, пьяно танцующие на штукатурке. И наконец он посмотрел на машинку и на громадную, беспорядочную кучу рукописных листов. «ПРОЩАЙТЕ!» — подумал Пол, но в этот момент в комнату ворвалась Энни с еще одним подносом в руках.

На нем были четыре блюда: на одном ломтики лимона, на другом печеное яйцо, на третьем кусочки поджаренного хлеба. А в середине на самой большой тарелке лежала... ох! — икра в огромном количестве.

— Я не знаю, любишь ли ты это, — сказала она. — Я даже не знаю, люблю ли я. Я никогда не пробовала ее.

Пол начал смеяться. Он смеялся до боли внутри, до боли в ногах и даже до боли в голове. Вскоре, вероятно, этот смех причинит ему гораздо больше боли, ибо Энни, как больной шизофренией человек, всегда считала, что если кто-нибудь смеется, то, значит, смеется над НЕЙ. Но тем не менее он не мог остановиться. Он смеялся до тех пор, пока не поперхнулся и не закашлялся. Щеки его покраснели, в уголках глаз выступили слезы. Женщина, отрубившая ему ногу

топором и отрезавшая электрическим ножом ему палец, стоит теперь перед ним с огромной тарелкой икры, которой можно было бы накормить даже африканского дикого кабана. И что удивительно, на ее лице не появилась страшная черная расселина. Вместо этого она начала смеяться вместе с ним.

XXXVIII

Икра считается одной из тех вещей, которые вы либо любите, либо ненавидите. Пол никогда не испытывал ни одного из этих чувств. Если он летел в самолете первым классом и стюардесса ставила перед ним тарелку с икрой, он преспокойно съедал ее и забывал об этом событии, забывал, что есть на свете такая вещь, как икра, вплоть до следующего раза, когда стюардесса ставила перед ним икру. Но теперь он ел ее с жадностью и восхищением, как будто впервые в жизни открывая всю прелесть этой еды.

Энни она совсем не понравилась. Она намазала чайную ложку икры на кусочек тоста и, откусив чуточку, сморщилась от отвращения и отложила кусок в сторону. Пол, однако, уплетал икру с неослабевающим энтузиазмом. За пятнадцать минут он съел, кажется, полбе-луги. Он рыгнул, прикрывая рот, и виновато посмотрел на Энни. Та разразилась еще одним приступом веселого смеха.

«Я думаю, что убью тебя, Энни, — подумал он и тепло улыбнулся ей. — Я действительно так сделаю. Я могу пойти с тобой, вероятно, я на самом деле пойду, но я пойду с желудком, наполненным икрой. Могло бы быть и хуже».

— Это было замечательно, но я больше не могу съесть, — сказал он.

— Тебя бы вырвало, если бы ты съел еще, — сказала она. — Это очень жирная пища. — Она улыбнулась в ответ. — У меня есть еще один сюрприз. Я купила бутылку шампанского. На потом... когда ты кончишь книгу. Оно называется «Дом Периньон» и стоит семьдесят пять долларов! За одну бутылку! Но Чаки Йодер, торгующий в винном магазине, сказал, что это лучшее шампанское.

— Чаки Йодер прав, — сказал Пол, думая о том, что «Дом» отчасти виноват в том, что он попал в этот ад. Он помолчал немного и затем сказал: — Есть еще одна вещь, которую я так же хотел бы, когда закончу книгу.

— Да? И что же это?

— Ты когда-то сказала, что осуществишь все мои желания.

— Да.

— Тогда в моем чемодане лежит пачка сигарет. Мне бы очень хотелось выкурить одну, когда я завершу книгу.

Ее улыбка медленно погасла.

— Ты знаешь, что подобные вещи тебе вредны, Пол. Они вызывают рак.

— Энни, неужели ты думаешь, что рак это именно то, чего мне сейчас надо опасаться?

Она не ответила.

— Я только хочу одну единственную сигарету. Я всегда откидывался назад и закуривал сигарету, когда кончал книгу. Именно эта сигарета всегда была лучшей, поверь мне, даже лучше, чем сигарета после очень вкусной еды. По крайней мере так всегда было. Я полагаю, что на этот раз у меня закружится голова и начнет поташнивать, но мне бы очень хотелось прочувствовать эту связь с прошлым. Что ты скажешь, Энни? Ну будь человеком. Я ведь был.

— Ну ладно... но прежде шампанское. Я не буду пить семидесятипятидолларовое шипучее пиво в той же комнате, где ты надымишь этой отравой.

— Вот и великолепно. Если ты принесешь ее около полудня, я положу ее на подоконник и буду время от времени поглядывать на нее. Я закончу книгу, вставлю пропущенные буквы и только затем закурю. Я буду курить до тех пор, пока я не почувствую, что теряю сознание и могу удариться головой. Тогда я позову тебя.

— Хорошо, — сказала она. — Но мне все же не нравится это. Даже если ты не заболеешь раком после одной сигареты, мне не нравится. И знаешь почему, Пол?

— Нет.

— Потому что только Донт-Би курят, — сказала она и начала собирать тарелки.

XXXIX

— Босс Яң, а оң а..?

— Ш-ш-ш-ш, — свирепо зашипел Яң, и Хезекьях затих. Джеффри чувствовал, что пульс с дикой скоростью бьется на его шее. Снаружи доносился мягкий скрип обшивки и такелажа, медленное хлопанье парусов на слабом ветре, случайные крики птиц. Смутно с палубы было слышно, что матросы поют хором на юге. Но здесь внутри все было тихо, трое мужчин — двое белокожих и один негр — ждали, будет ли Мизери жить или...

Ян хрипло застонал, и Хезекьях схватил его за руку. Джеффри почти истерично сжал кулаки. После всего неужели Бог окажется настолько жесток, что позволит ей умереть?! Однажды он уже отрекся от этой мысли, даже больше с юмором, чем со злобой. В те дни сама мысль о том, что Бог может быть жестоким, поразила бы его своей абсурдностью.

Но его мнение о Боге, как и его мнение о многом другом сильно изменилось за последнее время. Оно изменилось в Африке. В Африке он обнаружил, что Бог был не один. Богов было много, и некоторые из них были не просто жестокими, они были безумными. И понимание этого изменило все. Жестокость сама по себе была непонятна. Когда она соединялась с безумием — все становилось на свои места.

Если его Мизери на самом деле умерла, как он боялся, то он намеревался выйти на палубу и броситься с мачты. Он не имел желания жить в одном мире с сумасшедшими и богами.

Эти неприятные размышления были прерваны надрывающимся шепотом Хезекьяха.

— Мистер босс Ян! Мистер босс Джеффри! Гляди те! **ЕЕ ГЛАЗА!**

Глаза Мизери, загрепев, открылись, обнаруживая неземную глубокую васильковую синь. Она посмотрела на Яна, затем на Джеффри и опять на Яна. Сначала Джеффри видел в этих глазах только удивление. Потом он понял, что она узнает их, и счастье захлестнуло его.

— Где я? — спросила она, зевая и выпрямляясь. — Ян, Джеффри, мы что, на море да? А почему я такая голодная?

Смеясь и плача одновременно, Ян бросился обнимать ее, вновь и вновь называя ее по имени.

Смущенная, но обрадованная, она обняла его, и Джеффри, понимая, что все в порядке, вдруг осознал, что может примириться с этой любовью. Он будет жить один, он СМОЖЕТ жить один в совершенном спокойствии.

Возможно, что не все боги безумны, в конце концов...

Он тронул Хезекьяха за плечо: — Я думаю, мы должны оставить их вдвоем, старик, как ты считаешь?

— Я считать это правильно говорить мистер босс Джеффри, — сказал Хэзекьях. Он широко улыбнулся, обнажая все свои семь золотых зубов.

Джефффри бросил последний взгляд на нее и на какое-то мгновение ему показалось, что ее глаза смотрят на него.

«Я люблю тебя, дорогая, — подумал он. — Ты меня слышишь?»

Может быть, ответ, услышанный им, прозвучал не больше, чем в его воображении, но он подумал, что нет. Слишком ясно услышал он этот голос:

— Я слышу... и я тоже люблю тебя...

Джефффри закрыл дверь и вышел на палубу. Вместе с того, чтобы броситься с мачты, он зажег трубку и, потихоньку затягиваясь, курил, наблюдая, как солнце опускалось в это исчезающее облако далеко на горизонте, облако, которое называлось Африкой.

И тогда Пол Шелдон вынул лист из машинки и накалякал самую любимую и самую ненавистную фразу в словаре любого писателя. Он написал это ручкой:

К О Н Е Ц

XXXX

Его опухшая правая рука не хотела вставлять пропущенные буквы, но тем не менее он заставил себя сделать эту работу. Если бы он не смог справиться с неподвижностью, он не смог бы вынести все это.

Когда работа была завершена, он отложил ручку в сторону и минуту рассматривал свое детище. Он испытывал те же чувства, что и всегда: странную опустошенность, разочарованность, уверенность, что за каждый малейший успех он заплатил нелепую пошлину.

Всегда было одно и то же: трудный подъем в горы через джунгли и наконец достижение долгожданной цели на вершине после месяцев ада только для того, чтобы не обнаружить там ничего стоящего, кроме открывающегося вида на автостраду с несколькими бензозаправочными станциями и кегельбанами впридачу или что-то подобное.

Но все же хорошо, что все позади, всегда хорошо. Приятно быть создателем чего-то. Сидя без движения, он понял и оценил все мужество совершенного, оценил важность создания маленьких жиз-

ней, которых не существовало, видимости их движения и иллюзии сердечного тепла. Он понял теперь наконец, что был тупицей, проделывая такой трюк, но он знал, что это было только единственный раз. Если он обычно заканчивал книгу безразлично, то теперь по крайней мере ему удалось сделать это с любовью. Он коснулся кипы рукописи и слегка улыбнулся.

Его рука потянулась к единственной одинокой сигарете «Мальборо», которую Энни оставила ему на подоконнике. Рядом стояла керамическая пепельница с изображением колесного экскурсионного парохода на дне, снабженного следующими словами: СУВЕНИР ОТ ГАННИБАЛА, МИССУРИ — АВТОРА И РАССКАЗЧИКА АМЕРИКАНСКИХ РАССКАЗОВ.

В пепельнице лежала коробка спичек, но в ней была только одна спичка — все, что она позволила ему. Одной, однако, было достаточно.

Он слышал ее шаги наверху. Это было хорошо. У него будет много времени для приготовления, чтобы она не застала его врасплох, если решит спуститься вниз.

«Вот это будет настоящий фокус, Энни. Посмотрим, смогу ли я сделать его. Давай посмотрим — смогу ли я?»

Он нагнулся, пренебрегая болью в ноге, и начал отвязывать доску.

XXXXI

Через пять минут Пол позвал Энни и прислушался к ее тяжелой, немного монотонной поступи по лестнице. Он ожидал, что будет чувствовать ужас, когда дойдет до дела, и с облегчением подумал, что чувствует себя совершенно спокойным. Комната была наполнена запахом бензина из зажигалки. Она спокойно капала с одного конца доски, лежащей на ручках кресла.

— Пол, ты действительно закончил книгу? — закричала она из коридора.

Пол посмотрел на грудку бумаги, лежащей на доске рядом с ненавистной машинкой. Бензин из зажигалки пропитал бумагу.

— Да, — последовал ответ. — Я сделал все, что мог, Энни.

— О, великолепно! Ги, я едва могу поверить этому! Через столько времени! Минуточку! Я принесу шампанское!

Он услышал ее шаги по линолеуму кухни, заранее зная, где должна закрипеть каждая половица. «Я слышу все эти звуки в последний раз», — подумал Пол, и эта мысль породила чувство удивления, которое в свою очередь нарушило спокойствие, разбила его, как яйцо. Страх был внутри... но также там было что-то еще. Он предположил, что это был удаляющийся берег Африки.

Открылась и закрылась дверь холодильника. Снова слышались ее шаги, она направлялась сюда.

Он не выкурил сигарету, конечно: она все также лежала на подоконнике. Ему нужна была спичка.

А что если она не зажжется, когда ты чиркнешь ею?

Но для таких рассуждений было слишком поздно.

Он потянулся к пепельнице и взял спичку. Теперь Энни шла по коридору. Пол чиркнул спичкой и, конечно, она не загорелась.

Не спеши! Делай это спокойнее!

Он чиркнул еще раз. Ничего.

Спокойнее... спокойнее...

Он царапнул спичкой по шершавой темно-коричневой полоске сзади книжечки со спичками в третий раз, и бледное желтое пламя расцвело на кончике бумажной спички.

XXXXII

— Я надеюсь, что...

Она замолчала, как бы поперхнувшись следующим словом. Пол сидел в своем кресле за баррикадой из сваленной бумаги и древней машинки. Он специально повернул титульный лист так, чтобы она могла прочитать

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИЗЕРИ

Пол Шелдон

Над всей этой промокшей кучей листов нависала опухшая правая рука Пола, в которой между большим и указательным пальцами была зажата единственная горящая спичка.

Она остановилась в дверном проеме, держа в руках завернутую в полотенце бутылку шампанского. У нее открылся от удивления рот. Затем она резко закрыла его.

— Пол? Осторожно! Что ты делаешь?!

— Все, — сказал он. — И получилось здорово, Энни. Ты была права. Лучшая из книг о «Мизери» и, может, лучшая из всего, что я когда-либо написал. А теперь я хочу показать тебе небольшой фокус. Хороший фокус. Я научился этому у тебя.

— Пол, нет! — закричала она. Ее голос был полон агонии и понимания. Руки ее взметнулись вверх и бутылка шампанского выпала на пол, оставленная без внимания. От удара об пол она взорвалась, как бомба. Хлопья пены разлетелись по комнате.

— НЕТ! НЕТ! ПОЖАЛУЙСТА НЕ ДЕЛАЙ...

— Слишком плохо, что ты никогда не прочитаешь ее, — сказал Пол и улыбнулся. Впервые за все месяцы он улыбнулся настоящей

улыбкой, лучезарной и мудрой. — Без ложной скромности скажу, что книга больше, чем хорошая. Она ВЕЛИКАЯ, Энни.

Спичка оплывала, обжигая кончики его пальцев. Он опустил ее. В какую-то ужасную минуту он подумал, что она потухла, но затем бледно-голубое пламя занялось вокруг титульного листа с отчетливым звуком «фумп!» Оно пробежалось по краям, попробовало бензин, который разлился вдоль наружного края пачки бумаг и стал желтым.

— О Боже, НЕТ! — взвизгнула Энни. — Немилосердно! Немилосердно! Только не ее! Нет! Нет!

Теперь ее лицо стало мерцать в пламени.

— Хочешь загадать желание, Энни? — заорал он на нее. — Хочешь загадать ЖЕЛАНИЕ? Ты, проклятый гоблин.

— О, БОЖЕ, ПОЛ, ЧТО ТЫ ДЕ-ЛА-ЕШЬ?

Она шагнула, спотыкаясь, вперед, протягивая руки. Теперь грудa бумаг не просто горела, она полыхала. Серая стенка машинки начала становиться черной. Бензин скопился под ней и теперь бледно-голубые языки пламени вырывались между клавишами. Пол чувствовал, как печет ему лицо, как натягивается его кожа.

— ТОЛЬКО НЕ МИЗЕРИ! — завывала она. — ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СЖЕЧЬ МИЗЕРИ, ТЫ КОКАДУДИ УБЛЮДОК. ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СЖЕЧЬ МИЗЕРИ!

И тут она сделала то, что он почти точно знал, что она сделает. Она схватила горящие листы, намереваясь убежать с ними в ванную, возможно, окунуть их в ванну.

Когда она отвернулась, Пол схватил машинку, не обращая внимания на волдыри, которые она оставляла на его уже опухшей правой руке. Он поднял ее над головой. Маленькие голубые искорки посыпались из-под нее. Он не обратил на них внимание, также как и на вспышку боли в спине: видимо, он надорвал там что-то. На его лице появилась безрассудная гримаса физического напряжения и концентрации. Он с силой швырнул машинку от себя. Она попала ей прямо в середину спины.

«ХУУ-УВВГ!» Это не был крик, а испуганное, громкое бормотание. Энни упала на пол, подминая под себя охапку горящих бумаг.

Маленькие голубые огоньки подобно светлячкам усеяли поверхность доски, служившую письменным столом. Задыхаясь, так как каждый вздох обжигал каленым железом его горло, Пол отбросил ее в сторону. Затем он рванулcя вверх и выпрямился на правой ноге.

Энни корчилась и стонала. Язык пламени трепетал между ее левой рукой и боком. Она закричала. Пол почувствовал запах горелой кожи и жира.

Она перевернулась, стараясь встать на колени. Большая часть бумаги оказалась теперь на полу либо горя, либо шипя, потухая в

разлитом шампанском, но Энни все еще прижимала несколько горящих листов. Ее кофта также горела. В руку ей воткнулись осколки зеленого стекла. Еще больший осколок торчал из ее правой щеки, как лезвие томагавка.

— Я убью тебя, ты — лживый ублюдок, — прохрипела она и шатнулась к нему. Она сделала на коленях три «шага» по направлению к нему и споткнулась о машинку. Она скорчилась, но ей удалось перевернуться. В этот момент Пол бросился на нее. Он почувствовал острые углы машинки под ней даже через ее тело. Она завопила, как кошка, и попыталась вцепиться в него ногтями.

Пламя вокруг них погасло, но он все еще чувствовал немилосердный жар, вырывающийся из вздымающейся, извивающейся возвышенности под ним, и он понимал, что часть ее кофты и бюстгальтера прижарились к ней. Но он не чувствовал к ней никакой жалости.

Она попыталась сбросить его. Он удержался и теперь лежал на ней, как мужчина, собирающийся изнасиловать ее: его лицо почти на ее лице, его правая рука шарилась кругом, точно зная, что она ищет.

— Убирайся с меня!

Он схватил полную пригоршню горячей, обуглившейся бумаги.

— Убирайся с меня!

Он скомкал бумагу, зажимая огонь между пальцами; он чувствовал, как пахла ее обнаженная плоть, пот, ненависть, безумство.

— Убирайся с меня! — завопила она, широко разевая рот, и он вдруг заглянул вовнутрь этой влажной, очерченной красной линией ямы божества. — ПУСТИ МЕНЯ, ТЫ, КОКАДУДИ УБЛЮ...

Он запихнул бумагу, белые оковы, и черную обугленную кожицу лука, в этот широко разинутый орущий рот. Яростно горящие ее глаза вдруг еще больше расширились, теперь от удивления, ужаса и новой боли.

— Вот тебе книга, Энни, — выдохнул он, и его рука ухватила еще больше бумаги. Эта бумага уже погасла, промокнув насквозь, и отдавала кислым запахом вина. Она извивалась и корчилась под ним. Солевой купол его левой коленки ударился о пол, и мучительная боль пронзила его, но Пол удержался на ней. «Я все равно изнасилую тебя, Энни. Я изнасилую тебя, потому что это самое худшее, что я могу сделать. Поэтому соси мою книгу. Соси мою книгу. Соси ее до тех пор, пока не ЗАХЛЕБНЕШЬСЯ». Он конвульсивным рывком сжал мокрую бумагу в кулаке и всунул ее в рот Энни, пропихивая глубже первую порцию.

— Вот тебе, Энни, как тебе нравится это? Во-первых это гениально, это Издательство Энни Уилкз, как тебе это нравится? Ешь ее, Энни, соси ее, давай ЕШЬ ее, будь Ду-Би и съешь ее всю.

Он запихнул ей в рот третий комок, четвертый. Пятый еще горел; он пропихивал его покрытой волдырями правой рукой.

Из нее вырвался сдавленный нечеловеческий звук. Она собрала силы и сильнейшим рывком сбросила Пола. Она металась и кружилась на коленях, прижав руки к почерневшему горлу. Мало что осталось от ее кофты, кроме обугленного воротника. Кожа на животе и диафрагме покрылась волдырями. С комка, высовывающегося из ее рта, капало шампанское.

— Мампф! Марк! Марк! — прохрипела Энни. Ей как-то удалось подняться на ноги, все еще держась за горло. Пол откинулся назад, осторожно наблюдая за ней и выставив вперед торчащие ноги.

Она сделала один шаг по направлению к нему. Два. Затем она снова споткнулась о машинку. Падая на этот раз, она повернула голову так, что он увидел удивленное и вопрошающее выражение ее глаз: «В чем дело, Пол? И несла тебе шампанское, не так ли?»

Задев левой стороной головы край камина, она сползла вниз, как мешок с кирпичами, глухо ударяясь о пол и сотрясая весь дом.

XXXXIII

Энни упала на кипу горячей бумаги; ее тело погасило огонь. На середине пола лежало дымящееся черное брненное тело. Лужи шампанского потушили большинство разбросанных отдельных страниц. Но две или три, унесенные к стене слева от двери, все еще горели, местами обои были охвачены огнем... но горели без энтузиазма.

Пол подполз к своей кровати, отталкиваясь локтями, и схватил одеяло. Затем он поспешил к стене, разбрасывая по сторонам осколки битого стекла. Он перенапряг свою спину. У него болела голова. Его мутило от тошнотворного сладковатого запаха горелого мяса. Но он был свободен. Божество было мертвым, а он свободным.

Он встал на правое колено и неуклюже потянулся вверх вместе с одеялом (которое было мокрым от шампанского и запачкано пеплом), затем начал сбивать пламя. Когда он отшвырнул одеяло на дымящуюся кипу на доске, в середине стены осталось лысое пятно выгоревших обоев. Нижняя страница календаря закрутилась — вот и все.

Пол пополз к своему креслу. Он был на полпути к нему, когда Энни открыла глаза.

XXXXIV

Пол смотрел, не веря своим глазам, как она медленно вставала на колени. Сам Пол передвигался на руках, волоча за собой ноги.

Нет... нет, ты мертва.

Ты ошибаешься, Пол. Нельзя убить божество. Божество бессмертно. Теперь я должна обмыться.

Ее широко раскрытые глаза были ужасными. Огромная рана розового цвета зияла у нее в волосах с левой стороны головы. Кровь заливала лицо.

— Мразь! — прохрипела Энни через забитое бумагой горло. Она начала ползти к нему, вытянув вперед руки и сгибая ноги. — У-у-у!

Пол прополз полкруга и направился к двери. Он слышал ее сзади. И, когда он вошел в зону битого стекла, он почувствовал, как ее рука крепко вцепилась в его левое колено и с силой сжала его обрубок. Он закричал.

— Мразь! — повторила Энни ликующе.

Он взглянул через плечо. Ее лицо медленно краснело и, казалось, опухало. Ему показалось, что она действительно ПРЕВРАЩАЛАСЬ в идола Боуркас.

Он дернулся со всей силой и его нога выскользнула из ее руки, ничего не оставляя у нее, кроме кожаного чехольчика, который она надевала на его обрубок.

Он пополз дальше, начиная кричать, пот струился по его лицу. Он помогал себе локтями и полз, как солдат под массированным огнем артиллерии. Он слышал за собой стук одной коленки, затем другой, и опять первой. Она продолжала преследовать его. Она была такой крепкой, как он и боялся. Он жег ее, сломал спину и запихал в глотку полно бумаги — и все же, все же, все же она жила.

— Мразь! — хрипела она. — Ублюдок, мразь!

Одним локтем он наткнулся на осколки стекла и один из них воткнулся в его руку. Но Пол продолжал ползти с торчащим из руки стеклом.

Ее рука настигла его левую икру: — АУ! ГО... ОО... АУ!

Он оглянулся опять, и да, ее лицо почернело и напоминало гнилую сливу с выпученными налитыми кровью глазами. Ее пульсирующее горло также набухло, а рот корчился, пытаясь изобразить ухмылку.

— ГАУ... ОО... ОУ!

Ее правая рука уже на его бедре.

Одно колено падает с глухим стуком. Другое.

Ближе. Ее тень. Ее тень закрывает его.

— Нет, — захныкал Пол. Он почувствовал, как она тянет его изо всех сил. Он злобно ухватился за косяк двери и зажмурился.

— ГАУ... ОО... АУ!

Над ним. Гром. Божественный гром.

— ГАУ... ОО... Мразь!

Он задыхался. Он держался за косяк. Он почувствовал, как ее руки добираются до его горла, и закричал:

— Умри! Неужели не умерла! Можешь ты когда-нибудь умереть...

— ГАУ...

Давление уменьшилось. Минуту он смог снова дышать. Затем Энни навалилась на него сверху, гора расслабленного, вялого тела, и он совсем перестал дышать.

XXXXV

Пол выбрался из-под нее, как из-под снежной лавины. Он проделал это из последних сил.

Он прополз через дверь, будучи готовым к тому, что в любой момент ее рука снова схватит его, но этого не произошло. Энни безмолвно лежала лицом вниз в луже крови и шампанского, среди разбитого стекла. Была ли она мертва? Пол не верил тому, что она умерла.

Он захлопнул за собой дверь. Засов на двери оказался на высоте, равной полпути до вершины высокой скалы, но он дотянулся до него, закрыл и затем сполз вниз, дрожа всем телом.

Он пролежал там, цепenea от страха, неизвестно сколько времени. Из этого состояния его вывело тихое царапанье.

— Крысы, — подумал он, — это кр...

Толстые запачканные кровью пальцы Энни просунулись под дверь и вцепились в его рубашку.

Он пронзительно вскрикнул и рванулся в сторону, его левую ногу пронзило болью. Он стукнул кулаком по пальцам. Вместо того, чтобы убраться назад, они немного подергались и успокоились.

«ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ЕЕ КОНЕЦ. ПОЖАЛУЙСТА, БОЖЕ, ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ЕЕ КОНЕЦ!»

Страдая от ужасной боли, Пол медленно пополз к ванной. На полпути он обернулся. Ее пальцы все также высывались из-под двери. Из-за очень сильной боли он не мог привстать, чтобы посмотреть на них или даже подумать об этом; итак, он направился обратно и протолкнул их за дверь. Ему стоило много нервов сделать это, так как он был уверен, что она вцепится в него, как только он коснется пальцев.

Наконец он добрался до ванной; каждая клеточка его тела страшно болела. Он втолкнул себя вовнутрь и захлопнул дверь.

Боже, а что если она убрала лекарства?

Но она этого не сделала. Разбросанные коробки все еще находились там, включая те, в которых хранился Новрил. Он принял три штуки, затем дополз до двери и лег поперек ее, блокируя своим телом.

Пол заснул.

Когда он проснулся, было темно, и сначала он не знал, где находится: почему его спальня такая МАЛЕНЬКАЯ? Потом он вспомнил все, и как результат появилась странная уверенность в том, что Энни не умерла, даже теперь не умерла. Ему казалось, что она притаилась за дверью с топором и, когда он выползет, она отрубит ему голову. Она покатится по коридору, как шар из кегельбана, а Энни будет смотреть и смеяться.

«ЭТО БЕЗУМИЕ», — подумал он, но в тот же миг услышал или подумал, что услышал, легкий шелестящий звук, шуршание женской накрахмаленной юбки, трущейся о стену.

Ты все это придумал. Это твое воображение... очень жизненно.

Я не придумал. Я слышал шум.

Он ничего не слышал. И он знал это. Его рука потянулась к ручке двери, затем неуверенно опустилась вниз. Да, он знал, что ничего не слышал... а что, если слышал?

Она могла вылезти через окно.

Пол, она МЕРТВА!

Воспоминание безжалостное в своей нелогичности: Божество бессмертно.

Он осознал, что с ожесточением кусает себе губы, и заставил себя прекратить это. Неужели именно так сходят с ума? Да. Он был близок к этому. Но если он сдастся, и если завтра или послезавтра сюда вернутся полицейские и обнаружат в комнате мертвую Энни, а внизу в ванной распухшие зареванные яйца протоплазмы, которые когда-то были писателем Полом Шелдоном, не будет ли это победой Энни?

Конечно! А теперь, Пол, ты собираешься следовать сценарию как хороший маленький До-Би. Не правда ли?

О'кей.

Его рука снова потянулась к дверной ручке... и снова упала. Он НЕ МОГ следовать первоначальному сценарию. По сценарию он видел себя, зажигающим бумагу и Энни, подбирающей ее; так все и произошло. Только он должен был выбить ей МОЗГИ проклятой машинкой, а не ломать ей спину. Затем он должен был выбраться в гостиную и поджечь дом. Сценарий призывал его осуществить побег через одно из окон гостиной. Но ему придется чертовски сильно ударить по нему — он ведь уже имел возможность убедиться, насколько изощренная была Энни относительно запираания дверей. «Но лучше бить самому, чем быть побитым», как однажды сказал Джон-Баптист.

В книгах все обычно идет по плану... но жизнь другое дело. Что бы ты сказал, например, когда самые важные разговоры в твоей жизни происходили тогда, когда у тебя прихватило живот и тебе приспичило?

— Очень все неточно, — проворчал Пол. — Хорошенькое дело, парни вроде меня должны придерживаться порядка.

Он поморщился.

Бутылка шампанского не была запланирована в сценарии, но это была мелочь по сравнению с фантастической живучестью женщины и теперешней болезненной неопределенностью.

И пока он не уверится, жива она или нет, он не мог поджечь дом, не мог зажарить бекон, который способен спастись бегством. И не потому, что Энни могла быть все еще живой, — он без колебаний зажарил бы ее живой.

Не ЭННИ удерживала его, а рукопись книги. НАСТОЯЩАЯ рукопись. То, что сгорело, было не больше, чем иллюзия с титульным листом сверху. НАСТОЯЩАЯ рукопись «Возвращения Мизери» спокойно лежала под кроватью и сейчас.

А вдруг она еще жива? Если она еще жива, она может быть в комнате и читать рукопись.

Ну и что собираешься делать?

Ждать здесь, — посоветовала одна его часть. — Ждать здесь, где мило и безопасно.

Но другая, более храбрая его часть настаивала на действии в соответствии со сценарием, настолько, насколько это было возможно, конечно. Идти в гостиную, выбить стекло и выбраться из этого ужасного дома. Пробраться к дороге и остановить там машину. Прежде на это могли потребоваться дни, а может, и больше, но теперь дом Энни стал очень популярен.

Собрав все свое мужество, он взялся за ручку и повернул ее. Дверь медленно открылась в темноту и да... там была Энни, божество, она стояла в тени, одетая в белую сестринскую форму...

Он крепко зажмурился и затем открыл глаза. Тени есть, Энни нет. Он никогда не видел ее в сестринской форме, кроме как на фотографии в газете. Только тени. Тени и (такое живое!) воображение.

Он медленно пополз в холл и взглянул на свою комнату. Она была закрыта и он пополз дальше в гостиную.

Там были нагромождения теней. Энни могла спрятаться за любой из них; Энни могла БЫТЬ любой из них. И у нее мог быть топор.

Он пополз.

Вон там диван, и Энни могла быть за ним. А вон там открыта дверь в кухню, и Энни могла спрятаться за ней. Сзади него скрипнули половицы... и конечно! Энни была ЗА НИМ!

Он обернулся с бьющимся сердцем, в висках стучали молотки, и Энни была там... да, и с занесенным топором, но только секунду. Затем она растворилась во тьме. Он вполз в гостиную и там услышал

шум приближающейся машины. Слабый свет передних фар осветил окно. Он услышал визг тормозов и понял, что они заметили цепь, висящую поперек дороги.

Дверь машины открылась и захлопнулась.

— Черт! Посмотри!

Он пополз быстрее, выглянул в окно и увидел силуэт, приближающийся к дому. Это был полицейский.

Пол нащупал журнальный столик, сбрасывая статуэтки. Некоторые из них упали и разбились. Ему под руку попало что-то округлое и гладкое, как жизнь в романах, какая редко бывает в действительности.

Это оказался пингвин, сидящий на глыбе льда.

«ТЕПЕРЬ МОЯ ПЕСЕНКА СПЕТА!» — гласила надпись на льдине и Пол подумал: «Да! Слава Богу!»

Оперевшись на левую руку, он схватил правой рукой пингвина. Волдыри на руке лопнули, разбрызгивая гной. Он подтянул руку и с ожесточением швырнул пингвина в окно точно так же, как он бросил не так давно пепельницу в окно своей спальни.

— Сюда! — закричал Пол Шелдон иступленно. — Сюда, я здесь, пожалуйста, я здесь!

XXXXVII

В данной развязке есть еще одна округленность, присущая романам: это были те же два полицейских, которые приезжали на днях спросить Энни о Кушнере: Давид и Голиаф. На сей раз Давид не только расстегнул свою куртку, но и вынул пистолет. Давид оказался Уиксом. А Голиаф — Макнайтом. Они приехали с ордером на обыск. Когда они наконец ворвались в дом на безумные крики из гостиной, они нашли там человека, напоминающего ожившее привидение.

— Когда я учился в школе, я читал книгу, — рассказывал на следующее утро жене Уикс. — «Приключения Монте Кристо», по-моему так, а может, «Узник Зенда»... Ну, в общем там был человек, который сорок лет провел в одиночном заключении. Вот так выглядел и НАШ малый. — Уикс помолчал немного, подыскивая нужное слово, чтобы лучше выразить, как это было, те противоречивые чувства, которые он испытывал: ужас и жалость, сострадание и отвращение. Но больше всего удивляясь, как мог остаться живым человек, выглядевший так плохо. Он не мог подобрать слов. — Когда он увидел нас, он начал плакать, — сказал он наконец и добавил: — Он все время называл меня Давидом. Не знаю почему.

— Может быть, ты напоминал ему кого-то, — сказала она.

— Может, и так.

Кожа Пола была серой, он был худ, как вешалка. Он лежал, свернувшись калачиком, у стола и все время дрожал, глядя на них выпученными глазами.

— Кто... — начал Макнайт.

— Божество, — перебил его скорченный на полу человек. Он облизал губы. — Вы должны быть начеку. В спальне. Там она меня держала. Писатель-любимец. Спальня. Она там.

— Энни Уилкз? В той спальне? — кивнул в сторону спальни Уикс.

— Да. Да. Заперта. Но, конечно, там есть окно.

— Кто... — снова начал Макнайт.

— Ради бога, неужели ты не видишь? — спросил Уикс. — Это тот малый, которого искал Кушнер. Писатель. Я забыл его фамилию, но это он.

— Слава Богу, что вы не помните мою фамилию.

— Я не занимался твоим делом, бедняга.

— Все в порядке. Ничего. Только... будьте осторожны. Я думаю, она мертва. Но будьте осторожны. Если она еще жива... опасна... как гремучая змея.

С огромным усилием он пододвинул свой обрубок левой ноги под луч фонарика Макнайта. — Она отрубила мне ногу топором.

В течение долгих, долгих секунд они смотрели на то место, где должна была быть нога, и затем Макнайт прошептал:

— О, Боже.

— Пошли, — сказал Уикс. Он вытащил пистолет, и они оба медленно подошли к закрытой двери комнаты Пола.

— Будьте начеку! — прохрипел Пол своим надломленным голосом. — Будьте осторожны!

Они отперли дверь и вошли. Пол прислонился к стене и откинул назад голову, закрыв глаза. Он не мог остановить дрожь. Они обязательно закричат или она закричит. Могут прозвучать выстрелы. Он старался подготовить себя ко всему. Прошло время, и Полу показалось, что полицейских очень долго нет.

Наконец он услышал, как они возвращаются в холл. Он открыл глаза. Это был Уикс.

— Она была мертва, — сказал Пол. — Я понял это здравой частью своего разума, но я все же едва мо...

Уикс сказал: «В комнате кровь, разбитые стены и обгорелая бумага... но в комнате никого нет».

Пол Шелдон посмотрел на Уикса и затем начал кричать. Он продолжал кричать, пока не потерял сознание.

ЧАСТЬ IV БОЖЕСТВО

«Тебя посетит высокая, темная незнакомка», — сказала цыганка, и Мизери с испугом поняла, что, во-первых, это не цыганка, а, во-вторых, что в палатке есть кто-то еще. Она услышала запах духов Гвендолин Честейн только в тот момент, когда пальцы безумной женщины уже вцепились в ее горло.

«На самом деле, — продолжала лже-цыганка, — я думаю, что она уже здесь».

Мизери попыталась закричать, но не смогла даже сделать вдоха...

«Ребенок Мизери»

«Оно всегда смотрит так, босс Ян, — говорил Хезекьях. — Глядишь ты сам или не глядишь, но кажется, будто оно все также смотрит на тебя. Я не знаю, может быть, и неправда говорят о Боуркас, но говорят, что даже когда ты сзади нее, оно смотрит. Божество всегда смотрит и всегда видит».

«Но, в конце концов, это же просто большой кусок камня», — возразил Ян.

«Да, босс Ян, — согласился Хезекьях. — Поэтому ты имеешь твоя сила».

«Возвращение Мизери»

I

умбер вхуннни
йэрррнни умбер вхуннни
фаиуннни
О, эти звуки: даже в тумане.

II

«Теперь я должна сполоснуть», — сказала она, и вот как это происходило.

III

Спустя девять месяцев после того, как Уикс и Макнайт вытащили его из дома Энни на самодельных носилках, Пол Шелдон проводил все свое время либо в клинике Куинз, либо в своей новой квартире на Манхэттене. Ноги Пола были сломаны вновь и теперь срастались уже во второй раз. Левая нога все еще была в гипсе. Доктор сказал, что он будет прихрамывать до конца жизни, но если бы оставалась его родная левая ступня, то хромота была бы намного сильнее и заметнее, чем на протезе. Но он будет ХОДИТЬ, и ходьба не будет причинять ему боли. По иронии судьбы Энни оказала ему своего рода услугу.

Он много пил и совсем не писал. По ночам его мучили кошмары.

Однажды в мае, когда он вышел из лифта на девятом этаже, он думал не об Энни, а о здоровом пакете, который был зажат под мышкой. В этом пакете лежали готовые гранки «Возвращения Мизери». Издатели очень быстро дали ход этой книге и запустили ее в печать. Все это произошло благодаря шумихе вокруг самой книги и странных обстоятельствах, сопутствующих ее написанию. «Хастинг Хаус» выделил деньги на беспрецедентный по своему масштабу тираж — один миллион экземпляров.

«И это только начало, — сказал ему Чарли Меррил, его редактор, сегодня за завтраком, за тем самым ленчем, с которого он возвращался с готовыми гранками под мышкой. — Эта книга будет продаваться по всему миру, друг мой. Мы все должны преклонить колена и благодарить Бога, что история в книге так же хороша, как и история самой книги».

Пол не знал, правда это или нет, но в любом случае ему плевать было на это. Он хотел только одного: чтобы эта книга как можно скорее осталась позади и началась следующая... но проходили дни, недели, месяцы, и он уже сомневался, будет ли вообще когда-нибудь эта самая следующая книга.

Чарли все подбивал его написать нехудожественные, небеллетристические воспоминания о перенесенных невзгодах и испытаниях. Такая книга, говорил он, будет продаваться даже лучше, чем «Возвращение Мизери». Это будет Бестселлер №1.

Когда Пол из праздного любопытства спросил его, сколько они выгадают, пустив весь тираж в мягкой обложке, Чарли откинул со лба свои длинные волосы, зажег сигару, подумал и сказал: «Я думаю миллионов десять мы поймеем». Он и глазом не моргнул, говоря это, и Пол вдруг осознал, что и сам думает серьезно об этом деле.

Но он никак не мог написать такую книгу, по крайней мере пока. Его работой было писать романы. Он сумел бы написать подобный «отчет», но это было бы признанием в собственном бессилии.

«Вся шутка в том, что это будет роман», — чуть не сказал Пол, но в последнюю минуту сдержался.

«Это начнется с реальных фактов, а затем я начну приукрашивать и отделять. Сначала немножко, совсем чуть-чуть, затем еще чуть-чуть, потом еще немного. Не для того, чтобы выглядеть или приукрасить свой образ, он и без того достаточно хорош, но и не для того, чтобы показать Энни хуже (хуже просто не бывает). Но только чтобы придать округлость. Я не буду делать из себя художественный образ. Литература — это и так своего рода мастурбация, но это, прости Господи, просто будет самопожирание какое-то».

Его квартира 9-Е, самая дальняя от лифта, но сегодня ему показалось, что коридор растянулся на две мили, не меньше. Он заковылял, опираясь на костыли.

Клак... клак... клак... клак... О, Боже, как же он ненавидел этот звук!

Ноги его заныли, и он почувствовал, что ему нужна доза Новрила. Иногда он думал, что ради дозы стоило бы вернуться к Энни. Врачи отучили его от этой мысли. Выпивка заменила ему наркотик. Сейчас, добравшись до дому, он намеревался первым делом налить себе двойной бурбон.

Потом он будет смотреть на пустой экран своего компьютера. Очень забавно. Пресс-папье Пола Шелдона за пятнадцать тысяч.

Клак... клак... клак... клак...

Теперь достать ключ из кармана, чтобы при этом не упали и костыли. Пока он это делал, пакет упал на пол, раскрылся и все содержимое оказалось на полу.

— Вот дерьмо! — выругался он и достал ключ. Тут для всеобщего смеха еще и костыли упали...

Пол закрыл глаза, покачиваясь на своих вывороченных, страшно болящих ногах. Он ждал, что сойдет сейчас с ума или умрет. Ему очень не хотелось плакать здесь, в коридоре, но такое вполне могло

случиться. Ноги все время болели и ему требовалась доза, но не этот дурацкий аспирин, который ему давали в больнице. Ему требовалась доза, нормальная, хорошая, СВОЯ доза. Та доза, которую Энни давала ему. И он так уставал в последние дни. Что ему нужно было на самом деле, чтобы поддержать себя, так не эти дерьмовые костыли и не наркотики, а его игра, которая заставит его жить и сочинять истории. Это было бы дозой для него. Это не дало бы ему опуститься. Но теперь, казалось, время прошло.

«Это как после завершения книги, — подумал он, открывая дверь. — Вот почему никто не пишет об этом, о том, что идет за словом «конец», когда книга закрывается, а жизнь уже идет дальше и идет по-своему. Все это слишком большое и вонючее дерьмо, черт возьми. Она должна была умереть после того, как я напихал в ее башку пустые страницы и черновые записи. Но и я тогда должен был умереть. В этот момент мы действительно были похожи на героев ее любимых сериалов. Никаких полутонов, только черное и белое, хорошее и плохое. Я был Джеффри, а она была пчелиным Божеством Боуркас. Это нелепо... но я знаю, что именно это и называют развязкой».

Сначала кокадуди выпивка, а потом ПИК-УППИ-ПУУ... Сначала будешь Не-Пчелой, а потом будешь...

Он остановился. У него время понять, что в квартире было темно, слишком темно. И еще пахло. Он знал эту мерзкую смесь запахов грязи и пудры.

Энни встала из-за дивана как белое привидение. Она была одета в сестринскую форму и шапочку. В ее руке был топор и она вопила: «Время запить, Пол! Время запить!»

Он взвизгнул и попытался повернуться на своей больной ноге. Она прямо прошла сквозь диван. Она была похожа на лягушку альбиноса. Первый взмах топора не отрубил ему ногу, это было хуже, это был ветер, ветер из него. Ему действительно казалось все это, когда он посмотрел на ковер. Он чувствовал запах крови. Он поглядел вниз и увидел, что отрублен до половины.

«Смыть» — завизжала она, и у него нет правой руки.

«Смыть» — завизжала она снова, и левая рука исчезла тоже.

Он полз к открытой двери, на обрубках своих кистей. Как ни странно, но гранки все еще лежали там, готовые гранки, которые Чарли отдал ему сегодня за ленчем.

«Энни, ты можешь теперь прочитать это!» — попытался крикнуть он, только чтобы Энни убралась отсюда прежде, чем голова его отлетит от тела и покатится к стене. Его последним видением было собственное обезглавленное тело и белые тапочки Энни.

«БОЖЕСТВО», — подумал он и умер.

IV

СЦЕНАРИЙ — план или конспект, основная сюжетная линия.
(словарь Вебстера)

ПИСАТЕЛЬ — тот кто пишет, особ. по профессии.
(словарь Вебстера)

УЛОВКА — то, что заставляет поверить; обман или притворство.
(словарь Вебстера)

V

Паули, а ты можешь?

VI

Да, конечно, он мог. «По сценарию Энни осталась жива, хотя он понимал, что это только ФАНТАЗИЯ».

VII

Он действительно завтракал с Чарли Меррил. Разговоры были все те же. Только когда он вошел в свой номер, он осознал, что его напугала уборщица; он также упал и едва удержался от крика, когда Энни встала из-за дивана, подобно Каину, но это оказался только кот, сиамский кот по имени Дампстер, купленный им месяц назад за фунт.

Энни не было, потому что Энни была совсем не божеством, а сумасшедшей женщиной. Ей удалось вытащить изо рта и горла бумагу и выбраться наружу через окно, пока Пол спал под действием лекарств. Она добралась до сарая и рухнула там. Когда Уикс и Макнайт нашли ее, она была уже мертва, но не от удушья. На самом деле она умерла от перелома черепа, который получила при ударе о камин, а о камин она ударилась потому, что споткнулась о машинку. В любом случае она погибла от той самой машинки, которую Пол так ненавидел.

Но все равно она не оставляла его в покое. Теперь не только топор будет мучить его.

Они нашли ее рядом со стойлом поросенка Мизери, одной рукой державшей рукоятку электропилы.

Теперь все было позади. Энни Уилкс была в могиле. Но подобно Мизери Честейн она не находила там покоя. Во снах и кошмарах Пол выкапывал ее снова и снова. Нельзя убить божество, оно бессмертно. Он мог только временно заглушить страх бурбоном, вот и все.

Он подошел к бару, посмотрел на бутылку, затем оглянулся на гранки книги и свои палки, бросил прощальный взгляд на бутылку и отошел от бара.

VIII

Запей.

IX

Полчаса спустя Пол сидел перед пустым экраном компьютера, думая о том, что он стал лодырем в знак наказания. Он принял аспирин вместо бурбона, но это ничего не изменит. В течение пятнадцати минут или даже получаса он будет сидеть, глядя на пустой экран со вспыхивающей в темноте стрелкой, а затем выключит машину и выпьет вина.

Не изменит за исключением...

За исключением того, что по дороге домой после завтрака с Чарли он увидел что-то смешное, и у него появилась идея. Небольшая. Совсем маленькая. Но и событие было незначительным. Просто на 48-й улице шел мальчик, толкая перед собой тележку для розничной торговли, вот и все. Но на тележке стояла клетка, в которой находился довольно крупный пушистый зверек, на первый взгляд напоминающий кота. При ближайшем рассмотрении у него на спине оказалась широкая белая полоса.

— Сынок, — обратился Пол, — это скунс?

— Да, — ответил мальчик и быстрее зашагал за тележкой.

В городе не принято останавливаться для долгих разговоров, особенно с такими странного вида людьми, у которых под глазами висят громадные мешки и они еле идут по улице, опираясь на металлические костыли.

Пол побрел дальше, надеясь поймать такси; каждый день ему разрешалось ходить не больше мили, и это была его миля. У него чертовски разболелись ноги, и, чтобы выбросить из головы мысль о миле, он начал думать о том, откуда этот ребенок, откуда у него эта тележка и, главным образом, откуда взялся этот скунс.

Он услышал шум за спиной и, отвернувшись от пустого экрана, он увидел Энни, выходящую из кухни в джинсах и красной фланелевой рубашке, в руках у нее была электрическая пила.

Он закрыл глаза, открыл их, увидел все то же старое НИЧЕГО и вдруг неожиданно разозлился. Он повернулся к компьютеру и быстро написал, почти дубася по клавишам:

I

Сзади дома ребенок услышал звук — в его голове промелькнула мысль о крысах, но тем не менее он завернул за угол. Домой идти было слишком рано, так как занятия в школе закончатся только через полтора часа и он может прогулять до завтрака.

То, что он увидел в пыльном луче солнечного света, не было крысой, прижавшейся к стене дома, а было большущим черным котом с самым пушистым хвостом, какой он когда-либо видел.

X

Он остановился, сердце неожиданно забилося.

Паули, а ты можешь?

Это был вопрос, на который он не смел ответить. Он склонился над клавиатурой снова и через минуту начал ударять по клавишам... но теперь нежнее.

XI

Это НЕ БЫЛ кот. Эдди Десмонд жил в Нью-Йорке всю свою жизнь, но он бывал в зоопарке; и кроме того, он видел картинки в книжках. Он знал, что это было такое, хотя и не имел ни малейшего представления, как мог попасть этот зверь в заброшенный дом на 105-й улице, но длинная белая полоса вдоль спины помогала раскрыть тайну. Это был сунс.

Эдди начал медленно подходить к нему.

XII

Он смог. Он СМОГ.

Итак, с благодарностью и со страхом он СДЕЛАЛ этот шаг. Вход в убежище открылся, и Пол заглянул через него на то, что там было, не осознавая, что пальцы его набирают скорость, что его больные ноги были в том же городе, но за пятьдесят кварталов, не осознавая, что он плачет, когда пишет.

СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС

ГЛАВА 1

15 сентября было днем рождения Кевина, и он получил в подарок именно то, что хотел, — «Солнце». Кевин, о котором идет речь, носил фамилию Делеван, и этот день рождения был для него пятнадцатым. А «Солнце-660» было фотоаппаратом фирмы «Полароид» для начинающих фотографов, который все делал сам, кроме разве что приготовления сэндвичей с копченой колбасой.

Разумеется, были и другие подарки: сестра Кевина, Мег, преподнесла ему варежки, которые сама и связала; бабушка, живущая в Де-Мойне, прислала 10 долларов, а тетя Хильда — как всегда — галстук-шнурок с ужасным зашипом. Первый такой галстук она прислала, когда Кевину исполнилось три года; стало быть, в выдвижном ящике его комода уже хранилась дюжина ни разу не надеванных галстуков-шнурков с ужасными зашипами, к которым теперь добавится и этот, — счастливое число 13! И хотя Кевин, как уже было сказано, никогда не надевал этих галстуков, ему не разрешали их выбросить. Тетя Хильда, жившая в Портленде, пока что ни разу не приезжала на дни рождения Кевина или Мег, но ведь могла и решиться на это хоть однажды за все эти годы. Господь свидетель, могла: Портленд находился всего в 50 милях к югу от Касл-Рока. Предположим, она приехала бы и пожелала увидеть Кевина в одном из присланных ею галстуков (или Мег — в одном из шарфиков аналогичного происхождения) — что тогда?

Перед каким-нибудь другим родственником можно было бы просто извиниться. Но не перед тетей Хильдой. Дело в том, что тетя Хильда являлась самым настоящим сокровищем, ибо сочетала в себе два важных качества: была Богатой и Старой. Когда-то мама Кевина вбила себе в голову, что тетя может КОЕ-ЧТО СДЕЛАТЬ для ее детей. Подразумевалось, что это КОЕ-ЧТО произойдет после того, как тетя Хильда наконец отбросит копыта, — в форме особого пункта в ее завещании. А покамест почиталось за лучшее хранить все эти ужасные галстуки-шнурки и столь же ужасные шарфики. Поэтому тринадцатый галстук (с изображением на зашипе птицы,

которую Кевин принял за дятла) присоединился к своим товарищам, а Кевин написал тете Хильде письмо с благодарностью — не потому, что на этом настаивала мама, и не потому, что он думал, что тетя может однажды КОЕ-ЧТО сделать для него и его младшей сестры или его это вообще сколько-нибудь заботило, а потому, что он был, в общем-то, чутким мальчиком с хорошими привычками и без бросающихся в глаза недостатков.

Он поблагодарил также свою семью за все подарки (хотя «Полароид», естественно, был гвоздем программы, родители, само собой, надарили ему еще и кучу всяких мелочей и были в восторге от его восторга), не забыв поцеловать Мег (она хихикнула и сделала вид, что утирается, но и ее восторг был столь же очевиден) и сказать ей, что варенье, без сомнения, пригодятся ему зимой в лыжных соревнованиях. Но большую часть своего внимания он приберег для коробки с «Полароидом» и упаковок с запасными пленками, которые ему вручили вместе с аппаратом.

Он воздал должное именному пирогу и мороженому, хотя видно было, что ему не терпится заняться фотоаппаратом и опробовать его. Что он и сделал, как только приличия были соблюдены.

Вот тогда-то все и началось.

Он прочел инструкцию так тщательно, как только ему позволило страстное желание поскорее приступить к делу, и зарядил аппарат, в то время как остальные члены семьи следили за ним с ожиданием и опасением, которое, по счастью, не подтвердилось (почему-то самые желанные подарки очень часто оказываются неисправными). Раздался легкий коллективный вздох — скорее даже дуновение, — когда фотоаппарат послушно выплюнул на сверток с пленками картонный квадратик, как и было обещано в инструкции.

На корпусе аппарата были две маленькие лампочки, красная и зеленая, разделенные зигзагообразной молнией. Когда Кевин зарядил пленку, загорелся красный свет. Он горел секунды две. Семья Делеванов очарованно смотрела, как «Солнце-660» «принюхивается» к свету. Затем красная лампочка погасла и быстро заморгала зеленой.

— Готово, — сказал Кевин тем самым — изо всех сил старающимся казаться небрежным, но без особого успеха — тоном, которым Нейл Армстронг доложил о своем первом шаге по поверхности Луны. — Почему бы вам, ребята, не встать всем вместе?

— Терпеть не могу фотографироваться! — закричала Мег, закрывая лицо с тем наигранным беспокойством и удовольствием, которые могут изобразить только девочки до 13 лет и по-настоящему плохие актрисы.

— Перестань, Мег, — сказал мистер Делеван.

— Не глупи, Мег, — сказала миссис Делеван.

Мег убрала руки (и возражения), и они втроем встали у дальнего края стола, оставив на переднем плане остатки именинного пирога.

Кевин посмотрел через видоискатель: — Придвинься чуть ближе к Мег, ма, — сказал он, показывая левой рукой. — И ты тоже, па. — На сей раз он показывал правой рукой.

— Вы меня сплющиваете! — заявила Мег родителям.

Кевин положил палец на кнопку, которой приводился в действие аппарат, и тут вспомнил отмеченное им вскользь место в инструкции, где говорилось о том, как легко «отрезать» на снимке головы людей, которых вы фотографируете. «Снять им головы!» — подумал он, и это было бы забавно, но почему-то он вдруг ощутил легкое покалывание в основании позвоночника, которое прошло и о котором он забыл едва ли не прежде, чем почувствовал его. Кевин немного поднял аппарат. Вот так. Теперь все в рамке. Отлично.

— О'кей! — пропел он. — Улыбнитесь и скажите «Сношения»!

— Кевин! — воскликнула мама.

Отец расхохотался, а Мег взвизгнула тем безумным смехом, который даже плохие актрисам нечасто удается; исключительные права на этот смех принадлежат девочкам в возрасте от 10 до 12 лет.

Кевин нажал на кнопку.

Лампа-вспышка, питаемая от внутренней батарейки, на мгновение залила комнату праведным белым светом.

«Он мой!» — подумал Кевин, и это должно было бы быть сладчайшим моментом его пятнадцатого дня рождения. Но вместо этого данная мысль снова вызвала у него то самое странное покалывание. На сей раз оно было более заметным.

Фотоаппарат издал звук, что-то среднее между визгом и жужжаньем, звук, который невозможно точно описать, но который достаточно хорошо знаком большинству людей, — короче говоря, звук, который издает «Полароид», исторгая из себя то, что, может, и не является произведением искусства, но зачастую вполне годится, и уж почти всегда доставляет сиюминутное удовольствие.

— Дайте мне посмотреть! — закричала Мег.

— Придержи лошадок, торопыга, — сказал мистер Делеван. — Нужно время, чтобы изображение проявилось.

Мег уставилась на холодно-серую поверхность того, что еще не являлось фотографией, с сосредоточенным вниманием гадающей на хрустальном шаре женщины.

Остальные обступили ее, охваченные тем самым волнением, которое сопровождало церемонии зарядки пленки в аппарат: в эту

минуту с них можно было писать не портрет, а натюрморт американской семьи, затаившей дыхание.

Кевин почувствовал, как его мышцы потихоньку сковывает страшное напряжение, и это ощущение уже невозможно было проигнорировать. Он не мог этого объяснить, но он чувствовал это. Казалось, он не в силах оторвать глаз от квадрата ровного серого цвета, заключенного в белую рамку — границы будущей фотографии.

— Кажется, я себя вижу! — весело закричала Мег. Но мгновением позже добавила:

— Нет. Не похоже. Кажется, это...

В абсолютной тишине они смотрели, как серый цвет постепенно проясняется, подобно тому, как — по сказкам — растворяется туманная дымка в хрустальном шаре ясновидца, когда внутренний трепет (называйте это как хотите) вполне уместен, и, наконец, снимок стал виден.

Первым нарушил молчание мистер Делеван.

— Что это? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Это что, шутка такая?

Кевин рассеянно положил фотоаппарат, — пожалуй, слишком близко от края стола, — чтобы посмотреть, как проявляется снимок. Мег, увидев то, что было изображено на снимке, сделала шаг назад. Лицо ее не выражало ни испуга, ни благоговейного страха, а лишь простое удивление. Поворачиваясь к отцу, она взмахнула рукой. Рука задела аппарат, и он свалился на пол. Миссис Делеван смотрела на проявляющийся снимок, пребывая в каком-то трансе, и у нее было такое лицо, словно она чем-то глубоко озадачена или почувствовала приступ мигрени. Звук ударившегося о пол фотоаппарата вывел ее из этого состояния. Она взвизгнула и отпрянула назад. При этом она зацепилась за ногу Мег и потеряла равновесие. Мистер Делеван рванулся к ней, довольно сильно толкнув обратно Мег, которая все еще находилась между ними. Он не просто подхватил жену, но умудрился даже сделать это с некоторой грацией; одно мгновение они представляли собой поистине прелестную картину мама и папа, наглядно доказывающие, что не разучились танцевать, словно застигнутые в последнем движении вдохновенного танго: она — откинувшись назад и взмахнув рукой, и он — склонившись над ней в той двусмысленной мужской позе, которая, если отвлечься от сопутствовавших ей обстоятельств, могла быть расценена как олицетворение либо заботливости, либо похоти.

Мег в ее одиннадцать лет была менее грациозна. Она отлетела к столу и врезалась в него животом. Удар был довольно сильным, и она,

наверное, получила бы травму, если бы последние полтора года три раза в неделю не брала балетные уроки в Христианская Ассоциация Женской Молодежи. Особенно красиво танцевать она не научилась, но занятия балетом доставляли ей удовольствие и — к счастью — укрепили мышцы ее живота настолько, что сейчас они смягчили удар подобно тому, как хорошие автомобильные амортизаторы поглощают тряску при езде по дороге, полной рытвин. Тем не менее на следующий день у нее на теле повыше бедер образовался целый пояс черно-синих пятен. Прошло почти две недели, прежде чем эти синяки сперва побагровели, затем пожелтели, а затем исчезли... словно проявляющийся снимок «Полароидом», только в обратном порядке.

Непосредственно же в тот момент, когда с ней произошел этот инцидент, Мег даже ничего не почувствовала; она просто врезалась в стол и вскрикнула. Стол качнулся. С него соскользнул именинный пирог, который должен был красоваться на переднем плане первой фотографии, снятой Кевином при помощи нового аппарата. Миссис Делеван даже не успела спросить Мег: «Ты цела?», как остатки пирога сочно шлепнулись на «Солнце-660», забрызгав глазурью туфли всех присутствующих и плитку противоположной стены.

Густо измазанный голландским шоколадом видеоискатель фотоаппарата торчал, как перископ. И все.

С Днем рождения, Кевин!

Вечером того же дня Кевин и мистер Делеван сидели на кушетке в гостиной, когда вошла миссис Делеван, размахивая двумя скрепленными вместе листами бумаги с загнутыми углами. На коленях и у Кевина, и у мистера Делевана лежали раскрытые книги («Самый лучший и самый веселый» у отца и «Вылет в Ларедо» у сына), но заняты они были в основном тем, что недружелюбно поглядывали на аппарат «Солнце», лежавший на кофейном столике среди разбросанных фотоснимков. На всех снимках было изображено одно и то же.

Мег сидела рядом на полу и смотрела по видеомонитору взятый напрокат фильм. Кевин не мог сказать точно, какой именно, но поскольку на экране с визгами носилось взад-вперед множество людей, он решил, что это фильм ужасов. Мег их просто обожала. Оба родителя считали это признаком плохого вкуса (особенно мистер Делеван, которого часто раздражала эта, как он говорил, «бессмысленная белиберда»), но сегодня никто из них не произнес ни слова по этому поводу. Кевин сделал вывод, что они были благодарны Мег уже за то, что она наконец перестала хныкать по поводу своего ушибленного живота и громко интересоваться, какими именно бывают симптомы разорванной селезенки.

— Вот они, — сказала миссис Делеван. — Я нашла их на дне своей сумочки со второго раза. — Она протянула мужу бумаги — торговый чек из магазина Дж. К. Пенни и квитанцию. — Никогда не нахожу подобные вещи с первого раза. Наверное, другие люди тоже. Это вроде закона природы.

Закрыв руками рот, она оглядела мужа и сына.

— У вас у обоих такой вид, словно кто-то убил нашу кошку.

— У нас НЕТ кошки, — сказал Кевин.

— Ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Конечно, крайне неприятно, что так получилось, но мы немедленно вернем его. У Пенни его охотно обменяют.

— Не уверен, — сказал Джон Делеван. Он взял фотоаппарат, посмотрел на него с неприязнью (похоже, с трудом сдержался, чтобы не показать ему язык) и положил обратно. — У него откололся кусочек, когда он свалится на пол. Видишь?

Миссис Делеван лишь мельком взглянула на аппарат. — Что ж, если его откажут обменять у Пенни, я уверена, это сделает компания «Полароид». Ведь ясно же, что не падение явилось причиной неисправности, в чем бы она ни состояла. Самый первый снимок получился точно таким же, как и все эти, а уж его то Кевин сделал до того, как Мег смахнула фотоаппарат со стола.

— Я не нарочно, — сказала Мег, не оборачиваясь. На экране фигурка размером с пивную кружку — кукла-злодей по имени Чаки, если Кевин не ошибался — гонялась за маленьким мальчиком. Чаки был одет в синий комбинезон и размахивал ножом.

— Я знаю, дочурка. Как твой живот?

— Болит, — ответила Мег. — Возможно, ложечка мороженого и помогла бы. Там еще осталось сколько-нибудь?

— Думаю, да.

Мег одарила мать своей самой чарующей улыбкой.

— Ты не могла бы принести мне немножко?

— И не подумаю, — любезно отвечала миссис Делеван. — Иди и возьми сама. Что это за страсти ты смотришь?

— «Детская игра», — сказала Мег. — Про вот эту ожившую куклу по имени Чаки. Довольно интересно.

Миссис Делеван наморщила нос.

— Куклы не оживают, Мег, — сказал отец. В его голосе звучало уныние, как будто он знал, что переубедить дочь все равно не удастся.

— А Чаки ожил, — ответила Мег. — В кино бывает все, что угодно. — Нажав кнопку паузы на пульте дистанционного управления, она отправилась за мороженым.

— Ну почему ей так нравится эта чушь? — почти жалобно спросил жену мистер Делеван.

— Не знаю, дорогой.

Кевин взял в одну руку аппарат, а в другую — несколько проявленных фотографий (всего они отсняли их около дюжины).

— Собственно говоря, я не уверен, что его НУЖНО менять, — сказал он.

— ЧТО? — уставился на него отец. — Черт побери!

— Видишь ли, — продолжал Кевин слегка извиняющимся тоном, — я просто хотел сказать, что, может быть, нам следует подумать над этим. Это ведь не совсем обычный дефект, не правда ли? Понимаешь, если бы снимки получались передержанными... или недопроявленными... или вообще вылезали чистые карточки... это одно дело. Но как могло получиться вот это? Один и тот же снимок, раз за разом? Вот, посмотри! И все они явно сняты на улице, хотя мы фотографировали только в доме!

— Это розыгрыш, — сказал отец. — Точно тебе говорю. Нам надо обменять эту чертову штуку и поскорее забыть об этом.

— Не думаю, чтоб это был розыгрыш, — возразил Кевин. — Во первых, для розыгрыша это СЛИШКОМ сложно. Как можно так сделать, чтобы фотоаппарат делал один и тот же снимок снова и снова? Да и с точки зрения психологии это не может быть розыгрышем.

— Еще и психологии! — простонал мистер Делеван, закатывая глаза.

— Да, психологии! — твердо сказал Кевин. — Когда какой-нибудь озорник начиняет твою сигарету всякой дрянью вместо табака или угощает тебя перченой жевательной резинкой, он болтается поблизости, чтобы лично лицезреть потеху, не так ли? Но если только ты или мама меня не обманываете...

— Твой отец никогда не был обманщиком, сынок, — мягко констатировала миссис Делеван.

Мистер Делеван смотрел на Кевина, поджав губы. Такой вид у него бывал всегда, когда его сына заносило в ту область, где Кевин, казалось, чувствовал себя наиболее уютно — в область немислимых предположений. АБСОЛЮТНО немислимых предположений. У Кевина было сильно развито предчувствие, интуиция, и это всегда озадачивало и смущало Делевана-старшего. Он не знал, откуда у сына такая черта, но был уверен, что не от ЕГО родни.

Вздохнув, он снова посмотрел на фотоаппарат. С левой стороны корпуса откололся кусочек черной пластмассы, и в нижней части линзы видоискателя образовалась трещинка не толще волоска. Этой

трещины вообще становилось не видно, если поднести аппарат к глазам, чтобы навести его на кадр, который все равно не получится, — то, что ПОЛУЧИТСЯ, лежало на кофейном столике, а в столовой находилась еще добрая дюжина аналогичных экземпляров.

То, что получалось на снимках, напоминало существо, сбежавшее из местного приюта для бездомных животных.

— Ну хорошо, а что, черт возьми, ты собираешься с ним делать? — осведомился отец. — Я хочу сказать, Кевин, давай рассуждать здраво. Какой прок в фотоаппарате, который все время выдает один и тот же снимок?

Но не об этом думал в ту минуту Кевин. Собственно говоря, он вообще не думал. Он чувствовал... и вспоминал. В тот миг, когда он нажал на спуск затвора аппарата, одна отчетливая мысль

(ОН МОЙ)

сверкнула в его мозгу так же ярко, как белый свет фотовспышки перед глазами. Эта мысль, отчетливая и в то же время не совсем понятная ему самому, сопровождалась целой волной смешанных эмоций, которые он не смог бы точно определить... но среди которых, как ему казалось, преобладали страх и возбуждение.

И кроме того — отец ВСЕГДА предпочитал смотреть на вещи здраво. Ему никогда было не понять предчувствия Кевина или интерес Мег к куклам-убийцам, вроде Чаки.

Вернулась Мег с огромной порцией мороженого и опять запустила видео. Теперь там кто-то пытался поджарить Чаки паяльной лампой, но тот все равно продолжал махать ножом.

— Вы все еще спорите?

— Мы дискутируем, — сказал мистер Делеван и еще сильнее поджал губы.

— Ну да, — кивнула Мег, усевшись на пол и скрестив ноги. — Ты всегда так говоришь.

— Мег! — ласково произнес Кевин.

— Что?

— Если ты вывалишь столько мороженого на свою разорванную селезенку, то ночью умрешь в страшных муках. Конечно, может статься, твоя селезенка и не разорвана вовсе, но...

Мег показала ему язык и отвернулась к экрану.

Во взгляде мистера Делевана, устремленном на сына, смешались любовь и раздражение.

— Послушай, Кев, это твой аппарат. Никто не спорит. Ты волен делать с ним что хочешь. Но...

— Па, да неужто тебе самому ни капельки не интересно, ПОЧЕМУ он делает то, что он делает?

— Ничуть, — отвечал Джон Делеван.

Настал черед Кевина закатывать глаза. Следившая за этим диалогом миссис Делеван переводила взгляд с одного на другого, подобно зрителю интересного теннисного матча. Это сравнение было в данном случае вполне уместным. Вот уже лет десять она наблюдала, как сын и муж оттачивают друг на друге свое остроумие, и ей это до сих пор не наскучило. Иногда она задавалась вопросом: поймут ли они когда-нибудь сами, как много в действительности между ними общего?

— В общем мне надо хорошенько подумать.

— Отлично. Просто имей в виду, что завтра я мог бы заскочить к Пенни и обменять эту штуку — если ты этого захочешь и если, конечно, они согласятся принять назад поврежденный товар. Если же ты намерен оставить его у себя — пожалуйста. Я умываю руки. — Иллюстрируя свои слова, он энергично потер ладони.

— Я полагаю, МОЕ мнение вас не интересует, — сказала Мег.

— Правильно полагаешь, — ответил Кевин.

— Ну конечно, интересует, Мег, — сказала миссис Делеван.

— Я думаю, это — сверхъестественный фотоаппарат, — произнесла Мег. Она облизывала ложку с мороженым. — Наверное, это ПОСЛАНИЕ.

— До смешного нелепое предположение, — немедленно парировал мистер Делеван.

— Нет, не нелепое, — возразила Мег. — Наоборот, это единственное подходящее объяснение. Просто ты думаешь иначе, потому что не веришь в подобные вещи. Даже если к тебе вплотную приблизится привидение, па, ты его и не заметишь. А ты что скажешь, Кев?

Некоторое время Кевин ничего не отвечал — не мог. У него было такое чувство, словно сработала еще одна лампа-вспышка, но на сей раз не перед глазами, а за ними.

— Кев! Спустишь на землю!

— Возможно, выскочка, то, что ты сказала, не лишено смысла, — медленно произнес он.

— О великий Боже, — сказал Джон Делеван, вставая. — Не иначе, это месть Фредди и Джейсона — мой ребенок считает, что его фотоаппарат прислан из мира теней. Я отправляюсь спать, но прежде хочу сказать вот что. Аппарат, который без конца фотографирует одно и то же, — тем более такое обычное, как в данном случае, — довольно скучное послание от сверхъестественных сил.

— И все же... — произнес Кевин. Он подозрительно разглядывал фотографии, словно игрок в покер — колоду карт.

— А я полагаю, нам всем пора ложиться спать, — отрывисто сказала миссис Делеван. — Мег, если тебе так уж необходимо досмотреть этот шедевр кинематографии, ты можешь сделать это завтра утром.

— Но он уже кончается! — захныкала Мег.

— Я приду вместе с ней, ма, — пообещал Кевин, и пятнадцать минут спустя, после того как злобный Чаки был ликвидирован (по крайней мере, до следующей серии), он выполнил свое обещание. Но сон в ту ночь упорно не приходил к нему. Еще долго он лежал с открытыми глазами, слушая, как за окном сильный ветер — предвестник приближающейся осени — шелестит листвой, словно шепчет что-то, и размышлял, почему же аппарат снимает одно и то же и что это может означать. Уже задремывая, он отдал себе отчет, что выбор им сделан: он оставит «Полароид» у себя, по крайней мере, на ближайшее время.

«ОН МОЙ», — снова подумал он, повернулся на бок, закрыл глаза и уже через сорок секунд крепко спал.

ГЛАВА 2

Не обращая никакого внимания на раздававшееся со всех сторон тиканье часов — судя по звуку, их было не меньше тысячи — Реджинальд Меррилл по прозвищу «Папаша» направил световой лучик из приспособления, похожего на медицинский офтальмоскоп, внутрь «Полароида-660» стоявшего рядом Кевина. «Папашины» очки, которые он использовал только для дали, были сдвинуты при этом на лысину.

— Ага, — произнес он и выключил свет.

— Вы поняли, что с ним такое? — спросил Кевин.

— Нет, — ответил папаша Меррилл, защелкивая крышку аппарата. — Не за что зацепиться. — И прежде чем Кевин успел сказать что либо еще, все часы разом начали отбивать четыре пополудни, и в течение некоторого времени всякая попытка продолжить беседу выглядела бы просто абсурдной.

«Мне надо это обдумать», — так сказал он отцу в тот вечер, когда ему исполнилось пятнадцать (с того момента прошло уже три дня), и это заявление было неожиданным для них обоих. Он сроду не утруждал себя серьезными размышлениями, и мистер Делеван в глубине души уже смирился с тем, что Кевин вообще никогда не научится как следует осмысливать вещи. Они, как это часто бывает между отцами и сыновьями, ошибочно полагали, что их поведение

и весьма непохожий образ мыслей никогда не изменятся и, стало быть, между ними всегда будут существовать те же отношения, что и сейчас, и детство Кевина никогда не кончится. «Мне надо это обдумать» — в этом заявлении просвечивала огромная потенциальная внутренняя перемена.

Кроме того, будучи человеком, который всю жизнь принимал решения, повинаясь скорее инстинкту, чем здравому смыслу (надо сказать, он принадлежал к тем счастливицам, чей инстинкт почти никогда не ошибается, — другими словами, к тому сорту созданий, которые людей здравомыслящих просто сводит с ума), Кевин с удивлением и интересом обнаружил, что находится в затруднительном положении.

С одной стороны, он хотел фотоаппарат «Полароид» и получил таковой на день рождения. Но, черт возьми, он хотел «Полароид», который работает.

С другой стороны, его сильно заинтриговало произнесенное Мег слово «сверхъестественный».

Его младшая сестра была большой сумасбродкой, но отнюдь не дурочкой, и Кевин был убежден, что она понимала, о чем говорит. Отец, принадлежавший к племени здравомыслящих, просто высмеял ее, но Кевин обнаружил, что не намерен последовать его примеру — по крайней мере сейчас. Это слово... Такое притягательное, необычное. Снова и снова он возвращался к нему в мыслях.

НАВЕРНОЕ, ЭТО ПОСЛАНИЕ.

Кевина забавляло (и немного огорчало), что только Мег хватило находчивости — и смелости — произнести вслух то, что должно было прийти на ум каждому из них, принимая во внимание странность выдаваемых «Солнцем» снимков; но, по правде говоря, ничего особенно забавного в этом не было. Их семья не была религиозной; они посещали церковь раз в три года на Рождество, когда тетя Хильда, оказывая им предпочтение перед другими родственниками, приезжала к ним на праздники, — и это почти все, если не считать изредка случавшихся свадеб или похорон. Если кто из них и верил по-настоящему в невидимый мир, так это Мег, которая всегда была охоча до разгуливающих трупов, оживших кукол и одушевленных автомобилей, переезжающих людей, которые им не по нраву.

Ни отец, ни мать Кевина не питали пристрастия к необычному. Они не читали своих гороскопов в газетах; они никогда не принимали кометы или падающие звезды за знаки от Всевышнего; в тех случаях, когда другие узрели бы на дне энчилады лик Иисуса, Джон и Мэри Делеван видели только пережаренную энчиладу. Неудивительно, что Кевин, который никогда не подмечал необычное вокруг

себя, ибо ни мать, ни отец сроду не пытались его к этому приучить, оказался неспособным разглядеть ПОСЛАНИЕ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО в фотоаппарате, делавшем один и тот же кадр, где ни снимай: в доме или снаружи, даже в темном шкафу в спальне, — пока его не навела на эту мысль сестра, которая однажды даже написала восторженное письмо Джейсону и получила с обратной почтой глянцевую фотографию с автографом, на которой был изображен субъект в залитой кровью хоккейной маске.

Но уж после того, как его подвели к этой мысли, отделаться от нее стало довольно трудно; это открыл еще Достоевский, остроумный русский старик, однажды сказавший своему младшему брату, еще когда они оба были остроумными русскими юношами: попытайся следующие тридцать секунд НЕ думать о голубоглазом белом медведе.

Непростая задача.

Итак, он провел два дня, постоянно возвращаясь к этой мысли, пытаясь разгадать таинственные знаки, существовавшие — увы! — разве что в его собственном воображении, и стараясь решить, что же для него более ценно: фотоаппарат или возможность соприкоснуться со Сверхъестественным. Другими словами, что ему нужно: «Солнце»... или необычное.

К концу второго дня (даже подростки, очевидно тяготеющие к племени здравомыслящих, редко пребывают в затруднительном положении больше недели) он решил выбрать необычное... по крайней мере попробовать.

Он пришел к этому решению в классе во время седьмого урока, и когда звонок возвестил об окончании и этого урока, и всего учебного дня одновременно, он подошел к самому уважаемому им учителю — мистеру Бейкеру и спросил, не знает ли тот кого-нибудь, разбирающегося в фотоаппаратах.

— Но не такого, как обычный продавец из магазина фотоаппаратов, — объяснил он. — Скорее... как бы сказать... мыслящего человека.

— Философа диафрагмы? — спросил мистер Бейкер. Его манера разговаривать подобным образом была одной из причин, по которой Кевин уважал этого учителя. Произносилось все это абсолютно невозмутимым тоном. — Мудреца затвора? Алхимика апертуры? Или...

— Того, кто много повидал на своем веку, — уклончиво ответил Кевин.

— Папаша Меррилл, — сказал мистер Бейкер.

— Кто?

— Он содержит магазинчик под названием «Эмпориум Галориум».

— О! Вот оно что!

— Да, — сказал мистер Бейкер, ухмыляясь. — Именно. Если, конечно, тебе нужен этакий домотканый мистер Починялкин.

— Похоже, мне нужно именно это.

— У него там чего только нет, черт его возьми, — продолжал мистер Бейкер, и Кевин готов был согласиться с этим заявлением. Хотя он никогда не бывал в «Эмпориум Галориум», он проходил мимо него пять, десять, а может, и все пятнадцать раз в неделю (живя в таком небольшом городке, как Касл-Рок, трудно не пройти мимо чего бы то ни было множество раз, и, по скромному мнению Кевина Делевана, это было до невероятности скучно), а также заглядывал в окна. Магазин был в буквальном смысле слова доверху набит всякими предметами, в основном механическими. Но поскольку мать презрительно называла это место «лавкой старьевщика», а отец говорил, что мистер Меррилл делает деньги, «обдирая туристов», Кевин, повторим, никогда не заходил внутрь. Если бы дело было только в «лавке старьевщика», он мог бы и зайти разок — да чего там, почти наверняка зашел бы. Но о том, чтобы хоть в чем-то уподобиться туристам или покупать что либо в магазине, где этих самых туристов «обдирают», не могло быть и речи. Он скорее согласился бы явиться в школу в блузке и юбке. Туристы могут делать, что им вздумается. Они все до одного ненормальные, и дела свои делают по-ненормальному. Можно терпеть их существование, но допустить, чтобы тебя приняли за одного из них? Нет и еще раз нет. Увольте.

— Чего только нет, — повторил мистер Бейкер, — и большую часть этого он сам починил. Он верит, что этот его вид безыскусного философа — очки на макушке, разные умные словечки и прочее — вводит людей в заблуждение. Никто из тех, кто его знает, не пытается его в этом разубедить. Я не уверен, что вообще найдется смельчак, который ОСМЕЛИТСЯ его разубедить.

— Почему? Что вы хотите этим сказать?

Мистер Бейкер пожал плечами. Какая-то странная, натянутая улыбочка скользнула по его губам.

— Папаша — то есть мистер Меррилл — замешан в очень многих делах в здешней округе. Знай ты подробности, Кевин, ты был бы очень удивлен.

Но Кевина очень мало волновало, в скольких делах в настоящее время замешан Папаша Меррилл и что это за дела. Поскольку все туристы уже разъехались, — ему, вероятно, удастся завтра утром, воспользовавшись правом каждого ученика, кроме первогодков, два

раза в месяц пропустить последний урок, проскользнуть незамеченным в «Эмпориум Галориум»; ему оставалось выяснить только одно.

— Я должен называть его Папашей или мистером Мерриллом?

— Сдается мне, что этот человек убьет любого, кто назовет его Папашей, если тому нет, по меньшей мере, шестидесяти, — торжественно отвечал мистер Бейкер.

И что самое интересное, Кевин почувствовал, что в этой шутке есть доля правды.

— Неужели ничего не удалось выяснить, а? — спросил Кевин, когда часы начали стихать.

Это только в кино все часы начинают и заканчивают бить одновременно; эти же часы были всамделишными, и ему сдавалось, что большинство из них — как, впрочем, и остальные приборы в «Эмпориум Галориум» — по сути, не шли, а словно бы ковыляли себе потихоньку. Они начали бить, когда его собственные кварцевые «Сейко» показывали 3:58. Постепенно они набирали скорость и громкость (тяжело вздыхая и содрогаясь, как старый грузовик при переходе на вторую передачу). Секунды, может, четыре все часы, казалось, действительно били, трещали, играли, звонили и куковали разом — но это оказалась вся синхронность, на какую их хватило. И слово «стихать» не совсем точно передает то, что с ними происходило потом. Скорее, они неохотно уступали, подобно тому, как вода, немного поупрямившись, в конце концов начинает журчать по перекрытой не до самого конца трубе.

Он не понимал, почему собственно он так разочарован. Чего, спрашивается, он ожидал? Что Папаша Меррилл, которого мистер Бейкер охарактеризовал как безыскусного философа и домотканого мистера Починялкина, вынет из аппарата пружинку и скажет: «Вот она — та штуковина, что высовывает собаку всякий раз при нажатии на спуск затвора. Это собачка на пружинке из тех игрушек, что дети заводят ключиком, и они ходит и твякают; какой-то шутник на сборочном конвейере полароидов «Солнце-660» ПОСТОЯННО вставляет их в эти чертовы фотоаппараты»?

Этого он ожидал?

Нет. Но он ожидал... ЧЕГО-НИБУДЬ.

— Ни малейшей зацепки, — весело повторил Папаша. Протянув руку назад и взяв с подставки в форме автомобильного кресла сделанную из кочерыжки кукурузного початка трубку, он начал набивать ее табаком из сшитого из кожзаменителя мешочка с оттиснутыми на нем словами «ПАГУБНАЯ ТРАВА». — Я, знаешь ли, даже не умею разбирать эти игрушки.

— Не умеете?

— Нет, — ответил Папаша. Радости его не было предела. Сделав паузу, он дернул большим пальцем проволочную дужку очков без оправы. Очки съехали с лысины и мясисто шлепнулись точно на свое место, закрыв натертые ими красные пятнышки по обеим сторонам носа. — Это старые можно было разобрать, — продолжил он, доставая из кармана жилета (разумеется, он носил жилет) спичку и прижимая к ее головке толстый желтый ноготь большого пальца правой руки. Да, такой человек мог «обдирать» туристов, даже если ему одну руку привязать за спиной (при условии, что это будет не та рука, которой он выуживает спички из жилетного кармана и зажигает их), — Кевин понял это, хотя ему было всего пятнадцать лет. У Папаши Меррилла был свой СТИЛЬ. — Я имею в виду «Полароиды» на штативах. Видел это чудо когда-нибудь?

— Нет, — признался Кевин.

Папаша зажег спичку с первой попытки — разумеется, как и всегда, — и поднес ее к кочерыжке; когда он заговорил снова, изо рта его вместе со словами вылетали дымовые колечки, выглядевшие довольно мило, но отвратительно вонявшие.

— О, да! — сказал он. — Они выглядели как те старинные фотоаппараты, которые Мэтью Брейди и ему подобные использовали еще до начала века, во всяком случае до того, как «Кодак» ввел в производство аппараты в жестком кожухе системы Брауни. Я хочу сказать, что, — Кевин быстро понял, что это была любимая фраза Папаши Меррилла; тот использовал ее так же, как школьники оборот «так сказать»: для усиления, для смягчения, для определения, а чаще всего как удобную паузу, чтобы собраться с мыслями, — они его украсили немного, хромировали и отделали боковые стенки натуральной кожей, но он все равно выглядел старинным, как те аппараты, которыми люди делали дагерротипы. Откроешь футляр с таким фотоаппаратом, а оттуда выпрыгивает распрямляющаяся «гармошка» кожуха — ведь фокусное расстояние того объектива было с полфута, может, и все девять дюймов. В конце сороковых — начале пятидесятых он выглядел старым как мир, если поставить его рядом с каким-нибудь «Кодаком», и у него была еще одна общая черта со старыми дагерротипными аппаратами — он делал только черно-белые снимки.

— Неужели? — спросил Кевин, заинтересованный помимо своей воли.

— О да! — радостно подтвердил Папаша, поблескивая на Кевина сквозь дым своей коптившей, как сотеиник, трубки голубыми глазами из-за круглых очков без оправы. Такое поблескивание глаз могло свидетельствовать или о хорошем настроении, или об алчно-

сти. — Я хочу сказать, что люди смеялись над этими аппаратами, как в свое время смеялись над первыми «Фольксвагенами-жуками»... но покупали «Полароиды» точно так же, как и «Фольксвагены». Ибо «жуки» имели низкий расход топлива и не ломались так часто, как американские машины, а «Полароиды» делали то, чего не делали «Кодаки» и даже «Никоны», «Минолты» и «Лейки».

— Моментальные фотографии.

Папаша улыбнулся.

— Ну... не совсем. Я хочу сказать, что ты сначала делал снимки, а затем дергал за рычажок, чтобы вытащить их. Тогда еще не было моторчика с этим скрежещущим поскуливанием, как у нынешних «Полароидов».

Оказывается, все же существовали слова, точно описывающие звук, который издают фотоаппараты «Полароид», выплевывая свою продукцию, — надо было лишь найти вот такого Папашу Меррилла, чтобы он подсказал их: это — СКРЕЖЕЩУЩЕЕ ПОСКУЛИВАНИЕ.

— А затем нужно было засекаать время, — продолжал Папаша.

— Засекаать?

— Ну да! — с увлечением подтвердил Папаша, радостный, как ранняя птаха, отыскавшая пресловутого червя. — Я хочу сказать, что у них не было этих невообразимых автоматически проявляющих подложек, как теперь. Ты дергал рычажок, и оттуда вылезала такая длинная лента, которую ты клал на стол или другую поверхность и засекал на часах 60 секунд. Надо было следить, чтобы было именно 60, в крайнем случае плюс-минус пара секунд. Чуть меньше — и получишь недопроявленный снимок. Чуть больше — получишь передержанный.

— Здорово! — уважительно сказал Кевин. И это уважение не было поддельным, имеющим целью задобрить старика в надежде, что тот вернется к сути дела, которое заключалось не в семействе давно вышедших из употребления аппаратов, бывших в свое время чудесами техники, а в его СОБСТВЕННОМ фотоаппарате, в упрямом, как черт, «Солнце-660», лежавшем сейчас на рабочем столе Папаши левее внутренностей старых часов с семидневным заводом и правее чего-то, что подозрительно смахивало на искусственный пенис. Уважение было неподдельным, Папаша видел это, и ему пришлось на ум то, что никогда не пришлось бы на ум Кевину: как же все-таки мимолетны все эти так называемые «достижения науки и техники»; каких-нибудь 10 лет, думал он, и исчезнет само это выражение. Мальчик слушал его с таким зачарованным выражением лица, что можно было подумать — ему рассказывали о чем-нибудь столь же древнем, как деревянные зубы Джорджа Вашингтона, а не об аппарате, считавшемся последним

словом в фотографии каких-нибудь 35 лет назад. Впрочем, этот мальчик 35 лет назад еще был маленькой клеточкой в организме женщины, которая еще даже не повстречалась с мужчиной, обеспечившим развитие этой клеточки.

— Я хочу сказать, что между снимком и подложкой находилось нечто вроде маленькой фотолаборатории, — продолжал Папаша, сперва медленно, затем все быстрее и быстрее, по мере того как его собственный — по большей части подлинный — интерес к предмету разговора возрастал (но при этом мысли о том, кто является отцом мальчика, и насколько сам юнец может быть ценен для него, и какая странная штука происходит с фотоаппаратом парнишки, ни на миг полностью не покидали его). — И через минуту ты отлеплял снимок от подложки. При этом надо было глядеть в оба, потому что она была покрыта каким-то липким желеобразным составом, и если твоя кожа была хоть сколько-нибудь чувствительной, ты мог получить приличный ожог.

— Потрясающе! — сказал Кевин. Глаза его были широко раскрыты, словно ему рассказывали о старых надворных туалетах, состоявших, по сути, из двух отверстий, проделанных в деревянном настиле, каковые Папаша и его однокашники (почти всех их можно назвать именно однокашниками; друзей детства у Меррилла в Касл-Роке почти не было: вероятно, он уже тогда готовился к делу своей жизни — обдиранию туристов, и другие дети как-то чувствовали это, как животные чувствуют вонь скунса) считали за нечто само собой разумеющееся, привыкнув в разгар лета делать в них свои дела с максимальной скоростью, ибо какая-нибудь оса непременно кружилась там, внизу, между «манной» и отверстиями в настиле, исполнявшими роль «небес», с которых падала «манна», и могла в любой момент вознамериться всадить жало в одну из твоих мягких маленьких ягодиц, да и в середине зимы тоже надо было поторапливаться, чтобы те же мягкие маленькие ягодицы не затвердели на морозе. «Вот тебе, — думал Папаша, — и «фотоаппарат будущего»! Каких-нибудь 35 лет, и вот такой парнишка дивится на него, как на сортир на заднем дворе».

— Негатив оставался на подложке, — сказал Папаша. — А отпечаток — ну, конечно, он был черно-белый, но это был отличный отпечаток. Четкость была такая, что и сегодня о такой можно мечтать. И еще, помню, там была такая розовая штучка, величиной с ластик; ею нужно было как можно быстрее протереть снимки — при этом из нее выделялось какое-то химическое вещество, пахнувшее, как эфир, — чтобы они не свернулись, в клистирную трубку.

Кевин, которого ужасно забавлял рассказ об этих милых древностях, расхохотался.

Папаша умолк ровно на столько времени, сколько ему потребовалось, чтобы снова разжечь трубку. Потом он продолжил:

— И вот о таком аппарате до конца знали, как он устроен, только люди с «Полароида» — я хочу сказать, что они не раскрывали своих секретов, — но, по крайней мере, он был МЕХАНИЧЕСКИЙ. Его можно было РАЗОБРАТЬ.

Он взглянул на «Солнце» Кевина с некоторой неприязнью.

— И очень часто, когда такой аппарат ломался, простого умения разобрать хватало для его починки. Приходил, скажем, ко мне какой-нибудь паря с таким аппаратом и говорил, что тот не работает, и жаловался, что если он пошлет его для починки на завод, как положено, то это займет месяцы, и просил меня взглянуть. А я говорил: «Ну, может, у меня ничего не получится, то есть я хочу сказать, что как следует в этих аппаратах разбираются только люди с «ПОЛАРОИДА», которые, черт их возьми, не выдают своих секретов, но я посмотрю, что можно сделать». При этом я, конечно, подозревал, что, возможно, вся поломка заключается в ослабшем винтике где-нибудь в затворе, или в сместившейся пружинке, или его младший братишка измазал отделение для пленки каким-нибудь арахисовым маслом.

Он подмигнул своим блестящим птичьим глазом так быстро и озорно, что Кевин, не зная он, что речь идет о туристах, решил бы, что это ему померещилось, или, скорее всего, вообще не заметил бы этого.

— Я хочу сказать, что ситуация складывалась беспронигрышная, — сказал Папаша. — Если тебе удавалось починить аппарат — ты чертовски замечательный мастер. Да чего там, сынок, однажды я положил в карман восемь с половиной долларов только за то, что вынул два кусочка хрустящего картофеля, попавших между спусковым рычажком и пружинкой затвора, и женщина, которая принесла тот аппарат, поцеловала меня в губы. Прямо... в губы.

Кевин видел, как Папашин глаз вновь на мгновение закрылся за полупрозрачной завесой голубого дыма.

— И, конечно, если с аппаратом было что-то такое, чего ты не мог починить, люди не затаивали на тебя зла, то есть я хочу сказать, что они никогда особенно и не ждали, что ты сможешь починить его. Ты был для них всего лишь последней надеждой перед тем, как они уложат его в коробку, напихают вокруг газет, чтобы он по дороге еще больше не сломался, и отошлют его в Скенектади.

— Но ЭТОТ аппарат. — Он говорил тем ритуально-неприязненным тоном, какой все безыскусные философы — в Афинах ли в Золотом веке или в лавке старьевщика в маленьком городке в

текущем веке медяков — используют, чтобы выразить свой взгляд на неопределенную ситуацию, ничего при этом не заявляя прямо. — Его не собирали, сынок. Я хочу сказать, что его ОТЛИЛИ. Я, может, и мог бы вытащить объектив и сделаю это, если ты пожелаешь, и я ПОСМОТРЕЛ в отделение для пленки, хотя и знал, что не увижу там никакой неисправности — по крайней мере, известной мне, — и не увидел. Но большее мне не по силам. Я могу, конечно, взять для исследования молоток, то есть я хочу сказать, я могу разломать его, но починить? — Он развел руками за дымовой завесой. — Никак не могу.

— Тогда, очевидно, мне ничего не остается, как... — Кевин хотел сказать: «все-таки вернуть его», но Папаша прервал его.

— Собственно говоря, сынок, я думаю, что ты и сам знал это. Я хочу сказать, что ты умный мальчик и сам видишь, что вещь эта цельная. Сдается мне, что ты принес этот аппарат не для починки. Полагаю, ты понимаешь, что даже если бы он не был цельным, человеку не под силу исправить то, что он делает, по крайней мере, простой отверткой. Я думаю, ты принес его, чтобы спросить, не знаю ли я, ЧТО с ним такое.

— А вы знаете? — спросил Кевин. Его всего вдруг охватило напряжение.

— Может, и знаю, — спокойно произнес Папаша Меррилл. Он склонился над пачкой фотографий — теперь их было двадцать восемь, считая ту, которую Кевин щелкнул уже здесь для наглядности, и ту, которую он сделал сам, чтобы еще раз убедиться. — Они сложены по порядку?

— Не совсем. Хотя почти. Это имеет значение?

— Думаю, да, — сказал Папаша. — Они немного различаются, не так ли? Немного, но все же различаются.

— Да, — ответил Кевин, — В НЕКОТОРЫХ из них я вижу различие, но...

— Ты помнишь, какая была самой первой? Я, наверное, и сам мог бы это вычислить, но время — деньги, сынок.

— Это проще простого, — сказал Кевин и вытащил один снимок из кучки лежавших в беспорядке фотографий. — Видите глазурь? — он указал на маленькое коричневое пятнышко на белой рамке фотографии.

— Ага. — Папаша едва удостоил глазурное пятно взглядом. Он внимательно посмотрел на фотографию, а затем выдвинул ящик своего рабочего стола. Там в беспорядке валялись различные инструменты. В углу, отдельно от остального, лежал какой-то предмет, завернутый в ювелирный бархат. Папаша вынул его, развернул

материю и достал большое увеличительное стекло с выключателем на рукоятке. Он склонился над снимком и нажал выключатель. Яркий круг света упал на поверхность фотографии.

— Вот здорово! — сказал Кевин.

— Ага, — опять промычал Папаша. У Кевина было такое впечатление, что для Папаши его более не существовало. Папаша внимательно изучал фотографию.

Если не знать странных обстоятельств, при которых она была снята, фотография едва ли заслуживала столь скрупулезного исследования. Как и большинство фотографий, сделанных приличным аппаратом, на хорошей пленке и фотографом, достаточно сообразительным, чтобы не заслонить пальцем объектив, она была четкой, понятной... и, как и много других снимков «Полароидами», лишенной какого-либо драматизма. На этом снимке можно было опознать и назвать каждый предмет, но его содержание было настолько же скучным, насколько ровной была его поверхность. Снимок не отличался хорошей композицией, но дело было не в этом — нельзя же всерьез винить фотографию за то, что она лишена драматизма и скучна, точно так же, как нельзя винить какой-то день из жизни за то, что в течение его не случилось ничего, заслуживающего, как минимум, стать сюжетом телефильма. Как и на многих других снимках «Полароидами» предметы на этой фотографии лишь ПРИСУТСТВОВАЛИ, подобно пустому стулу на веранде, или детским качелям на заднем дворе, на которых никто не качается, или припаркованной у ничем не примечательной обочины машине без пассажиров, у которой нет даже спущенного колеса, чтобы она могла чем-то заинтересовать или выделиться.

Дело было в том, что сама фотография вызывала ОЩУЩЕНИЕ что что-то здесь не так. Кевин вспомнил чувство тревоги, охватившее его, когда он создавал композицию того снимка, который он намеревался сделать, и мурашки, пробежавшие по спине, когда при ярком свете вспышки, осветившей комнату, он подумал: «ОН МОЙ!» Вот в чем было дело, и, как и в случае с лунным ликом, который, если вы его заметили, вы уже не можете не видеть, точно так же — к такому выводу он пришел — вы не можете отделаться от определенных ощущений... и в случае с пресловутыми фотографиями эти ощущения были неприятными.

Кевин даже подумал: «Ощущение такое, словно с этой фотографией дует ветерок — очень легкий и очень холодный».

Впервые за все время мысль о том, что аппарат был чем-то сверхъестественным — частью Послания — не просто заинтриговала его. Впервые он поймал себя на том, что хочет уже просто

отделаться от аппарата. «Он мой», — так он подумал, когда первый раз нажал кнопку затвора. Теперь же он осознал, что думает, как бы не вышло наоборот.

Я БОЮСЬ ЕГО. ТОГО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ.

Эта мысль начала сводить его с ума, и он перегнулся через плечо Папаши Меррилла с решимостью человека, потерявшего бриллиант в куче песка, дав себе слово: что бы он ни увидел (при условии, конечно, что он **УВИДИТ** что либо новое, а он так не думал: он изучал все эти снимки столько раз, что был уверен — он разглядел все, что на них можно было разглядеть), он посмотрит на это, изучит это и ни за что не отведет взгляд. Даже если сможет... Грустный внутренний голос внушительно подсказывал ему, что момент для того, чтобы отвести взгляд, упущен, возможно даже навсегда.

На фотографии была изображена большая черная собака на фоне белого частокола. Собственно, казалось, что белым он был раньше, когда кто-то в этом плоском мире полароидного снимка пытался покрасить или хотя бы побелить его. Но в это верилось с трудом: забор выглядел неухоженным, заброшенным. Верхушки некоторых кольев были сломаны, другие неряшливо покосились наружу.

Пес стоял на тротуаре перед забором, задом к зрителю. Его длинный пушистый хвост был опущен. Казалось, он обнюхивал один из кольев забора. «Может, потому, — подумал Кевин, — что забор был тем, что его папа называл «почтовым ящиком», — местом, где многие собаки останавливаются, чтобы задрать ногу и оставить таинственное послание в виде желтой струйки».

Пес производил на Кевина впечатление бездомного. Его длинная шерсть спуталась и была усыпана репейниками. Одно ухо у него было помято — наверное, след старой драки. Отбрасываемая псом тень была настолько длинной, что не умещалась на фотографии и заканчивалась, очевидно, где-то там, за забором, на заросшей сорняками пестрой лужайке. Эта тень навела Кевина на мысль, что снимок был сделан либо вскоре после восхода, либо незадолго до заката; не зная, как располагался фотограф (какой фотограф? Ха-ха!), ничего невозможно было сказать, кроме того, что он (или она) стоял лицом почти строго на запад или на восток.

В верхнем левом углу снимка в траве виднелся какой-то предмет, похожий на детский красный резиновый мяч. Впрочем, утверждать с уверенностью было трудно, ибо он находился по ту сторону ограды да к тому же был полускрыт пучком невзрачной травы.

Вот, пожалуй, и все.

— Ты узнаешь что-нибудь? — спросил Папаша, медленно водя увеличительным стеклом вдоль поверхности фотографии. Теперь

собачий зад вырос до размеров небольшого холма, поросшего диким и зловеще-экзотическим черным подлеском, несколько обшарпанных кольев увеличились до размеров старых телефонных столбов; теперь вдруг предмет за пучком травы стал виден совершенно отчетливо — это и в самом деле был детский мяч (хотя под увеличительным стеклом Папаши он выглядел как футбольный) — Кевин мог даже различить звездочки, выпуклыми резиновыми линиями опоясывавшие его середину. Таким образом, что-то новое все же обнаружилось под Папашиним увеличительным стеклом, а несколько минут спустя Кевин увидит еще кое-что уже сам, без лупы. Но это случилось чуть позже.

— Конечно нет, черт возьми! — сказал Кевин. — Откуда, мистер Меррилл?

— Но здесь же есть разные предметы, — терпеливо объяснил Папаша. Его увеличительное стекло по-прежнему блуждало над снимком. Кевин вспомнил виденный им однажды фильм, в котором полицейские выследили на поиски сбежавших заключенных вертолет с прожектором. — Собака, тротуар, частокол, который надо бы либо покрасить, либо разобрать, газон, который надо бы привести в порядок. Тротуар нам не много дает — его даже не весь видно, и дом, хотя бы фундамент, — он тоже не вошел в рамку, но я хочу сказать, что есть же вот эта собака. Тебе она знакома?

— Нет.

— А забор?

— Нет.

— А тот красный резиновый мяч? Как насчет него, сынок?

— Нет... но у вас такой вид, словно вы думаете, что я должен бы узнать их.

— У меня такой вид, словно я думаю, что ты МОЖЕШЬ узнать их, — ответил Папаша. — У тебя никогда не было такого мяча, когда ты был маленьким?

— Нет. По крайней мере, не припоминаю.

— Ты говорил, у тебя есть сестра.

— Мег.

— У нее тоже не было такого мяча?

— Не думаю. Я никогда особо не интересовался ее игрушками. У нее как-то была игра «Плохой стрелок», в которой был красный мяч, но другого оттенка. Темнее.

— Ага, я знаю, как выглядит мяч, о котором ты говоришь. Этот не из тех. А газон — он точно не ваш?

— Ё... то есть черт побери, конечно нет! — Кевин даже слегка обиделся. Они с папой регулярно ухаживали за газоном вокруг

своего дома. Он был ровного темно-зеленого света и оставался таким даже под опавшими листьями по меньшей мере до середины октября. — Во всяком случае, у нас нет частокола. — «А если бы был, — подумал он, — он не выглядел бы так безобразно».

Папаша щелкнул выключателем на рукоятке лупы, положил ее на бархатный лоскут и завернул в него с тщательностью, граничившей с почтением. Он убрал ее обратно в ящик и задвинул его. Затем внимательно взглянул на Кевина. Трубку он отложил в сторону, и теперь дым не скрывал его взгляда, по-прежнему острого, но уже немигающего.

— Я хочу сказать, что не может ли это быть ваш дом до того, как вы его купили, как по-твоему? Скажем, десять лет назад...

— Десять лет назад мы уже жили в нашем доме, — ответил Кевин, сбитый с толку.

— Ну хорошо, а двадцать? Тридцать? Я хочу сказать, тебе знаком рельеф? Похоже, что он слегка поднимается.

— Наша лужайка перед домом... — Кевин задумался, затем покачал головой. — Нет, наша ровная. Скорее уж она чуть понижается, чем повышается. Может, именно поэтому весной в дождливую погоду в подвале собирается вода.

— Ага, ага, возможно. А как насчет задней лужайки?

— Там нет тротуара, — ответил Кевин. — А с боков... — он осекся. — Вы пытаетесь выяснить, не снимает ли мой аппарат картинки из прошлого! — воскликнул он и в первый раз по-настоящему как следует испугался. Он потерял язык, небо и, как ему показалось, почувствовал вкус металла.

— Я просто спросил. — Папаша постукивал пальцами по столу рядом с фотографиями и, казалось, обращался скорее к самому себе, нежели к Кевину. — Знаешь, — сказал он, — порой вроде бы чертовски забавные вещи происходят с двумя устройствами, которые мы уже привыкли воспринимать почти как нечто само собой разумеющееся. Я не утверждаю, что это происходит на самом деле; только если нет, значит, на свете полно лгунов и отъявленнейших мистификаторов.

— Что же это за устройства?

— Магнитофоны и фотоаппараты «Полароид», — ответил Папаша, по-прежнему разговаривая как бы с фотографиями или с самим собой, словно Кевина вообще не было в этом пыльном, наполненном стуком часов закутке в глубине «Эмпориум Галориум». — Взять, к примеру, магнитофоны. Знаешь, сколько народа утверждают, что записали на магнитофон голоса давно умерших людей?

— Нет, — сказал Кевин. Он, собственно, не собирался понижать голос, но так вышло; казалось, по той или иной причине, у него не хватало воздуха в легких, чтобы говорить нормально.

— Я тоже, — сказал Папаша, передвигая пальцем фотографии с места на место. Палец был толстый и шишковатый, словно созданный для грубых и неуклюжих движений — пихать людей, смахивать с приставных столиков вазы и вызывать кровотечение при попытке извлечь засохшую козявку из хозяйской ноздри. И тем не менее, наблюдая за руками этого человека, Кевин думал, что в одном его пальце, возможно, побольше грации, чем во всем теле его сестры Мег (а может, и в его собственном; Делеваны отнюдь не славились проворством или ловкостью — вероятно, это было одной из причин, по которым образ отца, столь изящно подхватившего падавшую мать, запал ему в память и, может статься, навечно). Казалось, палец Папаши Меррилла вот-вот смахнет все фотографии на пол по ошибке — такие неуклюжие пальцы всегда пихают, бьют и щиплют по ошибке, — но этого не случилось. Фотографии просто перемещались на столе в такт его безостановочному движению.

«Сверхъестественный», — снова подумал Кевин и слегка содрогнулся. Это была НАСТОЯЩАЯ дрожь, вызвавшая у него удивление, испуг и слегка смутившая его, даже если Папаша ее не заметил.

— Но тем не менее как-то они это делают, — сказал Папаша и затем, словно Кевин спросил его, добавил:

— Кто? А черт его знает. Сдается мне, что некоторые из них — «исследователи психики» или, по крайней мере, называют себя так или как-то в этом роде, но, скорее всего, в большинстве своем они просто забавляются, как те люди, что на вечеринках колдуют над планшетами для спиритических сеансов.

Он мрачно взглянул на Кевина, словно вспомнив о его присутствии.

— У тебя есть планшетка для спиритических сеансов, сынок?

— Нет.

— А ты хоть раз играл с такой?

— Нет.

— И не играй, — еще более мрачно сказал Папаша. — Это опасные штуки, мать их...

Кевин не решился признаться старику, что не имеет ни малейшего представления об этих планшетах.

— Так вот, они ставят магнитофон на запись в пустой комнате. Подразумевается, что это должен быть старый дом, я хочу сказать, дом с Историей, если, конечно, удастся найти такой. Ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю «дом с Историей», сынок?

— Я думаю, это... вроде как с привидениями? — отважился предположить Кевин. Он вдруг обнаружил, что слегка вспотел, как происходило с ним всякий раз, когда миссис Уиттакер объявляла контрольную работу по алгебре без подготовки.

— Ну, в общем, да. Эти... люди... больше всего любят, когда у дома УЖАСНАЯ История, но если такого нет, то обходятся и без этого. Так вот, они ставят магнитофон и записывают эту пустую комнату. Затем на следующий день — они всегда записывают по ночам, я хочу сказать, что для полного счастья им нужно проделать это именно ночью, а лучше всего в полночь — на следующий день они прослушивают запись.

— Пустой комнаты?

— Иногда, — произнес Папаша задумчивым голосом, за которым, возможно (а может, и нет), скрывались более глубокие чувства, — там слышны голоса.

Кевин снова вздрогнул. Все же существуют тайные знаки! Не особенно приятные, но — существуют.

— Настоящие голоса?

— Как правило, воображаемые, — непринужденно сказал Папаша. — Но пару раз люди, которым я доверяю, утверждали, что слышали настоящие голоса.

— Но вы ЛИЧНО никогда не слышали их?

— Однажды, — коротко ответил Папаша и так долго ничего не добавлял, что Кевин начал думать, что больше тот ничего не скажет. — Это было всего одно слово. Оно прозвучало ясно, как колокольчик. Записано оно было в гостиной пустого дома в Бате. Там один человек убил свою жену в 1946 году.

— И что это было за слово? — спросил Кевин, уверенный, что не получит ответа, но столь же ясно сознавая, что ни одна сила в мире, и тем более его собственная сила воли, не может заставить его удержаться от этого вопроса.

Но Папаша ответил.

— Тазик.

Кевин моргнул. — Тазик?

— Ага.

— Но оно же ничего не означает.

— А может, и означает, — хладнокровно сказал Папаша, — если знать, что он перерезал ей горло и держал ее голову над тазиком, чтобы кровь стекала туда.

— О Боже!

— Ага.

— Боже, неужели это правда?

Папаша не посчитал нужным отвечать на эту реплику.

— А не могло это быть подделкой?

Папаша указал черенком трубки на фотографии.

— А это?

— О Господи!

— Теперь о «Полароидах», — сказал Папаша тоном рассказчика, который быстро переходит к следующей главе романа и читает слова «тем временем в другой части леса». — Я видел снимки, на которых были изображены люди, которых в момент съемки там не было, как клянутся другие люди, изображенные на фотографии. Один из таких снимков — он довольно известен — сделала какая-то леди в Англии. Она просто щелкнула группу охотников на лисиц, возвращавшихся домой в конце дня. Они все видны на карточке, числом около двадцати, переходящие деревянный мостик. По обе стороны от моста — обсаженная деревьями проселочная дорога. Передние охотники уже сошли с моста. А в правом углу снимка, у дороги, стоит женщина в длинном платье и шляпке с вуалью, так что лица ее не видно, и через руку у нее висит сумочка. Да чего там, даже видно, что на груди у нее то ли медальон, то ли часики.

Вот, и когда та леди, что сделала снимок, увидела его, она просто рассвирепела, и никто не решился бы винить ее за это, сынок, потому что, я хочу сказать, что она собиралась снять только тех охотников, возвращающихся домой, и никого больше, потому что больше там никого и НЕ БЫЛО. А на снимке есть. А если присмотреться поближе, кажется, что сквозь ту женщину видны деревья.

«Он все это выдумывает, разыгрывает меня, и когда я уйду, он вдоволь поржет надо мной», — думал Кевин, в душе уверенный в обратном.

— Леди, сделавшая этот снимок, останавливалась в одном из тех огромных английских домов, что показывают по телевидению в образовательных программах, и, рассказывают, когда она показала фотографию домочадцам, глава дома упал в глубокий обморок. Ну эта-то часть истории, может, и выдумана. Вполне возможно. По крайней мере, звучит неправдоподобно, верно? Но я сам видел газету, где эта фотография была напечатана рядом с художественным портретом прабабки того типа, и эта прабабка вполне могла быть той самой женщиной. Не могу утверждать этого наверняка из-за вуали. Но не исключено.

— Это также могло быть мистификацией, — прошептал Кевин.

— Могло, — равнодушно сказал Папаша. — Люди чего только не выкидывают для шалости. Взять, к примеру, моего племянника Эйса. — Его нос сморщился. — Отбывает четыре года в Шошенке,

и за что? Учинил драку в «Веселом Тигре». Он пошалил, и шериф Пэнгборн упрятал его в тюрьму за это. Дурачок получил по заслугам.

Кевин, демонстрируя мудрость не по возрасту, промолчал.

— Но когда на фотографиях появляются призраки, сынок, — или, как ты говоришь, то, что по мнению людей является призраком, — это почти всегда происходит со снимками, сделанными «Полароидами». И впечатление такое, что это всегда происходит случайно. А вот снимки летающих тарелок и этого лохнесского чудовища почти всегда другого рода. Такие, что их вполне может изготовить потехи ради в фотолаборатории какой-нибудь ловкач.

Он в третий раз подмигнул Кевину, показывая, на сколько разных шалостей (в чем бы они ни заключались) способен в хорошо оборудованной фотолаборатории беспринципный фотограф.

Кевин хотел спросить Папашу, а не могло ли так быть, что кто-то пошалил с планшеткой для спиритических сеансов, но решил пока продолжать помалкивать. На данном этапе это, без сомнения, было самым разумным.

— Все это я говорю к тому, что я подумал, мне следовало спросить тебя, не узнаешь ли ты что-нибудь на этих фотографиях.

— Но я не узнаю, — горячо ответил Кевин и подумал, что Папаша решит, что он лжет, как всегда делала мама, когда он совершал ту же тактическую ошибку, заключавшуюся в горячности, пусть даже сдерживаемой.

— Ага, ага, — Папаша так легко поверил ему, что Кевин почти рассердился.

— Ну, — сказал Кевин после минутного молчания, если можно считать молчанием тиканье пятидесяти тысяч часов, — я полагаю, в этом все дело, да?

— Может, и нет, — ответил Папаша. — Я хочу сказать, что у меня есть идея. Ты мог бы сделать еще несколько снимков этим фотоаппаратом?

— А толку-то? Они все одинаковые.

— В том-то и дело. Они не одинаковые.

Кевин открыл рот, потом закрыл его.

— Я даже возьму тебе расходы на пленку, — продолжал Папаша и, увидев изумленное лицо Кевина, быстро поправился:

— Частично, разумеется.

— И сколько снимков вам надо?

— Ну, у тебя их... сколько? Уже двадцать восемь, правильно?

— Да, вроде.

— Еще тридцать, — сказал Папаша, прикинув в уме.

— Но зачем?

— Этого я тебе не скажу. По крайней мере сейчас. — Он вытащил объемистый кошелек, пристегнутый к петле для брючного ремня стальной цепочкой. Открыв его, он вынул десятидолларовую купюру, поколебавшись, с очевидной неохотой добавил еще две по доллару.

— Это должно покрыть половину издержек.

«Да, верно», — подумал Кевин.

— Если ты действительно заинтересовался тем фокусом, что выкидывает твой аппарат, я полагаю, ты должен выложить остальное, не так ли? — Папаша смотрел на него мерцающими глазами старой любопытной кошки.

Кевин понял, что его согласия и не требуется: Папаша просто не поверит, если он скажет «нет». «Если я скажу «нет», — думал Кевин, — он даже не услышит этого, а ответит: «Отлично, вот и договорились», — и я все равно окажусь на улице с его деньгами в кармане, хочу я того или нет».

И кроме того, у него были деньги, полученные в подарок на день рождения.

В любом случае, ведь был же прохладный ветерок, о котором не следовало забывать. Тот ветерок, который, казалось, дул не с поверхности снимка, а изнутри самих фотографий, несмотря на их обманчиво ровную и обманчиво блестящую поверхность. Он упорно чувствовал этот ветерок, хотя фотографии молчаливо утверждали: «Мы просто сделанные «Полароидом» снимки, и ни при каких обстоятельствах мы не можем говорить и даже понимать что-либо — мы лишь показываем лишенную какого-либо драматизма внешность вещей». Этот ветерок был. Что делать с этим?

Кевин еще минуту колебался, а блестящие глаза за очками без оправы изучали его. «Я не буду спрашивать тебя, мужчина ты или трусливая мышь, — говорили они. — Тебе пятнадцать лет, и я хочу сказать, что в пятнадцать лет ты можешь еще не быть настоящим мужчиной, но, черт возьми, ты достаточно взрослый, чтобы уже не быть трусливой мышью, и мы оба знаем это. И кроме этого, ты не откуда-нибудь — ты из нашего города, как и я».

— Конечно, — ответил Кевин с показной легкостью в голосе, которая не обманула ни его самого, ни Папашу. — Думаю, я смогу достать пленку сегодня вечером, а завтра после школы принести вам фотографии.

— Не-а, — сказал Папаша.

— Вы закрыты завтра?

— Не-а, — опять сказал Папаша. Кевин терпеливо ждал. — Ты хочешь сделать тридцать снимков подряд, так?

— В общем, да.

— Я хочу, чтобы ты поступил иначе, — возразил Папаша. — Неважно, ГДЕ ты будешь фотографировать, но важно — КОГДА. Сейчас. Дай подумать.

Прикинув в уме, Папаша даже записал нужное время на листе бумаги, который Кевин спрятал в карман.

— Вот так! — сказал Папаша, потирая руки так энергично, что они издали звук, который издают трущиеся друг о друга два куска наждачной бумаги. — Ты зайдешь ко мне через... там получается что-то около трех дней?

— Да... кажется.

— Держу пари, что ты охотно подождал бы до понедельника, до окончания уроков, — сказал Папаша. Он в четвертый раз подмигнул Кевину — медленно, лукаво и в высшей степени оскорбительно. — Чтобы твои друзья не увидели, что ты пришел сюда, и не осудили тебя за это, вот что я хочу сказать.

Кевин вспыхнул, опустил глаза на стол и начал собирать фотографии, чтобы чем-нибудь занять руки. Когда он смущался и ему нечем было занять руки, он хрустел пальцами.

— Я... — он собирался высказать какое-то нелепое возражение, которое не убедило бы ни Папашу, ни его самого, и вдруг осекся, уставившись на один из снимков.

— Что? — спросил Папаша. Впервые за весь разговор его голос прозвучал полностью по-человечески, но Кевин почти не слышал его слов и уж тем более того тона легкой тревоги, которым они были произнесены.

— У тебя такой вид, мальчик, словно ТЫ увидел призрак.

— Нет, — сказал Кевин. — Не призрак. Я вижу того, кто сделал этот снимок. Кто НА САМОМ ДЕЛЕ сделал этот снимок

— О чем, черт возьми, ты говоришь?

Кевин указал на тень. Он сам, отец, мать, Мег и, очевидно, даже мистер Меррилл приняли ее за тень деревьев, не уместившихся в рамку. Но это было не дерево. Кевин увидел это сейчас, а то, что раз заметил, уже не можешь не видеть.

Количество тайных знаков росло.

— Я не понимаю, к чему ты клонишь, — сказал Папаша. Но Кевин почувствовал, что старик понял, что он действительно к ЧЕМУ-ТО клонит, и поэтому голос Папаши звучал беспокойно.

— Посмотрите сперва на тень собаки, — сказал Кевин. — А теперь опять на эту. — Он постучал по левой стороне фотографии. — На снимке солнце либо садится, либо встает. Поэтому все тени длинные, и трудно сказать, что их отбрасывает. Но вот сейчас, когда я смотрю на него, до меня дошло.

— ЧТО дошло, сынок? — Папаша потянулся и выдвинул ящик, вероятно намереваясь снова достать увеличительное стекло со светом... и вдруг замер. Лупа стала ему не нужна. До него внезапно тоже дошло.

— Это тень мужчины, так ведь? — спросил Папаша.

— Провалиться мне на месте, если это не так!

— Или женщины. Точно нельзя сказать. Вот ноги, это бесспорно, но они могут принадлежать женщине в брюках. Или даже парнишке. Тень такая длинная...

— Ага, точно не определить.

— Это ведь тень того, кто снимал, кем бы он ни был, да?

— Ага. Но это был не я, — заверил Кевин. — Этот снимок вылез из моего фотоаппарата — и все остальные тоже, — но я его не снимал. Так кто же сделал это, мистер Меррилл? Кто?

— Зови меня Папашей, — рассеянно отозвался старик, глядя на тень на фотографии, и Кевина распирало от удовольствия, а те немногие часы, которые еще были в состоянии чуть-чуть спешить, начали сигнализировать остальным, что, как бы те ни устали, пора отбивать полчаса.

ГЛАВА 3

Когда в понедельник после школы Кевин снова явился в «Эмпориум Галориум» с фотографиями, листья деревьев уже начинали желтеть. Уже почти две недели он был пятнадцатилетним, и новизна связанных с этим ощущений притупилась.

Чего нельзя было сказать о новизне ощущений, связанных со СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ, но это не доставляло ему особой радости. К тому времени, как он закончил делать снимки по расписанию, которое дал ему Папаша, он ясно увидел — достаточно ясно, во всяком случае, — почему Папаша хотел, чтобы он делал их с интервалами: первые десять — каждый час, затем дать аппарату отдохнуть, следующие десять — каждые два часа, и третий десяток — с трехчасовыми перерывами. Последние снимки он сделал уже в понедельник в школе. Тогда-то он и увидел еще кое-что, чего никто из них сперва увидеть НЕ МОГ; это кое-что было четко видно только на трех последних фотографиях. Эти три фотографии так его испугали, что он решил, еще до того, как отнес снимки в «Эмпориум Галориум», что ему нужно избавиться от своего «Солнца-660». Не обменивать его — этого он как раз делать не собирался, поскольку это означало, что фотоаппарат перейдет в другие руки и, следовательно, выйдет из-под его контроля. А уж этого он не мог допустить.

«Он мой», — подумал Кевин, делая самый первый снимок, и эта мысль постоянно возвращалась к нему, но она была НЕПРАВИЛЬНОЙ. Будь она верной — если бы фотоаппарат делал снимки черного беспородного пса у белого частокола только когда он, Кевин, и никто другой, нажимал спуск — это было бы одно дело. Но дело то было как раз в другом. В чем бы ни состоял тот дьявольский колдовской фокус, что был заключен в фотоаппарате, Кевин не был единственным, вызывавшим его проявление. Точно такие же фотографии (ну ПОЧТИ такие же) получались у его отца, и у Папаши Меррилла, и у Мег, когда Кевин позволил ей сделать пару снимков по тщательно составленному Папашей расписанию.

— Ты пронумеровал их, как я просил? — осведомился Папаша, когда Кевин вручил ему карточки.

— Да, от первого до пятьдесят восьмого, — ответил Кевин. Он прошелестел пачкой фотографий, показывая Папаше обеденные кружками маленькие цифирки в левом нижнем углу каждого снимка. — Но, честно говоря, не знаю, нужно ли все это. Я решил избавиться от аппарата.

— Избавиться? Ты что-то другое имеешь в виду.

— Да. Наверное. Я хочу разбить его кувалдой.

Папаша посмотрел на него своими пронизательными глазами.

— Вот как?

— Да, — подтвердил Кевин, выдержав этот взгляд. — Неделя назад я посмеялся бы над такой идеей, но сейчас мне не до смеха. Мне кажется, эта штука опасна.

— Ну, не исключено, что ты и прав, и, наверное, ты можешь привязать к нему заряд динамита и разнести его вдребезги, если хочешь. Он твой, вот что я хочу сказать. Но почему бы тебе не подождать немножко? Я хочу кое-что проделать с этими снимками. Тебе это может быть интересно.

— Что?

— Пока не хотелось бы говорить, — ответил Папаша, — на случай, если ничего не получится. Но, может статься, к концу недели у меня будет что то, что поможет тебе вернее решить, как поступить.

— Я УЖЕ решил, — сказал Кевин и постучал по двум последним снимкам в том месте, где было изображено то, что появилось только на них.

— Что это? — спросил Папаша. — Я рассматривал это в свое стекло, и у меня такое ощущение, словно я ДОЛЖЕН БЫ знать, что это такое, — как бывает, когда не можешь точно вспомнить имя, хотя оно и вертится у тебя на языке, вот что я хочу сказать.

— Наверное, примерно до пятницы я мог бы подождать, — сказал Кевин, решив не отвечать на вопрос старика. — Но дольше мне в самом деле не хотелось бы откладывать.

— Боишься?

— Да, — честно признался Кевин. — Я боюсь.

— Домашним своим рассказывал?

— Нет, не все.

— Ну, у тебя может и возникнуть такое желание. Может захотеться рассказать папе, по крайней мере, вот что я хочу сказать. У тебя будет время подумать над этим, покуда я займусь тем, чем я хочу заняться.

— Неважно, чем вы хотите заняться, а я собираюсь в следующую пятницу разбить его папиной кувалдой, — сказал Кевин. — Мне даже уже вообще расхотелось иметь фотоаппарат. «Полароид» ли или какой другой.

— Где он сейчас?

— В ящике моего комода. Там он и останется.

— Зайди сюда, в магазин, в пятницу, — сказал Папаша. — Аппарат принеси с собой. Мы посмотрим, что вышло из моей идеи, а потом, если ты захочешь разломать эту чертову штуку, я сам дам тебе кувалду. Бесплатно. У меня даже есть на заднем дворе подходящая колода, на которой ты сможешь его разбить.

— Идет! — улыбнулся Кевин.

— Скажи только, что ты говорил своим домашним обо всем этом?

— Что я пока еще не решил. Я не хотел их волновать. Особенно маму. — Кевин посмотрел на него с любопытством. — Почему вы сказали, что мне может захотеться рассказать папе?

— Если ты разобьешь этот аппарат, твой отец разозлится, — сказал Папаша. — Это, конечно, не смертельно, но он ведь может подумать, что ты малость с приветом. Или что ты паникер, как какая-нибудь старая дева, которая начинает звонить в полицию и визжать, что к ней ломится ночной грабитель, стоит только в доме скрипнуть половице, вот что я хочу сказать.

Кевин слегка покраснел, вспомнив, как рассердился отец, когда впервые прозвучала мысль о сверхъестественном, и вздохнул. В этом свете он совсем еще не рассматривал проблему и теперь, сделав это, подумал, что Папаша в чем-то прав. Ему вовсе не хотелось, чтобы отец разозлился на него, но это, в конце концов, он мог бы пережить. Но вот мысль о том, что отец может счесть его трусом или дураком, или и тем и другим вместе — это было совсем другое дело.

Папаша внимательно наблюдал за Кевином, читая все эти мысли на его лице так же легко, как иной человек мог бы прочесть заголовки на первой странице бульварной газеты.

— Как ты думаешь, он мог бы встретиться здесь с тобой в пятницу около четырех вечера?

— Никоим образом, — ответил Кевин. — Он работает в Портленде. Едва добирается домой к шести.

— Я позвоню ему, если хочешь, — сказал Папаша. — Он придет, если я позвоню.

Кевин вытаращился на него во все глаза.

Папаша криво улыбнулся.

— О, мы с ним знакомы, — сказал он. — Причем уже давно. Он не любит распространяться об этом, как и ты, и я это понимаю, но я хочу сказать, что я его знаю. Я знаю очень многих в этом городе. Расскажи я тебе, ты бы удивился, сынок.

— Но откуда?

— Как-то раз я оказал ему услугу, — сказал Папаша. Он зажег спичку о ноготь большого пальца, и его глаза скрылись за таким количеством дыма, что нельзя было понять, выражают ли они веселье, сентиментальность или презрение.

— Какую услугу?

— Это, — ответил Папаша, — останется между ним и мной. Точно так же, как это дело, — он указал на пачку фотографий, — останется между мной и тобой. Вот что и хочу сказать.

— Что ж... о'кей... пожалуй. Должен ли я ему что-нибудь говорить?

— Нет! — отвечал Папаша в своей бодрой манере. — Предоставь все мне. — В эту минуту, несмотря на завесу дыма, в глазах Папаши Меррилла можно было прочесть что-то совсем не понравившееся Кевину Делевану. Мальчик вышел из магазина в сильном смущении, зная наверняка только одно: он хочет, чтобы все это кончилось.

После его ухода Папаша сидел молча и неподвижно добрых пять минут. Не обращая внимания на то, что трубка в его зубах погасла, он барабанил по столу рядом с пачкой фотографий пальцами, которые в ловкости и умелости могли сравниться с пальцами скрипача, но были замаскированы под обрубки какого-нибудь землекопа или строителя. По мере того как дым рассеивался, все четче становились видны его глаза, и они были холодны, как льдинки в декабрьской лунке.

Внезапно он положил трубку на подставку и набрал номер магазина фото- и видеоаппаратуры в Льюистоне. Он задал два вопроса и на оба получил положительный ответ. Папаша повесил трубку и снова принялся барабанивать пальцами по столу рядом со снимками. То, что он замышлял, было не совсем честно по отноше-

нию к мальчику, но этот мальчик приоткрыл уголок чего-то, чего сам не только не понимал, но и НЕ ХОТЕЛ понимать.

Честно это было или нечестно, но Папаша не собирался позволить мальчику сделать то, что тот хотел. Он даже еще не решил, во всяком случае не до конца решил, что намерен сделать сам, но следовало должным образом подготовиться.

Это ВСЕГДА полезно.

Он сидел, постукивая пальцами, и размышлял, что же такое увидел мальчик. Очевидно было, что он полагал, что и Папаша узнает это — или может узнать, — но Папаше требовалась подсказка. Может, мальчик скажет это ему в пятницу. А может, и нет. Но если этого не сделает мальчик, то это, бесспорно, сделает его отец, которому Папаша однажды ссудил четыреста долларов, чтобы тот мог уплатить за проигранное им пари на исход баскетбольного матча, о чем ничего не знала его жена. Если, конечно, он сам будет знать. Даже лучшие из отцов не знают всего о своих сыновьях с того приблизительно момента, как тем исполнилось пятнадцать лет, но Папаша рассчитывал, что, поскольку Кевину пятнадцать лет исполнилось совсем недавно, его отец знает о нем почти все... или может это выяснить.

Он улыбнулся, продолжая барабанить пальцами по столу, а все часы устало начали отбивать пять пополудни.

ГЛАВА 4

В два часа пополудни в пятницу Папаша Меррилл перевернул висевшую на его входной двери табличку с «ОТКРЫТО» на «ЗАКРЫТО», скользнул за баранку своего «Шевроле» 1959 года выпуска, который уже много лет поддерживался в отличном состоянии «Техцентром Сонни» совершенно бесплатно (это было последствием еще одной маленькой ссуды, и Сонни Джэки, также живший в их городе, не сознался бы, даже если ему жечь подошвы горячими углями, в том, что он не просто знаком с Папашей Мерриллом, но находится в неоплатном долгу у него, вытащившего его в 1969 году в Нью-Хэмпшире из отчаянной передраги), и отправился в Льюистон, который он ненавидел, ибо у него было такое впечатление, что во всем этом городе всего на двух улицах (ну, может, на трех) движение не одностороннее. Добирался он так же, как делал всегда, когда без поездки в Льюистон было не обойтись: доезжал до окраины, а дальше медленно ввинчивался в город по спирали этих проклятых улиц с односторонним движением до тех пор, пока, по его подсчетам, он не оказывался максимально близко от нужного места, и затем

остаток пути шел пешком — высокий худой лысый человек в очках без оправы, в чистеньких брюках цвета хаки с отутюженными складками и с манжетами и в синей рабочей блузе, застегнутой до самого воротника.

В витрине магазина фото- и видеотехники красовалась вывеска, на которой карикатурный человек сражался с огромным спутавшимся клубком киноплёнки и, очевидно, терпел поражение. Вид у него был такой, словно терпение его вот-вот лопнет. Над и под рисунком была надпись:

УСТАЛИ БОРОТЬСЯ? МЫ ПЕРЕПИШЕМ ВАШУ
8-МИЛЛИМЕТРОВУЮ КИНОПЛЁНКУ
(А ТАКЖЕ ФОТОСНИМКИ!)
НА ВИДЕОКАССЕТУ!

«Еще одно дьявольское приспособление, — подумал Папаша, открывая дверь и заходя внутрь. — От них все зло».

Но он принадлежал к той породе людей-ворчунов, которые отнюдь не отказываются от использования того, к чему они относятся пренебрежительно, если это целесообразно. Он перемолвился парой слов с продавцом. Тот привел хозяина, с которым Меррилл был знаком с незапамятных времен (возможно, с тех самых, когда Гомер плыл под парусами по винноцветному морю, как сказали бы некоторые остряки). Хозяин пригласил Папашу в заднюю комнату, где они выпили по рюмочке.

— Чертовски странная эта пачка фотографий, — сказал хозяин.

— Ага.

— А видеозапись с них получится еще более странной.

— Ручаюсь, это так.

— Это все, что ты можешь сказать?

— Ага.

— Ну и хер с тобой, — сказал хозяин, и они оба закудахтали своим пронзительным стариковским смехом. Продавец за прилавком даже вздрогнул.

Двадцать минут спустя Папаша вышел из магазина с двумя предметами: видеокассетой и новеньким «Солнцем-660» в упаковке.

Вернувшись к себе, он набрал номер Кевина и не был удивлен, когда трубку снял Джон Делеван.

— Если ты, старая змея, втянул моего парня в какую-нибудь гадость, я тебя убью! — без предисловий заорал Джон Делеван, и до уха Папаши донесся обиженный мальчишеский крик: «Па-а-па!»

Папашины губы растянулись, обнажив зубы — кривые, шерба-тые, желтые от трубки, но все его собственные, клянусь лысиной Христа, — и если бы Кевин видел его в тот момент, он бы не просто подумал, что Папаша Меррилл, наверное, все же не является лишь касл-рокской версией Безыскусного Доброго Старого Мудреца, — он был бы в этом уверен.

— Послушай, Джон, — сказал Папаша. — Я пытаюсь ПОМОЧЬ твоему парню с этим фотоаппаратом. Вот и все, что я пытаюсь сделать, клянусь тебе. — Он помолчал. — Точно так же, как однажды я помог тебе, когда ты слегка переоценил игроков команды «76», вот что я хочу сказать.

На другом конце линии воцарилась гробовая тишина, которая означала, что Джон Делеван хотел бы многое сказать по этому поводу, но присутствие в комнате Кевина заткнуло ему рот, как кляп.

— Послушай, твой парень ничего об этом не знает, — продолжал Папаша, и его ядовитый оскал еще больше ширился в тикающем полумраке «Эмпориум Галориум», где преобладали запахи старых журналов и мышиного помета. — Я сказал ему, что это его не касается, точно так же, как нынешнее дело касается в первую очередь его. Я бы даже и не вспоминал про то пари, если б знал другой способ заставить тебя прийти ко мне, вот что я хочу сказать. А тебе нужно посмотреть на то, что у меня есть, Джон, потому что иначе ты не поймешь, почему парень хочет вдребезги разбить подаренный ему тобой фотоаппарат...

— РАЗБИТЬ?!

— ...и почему я думаю, что это чертовски хорошая идея. Теперь скажи, придешь ты сюда вместе с ним или нет?

— Я ведь не в Портленде, черт возьми!

— Не обращайте внимания на вывеску «ЗАКРЫТО» на двери, — сказал Папаша безмятежным тоном человека, который всегда добивается своего и ожидает, что так будет продолжаться и впредь. — Просто постучите.

— Кто, черт возьми, назвал моему сыну твое имя, Меррилл?

— Я его не спрашивал, — ответил Папаша тем же способным привести в бешенство безмятежным тоном и повесил трубку. После чего добавил, обращаясь к пустому магазину:

— Я знаю только, что он пришел ко мне. Как приходили все остальные.

Дожидаясь прихода Делеванов, он вынул из коробки купленный им в Льюистоне «Полароид» и похоронил коробку глубоко в ящике для мусора рядом со своим рабочим столом. Задумчиво посмотрев на фотоаппарат, он зарядил его пробной кассетой на четыре снимка,

прилагавшейся к «Солнцу». Сделав это, он разложил аппарат, открыв объектив. На несколько секунд зажегся красный огонек слева от молниобразной линии, а затем заморгал зеленый. Папаша не очень удивился, обнаружив, что охвачен тревогой. «Ну, — подумал он, — была не была», — и нажал спуск. Беспорядочный, похожий на сарай, интерьер «Эмпориум Галориум» мгновение купался в безжалостном неправдоподобном свете. Фотоаппарат издал свое скрежещащее поскуливание и выплюнул то, что через минуту станет снимком «Полароида», полностью отвечающим предъявленным к нему требованиям, но которому все же чего-то не хватает — картинкой плоского мира, в котором корабли, без сомнения, уплывут за край прокуренного и уродливо размалеванного света, если будут двигаться все время на запад.

Папаша смотрел на будущую фотографию с тем же зачарованным выражением, какое было у Делеванов, когда они ожидали проявления первого снимка Кевина. Он говорил самому себе, что этот аппарат не сделает того же, что делал тот, злополучный, конечно же, не сделает, но все равно оцепенел от напряжения и, каким бы стреляным воробьем он ни был, если бы в этот момент в доме случайно скрипнула половица, он почти наверняка вскрикнул бы.

Но половица не скрипнула, и когда снимок проявился, на нем показалось только то, что и должно было показаться: собранные и разобранные часы, тостеры, перевязанные бечевкой стопки журналов, светильники с такими ужасными абажурами, что только представительницам высших британских классов они могли действительно понравиться, полки книг в бумажных обложках (шесть штук за доллар) с заглавиями вроде «Когда стемнеет, любимая», «Плотский огонь», «Медный кекс» и, на самом заднем плане, пыльное окно фасада. Даже можно было разобрать буквы ЭМПОР с обратной стороны, остальные были скрыты громоздким силуэтом комода.

И никакого чудовища из загробного мира, никакой куклы в синем комбинезоне с ножом в руках. Самый обыкновенный фотоаппарат. Папаша подумал, что его прихоть первым делом сделать снимок, просто чтобы посмотреть, что получится, показывает, как глубоко засела в нем вся эта история.

Вздыхнув, Папаша отправил фотографию вслед за упаковкой от аппарата. Затем выдвинул центральный ящик стола и достал оттуда небольшой молоток. Твердо взяв фотоаппарат в левую руку, он коротко взмахнул молотком в пыльном тикающем воздухе. Он не прикладывал больших усилий. В этом не было надобности. В наше время никто уже не гордится своей квалификацией. Много говорят о чудесах современной науки, синтетических материалах, новых

сплавах, полимерах и еще бог знает о чем. Все это ерунда. Сопли — вот из чего на самом-то деле делается все в наши дни, и не надо особенно стараться, чтобы разбить фотоаппарат, сделанный из соплей.

Объектив треснул. От него во все стороны полетели осколки пластика, и это кое о чем напомнило Папаше. На том аппарате это было с левой или с правой стороны? Он нахмурился. С левой. Они, скорее всего, ничего не заметят, а если и заметят, то сами не вспомнят, с какой стороны это должно быть, — за это можно было почти ручаться, но Папаша не много бы нажил, если бы надеялся на «почти». Лучше подстраховаться.

Это никогда не помешает.

Отложив молоток, он щеточкой смахнул отломившиеся кусочки стекла и пластика со стола на пол, затем положил щеточку на место и вынул тонкий фломастер и острый, как бритва, нож. Наметив фломастером приблизительные очертания того кусочка пластмассы, который отломился у делевановского «Солнца», когда Мег столкнула его на пол, он начал резать ножом по проведенным линиям. Достаточно, по его мнению, углубившись в пластик, он положил нож обратно в ящик и столкнул «Полароид» со стола. То, что случилось однажды, должно случиться опять, тем более что он наметил линию облома.

Расчет оправдался. Осмотрев фотоаппарат, у которого, помимо разбитого объектива, теперь еще и откололся сбоку кусочек пластмассы, он кивнул и спрятал его в укромное место под столом. Затем отыскал отвалившийся от аппарата кусочек пластика и отправил его в мусорный ящик вслед за упаковкой и снятой им фотографией.

Теперь оставалось только ждать прихода Делеванов. Папаша взял видеокассету и поднялся наверх в тесную квартирку, где он жил. Положив кассету на видеоманитофон, купленный им для того, чтобы смотреть порнуху, которая в наши дни продается свободно, он сел почитать газету. В Пакистане разбился самолет. Погибло сто тридцать человек. «Постоянно каким-то дуракам не живется на свете, — подумал Папаша, — ну да черт с ними. То, что несколькими индусиками на свете стало меньше — это только к лучшему, с какой стороны ни погляди». Затем он перешел к спортивной странице и посмотрел, как сыграли «Ред Сокс». У них по-прежнему оставались хорошие шансы на победу в Восточном дивизионе.

ГЛАВА 5

— Что это было за дело? — спросил Кевин, когда они уже собирались выходить. Они были вдвоем в доме. Мег ушла на свой балет, а миссис Делеван по традиции в этот день играла в бридж с подругами. Она, как обычно, вернется домой в пять часов, привезет большую пиццу с самой разнообразной начинкой и будет рассказывать, кто с кем разводится или, по крайней мере, собирается.

— Не твое дело, — ответил мистер Делеван грубоватым голосом, в котором смешались неудовольствие и смущение.

День был прохладный. Мистер Делеван искал свою легкую куртку. Вдруг он остановился, обернулся и посмотрел на сына, который стоял позади него, одетый в свою собственную куртку и с «Солнцем» в руке.

— Ладно, — сказал он. — Я сроду не пытался установить неравенство в наших с тобой отношениях, черт побери, и не хочу делать этого сейчас. Ты понимаешь, что я имею в виду.

— Да, — ответил Кевин и подумал: «Я отлично понимаю, о чем ты говоришь, вот что я хочу сказать».

— Твоя мать ничего об этом не знает.

— Я не скажу ей.

— Не говори так, — резко оборвал его отец. — Стоит только покатиться по этой дорожке, и уже не остановишься.

— Но ты сам сказал, что ты никогда...

— Да, я никогда ей не рассказывал, — сказал отец, найдя наконец куртку и влезая в нее. — Она никогда не спрашивала, и я никогда ей не рассказывал. Если она тебя никогда об этом не спросит, ты не должен ничего ей говорить. Звучит путано, как параграф из воинского устава, верно?

— Да, — признался Кевин. — По правде говоря, да.

— О'кей, — сказал мистер Делеван. — О'кей... но именно так мы поступаем. Если эта тема хоть раз всплывет, то МЫ должны будем рассказать. Если не всплывет, мы не обязаны рассказывать. Вот таким образом мы, взрослые, всегда поступаем. Звучит нехорошо, согласен, и иногда это действительно нехорошо, но именно так мы и поступаем. Ты сможешь это пережить?

— Думаю, да.

— Вот и отлично. Пошли.

Они двинулись в путь по подъездной аллее, шагая бок о бок, на ходу застегивая куртки. Ветер играл волосами на висках Джона Делевана, и Кевин впервые заметил — с неприятным удивлением, — что отец начал седеть.

— Собственно, дело то было небольшое, — сказал мистер Делеван. Он словно разговаривал с самим собой. — У Папаши Меррилл всегда так. Он не из тех, кто делает большие дела, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Кевин кивнул.

— Он, знаешь ли, сколотил себе неплохое состояние, но вовсе не на этой своей лавке со старьем. Он касл-рокская версия Шейлока.

— Кого?

— Неважно. Когда-нибудь ты прочтешь эту пьесу, если только образование не полетит ко всем чертям. Он дает взаймы деньги под проценты более высокие, чем разрешено законом.

— Тогда почему люди занимают у него? — спросил Кевин в то время, как они направлялись к деловой части города, проходя под деревьями, с которых медленно падали красные, пурпурные и золотые листья.

— Потому что, — угрюмо отвечал мистер Делеван, — им больше некуда обратиться.

— Ты хочешь сказать, что они некредитоспособны?

— Что-то в этом роде.

— Но мы... ты...

— Да. Сейчас мы живем хорошо. Но так было не всегда. Когда мы с твоей матерью только поженились, наш бюджет был полной противоположностью нынешнему.

Он снова умолк, и Кевин не торопил его.

— Вот, и был тогда один парень, который ужасно гордился «Селтикс», — наконец снова заговорил отец. Он смотрел при этом вниз, на свои ноги, словно боялся наступить на трещину в тротуаре. — Они должны были в играх плэй-офф встретиться с «Филладельфией-76». Они — «Селтикс» — считались фаворитами в этой паре, но не столь безусловными, как обычно. У меня было предчувствие, что ребята из «76» должны пройти их, что это их сезон.

Он быстро взглянул на сына почти украдкой, подобно тому, как магазинный вор тащит маленький, но довольно ценный предмет и сует его в свое пальто, после чего вернулся к отысканию трещин в тротуаре. Теперь они шли по Касл-хилл, направляясь к единственному в городе светофору на пересечении Лоуэрмэйн-стрит и Уотермилл-лэйн. За перекрестком мост, который местные жители называли «Оловянным», пересекал речушку под названием Касл-стрим. Верхняя часть его конструкции делила темно-синее осеннее небо на правильные геометрические фигуры.

— Наверное, это то самое чувство, та особенная уверенность, из-за которой несчастные игроки лишаются в казино и в нелегаль-

ных играх в покер своих банковских счетов, домов, машин и даже одежды, в которой они делают ставки. Такое чувство, словно получил телеграмму от Бога. Я получил ее всего однажды, как раз тогда, и я благодарен Богу за это.

В то время я частенько заключал с кем-нибудь дружеское пари на исход футбольного матча или чемпионата мира, и самой высокой ставкой были, помнится, пять долларов, но обычно намного меньше, просто что-нибудь символическое: монетка в четверть доллара или, скажем, пачка сигарет.

На этот раз взгляд на собеседника украдкой бросил Кевин, да только мистер Делеван поймал его, вне зависимости от наличия или отсутствия трещин в тротуаре.

— Да, я тогда и курил. Сейчас я не курю и не держу пари. С того самого случая. Он меня вылечил от этого.

Тогда мы с твоей матерью были женаты всего два года. Ты еще не родился. Я работал помощником маркшейдера и приносил домой что то около ста шестнадцати долларов в неделю. Или столько я стал получать после того, как правительство наконец отменило пошлины, — не помню.

Тот парень, который так гордился «Селтикс», был одним из инженеров. Он даже носил на работе зеленую тренировочную куртку «Селтикс», такую, с трилистником на спине. За неделю до начала игр плей-офф он то и дело повторял, что не прочь найти кого-нибудь достаточно смелого и достаточно глупого, кто заключил бы с ним пари на «76», потому как у него было четыреста долларов, которые ждали только удобного случая, чтобы принести ему дивиденд.

Внутренний голос подзуживал меня все громче и громче, и вот за день до начала игр я подошел к нему в обеденный перерыв. Сердце мое готово было выскочить из груди, так я боялся.

— Потому что у тебя не было четырехсот долларов, — сказал Кевин. — У него были, а у тебя нет. — Теперь он смотрел на отца открыто, впервые со времени своего первого визита к Папаше Мерриллу забыв про фотоаппарат. Желание узнать, что же происходит с «Солнцем-660», уступило место — естественно, на время — более свежему и яркому впечатлению: в молодости его отец совершил потрясающую глупость, совсем как другие люди, возможно, как сам он когда-то, когда был оставлен без присмотра и рядом не было взрослых из племени Здравомыслящих, чтобы уберечь его от какого-нибудь ужасного импульса, какого-нибудь незаконнорожденного инстинкта. Оказывается его отец сам некоторое время принадлежал к племени Инстинктивных. В это трудно было поверить, но разве услышанное не было доказательством?

— Правильно.

— Но ты все равно побился с ним об заклад.

— Не сразу, — сказал отец. — Я сказал ему, что, по-моему, «76» выиграет чемпионат, но четыреста долларов — слишком большая сумма для скромного помощника маркшейдера, чтобы рисковать ею.

— Но ты так и не сказал ему прямо, что у тебя нет таких денег.

— Боюсь, что дело зашло далеко. Я вел себя так, словно они у меня БЫЛИ. Я сказал, что не могу позволить себе проиграть четыреста долларов, но это было, мягко говоря, неискренностью. Я сказал ему, что не могу рисковать такими деньгами на равных условиях — при этом я, как видишь, не врал, но скатился уже к самому краю лжи. Ты понимаешь?

— Да.

— Не знаю, что бы произошло — может, ничего, — если бы как раз в тот момент прораб не дал звонок, возвещавший о конце обеденного перерыва. Но он дал этот звонок, и инженер, вскинув вверх руки, сказал: «Готов держать с тобой пари два к одному, сынок, если хочешь. Мне без разницы. Все равно я положу четыреста долларов себе в карман». И прежде чем я сообразил, что происходит, мы ударили по рукам, чему были свидетелями с полдюжины людей, и мне осталось только ждать своей судьбы. По дороге домой в тот вечер я думал о твоей матери, о том, что бы она сказала, если б знала, и тогда я поставил к обочине старенький «Форд», который у меня был в то время, открыл дверцу и начал блевать.

Вниз по Харрингтон-стрит медленно проехала полицейская машина. Норрис Риджуик сидел за рулем, а Энди Клаттербак — за пулеметом. Клат приветливо поднял руку, когда бронемашина заворачивала налево, на Мэйн-стрит. Джон и Кевин Делеваны помахали ему в ответ, и вокруг них так мирно подремывала осень, словно Джон Делеван никогда и не сидел в открытой дверце своего старенького «Форда» и не блевал в лежавшую между его ботинок дорожную пыль.

Они перешли на другую сторону Мэйн-стрит.

— Вот... собственно говоря, можно сказать, что я не переплатил. «76» довели дело до седьмой игры, и все решилось в заключительные секунды, когда один из этих ирландских ублюдков — забыл, кто именно — украл мяч у Гэла Гриера и отправил его в корзину, и плакали мои четыреста долларов, которых у меня не было. Когда я на следующий день расплачивался с этим чертовым инженером, он сказал, что ему «пришлось немного понервничать в последние минуты». И все. Я готов был выдавить ему глаза.

— Ты расплатился с ним на следующий день? Каким образом?

— Я говорил тебе, это напоминало лихорадку. Когда мы ударили по рукам, заключая пари, лихорадка прошла. Я очень надеялся, что выиграю это пари, но знал, что готовиться надо к худшему. На карту было поставлено куда больше, чем просто четыреста долларов. Стоял вопрос о моей работе и о том, что может случиться, если я не смогу выплатить проигрыш тому парню, с которым я держал пари. Он был инженером и, с точки зрения служебной иерархии, моим начальником. Этот тип был порядочным сукиным сыном и вполне мог прижечь мне задницу, если бы я не выплатил проигранной ставки. Он не стал бы ссылаться на это пари, но уж откопал бы что-нибудь такое, что потом было бы внесено в мой послужной список большими красными буквами. Но не это было самым важным. Совсем нет.

— А что же?

— Твоя мать. Наш брак. Когда вы молоды и у вас нет ни ночного горшка, чтобы пописать, ни окна, из которого можно было бы мочу выплеснуть, ваш брак все время находится под угрозой. Не имеет значения, насколько вы любите друг друга, — такой брак подобен перегруженной выючной лошади, и вы понимаете, что эта лошадь может упасть на колени или даже покатиться замертво, если все невзгоды будут происходить в самые неподходящие моменты. Я не думаю, что она развелась бы со мной из-за четырехсотдолларового пари, но я рад, что мне не пришлось в этом убедиться. Итак, когда лихорадка прошла, я понял, что, возможно, поставил на кон нечто большее, чем четыреста долларов. Возможно, я поставил на кон все свое будущее, черт меня поberi.

Они уже подходили к «Эмпориум Галориум». На краю заросшего травой городского пустыря стояла скамья, и мистер Делеван жестом предложил Кевину сесть.

— Это не займет много времени, — сказал он и рассмеялся. Звук его смеха был резким и сдавленным, словно неопытный водитель заскрипел рукояткой переключения передач. — Мне было бы слишком неприятно растягивать эту историю, даже после стольких лет.

Они сели на скамью, и мистер Делеван закончил свой рассказ о том, откуда он знает Папашу Меррилла; взгляды их при этом были устремлены через пустырь с эстрадой посередине.

— Я пришел к нему в тот же вечер, как заключил пари, — сказал он. — Твоей матери я сказал, что иду за сигаретами. Было уже темно, так что никто не мог меня видеть. Я имею в виду, из городских. Тогда они узнали бы, что я в каком-то затруднении, а мне этого не хотелось. Я вошел, и Папаша спросил: «Что нужно в таком месте такому профессионалу, как вы, мистер Джон Делеван?», — и я рассказал ему, что произошло, а он сказал: «Ты

заклучил пари и уже настроился на мысль, что ты его проиграл». — «Если я все же проиграю его, — ответил я, — я хочу быть уверенным, что не потеряю большего».

Это его рассмешило. «Уважаю мудрых людей, — сказал он. — Я думаю, тебе можно доверять. Если «Селтикс» выиграют, зайди ко мне. Я помогу тебе. У тебя честное лицо».

— И это все? — спросил Кевин. В восьмом классе на уроках математики они сдавали зачет по ссудам, и он еще почти все помнил.

— Он не попросил никакого э... дополнительного обеспечения?

— Люди, которые ходят к Папаше, не имеют дополнительного обеспечения, — ответил отец. — Он не из тех акул-ростовщиков, которых показывают в кино; он не станет поднимать шум, если ты не заплатишь. Но у него есть свои способы разделяться с людьми.

— Какие способы?

— Неважно, — сказал Джон Делеван. — После окончания последней игры я поднялся наверх сказать твоей матери, что пойду за сигаретами — опять. К счастью, она спала, так что в этой лжи отпала надобность. Время было позднее, по крайней мере для Касл-Рока — около одиннадцати, но у него горел свет. Я ожидал этого. Он выдал мне требуемую сумму десятками. Доставал он их из старой консервной банки. Все десятки. Как сейчас помню. Они были смятые, но он их расправлял. Сорок десятидолларовых купюр, и он пересчитывал их, как банковский клерк, попыхивая трубкой и поднимая очки на макушку, и в какой-то момент мне захотелось выбить ему зубы. Вместо этого я поблагодарил его. Ты не представляешь, как трудно бывает порой сказать «спасибо». Надеюсь, тебе никогда и не придется узнать это. Он спросил: «Условия тебе понятны, не так ли?», и я ответил, что понятны, а он продолжил: «Вот и хорошо. Я не беспокоюсь на твой счет. Я хочу сказать, что у тебя честное лицо. Иди и улаживай свои дела с тем парнем на работе, а потом будешь улаживать дела со мной. И не заключай больше пари. Достаточно взглянуть тебе в лицо, чтобы понять, что ты не годишься для азартных игр». Словом, я взял деньги, пошел домой и спрятал их под половичком в автомобиле, после чего лег рядом с твоей матерью и всю ночь не сомкнул глаз, ибо чувствовал себя отвратительно. На следующий день я отдал эти десятки инженеру, с которым заключил пари, и теперь уже он пересчитал их, а потом просто сложил, сунул в карман рубашки и застегнул клапан, словно это была какая-нибудь топливная квитанция, которую он должен был в конце дня вернуть главному подрядчику. Затем он похлопал меня по плечу и сказал: «Я вижу, ты мужик что надо, Джонни. Лучше, чем я думал. Я выиграл четыреста, но двадцать

проиграл Биллу Антермейеру. Он поставил на то, что ты нынче утром первым делом подойдешь и отдашь мне бабки, а я поставил на то, что не увижу их до конца недели. Если вообще увижу». — «Я всегда плачу свои долги», — обиделся я. — «Ладно, не кипятись», — сказал он и снова похлопал меня по плечу, и в этот раз, думаю, я **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** чуть не выдавил ему глаза.

— Какой процент Папаша запросил с тебя, па?

Отец внимательно посмотрел на него.

— Он разрешает тебе так себя называть?

— Да, а что?

— Тогда остерегайся его, — сказал мистер Делеван. — Он сущая змея.

Он вздохнул, как бы признаваясь себе и сыну, что считает этот вопрос решенным, не утруждаясь доказательствами, и отдает себе в этом отчет.

— Десять процентов. Вот какими были условия.

— Это не так мно...

— Начисляемые еженедельно с остаточного долга, — добавил мистер Делеван.

Кевин на мгновение лишился дара речи. Потом выдавил:

— Но это же **НЕЗАКОННО!**

— Очень верное замечание, — сухо сказал мистер Делеван. Он посмотрел на недоверчиво вытянувшееся лицо сына, и его собственный напряженный взгляд смягчился. Он рассмеялся и хлопнул сына по плечу. — Это всего лишь жизнь, Кев, — сказал он. — Так или иначе, она всех нас сводит в конце концов в могилу...

— Но...

— Никаких «но». Таковы были условия, и я знал, что заплачу. В Оксфорде фабрике требовались рабочие на смену с трех до одиннадцати. Я говорил тебе, что готовился к проигрышу, и я не ограничился визитом к Папаше. Я поговорил с твоей матерью и сказал ей, что мне не мешало бы устроиться туда на время. В конце концов ей самой хотелось и машину поновее, и, при случае, квартиру получше, и положить немножко в банк на случай какого-нибудь финансового кризиса.

Он рассмеялся.

— Что ж, финансовый кризис наступил, и она об этом не знала, а я готов был на все, чтобы удержать ее в неведении. Я не был уверен в том, что мне это удастся, но настроен был решительно. Она была категорически против. Говорила, что я угроблю себя, работая по шестнадцать часов в день. Говорила, что эти фабрики опасны: постоянно в газетах читаешь о ком-нибудь, потерявшем руку или

ногу, или вовсе насмерть раздавленном под валками. Я успокаивал ее. Говорил, что буду работать на сортировке, где зарплата минимальная, зато работа сидячая, и что если мне в самом деле станет неважноту, я брошу эту работу. Она все равно возражала. Сказала, что сама пойдет работать, но от ЭТОГО я ее отговорил. Этого мне, знаешь ли, хотелось в последнюю очередь.

Кевин кивнул.

— Я сказал ей, что устраюсь на вторую работу на шесть, от силы на восемь месяцев. Короче, я пошел туда и нанялся, но не на сортировку. Я стал работать в вальцовочном цехе, подавая необработанное сырье в машину, похожую на отжим гигантской стиральной машины. Работа была опасная, нечего и говорить; если поскользнешься или зазеваешься — а от этого трудно было уберечься, потому что процедура была чертовски монотонная, — останешься без какой-нибудь части тела или вообще без тела. Однажды при мне один человек потерял руку в валке, и я не хотел бы еще раз стать свидетелем подобной сцены. Впечатление такое, словно в резиновой перчатке, нафаршированной мясом, разорвался заряд динамита.

— Черт побери! — сказал Кевин. Он редко чертыхался в присутствии отца, но тот, казалось, не обратил внимания.

— Тем не менее я получал два доллара восемьдесят центов в час, а через два месяца мне подняли зарплату до трех десяти, — продолжал он. — Это был сущий ад. Весь день я работал на строительстве дороги — хорошо хоть, что была ранняя весна и было не жарко, — а затем мчался на фабрику, выжимая из машины всю скорость, на какую она была способна, чтобы не опоздать. Снимал форму, буквально впрыгивал в джинсы и тенниску и не отходил от валков с трех до одиннадцати. Домой я добирался к полуночи, и самым тяжелым испытанием были ночи, когда твоя мать не ложилась спать, дожидаясь меня, — а так она делала два-три раза в неделю, — тогда я вынужден был притворяться веселым и полным энергии, в то время как с трудом мог двигаться по прямой — настолько я устал. Но если бы она это увидела...

— Она заставила бы тебя уйти со второй работы.

— Да. Заставила бы. Поэтому я притворялся веселым и бодрым и рассказывал ей смешные истории про сортировку, где я не работал, иногда задаваясь вопросом: что будет, если она как-нибудь вечером решит навестить меня там — привезти мне горячий обед или что-нибудь в этом роде. Я неплохо притворялся, но усталость все же, должно быть, проглядывала, поскольку она не переставала твердить, что я действую неразумно, полностью вырабатываясь за такую маленькую плату — а от нее действительно оставались

какие-то гроши, после того как сначала правительство, а затем Папаша забирали свою долю. Мне оставалось приблизительно столько, сколько получал рабочий сортировки с минимальной зарплатой. Расчет они производили по средам во второй половине дня, и я всегда спешил обменять свой чек на наличные в конторе, прежде чем кассирши уйдут домой.

Твоя мать никогда не видела ни одного из этих чеков.

В первую неделю я заплатил Папаше пятьдесят долларов — сорок были процентами, и десять — в счет четырех сотен, стало быть, я остался должен триста девяносто. Я стал похож на ходячее привидение. На основной работе я в обеденный перерыв садился в машину, съедал свой сэндвич и засыпал до того момента, когда прораб прозвонит в свой чертов колокольчик. Я ненавидел этот колокольчик.

И во вторую неделю я заплатил ему пятьдесят долларов — тридцать девять были процентами, одиннадцать — в счет основного долга — таким образом, я снизил его до трехсот семидесяти девяти долларов. Я чувствовал себя, как птица, пытающаяся склевать миллион и одно зерно одновременно.

На третью неделю я сам едва не угодил в валок, и это так меня напугало, что я на несколько минут проснулся — и этого времени хватило, чтобы у меня возникла идея, поэтому я полагаю, что это было тем самым несчастьем, без которого не было бы счастья. Мне надо было бросить курить. Я не мог понять, как я не додумался до этого раньше. В то время пачка курева стоила сорок центов. Я выкуривал две пачки в день. Это же пять долларов шестьдесят центов в неделю!

У нас на работе каждые два часа был перекур, и, посмотрев в свою пачку «Тэрейтонз», я увидел, что в ней оставалось десять, может, двенадцать сигарет. Я растянул их на полторы недели и никогда уже не покупал новых.

Я прожил месяц, не зная, выдержу или нет. Бывали дни, когда будильник звонил в шесть часов, и я чувствовал, что больше не могу, что должен все рассказать Мэри и выслушать все, что она мне по этому поводу выскажет. Но к началу второго месяца у меня появилось ощущение, что я, вероятно, выкарабкаюсь. Я до сих пор считаю, что это произошло благодаря лишним пяти шестидесяти в неделю и еще благодаря сдаваемым пустым бутылкам из-под пива и содовой, которые мне удавалось подобрать по обочинам дороги. От долга оставалось три сотни, а это значит, что я мог сбрасывать с него по двадцать пять — двадцать шесть долларов в неделю, — чем дальше, тем больше.

А потом, в конце апреля, мы закончили строительство дороги и получили неделю оплаченного отпуска. Я сказал Мэри, что собираюсь уйти с фабрики, и она возблагодарила Господа, а я провел эту неделю, работая на фабрике максимально возможное количество часов — по полторы смены. Со мной ни разу ничего не случилось. Я был в это время свидетелем несчастных случаев, они происходили с людьми менее усталыми и менее сонными, чем я, но не со мной. Не знаю почему. В конце той недели я выплатил Папаше Мерриллу сто долларов и уведомил руководство бумажной фабрики, что через неделю увольняюсь. После этой последней недели я сократил долг настолько, что мог выплатить его остаток из своей основной зарплаты незаметно для твоей матери.

Он глубоко и тяжело вздохнул.

— Теперь ты знаешь, как я познакомился с Папашей Мерриллом и почему я ему не доверяю. Я провел десять недель в аду, а он собрал урожай пота с моего лба и моей задницы в виде десятидолларовых купюр, которые он, без сомнения, потом снова вынул из той же консервной банки или из другой такой же и передал еще какому-нибудь растяпе, попавшему в такую же беду, как и я.

— Старик, ты должен ненавидеть его.

— Нет, — сказал мистер Делеван, вставая. — Я не испытываю ненависти ни к нему, ни к себе. У меня была лихорадка, вот и все. Все могло обернуться и хуже. Из-за этого мог погибнуть мой брак, и вы с Мег никогда бы не родились, Кевин. Или я сам умер бы от этого. Папаша Меррилл был лекарством. Это было горькое лекарство, но оно помогло. Что действительно трудно простить — это то, КАК оно помогало. Он брал деньги и записывал каждый цент в книгу, которую хранил в ящике под кассовым аппаратом, смотрел на круги под моими глазами и на то, как обвисли брюки у меня на зад, и не говорил ни слова.

Они двинулись по направлению к «Эмпориум Галориум», раскрашенному пыльным выгоревшим желтым цветом вывесок, слишком долго пребывавших в витринах деревенского магазина; у здания явно был декоративный фасад, но это его ничуть не смущало. Рядом с ним Полли Чалмерс подметала тротуар перед своим домом и болтала с Аланом Пэнгборном, шерифом округа. Она казалась молодой и свежей, стянув сзади волосы в хвост; он выглядел молодым и бравым в своей аккуратно выглаженной форме. Но внешность порой обманчива, это знал даже Кевин в свои пятнадцать лет. У мистера Пэнгборна весной в автомобильной катастрофе погибла жена и младший сын, и Кевин слышал, что миссис Чалмерс, сколько бы лет ей ни было, страдает тяжелой формой артрита,

который может через несколько лет превратить ее в калеку. Внешность порой обманчива. Эта мысль заставила его снова бросить взгляд на «Эмпориум Галориум»... а затем посмотреть на подаренный ему ко дню рождения фотоаппарат, который он нес в руке.

— Он даже оказал мне услугу, — задумчиво проговорил мистер Делеван. — Заставил меня бросить курить. Но все равно я ему не доверяю. Будь с ним осторожен, Кевин. И как бы ни обстояло дело, предоставь вести с ним переговоры мне. Я, наверное, пока еще знаю его лучше, чем ты.

И они вступили в пыльную тикающую тишину, где у дверей их поджидал Папаша Меррилл с поднятыми на лысину очками и, как всегда, с парочкой хитростей наготове.

ГЛАВА 6

— Ну, вот и вы, отец с сыном, — сказал Папаша, одаривая их восторженной улыбкой доброго дедушки. Его глаза мерцали за облачком трубочного дыма, и на мгновение, хотя Папаша был гладко выбрит, Кевину показалось, что тот смахивает на Деда Мороза. — У вас прекрасный мальчик, мистер Делеван. ПРЕКРАСНЫЙ.

— Я знаю, — ответил мистер Делеван. — Я расстроился, узнав, что он связался с вами, потому что хочу, чтобы он таким и оставался.

— Очень грустно, — сказал Папаша с легким оттенком упрека. — Очень грустно слышать это от человека, который, когда ему некуда больше было обратиться...

— С тем делом покончено, — сказал мистер Делеван.

— Ага, ага, именно это я и хочу сказать.

— А с этим пока еще нет.

— Но будет, — сказал Папаша. Он протянул руку, и Кевин передал ему аппарат. — Сегодня будет покончено. — Он поднял фотоаппарат, рассматривая его со всех сторон. — Это представитель современной продукции. КАКОЙ представитель, я не знаю, но ваш мальчик хочет разбить его, потому что считает его опасным. Думаю, он прав. Но я сказал ему: «Ты же не хочешь, чтобы твой папа посчитал тебя маменькиным сынком, так ведь?» Только поэтому я упросил его привести тебя сюда, Джон...

— Мне больше нравилось обращение «мистер Делеван».

— Хорошо, — вздохнув Папаша. — Вижу, что вы не хотите изменить свое отношение ко мне и позабыть прошлое.

— Нет.

Кевин с обеспокоенным выражением на лице переводил взгляд с одного мужчины на другого.

— Ну ладно, бог с ним, — сказал Папаша; его голос и выражение лица с бросившейся в глаза внезапностью посуровели, и он уже совсем не походил на Деда Мороза. — Когда я сказал «что в прошлом, то в прошлом, и что сделано, то сделано», я действительно имел это в виду... кроме тех случаев, когда прошлое влияет на поступки людей в данном месте и в данное время. Но я вот что хочу сказать, мистер Делеван: я играю честно, и вы это знаете.

Папаша произнес эту величественную ложь с такой категоричной холодностью, что оба они ему поверили; мистер Делеван даже слегка устыдился, как это ни невероятно.

— Наше с вами дело было нашим с вами делом. Вы сказали мне, что вам надо, я сказал вам, что я хочу за это, вы рассчитались со мной, и конец делу. Сейчас все по-другому. — И тут Папаша произнес ложь еще более изумительную, ложь, которая просто была слишком велика, чтобы ей не поверить. — Мне в этом деле никакой выгоды нет, мистер Делеван. Единственное, чего я хочу, — это помочь вашему мальчику. Он мне нравится.

Он улыбнулся и снова превратился в Деда Мороза, так быстро и так убедительно, что Кевину показалось, будто он никуда и не исчезал. Более того, Джон Делеван, который несколько месяцев выбивался из сил, пребывая на грани истощения, а может, даже смерти между валками, чтобы заплатить ту непомерную цену, которую этот человек потребовал с него во искупление кратковременного падения в умопомешательство, — Джон Делеван тоже забыл про другое выражение лица Папаши.

Папаша провел их извилистыми проходами через запах старой газетной бумаги и мимо тикающих часов и положил «Солнце-660» на рабочий стол, пожалуй, слишком близко к краю (совсем как Кевин в своем собственном доме, после того как сделал самый первый снимок) и сразу же двинулся дальше к лестнице в глубине комнаты, которая вела наверх, в его квартиру. К стене рядом с лестницей было прислонено старое пыльное зеркало, и Папаша взглянул в него, чтобы посмотреть, не возьмет ли мальчик или его отец фотоаппарат или не отодвинет ли его подальше от края стола. Он полагал, что ни того, ни другого не случится, но все возможно.

Они даже не взглянули на аппарат, и Папаша, поднимаясь впереди них по узкой лестнице со старинными, покрытыми полустертыми ковриками ступенями, скалил зубы в такой ухмылке, которая никому бы не понравилась, и думал: «Ну и молодчина же я, черт побери!»

Он открыл дверь, и они вошли в квартиру.

Ни Джон, ни Кевин Делеваны никогда прежде не были в квартире Папаши, и Джон не знал ни одного человека, который был бы там хоть раз. С одной стороны, в этом не было ничего удивительного: никто никогда не предлагал считать Папашу гражданином номер один их города. По мнению Джона, то, что у старого прохвоста есть-таки парочка друзей, не было невозможным — мир неистощим на причуды, — но если так, ему не было известно, кто эти друзья.

А Кевин мимоходом подумал о мистере Бейкере, своем любимом учителе. Он задался вопросом: а попадал ли мистер Бейкер когда-нибудь в такую ситуацию, что ему требовалась помощь такого субъекта, как Папаша? Это казалось ему столь же маловероятным, как его отцу то, что у Папаши есть друзья... но ведь еще час назад мысль, что его собственный отец...

Ладно. Пожалуй, лучше всего выкинуть это из головы.

У Папаши в действительности была парочка друзей (или, по крайней мере, приятелей), но он не приводил их сюда. Ему этого не хотелось. Слишком уж явно это жилище раскрывало его подлинную сущность. Оно как бы старалось быть опрятным, но без особого успеха. На обоях были водяные пятна; они, впрочем, не бросались в глаза, были побуревшими, едва заметными, подобно иллюзорным мыслям, тревожащим беспокойные умы. В старомодной глубокой раковине скопились немытые тарелки, и хотя стол был чистым, а крышка пластмассового помойного ведра закрыта, в комнате неуловимо присутствовал запах сардин и чего то еще — возможно, немытых ног. Запах едва заметный, как и пятна на обоях.

Гостиная была просто крохотной. Здесь пахло не сардинами и не ногами (если то был запах ног), а застоявшимся табачным дымом. Два окна выходили на отнюдь не живописную аллею, тянувшуюся позади Малберри-стрит, и если стекла еще сохраняли некоторые признаки того, что их когда-то мыли — или, по крайней мере, отряхивали время от времени, — то углы потемнели и засалились от насквозь прокуренного за многие годы воздуха. Вся комната имела такой внешний вид, словно множество всякой дряни было заметено под выцветшие вязанные коврики и спрятано под старомодными, слишком туго набитыми мягким креслом и диваном. Оба эти предмета были светло зеленого цвета, и зрение стороннего наблюдателя попыталось бы убедить его, что они составляют пару, но не смогло бы, ибо они ее не составляли. Разница в оттенке была, хотя и небольшая.

Единственными новыми вещами в комнате были большой телевизор «Мицубиси» с двадцатипятидюймовым экраном и видеомэг-

нитофон, стоявший на приставном столике рядом с телевизором. Слева от столика находилась кассетница, которая привлекла внимание Кевина тем, что была абсолютно пустой. Папаша решил, что лучше всего будет убрать на некоторое время в шкаф принадлежащие ему семьдесят с лишним порнофильмов.

Одна неподписанная видеокассета лежала в футляре на верхней панели телевизора.

— Садитесь, — предложил Папаша, указывая на неровную кушетку. Сам он подошел к телевизору и вынул кассету из футляра.

Мистер Делеван глянул на кушетку с некоторым сомнением, словно взвешивая, нет ли в ней клопов, и затем осторожно сел. Кевин опустился рядом. Его снова охватил страх, более сильный, чем прежде.

Папаша включил видеомагнитофон, вставил кассету в кассетоприемник и толкнул его книзу.

— У меня есть знакомый в городе, — начал он (для жителей Касл-Рока и его окрестностей «в городе» всегда означало «в Льюистоне»), — который вот уже около двадцати лет содержит магазин фотоаппаратов. Он также занялся видеомагнитофонами, как только они появились, говорил, что это волна будущего. Он приглашал меня в долю, но я решил тогда, что он дурачок. Что ж, тогда я ошибся, вот что я хочу сказать, но...

— Ближе к делу, — сказал отец Кевина.

— Я пытаюсь, — сказал Папаша, широко раскрыв глаза и приняв обиженный вид. — Если вы позволите.

Кевин мягко надавил локтем отцу в бок, и тот промолчал.

— Так вот, пару лет назад он обнаружил, что давать напрокат видеофильмы — не единственный способ делать деньги на этой технике. Если выложить всего-навсего восемьсот долларов, то можно потом брать у людей кинофильмы и фотографии и переписывать их на видеопленку. Так намного удобнее смотреть.

Кевин издал какой-то короткий произвольный звук, и Папаша, улыбнувшись, кивнул головой.

— Ага. Ты сделал этим своим аппаратом пятьдесят восемь снимков, и мы все видели, что каждый из них немного отличается от предыдущего, и у меня сразу возникла догадка, но я хотел убедиться. Не обязательно быть из Миссури, чтобы попросить показать, вот что я хочу сказать.

— Вы попытались сделать из этих снимков фильм? — спросил мистер Делеван.

— Не просто попытался, — сказал Папаша. — Сделал. Вернее, сделал мой знакомый из города. Но идея была моя.

— И фильм получился? — спросил Кевин. Он понял, что сделал Папаша, и почувствовал легкую досаду оттого, что сам до этого не додумался, но главными чувствами, заполнившими его, были удивление и восторг.

— Смотрите сами, — сказал Папаша и включил телевизор. — Пятьдесят восемь снимков. Когда этот парень переписывает фотографии для людей, он обычно отводит на каждую по пять секунд — этого достаточно для того, чтобы как следует рассмотреть, говорит он, но недостаточно для того, чтобы заскучать до следующей фотографии. Я сказал ему, чтобы на каждый из этих снимков он отвел ровно по секунде и смонтировал их подряд, без затемнений.

Кевин вспомнил игру, в которую, бывало, играл в начальной школе, когда у него было свободное время до начала следующего урока. У него был дешевый блокнотик, который назывался «Радужный школьный блокнот», потому что в нем тридцать листочков были желтого цвета, следующие тридцать — розового, следующие тридцать — зеленого и так далее. Чтобы играть в ту игру, надо было открыть самый последний листок и внизу его нарисовать человечка в мешковатых шортах с разведенными в стороны руками. На следующем листке на том же месте рисовался тот же самый человечек в тех же мешковатых шортах, только на этот раз с руками, поднятыми повыше... но совсем чуть-чуть. И так на каждой страничке, покуда руки не сойдутся над головой человечка. Затем, если еще оставалось время, надо было продолжать рисовать человечка, но теперь уже постепенно опуская его руки. И если, закончив рисовать, слегка согнуть блокнот и быстро отпускать странички по одной, придерживая остальные большим пальцем, получалось подобие примитивного мультфильма о боксере, торжествующем победу нокаутом: он поднимал руки над головой, заламывал их, потрясал ими и опускал их вниз.

Кевин вздрогнул. Отец посмотрел на него. Он помотал головой и прошептал:

— Ничего.

— Итак, я хочу сказать, что запись длится всего около минуты, — сказал Папаша. — Смотреть надо внимательно. Готовы?

«Нет», — подумал Кевин.

— Полагаю, да, — ответил мистер Делеван. Он по-прежнему пытался казаться сердитым и раздраженным, но Кевин чувствовал, что отец заинтересовался происходящим помимо своей воли.

— О'кей, — сказал Папаша и нажал клавишу «пуск».

Кевин повторял себе снова и снова, что бояться глупо. Он говорил себе это, и... это ни капельки не помогало.

Он догадывался, что он сейчас увидит, поскольку они с Мег оба заметили, что «Солнце» не просто воспроизводит раз за разом одно и то же изображение, словно фотокопировальная машина; довольно скоро они поняли, что на выстроенных по порядку фотографиях изображено движение.

— Смотри, — сказала тогда Мег. — Собака движется!

Вместо того чтобы ответить одним из своих дружеских, но подначивающих саркастических замечаний, как он обычно делал в разговоре с младшей сестрой, Кевин сказал:

— Похоже на то... но наверняка нельзя утверждать, Мег.

— Нет, можно, — ответила она. Они находились в его комнате, где он незадолго до того угрюмо разглядывал фотоаппарат. Тот лежал посреди его письменного стола, оттеснив к краю новые учебники, которые Кевин собирался обернуть. Мег нагнула гусиную шею настольной лампы так, чтобы она отбрасывала яркий круг света на середину лежавшего на столе листа промокательной бумаги. Затем она отодвинула аппарат в сторону и положила первый снимок — тот самый, с пятнышком от глазури — в центр светового круга.

— Сосчитай заборные столбы между собакой и правым краем фотографии, — предложила она Кевину.

— Это колья, а не столбы, — ответил он. — То, чем ты ковыряешь в своем носу, когда он объявляет забастовку.

— Ха-ха. Сосчитай их.

Он сосчитал. Их было четыре, и еще можно было разглядеть кусочек пятого, большая часть которого была заслонена тощим собачьим задом.

— А теперь посмотри сюда.

Она положила перед ним четвертый снимок. Здесь пять кольев были видны целиком, и шестой — частично.

Поэтому он знал — или предполагал, — что увидит некий гибрид очень старого мультфильма из одного из тех блокнотов-трещоток, которые он делал в школе, когда ему было нечего делать.

Последние двадцать пять секунд записи действительно были чем-то в этом роде, хотя Кевин подумал, что блокноты-трещотки, в которых он рисовал во втором классе, были на самом-то деле лучше... различаемые движения боксера, поднимавшего и опускавшего руки, были более плавными. В последние двадцать пять секунд видеозаписи действие разворачивалось судорожными рывками, которые делали старые немые фильмы про глупых полицейских похожими на чудеса современной кинематографии в сравнении с фильмами новыми.

Тем не менее, ключевым словом было «действие», и оно очаровало их всех — даже Папашу. Они просмотрели эту одноминутную запись трижды, не говоря ни слова. Тишину нарушало только их дыхание: быстрое и ровное через нос — у Кевина, более глубокое — у его отца и мокротное хрипение — у Папаши в его узкой груди.

А первые приблизительно тридцать секунд...

Как ему казалось, он ожидал действия: ведь было же действие в блокнотах-трещотках и в показываемых каждую субботу утром по телевизору мультфильмах, которые были лишь чуть более изощренной версией блокнотов-трещоток, но вот чего он не ожидал, так это того, что первые тридцать секунд записи не напоминали просмотр быстро отпускаемых большим пальцем страниц тетради и даже примитивного мультфильма, вроде «Сносного Опоссума», по телевизору: в течение тридцати секунд (двадцати восьми, строго говоря) то, что получилось из его отдельных фотографий, выглядело до жути похожим на настоящий фильм. Не на голливудский, конечно, и даже не на низкосортный фильм ужасов из тех, что Мег порой упранивала его взять напрокат для их собственного видеоманитфона, когда матери с отцом вечером не было дома; это скорее напоминало отрывок из домашнего кино, снятого кем-то, кто совсем недавно обзавелся восьмимиллиметровой камерой и еще толком не научился ею пользоваться.

В первые двадцать восемь секунд черный беспородный пес шел с едва заметными рывками вдоль забора, открывая в нем для обозрения пять, шесть, семь кольев; он даже остановился обнюхать один из них по второму разу, очевидно читая еще одну собачью телеграмму. Затем двинулся дальше, опустив голову вниз к забору, повернув зад к фотоаппарату. И в середине этой первой части Кевин обратил внимание еще на кое-что, чего он не заметил раньше: фотограф, очевидно, поворачивал аппарат, чтобы собака оставалась в рамке. Если бы он (или она) не делал этого, пес просто вышел бы из кадра, оставив для обозрения только забор. Те колья, которые на первых двух-трех фотографиях были крайними справа, исчезли за правой границей кадра, а слева появились новые. Это можно было утверждать с уверенностью, поскольку у одного из двух крайних справа кольев верхушка была отломана. Теперь ее не было в кадре.

Пес снова принялся нюхать... и вдруг поднял голову. Его здоровое ухо встало торчком; то, которое было исполосовано и обречено на неподвижность в какой-то старой драке, попыталось сделать то же самое. Звука не было, но Кевин почувствовал с непоколебимой уверенностью, что собака зарычала. Пес почуял что-то или кого-то. Что или кого?

Кевин посмотрел на тень, которую они сперва принимали за тень от ветки дерева или, может, от телефонного столба, и понял.

Голова пса начала поворачиваться... именно тогда началась вторая часть этого странного «фильма»: тридцать секунд движения резкими рывками, от которого болела голова и рябило в глазах. «У Папаши уже была какая-то догадка, — подумал Кевин, — или он читал о чем-нибудь в этом роде прежде». В любом случае, эта догадка подтвердилась и оказалась слишком очевидной, чтобы ее нужно было доказывать. Когда снимки делались с небольшими интервалами, если вообще не один за другим, действие в этом импровизированном «кино» разворачивалось почти плавно. Не совсем, но почти. Но когда фотографии делались со значительными промежутками во времени, то, что они в данный момент наблюдали, до тошноты было неприятно глазу, который хотел видеть либо кино, либо серию неподвижных фотографий, а вместо этого видел сразу и то, и другое, и в то же время ничего как следует.

В том плоском «полароидном» мире время тоже шло. Не с той же скоростью, как в этом

(РЕАЛЬНОМ?)

мире, — иначе солнце там уже трижды взойшло бы (или село), и что бы ни собирался сделать пес, это уже было бы сделано (если он вообще собирался что-либо делать), а если б он ничего не сделал, то просто ушел бы, оставив только неподвижный и, по-видимому, вечный полуразвалившийся частокол, охраняющий равнодушный ко всему клочок лужайки, — но оно шло.

Голова пса поворачивалась к фотографу, отбрасывавшему тень, так, словно у собаки был припадок: одно мгновение морда и даже форма головы были закрыты вислым ухом; затем показался черно-коричневый глаз в круглом грязноватого цвета венчике, напомнившим Кевину испорченный яичный белок, потом стала видна половина морды со слегка сморщенными губами, словно пес готовился залаять или зарычать, и, наконец, можно было увидеть три четверти морды, в некотором роде более ужасной, чем приличествует быть морде простой собаки, — можно даже сказать, подлой морды. Белые брызги на морде наводили на мысль, что пес был уже не молод. В самом конце записи можно было заметить, что губы собаки действительно растягиваются. Сверкнуло что-то белое: как подумал Кевин, зуб. И только на третьем просмотре он понял: его внимание привлек глаз. Это был глаз убийцы. Казалось, этот беспородный пес вот-вот завизжит от злобы. И у собаки не было имени; в этом он тоже был уверен. Он не допускал и тени сомнения, что ни один «полароидный» мужчина, ни одна «полароидная» женщина и ни

один «полароидный» ребенок никогда не давал никакого имени этому «полароидному» псу; он был бездомным, родился бездомным, рос бездомным, состарился и озлобился бездомным — это воплощение всех собак, когда-либо бродивших по миру, безымянных и бездомных, душащих цыплят, питающихся отбросами из помойных ведер, которые они давно научились опрокидывать, ночующих в водопропускных трубах и под верандами брошенных домов. Разум его затуманен, но его инстинкты отчетливы и кровавы. Он...

Кевин настолько глубоко и основательно погрузился в свои мысли, что, когда голос Папаши Меррилла вывел его из этого состояния, он чуть не вскрикнул.

— Человек, который фотографировал... — сказал Папаша. — Если там **ВООБЩЕ** был человек, вот что я хочу сказать. Что, по-вашему, случилось с НИМ?

Нажав клавишу паузы на пульте дистанционного управления, он остановил последний кадр. По экрану побежала статическая линия. Кевину хотелось, чтобы она проходила через глаз собаки, но линия была ниже. А глаз уставился на них, злобный, тупо-кровожадный — нет, не тупо, не совсем, и от этого он не просто пугал, а ужасал, — и на вопрос Папаши не требовалось ответа. Равно как не требовалось делать следующих фотографий, чтобы понять, что должно произойти дальше. Пес, возможно, услышал что-то: конечно, услышал, и Кевин знал, что именно. Он услышал пресловутое скрежещущее поскуливание.

На следующих снимках было бы видно, как он продолжает поворачиваться и затем начинает занимать все больше и больше места в кадре, покуда не станет видно ничего, кроме пса, — ни равнодушной ко всему пестрой лужайки, ни забора, ни тротуара, ни тени. Только пес.

Собравшийся нападать.

Собравшийся убивать, если сможет.

Казалось, бесстрастный голос Кевина исходит из кого-то другого.

— Сдается мне, что он не любит фотографироваться, — сказал он.

Отрывистый смешок Папаши прозвучал, как треск ломаемого о колено для растопки пучка сухих прутьев.

— Перемотайте назад, — попросил мистер Делеван.

— Хотите посмотреть всю запись сначала? — спросил Папаша.

— Нет — только последние секунд десять.

Папаша, нажимая клавиши на пульте дистанционного управления, отмотал пленку назад и снова запустил ее. Собака поворачивала голову резкими толчками, словно робот, старый и уже плохо действующий, но все еще опасный, и Кевин хотел сказать: «Оста-

новите. Сейчас же остановите. Достаточно. Сейчас же остановите и давайте разобьем фотоаппарат». Ибо существовало еще одно обстоятельство, так ведь? Что-то, о чем он не желал думать, но скоро подумает, хочется ему того или нет; он чувствовал, как оно поднимается в его мозгу, словно широкая спина кита.

— Еще раз, — попросил мистер Делеван. — На этот раз кадр за кадром. Сможете?

— Ага, — сказал Папаша. — Чертова машина делает все, что угодно, только что белье не стирает.

Теперь кадр пошел за кадром, один снимок сменял другой. Это уже походило не на робота, во всяком случае, не совсем на робота, а скорее на какие-то причудливые часы, на что-то из серии находившихся внизу Папашиных экземпляров. Толчок. Толчок. Толчок. Голова поворачивается. Сейчас на них снова уставится этот безжалостный глаз.

— Что это? — спросил мистер Делеван.

— Что это? — переспросил Папаша, словно не знал, что это был тот самый предмет, о котором в прошлый раз не захотел разговаривать мальчик, тот самый предмет — в этом он был убежден, — который и навел мальчика на мысль уничтожить фотоаппарат раз и навсегда.

— То, что висит у него на шее, — показал мистер Делеван. — Это не ошейник и не поводок, но что-то висит у него на шее на шнурке или тонкой веревке.

— Не знаю, — невозмутимо ответил Папаша. — Может, ваш парень знает? У молодых глаза поострее, чем у нас, стариков.

Мистер Делеван повернулся и посмотрел на Кевина.

— Ты можешь разобрать, что это такое?

— Я... — он замолчал. — Этот предмет очень маленький.

Его мысли вернулись к тому, что сказал отец, когда они выходили из дома. «Если она тебя никогда об этом не спросит, ты не должен ничего ей говорить... Вот каким образом мы, взрослые, всегда поступаем». Только что он спросил Кевина, не может ли тот разобрать, что за предмет висит у собаки на шее. Кевин толком не ответил на этот вопрос; он сказал что-то совсем другое. «Этот предмет очень маленький». И он действительно был маленький. А тот факт, что Кевин все равно знал, что это такое... что ж...

Как там это назвал отец? Скатиться к самому краю лжи?

Строго говоря, он не мог разглядеть этот предмет. Во всяком случае, достаточно отчетливо. И тем не менее он знал, что это такое. Глаз лишь подсказывал, а сердце понимало. Равно как понимало и то, что, если он прав, фотоаппарат надо уничтожить. НАДО.

В этот момент Папашу Меррилла вдруг осенила неплохая идея. Он поднялся и выключил телевизор.

— У меня внизу есть фотографии, — сказал он. — Я принес их назад вместе с видеопленкой. Я тоже заметил эту штуку и пытался рассмотреть ее в свое увеличительное стекло, но безуспешно... но она в самом деле выглядит знакомо, черт побери. Сейчас я принесу фотографии и лупу.

— С тем же успехом мы можем спуститься вниз вместе с вами, — предложил Кевин, а этого-то Папаша хотел меньше всего на свете, но тут вмешался Делеван, дай ему Бог здоровья, и сказал, что ему может захотеться еще раз просмотреть запись, после того как они изучат парочку последних фотографий под увеличительным стеклом.

— Я мигом, — сказал Папаша, и подобно птичке, прыгающей на яблоне с веточки на веточку, весело упорхнул, прежде чем они успели возразить, если бы и хотели.

Кевин, во всяком случае, не хотел. Та самая мысль наконец всплыла в его мозгу, показав свою чудовищную спину, и волей-неволей он был вынужден ее обдумать.

Она была простой, как спина кита, — по крайней мере на взгляд того, кто не зарабатывает на жизнь изучением китов, — и такой же колоссальной.

Это была даже не идея, а простая уверенность. Она была связана с той странной плоскостью изображения, которая, такое впечатление, всегда присуща «полароидным» снимкам, показывающим предметы лишь в двух измерениях, хотя это делают все фотографии; но другие фотографии по крайней мере создают ощущение НАМЕКА на третье измерение — даже сделанные простым «Кодаком-110».

А на ЕГО фотографиях, показывающих то, что он никогда не видел через видоискатель «Солнца» или, если на то пошло, где-либо еще, предметы были именно такими — решительно, безоговорочно двухмерными.

Кроме собаки.

Собака не была плоской. Она не была бессмысленным предметом, который можно узнать, но который не оказывает эмоционального воздействия. Собака не просто создавала ощущение НАМЕКА на три измерения, но, казалось, действительно имела их, подобно голограмме или стереоскопическому кино, где зрители должны надевать специальные очки, чтобы должным образом воспринимать двойное изображение.

«Это не «полароидная» собака, — думал Кевин, — и она не принадлежит тому миру, картины которого снимают «Полароиды».

Это бред, я знаю, но я также знаю, что это правда. Так что же это значит? Почему мой фотоаппарат раз за разом делает ее снимки и что за «полароидный» мужчина или «полароидная» женщина фотографирует ее? Видит ли он или она ее вообще? Если это трехмерная собака в двухмерном мире, может, он или она не видит ее... не может видеть. Говорят, для нас время является четвертым измерением, и мы знаем, что оно существует, но мы не можем его увидеть. Мы даже не можем как следует чувствовать его течение, хотя порой, я думаю, особенно когда нам скучно, кажется, что можем».

Но пока во всем этом разберешься, все это может уже вовсе не иметь значения, да и вопросы были для него слишком трудными. Существовали другие вопросы, которые в данный момент представлялись ему более важными, вопросы жизни, а может, и смерти.

Например, почему пес оказался именно в ЕГО фотоаппарате?

Хотел ли он чего-то от НЕГО или вообще от кого-нибудь? Сперва он думал, что верно второе, что псу подходит любой человек, потому что кто угодно мог делать снимки этого пса и действие на фотографиях всегда продолжало разворачиваться. Но вещь, висевшая у пса на шее, та, что не была ошейником... она имела отношение к нему, Кевину Делевану, и ни к кому больше. Хотел ли пес сделать что-то с ним? Если ответ на ЭТОТ вопрос был положительным, можно было забыть все остальные, потому что, черт возьми, было вполне очевидным, что именно хочет сделать собака. Это читалось в ее мрачном глазу, в рычании, которое, как было видно, она начинала издавать. Он полагал, что она хотела сделать две вещи.

Первое — вырваться из плоского мира.

Второе — убить.

«Там мужчина или женщина с фотоаппаратом, которая, может, даже не видит этого пса, — подумал Кевин, — а если фотограф не видит собаку, то, возможно, и собака не видит фотографа, и, стало быть, фотограф в безопасности. Но если пес в самом деле трехмерный, то он, вероятно, видит то, что происходит снаружи, — видит всякого, кто пользуется моим фотоаппаратом. Может быть, это все же не я, или не обязательно именно я; может быть, его мишенью является любой, кто пользуется аппаратом».

И тем не менее — тот предмет, что висел у пса на шее... Как быть с ним?

Он подумал о темных глазах дворняги, которые можно было бы назвать глупыми, если б не злобная искорка в них. Одному Богу известно, как этот пес сперва попал в «полароидный» мир, но когда его сфотографировали, он мог видеть то, что происходит СНАРУЖИ, и захотеть ВЫБРАТЬСЯ туда, и Кевин сердцем чувствовал,

что в первую очередь пес хочет убить его, об этом ГОВОРИЛ, об этом СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ предмет, висевший у пса на шее, ну а потом?

Что ж, после Кевина сгодится и любой другой человек.

Абсолютно любой.

Чем-то это напоминало еще одну игру раннего детства, так ведь? «Гигантские шаги». Пес двигался вдоль забора. Пес услышал «Полароид», его скрежещащее поскуливание. Он повернулся и увидел... что? Свой собственный мир или вселенную? Мир или вселенную, настолько похожую на его собственную, что он увидел или почувствовал, что способен или, по крайней мере, может попробовать жить и охотиться здесь? Впрочем, это не имеет значения. Важно, что теперь каждый раз, как кто-либо снимет его, пес будет приближаться. Он будет приближаться и приближаться до тех пор, пока... пока что? Пока он каким-либо способом не вырвется наружу?

— Глупости, — пробормотал он. — Ему здесь сроду не пролезть.

— Что? — спросил отец, пробуждаясь от собственных размышлений.

— Ничего, — ответил Кевин. — Я просто говорил с самим со...

В это мгновение снизу донесся приглушенный, но различимый вскрик Папаши Меррилла, в котором смешались испуг, раздражение и удивление:

— Ах, чтоб тебе срать огнем и экономить спички! Черт побери!

Кевин с отцом испуганно посмотрели друг на друга.

— Пойдем посмотрим, что случилось, — сказал отец, вставая. — Надеюсь, он не свалился с лестницы и не сломал себе руку или что-нибудь еще. То есть часть меня надеется на это, а... ты понимаешь.

А Кевин подумал: «Что, если он в это время делал новые снимки? Что, если этот пес сейчас уже там, внизу?»

Но в голосе старика не слышалось страха, да к тому же действительно никоим образом собака, внешне размерами сходная со средней немецкой овчаркой, не могла протиснуться сквозь фотоаппарат величиной с «Солнце-660», равно как и сквозь сделанный этим фотоаппаратом снимок. С равным успехом можно попытаться пропихнуть стиральную машину сквозь отверстие в доске от выпавшего сучка.

И тем не менее он боялся за обоих — за всех троих, — спускаясь вслед за отцом по лестнице обратно в темный магазин на первом этаже.

Спускаясь по лестнице, Папаша Меррилл был рад-радешенек.

Он уже приготовился в случае необходимости произвести подмену прямо у них на глазах. Возможно, у него возникли бы при этом

некоторые проблемы, если бы он имел дело с одним мальчиком, который только через год-два начнет думать, что знает все на свете, но его папа — эх, обдурить этого славного малого было бы не сложнее, чем украсть рожок у младенца. Рассказал ли Делеван сыну о той передрыге, в которую он тогда попал? Из того, как парень смотрел на него — по-новому, с опаской, — Папаша заключил, что, вероятно, рассказал. Интересно, а что еще он ему рассказал? Надо подумать. «Он разрешает тебе звать его Папашей? Значит, он собирается тебя надуть». Это для начала. «Он, сынок, подлая змея, прячущаяся в траве». Это в качестве продолжения. А затем, конечно, последовало обязательство: «Предоставь разговаривать с ним мне, сынок. Я знаю его лучше, чем ты. Ты только предоставь все дело мне». Для Папаши Меррилла люди вроде Делевана были тем же, чем для иного гурмана аппетитная порция жареного цыплячьего мяса — нежного, вкусного, сочного, только что самого с костей не падающего. Когда-то Делеван сам был почти ребенком и так до конца и не понял, что это не Папаша выжал из него все соки, а он сам. Он ведь мог пойти к своей жене, и та подоила бы немного эту старую курицу, свою тетушку, у которой даже ее высохшая сморщенная задница была облицована стоцолларовыми купюрами, а Делеван побыл бы некоторое время в немилости, но вскоре она бы его простила. Но Делеван не только не посмотрел на дело с этой стороны; он вообще на него не посмотрел. И вот теперь, не имея на то никаких оснований, кроме дурацкого времени, которое знай себе шло без всякой посторонней помощи, он полагает, что знает все, что только можно узнать о Реджинальде Мэрионе Меррилле.

Что как раз и нужно было Папаше.

Да чего там, он мог бы заменить один фотоаппарат на другой прямо у Делевана на глазах, и тот ни черта бы не увидел — настолько он был уверен, что раскусил старого Папашу.

Но так, как случилось, было еще лучше.

Госпожу Удачу бесполезно просить о свидании, у нее есть привычка заставлять мужчин напрасно ждать себя как раз тогда, когда они больше всего в ней нуждаются. Но если уж она объявляется по собственной инициативе... ну, тогда стоит бросить все свои дела и вести ее в ресторан, угощать и потчевать так щедро, как можешь. Эта сука всегда дает, если поухаживать за ней как следует.

Итак, он быстро подошел к рабочему столу, нагнулся и вытащил из-под него «Полароид-660» с разбитым объективом. Положив его на стол, он выудил из кармана связку ключей (предварительно бросив быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что ни отцу, ни сыну не вздумалось все же спуститься вниз), и отобрал ключик,

который открывал запертый выдвижной ящик, занимавший всю левую часть стола. В этом глубоком ящике хранились несколько старинных золотых кругеррандов; альбом марок, в котором наименее ценная марка стоила шестьсот долларов по последнему «Марочному Каталогу» Скотта; коллекция монет стоимостью приблизительно девятнадцать тысяч долларов; две дюжины глянцевых фотографий женщины с затуманенными глазами, совокупляющейся с шотландским пони, и некоторое количество наличных денег на общую сумму две с небольшим тысячи долларов.

Эти наличные деньги, уложенные в разнообразные жестянки, предназначались для дачи взаймы. Джон Делеван узнал бы эти купюры. Все они были смятыми десятками.

Папаша положил «Солнце-660» Кевина в этот ящик, запер его и спрятал ключи обратно в карман. Затем он столкнул фотоаппарат с разбитым объективом со стола (еще раз) и вскрикнул: «Ах, чтоб тебе срать огнем и экономить спички! Черт побори!» — достаточно громко для того, чтобы они услышали.

После этого он придал своему лицу подобающее выражение испуга и досады и ждал, пока они прибегут посмотреть, что случилось.

— Папаша! — крикнул Кевин. — Мистер Меррилл! С вами все в порядке?

— Ага, — ответил тот. — Пострадало только мое самолюбие, черт его возьми. Определенно, этому фотоаппарату не везет. Я нагнулся, чтобы открыть ящик с инструментами, вот что я хочу сказать, и столкнул эту чертову штуку прямо на пол. Только, похоже, на этот раз все не обошлось так же благополучно. Я даже не знаю, надо ли мне извиняться или нет. Я имею в виду, что ты собирался...

Он виновато протянул аппарат Кевину, который взял его и посмотрел на разбитый объектив и поломанный пластмассовый корпус вокруг него.

— Ничего, все о'кей, — сказал Кевин Папаше, вертя фотоаппарат в руках, — но теперь он уже не держал его так осторожно и робко, как раньше: так, словно аппарат в самом деле мог быть сделан не из пластика и стекла, а из какого-нибудь взрывчатого вещества. — Я так или иначе собирался разбить его.

— Выходит, я избавил тебя от лишних хлопот.

— Я чувствовал бы себя спокойнее... — начал Кевин.

— Ага, ага, у меня та же история с мышами. Смейтесь, если хотите, но когда я нахожу в мышеловке мертвую мышь, и все равно бью ее метлой. Просто на всякий случай, вот что я хочу сказать.

Кевин слабо улыбнулся и взглянул на отца.

— Он говорил, что у него на заднем дворе есть колода, па...

— У меня есть и вполне подходящая кувалда в сарае, если только кто-нибудь ее не спер.

— Ты не возражаешь, па?

— Это твой фотоаппарат, Кев, — сказал Делеван. Он метнул недоверчивый взгляд на Папашу, но взгляд этот говорил, что он не доверяет Папаше из общих принципов, а не по какой-либо конкретной причине. — Но если это позволит тебе чувствовать себя хоть немного спокойнее, тогда, наверное, это правильное решение.

— Отлично, — сказал Кевин. Он почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его плеч, — нет, с сердца. С разбитым объективом аппарат определенно ни на что не годился... но он не будет чувствовать себя до конца спокойно, пока не увидит его лежащим в виде обломков вокруг Папиной колоды. Он вертел его в руках туда-сюда, забавляясь и удивляясь тому, насколько ему нравится видеть и ощущать сломанный фотоаппарат.

— Полагаю, я должен вам стоимость этого аппарата, Делеван, — сказал Папаша, в точности зная, каким будет ответ.

— Нет, — сказал Делеван. — Давайте разобьем его и забудем всю эту сумасшедшую историю, как будто ее и не бы... — Он осекся. — Я почти забыл — мы собирались взглянуть на эти несколько последних фотографий под вашим увеличительным стеклом. Я хотел попытаться разобрать, что за вещь надета на пса. Мне по-прежнему кажется, что она выглядит знакомо.

— Мы ведь можем сделать это и после того, как избавимся от аппарата? — спросил Кевин. — О'кей, па?

— Конечно.

— ...А затем, — сказал Папаша, — наверное, неплохо было бы сжечь и сами фотографии. Вы можете сделать это прямо в моей кухонной плите.

— Я думаю, это отличная мысль, — согласился Кевин. — Что скажешь, па?

— Полагаю, в семье Мерриллов дураков не было, — ответил отец.

— Ну, — сказал Папаша, загадочно улыбаясь сквозь кольца поднимавшегося кверху голубого дыма, — нас у родителей было пятеро, знаете ли.

Когда Кевин с отцом шли в «Эмпориум Галориум», небо было ярко-синим, стоял великолепный осенний день. Теперь была уже половина пятого, большую часть неба затянуло тучами, и все

говорило о том, что еще до сумерек может начаться дождь. Впервые настоящий осенний холод тронул руки Кевина. Они бы обветрились и покраснели, если бы он оставался на улице длительное время, но у него не было подобных намерений. Через полчаса вернется домой мама, и ему уже было интересно, что она скажет, когда увидит, что они с папой ходили куда-то вместе, и что ответит ей папа.

Но эта проблема подождет.

Кевин положил «Солнце-660» на колоду, стоявшую на заднем дворе, и Папаша Меррилл вручил ему кувалду. Ее рукоятка была отполирована ладонями предыдущих пользователей. Голова покрылась ржавчиной, как если бы кто-то беспечно оставлял ее под дождем не раз и не два, а многократно. Тем не менее для данного дела она вполне годилась. В этом Кевин не сомневался. «Полароид» с разбитым объективом и почти полностью разломанным вокруг него корпусом казался хрупким и беззащитным на обколотов по краям, изгрызенной и расщепленной поверхности колоды, на которой более естественно смотрелось бы ясеневое или кленовое полено, ожидающее пока его расколют надвое.

Кевин положил ладони на гладкую рукоятку кувалды и сжал их.

— Ты не передумал, сынок? — спросил мистер Делеван.

— Нет.

— О'кей. — Отец взглянул на свои часы. — Тогда действуй.

Папаша стоял чуть сбоку, зажав гнилыми зубами трубку и засунув руки в задние карманы. Он переводил свой пронизывающий взгляд с мальчика на мужчину и обратно, но ничего не говорил.

Кевин поднял кувалду и, неожиданно удивленный тем, что фотоаппарат вызывает у него такой гнев, о котором он даже не подозревал, обрушил ее вниз со всей силой, на какую был способен.

«Перестарался, — подумал он. — Сейчас промахнешься, и хорошо, если не разможишь собственную ногу, а он останется лежать на колоде как ни в чем не бывало, хотя он всего лишь полый внутри кусок пластмассы, который даже маленький ребенок может растоптать в лепешку без всяких усилий, и даже если тебе настолько повезет, что ты не попадешь себе по ноге, на тебя ведь смотрит Папаша. Он ничего не скажет — ему в этом нет необходимости. Все, что он захочет сказать тебе, будет читаться в его взгляде».

И еще он подумал: «Неважно, попаду я по нему или нет. Он волшебный, магический фотоаппарат, и его НЕВОЗМОЖНО разбить. Даже если врежешь точнехонько по нему, кувалда просто отскочит от него, как пуля от груди Супермена».

Больше он ни о чем не успел подумать, потому что кувалда опустилась точно на фотоаппарат. Кевин действительно размахнул-

ся слишком сильно, чтобы сохранить хотя бы подобие контроля над кувалдой, но ему повезло. И кувалда не отскочила назад, не ударила Кевина прямо между глаз и не убила его, как бывает в самом конце ужасных историй.

Крушение «Солнца» не вызвало детонации. Во все стороны полетели куски черного пластика. Длинный прямоугольник с блестящим черным квадратом на конце — как предположил Кевин, фотография, которая никогда не будет снята — трепыхаясь, слетел на голую землю рядом с колодой и лег там лицевой стороной вниз.

На мгновение воцарилась тишина, настолько полная, что они могли слышать не только шум машин на Лоуэрмэйн-стрит, но даже ребятишек, играющих в салочки за полквартила от них на автостоянке позади продуктового магазина Уорделла, который два года назад прогорел и с тех пор стоял пустой.

— Ну, так-то вот, — сказал Папаша. — Ты махнул кувалдой совсем как Пол Баньян, Кевин! Целоваться мне со свиньей и улыбаться при этом, если это не так.

— Совсем не обязательно это делать, — продолжал он, обращаясь теперь к мистеру Делевану, суетливо собиравшему обломки пластика, как собирают осколки стакана, случайно столкнув его на пол и разбив вдребезги. — Ко мне каждую неделю или раз в две недели приходит один парень подметать двор. Я понимаю, что на самом-то деле этого мало, но если б у меня не было этого парнишки... Черт!

— Тогда, может быть, нам стоит воспользоваться вашим увеличительным стеклом и взглянуть на эти фотографии, — сказал мистер Делеван, поднимаясь. Он бросил собранные им несколько кусочков пластика в стоявшую рядом ржавую печку для мусора и отряхнул ладони.

— Я целиком за, — сказал Папаша.

— Только потом сожгите их, — напомнил Кевин. — Не забудьте.

— Не забуду, — ответил Папаша. — Я тоже буду чувствовать себя спокойнее, когда они будут уничтожены.

— Черт побери! — сказал Джон Делеван. Склонившись над рабочим столом Папаши Меррилла, он рассматривал в увеличительное стекло с подсветкой предпоследнюю фотографию. Именно на ней предмет, болтавшийся на шее пса, был виден наиболее четко; на последнем снимке он снова качнулся назад. — Кевин, посмотри сюда и скажи, то ли это, что я думаю.

Кевин взял увеличительное стекло и посмотрел. Он, конечно, и так знал, но все равно это не был взгляд лишь для проформы.

Наверное, так же очарованно Клайд Томбаф в первый раз смотрел на подлинную фотографию планеты Плутон. Томбаф знал, что она существует; расчеты, показывавшие схожие искривления орбитальных линий Нептуна и Урана, сделали существование Плутона не просто возможным, а необходимым. И все же ЗНАТЬ о существовании какой-то вещи, даже знать, что ЭТО за вещь... это не притупляет остроты тех ощущений, которые испытываешь, впервые по-настоящему увидев ее.

Он шелкнул выключателем и вернул лупу Папаше.

— Да, — сказал он отцу. — Это именно то, что ты думаешь. — Его голос был настолько же ровным, насколько... насколько плоскими, по его мнению, были предметы в «полароидном» мире, и ему вдруг захотелось смеяться. Он подавил это желание, не потому что смех был бы неуместен (хотя он именно так и считал), а потому, что его смех прозвучал бы... как бы сказать... плоско.

Папаша некоторое время подождал и, когда ему стало ясно, что их необходимо подстегнуть, сказал:

— Однако не заставляйте меня в нетерпении прыгать с ноги на ногу! Что, черт возьми, это такое?

Кевин не хотел говорить ему раньше, не хотел и сейчас. Причин тому не было, но...

«Перестань отмалчиваться, черт побери! Он помог тебе, когда тебе была нужна помощь, и неважно, какими средствами он зарабатывает бабки. Скажи ему, сожги фотографии и двигай отсюда, пока все эти часы не начали отбивать пять пополудни».

Да, если он будет еще поблизости, когда произойдет упомянутое событие, то это, думал он, будет последней каплей; он просто-напросто окончательно спятит, и его, бредящего настоящими собаками в «полароидных» мирах и фотоаппаратами, делающими почти что один и тот же снимок раз за разом, увезут на ручной тележке в сумасшедший дом.

— Этот фотоаппарат «Полароид» — подарок ко дню рождения, — услышал он как бы со стороны свой по-прежнему бесстрастный голос. — А то, что у пса на шее, — это еще один подарок.

Папаша медленно поднял очки на лысину и искоса взглянул на Кевина.

— Сдается мне, сынок, что я тебя не понимаю.

— У меня есть тетя, — объяснил Кевин. — Собственно, она моя двоюродная бабушка, но нам не разрешается так ее называть, поскольку она говорит, что при этом чувствует себя старой. Тетя Хильда. Так вот, муж тети Хильды оставил ей кучу денег — моя мама говорит, что у нее больше миллиона долларов, — но она скряга.

Он сделал паузу, предоставляя отцу возможность возразить, но тот лишь кисло улыбнулся и кивнул. Папаша Меррилл, которому все это было отлично известно (по правде говоря, в Касл-Роке и его окрестностях было не много такого, о чем Папаша не знал хотя бы что-нибудь), просто помалкивал, ожидая, пока мальчик доберется до главного.

— Она приезжает к нам на рождественские праздники раз в три года, и практически только тогда мы ходим в церковь, потому что ОНА ходит в церковь. Когда у нас гостит тетя Хильда, мы постоянно едим брокколи. Никому из нас это блюдо не нравится, а мою сестру от него и вовсе едва не тошнит, но зато тетя Хильда обожает брокколи, и поэтому мы его едим. В списке книг, которые мы должны были прочесть за лето, была одна под названием «Большие надежды», так вот там была одна леди, очень похожая на тетю Хильду. Она забавлялась тем, что дразнила своими деньгами родственников. Звали ее мисс Хэвишем, и вот когда эта мисс Хэвишем говорила «лягушка», люди подпрыгивали. Вот и мы так же прыгаем, и, я думаю, остальная родня тоже.

— О, твоя мать бледнеет рядом с твоим дядей Рэнди, — внезапно сказал мистер Делеван. Кевин полагал, что папа хотел произнести это с веселым цинизмом, а получилось с глубокой, едкой горечью. — Когда тетя Хильда говорит «лягушка» в доме Рэнди, они все чуть ли не кувыркаются колесом через потолочные балки.

— Так вот, — продолжал Кевин, обращаясь к Папаше, — каждый год она присылает мне на день рождения одну и ту же вещь. То есть вещь-то каждый раз новая, но, по сути, одна и та же.

— Что же она присылает тебе, парень?

— Галстук-шнурок, — сказал Кевин. — Похожий на те, что носили ребята, игравшие в оркестрах кантри-музыки прежних времен. На защипе у него каждый год изображено что-то новое, но это всегда галстук-шнурок.

Папаша схватил увеличительное стекло и склонился над фотографией.

— Забодай меня комар! — сказал он, выпрямляясь. — Галстук-шнурок! Совершенно верно! Но как же я не увидел этого раньше?

— Потому что это не та вещь, которую собаки часто носят на шее, я полагаю, — сказал Кевин все тем же деревянным голосом. Они с отцом находились в этом доме всего около сорока пяти минут, но у него было такое чувство, словно он прожил еще пятнадцать лет. «Главное, — вертелась мысль у него в мозгу, — что фотоаппарата больше нет. Остались только осколки. Ни вся королевская конница и вся королевская рать, ни даже парни, делающие фотоап-

параты на фабрике «Полароидов» в Скенектади, не смогут восстановить его».

Да, и слава Богу. Ибо это означало окончания всей истории. Что касается Кевина, то даже если он в следующий раз встретится со СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ только в восемьдесят лет и эта встреча не будет для него неожиданной, все равно ему покажется, что она произошла слишком рано.

— Кроме того, он очень маленький, — объяснил мистер Делеван. — Кевин при мне доставал его из коробки, и мы все знали, что в ней будет. Единственная тайна заключалась в том, что будет изображено на защипе в этом году. Мы даже шутили по этому поводу.

— И что же изображено на защипе? — спросил Папаша, снова всматриваясь в фотографию... или, скорее, НА фотографию: Кевин торжественно заявил бы в любом суде страны, что всмотреться В «полароидную» фотографию просто невозможно.

— Птица, — ответил Кевин. — Я почти уверен, что это дятел. И это именно то, что повязано вокруг шеи у пса на фотографии. Галстук-шнурок с дятлом на защипе.

— Черт! — сказал Папаша. Он был, на свой неброский лад, одним из лучших актеров в мире, но сейчас ему не было нужды притворяться удивленным.

Мистер Делеван резким движением руки смел все фотографии в кучу.

— Давайте-ка отправим эти чертовы штуки в печь, — сказал он.

Когда Кевин с отцом добрались домой, было десять минут шестого, и начинало моросить. Принадлежавшей миссис Делеван «Тойоты» позапрошлого года выпуска в подъездной аллее не было, но, оказывается, она уже возвращалась и снова уехала. На кухонном столе лежала оставленная ею записка, придавленная солонкой и перочницей. Когда Кевин развернул записку, из нее выпала десятидолларовая купюра.

Дорогой Кевин!

За мостом Джейн Дойон спросила, не хотим ли мы с Мег пообедать вместе с ней в кафе, поскольку ее муж уехал по делам в Питтсбург, и она осталась в доме совсем одна. Я сказала, что мы сделаем это с удовольствием. Особенно Мег. Ты же знаешь, как ей нравится находиться в компании взрослых женщин, называющих друг друга «девочками»! Надеюсь, ты не возражаешь

против того, чтобы пообедать в «пышности уединения». Почему бы тебе не заказать себе пиццу и содовой воды, а отец может заказать себе обед сам, когда придет домой. Он не любит пиццу, разогретую по второму разу, да к тому же, как ты знаешь, захочет выпить пару банок пива.
Целую, мама.

Они молча обменялись взглядами, говорившими: «Ну, одной проблемой меньше». По-видимому, ни она, ни Мег не заметили, что машина мистера Делевана не покидала гаража.

— Ты хочешь, чтобы я... — начал Кевин, но завершить вопрос ему не пришлось, ибо отец прервал его:

— Да. Проверь. Прямо сейчас.

Кевин, шагая через ступеньку, поднялся наверх и вошел в свою комнату. Там у него были комод и письменный стол. Нижний выдвижной ящик стола был заполнен тем, что Кевин в мыслях называл просто «хламом»: вещами, выбросить которые казалось своего рода преступлением, хотя ни одной из них он по-настоящему не пользовался. Там были карманные часы его дедушки, толстые, величественные, украшенные завитушками... и так сильно заржавевшие, что ювелир в Льюистоне, к которому они с матерью приносили их, замотал головой, едва взглянув на эти часы, и отодвинул их обратно через стойку. Там были два полных комплекта запонки для манжет и еще две разрозненные, разворот из «Пентхауса», книга в бумажной обложке под названием «Непристойные шутки» и плеер «Сони», который почему-то приобрел в последнее время привычку жевать пленки, вместо того чтобы играть их. Это был именно хлам, ничего больше. Другого слова не подберешь.

Частью этого хлама были, конечно, тринадцать галстуков-шнурков, которые тетя Хильда прислала ему на тринадцать последних дней рождения.

Он вынул их один за другим, сосчитал, получил двенадцать вместо тринадцати, снова перерыл весь ящик, затем опять пересчитал галстуки. По-прежнему двенадцать.

— Что, нету?

Кевин, сидевший на корточках, вскрикнул и вскочил на ноги.

— Извини, — сказал мистер Делеван из дверного проема. — Я не подумал.

— Ничего, — ответил Кевин. Он на мгновение задался вопросом: как быстро может биться у человека сердце, прежде чем этот человек просто-напросто загонит свой мотор. — Я просто... нервничаю. По глупости.

— Нет, не по глупости. — Отец спокойно смотрел на него. — Я сам, когда увидел ту пленку, настолько испугался, что уже подумывал, не придется ли мне лезть рукой себе в рот, чтобы столкнуть обратно вниз подпрыгнувший туда желудок.

Кевин взглянул на отца с благодарностью.

— Его там нет, верно? — спросил мистер Делеван. — Того, с дятлом или что там еще на нем, к дьяволу, изображено?

— Нет. Его нет.

— Ты хранил фотоаппарат в этом ящике?

Кевин медленно кивнул.

— Папаша — мистер Меррилл — велел давать ему отдых время от времени. Это было частью составленного им расписания.

В голове у него быстро промелькнула какая-то мысль и исчезла.

— Вот я и сунул его туда.

— Сын, — мягко сказал мистер Делеван.

— Да?

Они подавленно посмотрели друг на друга, и вдруг Кевин улыбнулся. Как будто солнце проглянуло сквозь плотный слой облаков.

— Ты чего?

— Я вспоминал свои ощущения, — ответил Кевин. — Я так махнул этой кувалдой...

На лице мистера Делевана тоже появилась улыбка.

— Я даже подумал, что ты сейчас снесешь себе, к чертовой матери...

— ...и она опустилась с таким звуком ХРЯСЬ!..

— ...полетели, к дьяволу, во все стороны...

— БУМ! — закончил Кевин. — Готов!

Они дружно начали смеяться в комнате Кевина, и он обнаружил, что почти — ПОЧТИ — рад тому, что все это произошло. Чувство облечения было таким же не поддающимся описанию и в то же время таким же полным, как ощущение, которое испытывает человек, когда ему, по счастливой ли случайности или повинаясь какому-то телепатическому приказу, другой человек наконец почешет то самое зудящее место на спине, до которого не достать самому, почешет без промаха, попав точнехонько в цель, сделав зуд на какую-то секунду абсолютно нестерпимым простым прикосновением, нажати-ем, прибытием своих пальцев... и затем — о, блаженство облегчения!

Подобное чувство испытывал сейчас и он от сознания того, что история с фотоаппаратом завершена и что отец его понимает.

— Он уничтожен, — сказал Кевин. — Ведь правда?

— Уничтожен, как Хиросима, после того как эти пьяницы сбросили на нее атомную бомбу, — отвечал мистер Делеван и добавил:

— Раздавлен в коровью лепешку, вот что я хочу сказать.

Кевин вытаращился на отца и затем взорвался — почти завизжал — в безудержном приступе смеха. Отец присоединился к нему. Вскоре после этого они заказали пиццу с начинкой. Когда Мэри и Мег Делеван вернулись домой в двадцать минут восьмого, отец с сыном все еще продолжали хихикать.

— Эге, у вас обоих такой вид, словно вы тут нашкодили, — немного озадаченно сказала миссис Делеван. Женское чутье — то сокровенное начало, которое полностью проявляется у слабого пола только во время родов и бедствий, — подсказало ей, что в их веселости есть что то нездоровое. Они выглядели и вели себя так, словно чудом избежали автомобильной катастрофы. — Не хотите посвятить дам в ваши дела?

— Просто два холостяка приятно проводят время, — сказал мистер Делеван.

— Потрясающе приятно, — уточнил Кевин, а отец добавил:

— Вот что мы хотим сказать, — и, посмотрев друг на друга, они снова завyli от хохота.

Мег, искренне сбита с толку, взглянула на мать и спросила:

— Чего это они, ма?

На что миссис Делеван ответила:

— Потому что у них есть пенисы, дочурка. Иди повесь свое пальто.

Проводив Делеванов, Папаша Меррил запер за ними дверь. Он погасил весь свет, исключая лампу над рабочим столом, достал ключи и открыл свой собственный выдвижной ящик с хламом. Из него он вынул «Полароид «Солнце-660» Кевина Делевана с отколотым краешком, но в остальном неповрежденный, и пристально посмотрел на него. Этот аппарат напугал и отца, и сына. Это было достаточно ясно Папаше; он и его напугал тоже, да и сейчас еще продолжал пугать. Но положить такую вещь на колоду и разбить вдребезги? Это было бы сумасшествием.

Есть возможность заработать денег на этой чертовой штуке.

Такая возможность всегда есть.

Папаша запер аппарат обратно в ящик. Утро вечера мудренее, и к утру он решит, как действовать дальше. По правде говоря, у него уже была чертовски хорошая идея.

Он поднялся, выключил свет и начал пробираться сквозь темноту к лестнице, ведущей вверх в его квартиру. Он двигался, не задумываясь, с уверенностью, порожденной долгой практикой.

На полпути он остановился.

Он вдруг почувствовал побуждение — удивительно сильное побуждение — вернуться и еще раз взглянуть на аппарат. Но ради всего святого, зачем? У него даже не было пленки для этой сатанинской штуки... равно как и не было намерений фотографировать ею. Если кто-нибудь ЕЩЕ захочет сделать несколько снимков и посмотреть на дальнейшие действия собаки — клиенту всегда рады. Качество на риск покупателя, как он всегда говорил. Пусть этот чертов покупатель рискует или не рискует, по своему усмотрению. Что же до него самого, то он, черт побери, скорее войдет в клетку со львами без хлыста и без стула.

И все же.

— Ладно, — резко сказал он в темноту и, испугавшись звука собственного голоса, стал подниматься по лестнице, уже не оборачиваясь назад.

ГЛАВА 7

На следующий день ранним утром Кевин Делеван увидел страшный сон, настолько ужасный, что смог запомнить его лишь частично, словно отдельные музыкальные фразы, слышимые из радиоприемника с барахляющим динамиком.

Он входил в грязный фабричный городок. Очевидно, он бродяжничал, потому что за спиной болтался узелок. Город назывался Отли. Кевин полагал, что он находился в Вермонте или в северной части штата Нью-Йорк. «Вы не знаете, где в Отли можно устроиться на работу?» — спросил он старика, толкавшего перед собой магазинную тележку для покупок по разбитому тротуару. В тележке отсутствовали какие-либо бакалейные товары, она была забита непонятным хламом, и Кевин понял, что человек этот — пропойца. «Убирайся! — завизжал пьянчужка. — Убирайся! Ворюга! Ворюга гребаный! Ворюга гребаный!»

Кевин побежал, метнулся на другую сторону улицы, испуганный больше сумасшедшим видом старика, нежели мыслью, что кто-то может подумать, что он, Кевин, вор. Пропойца кричал ему вслед: «Это не Отли! Это Хильдасвилл! Убирайся из города, ворюга гребаный!»

Именно тогда он понял, что город назывался не Отли, и не Хильдасвилл, и не каким-либо другим обычным названием. Ну как абсолютно аномальный город может иметь нормальное название?

Все — улицы, здания, машины, вывески, несколько пешеходов — было двухмерным. Предметы имели высоту, ширину... но они не имели толщины. Он прошел мимо женщины, которая выглядела, как могла бы выглядеть балетная учительница Мег, если бы попавшись на полторы сотни фунтов. На ней были широкие брюки цвета надувной жевательной резинки «Базука». Как и пьяница, она толкала тележку для покупок. У тележки скрипели колеса. Она была набита фотоаппаратами «Полароид «Солнце-660». Женщина весьма подозрительно посмотрела на Кевина, когда они приблизились друг к другу. В тот момент, когда они поравнялись, она исчезла. Ее ТЕНЬ оставалась на земле, он продолжал слышать ритмичный скрип колес, но женщины больше не было. Затем она вновь появилась, ее глаза смотрели на Кевина с толстого, плоского, подозрительного лица, и Кевин понял, почему она исчезла на время. Потому что здесь такого понятия, как «вид сбоку», не существовало, НЕ МОГЛО существовать — в мире, где все было совершенно плоским.

«Это Полароидсвилл, — подумал он с облегчением, которое странным образом было смешано с ужасом. — Значит, это только сон».

Затем он увидел белый частокол, собаку и фотографа, стоящего в кювете. На нем были очки без оправы, поднятые на макушку. Это был Папаша Меррилл.

«Ну сынок, ты нашел его, — сказа Кевину двухмерный «полароидный» Папаша, не отрывая глаза от аппарата. — Вот тот пес. Тот самый, что разорвал ребенка в Скенектади. ТВОЙ пес, вот что я хочу сказать».

И тут Кевин проснулся в своей кровати, испугавшись, что закричал, но обеспокоенный в первую очередь не самим сном, а тем, был ли он в этом сне ЦЕЛИКОМ, во всех трех измерениях.

Кажется, да. Но что-то было не так.

«Дурацкий сон, — подумал он. — Надо выбросить его из головы, так ведь? Он кончился. Фотографии сожжены, все пятьдесят восемь. А аппарат...»

Мысль его обломилась, подобно куску льда, поскольку ощущение, что что-то не так, снова засверлило мозг.

«Еще не кончено, — подумал он. — Еще не...»

Но прежде чем мысль смогла окончательно оформиться в его голове, Кевин Делеван забылся глубоким сном без всяких видений. На следующее утро он с трудом вспомнил ночной кошмар.

ГЛАВА 8

Две недели, прошедшие после того как он завладел фотоаппаратом Кевина Делевана, были самыми огорчительными, приводящими в ярость, УНИЗИТЕЛЬНЫМИ двумя неделями в жизни Папаши Меррилла. Впрочем, несколько человек в Касл-Роке сказали бы, что он получил исключительно по заслугам. Правда, ни единая душа в городе не знала... и это было, в общем-то, единственным утешением для Папаши. Он находил это утешение слабым. Очень слабым. Что ж, и на том спасибо.

Но кто бы мог поверить, даже предположить, что Сумасшедшие Шляпники так здорово его подведут?

Этого было почти достаточно, чтобы заставить человека задуматься, не начинает ли он потихоньку сдавать.

Боже упаси!

ГЛАВА 9

Тогда, в сентябре, он даже не задавался вопросом, продаст ли он «Полароид». Единственное, что его волновало, — когда это произойдет и сколько он за него получит. Делеваны мусолили слово «сверхъестественный», и Папаша не поправлял их, хотя знал, что то, что делает «Солнце», более точно было бы классифицировано исследователями психики как паранормальный, а не сверхъестественный феномен. Он МОГ БЫ сказать им об этом, но в ЭТОМ случае они могли бы заинтересоваться, откуда владелец магазина подержанных товаров маленького городка (а по совместительству и ростовщик) знает так много о данном предмете. Дело обстояло так: он знал много, потому что знать много было выгодно, а знать много было выгодно из-за людей, которых он в мыслях называл «мои Сумасшедшие Шляпники».

Сумасшедшими Шляпниками были люди, которые записывали на дорогой аудиотехнике тишину пустых комнат не ради забавы или причуд пьяной компании, а потому что страстно верили в невидимый мир и хотели доказать его существование, или оттого, что очень хотели вступить в контакт с «ушедшими» друзьями или родственниками («ушли» — именно так они всегда говорили: у Сумасшедших Шляпников не бывало родственников, которые были бы настолько банальны, что просто умерли).

Сумасшедшие Шляпники не только признавали и использовали планшетки для спиритических сеансов, но и регулярно беседовали с

«проводниками духов» в «другом мире» (никогда не употреблялись слова типа «небеса», «преисподняя» или даже «район расположения умерших», а только «другой мир»), которые помогали им войти в контакт с друзьями, родственниками, королевами, умершими певцами рок-н-ролла, даже с отъявленными злодеями. Папаша знал одного Шляпника в Вермонте, который дважды в неделю беседовал с Гитлером. Гитлер сообщил ему, что все обвинения против него были подстроены, он требовал мира в январе 1943 года, а этот сукин сын Черчилль отверг его предложение. Гитлер также сказал, что Пол Ньюмен — пришелец из космоса, рожденный в пещере на Луне.

Сумасшедшие Шляпники посещали спиритические сеансы с такой же регулярностью (и обязательностью), с какой наркоманы обращаются к продавцам наркотиков. Они покупали хрустальные шары и амулеты, гарантировавшие удачу; они организовывали свои собственные небольшие общества и исследовали дома, по общему мнению, населенные привидениями, на предмет выявления обычного набора феноменов: телеплазмы, стуков по столу, движущихся столов и кроватей, холодных пятен и, конечно, призраков. Все это реальное или воображаемое фиксировалось ими с энтузиазмом увлеченных орнитологов, изучающих птиц в естественных условиях.

Большинство из них великолепно проводили время. Некоторые — нет. Например, был один парень из Вулфборо. Он повесился в печально известном доме Текумсея, где один дворянин, занимавшийся сельским хозяйством, в 1880 и 90-х годах днем угощал своих приятелей, а ночами обслуживал себя, поедая их за надлежаще оформленным столом в своем подвале. Стол стоял на отвратительно грязном полу, усеянном костями и частями разложившихся трупов по крайней мере дюжины (а возможно, и всех трех) мужчин — все они были бродягами. Парень из Вулфборо оставил короткую запись на стопке бумаги рядом со своей планшечкой для спиритических сеансов: «Не могу выйти из дома. Все двери заперты. Слышу, как он ест. Попробовал хлопок. Не помогает».

«И этот обманутый козел, видимо, действительно полагал, что все происходит на самом деле», — подумал Папаша, услышав эту историю из источника, которому доверял.

Затем был парень в Данвиче, штат Массачусетс, которому Папаша однажды продал так называемую спиритическую воронку за девяносто долларов; парень притащил ее на Данвичское кладбище и, видимо, услышал что-то крайне неприятное, так как вот уже почти шесть лет, абсолютно невменяемый, находится в бреду в обитой войлоком палате в Архэме. Когда он пробрался на кладбище, его волосы были темными; когда же его вопли разбудили тех немногих соседей, кто жил доста-

точно близко, чтобы услышать их, и была вызвана полиция, они были такими же белыми, как и его вопящее лицо.

И была еще женщина в Портленде, лишившаяся глаза, когда заседание с планшеткой для спиритических сеансов пошло совсем в другую сторону... мужчина в Кингстоне, штат Род-Айленд, потерявший три пальца на правой руке, когда задняя дверь автомобиля, в котором два подростка покончили с собой, захлопнулась... пожилая леди, очутившаяся в Массачусетском госпитале Героев Войны с почти начисто оторванным ухом, после того как ее почти такая же древняя кошка Клодетта, как полагают, пришла в неистовство во время спиритического сеанса...

Папаша верил в некоторые из этих случаев, не верил в другие и, по большей части, не высказывал своего мнения — не потому, что не располагал в достатке надежными свидетельствами в ту или другую сторону, а потому, что ему было глубочайше наплевать на привидения, сеансы, хрустальные шары, спиритические воронки, неистовствующих кошек или на чудодейственный Корень Джона-Победителя. Что до Реджинальда Мэриона «Папаши» Меррилла, то Сумасшедшие Шляпники могли все лететь хоть на луну и трахаться там в невесомости.

Конечно, при условии, что один из них вручит ему пухленькую пачку зелененьких за аппарат Кевина Делевана, прежде чем возьмет себе билет на ближайший рейс.

Папаша звал этих энтузиастов Сумасшедшими Шляпниками не из-за их увлечения призраками; он звал их так потому, что в абсолютном большинстве своем — иногда ему хотелось сказать «все» — они, казалось, были людьми богатыми, замкнутыми и прямо-таки умолявшими, чтобы их надули. Если бы вы захотели потратить минут пятнадцать, кивая и соглашаясь с ними, пока они уверяли вас, что могут отличить настоящего медиума от шарлатана уже по тому, как он входит в комнату, если им дать посидеть в одиночестве за спиритическим столом, или если бы вы потратили столько же времени, слушая записанные на магнитофон искаженные звуки, которые с равным успехом могли быть или не быть словами, с надлежащим выражением благоговейного страха на лице, вы бы могли загнать им за сто долларов четырехдолларовое пресс-папье, сказав, что один человек как-то раз на мгновение увидел в нем образ своей покойной матери. Вы им улыбнулись — и они выписали вам чек на двести долларов. Вы сказали им пару ободряющих слов — и они выписали вам чек на две тысячи. Если вы делали и то, и другое одновременно, они чуть ли не передавали вам чековую книжку с просьбой лично проставить сумму.

Проделать все это всегда было не сложнее, чем отнять конфету у младенца.

До сих пор.

В картотеке Папаша не хранилось досье с пометкой «Сумасшедшие Шляпники», равно как и досье с пометкой «Коллекционеры монет» или «Коллекционеры марок». Строго говоря, у него и картотеки-то не было. С большой натяжкой таковой можно было считать старую потрепанную телефонную книжку, которую он носил в заднем кармане (она, как и кошелек, за долгие годы слегка изогнулась по форме тощей ягодицы, к которой была ежедневно прижата). Папаша хранил свои досье там, где только и следовало их хранить человеку его рода деятельности: в голове. Существовало восемь вполне созревших Сумасшедших Шляпников, с которыми он годами вел дела, людей, занимавшихся оккультизмом не от случая к случаю, а регулярно и на полном серьезе. Самым богатым из них был удалившийся от дел промышленник по имени Маккарти, который жил на своем собственном острове приблизительно в двенадцати милях от побережья. Этот человек считал ниже своего достоинства передвижение по воде и держал в штате пилота, который доставлял его, когда это требовалось, на материк и обратно.

Папаша отправился на встречу с ним 28 сентября, на следующий день после того, как завладел фотоаппаратом Кевина (он не считал, не мог считать это настоящим воровством; мальчик, в конце концов, собирался оставить от аппарата мокрое место, а то, о чем он не знал, безусловно, не могло задевать его). Он доехал до частной взлетной полосы, находившейся чуть севернее Бутбейской Гавани, в своем старом, но содержавшемся в отличном состоянии автомобиле, после чего стиснул зубы и сузил глаза, изо всех сил вцепившись в стальной ящик на замке, в котором лежал «Полароид «Солнце-660», когда деревянный самолетик Сумасшедшего Шляпника, подобно пугливой лошади, оттолкнул вниз гаревую взлетную полосу, поднялся в воздух так, что Папаша был уверен: сейчас они сорвутся в штопор и расшибутся в лепешку о скалы, и лег на курс в осеннем небе. До этого дня он уже дважды предпринимал подобные путешествия и каждый раз клялся, что никогда снова не залезет в этот летающий гроб.

Они болтались и тряслись в воздушных ямах над голодной Атлантикой, находившейся менее чем в пятистах футах внизу; пилот весело болтал всю дорогу. Папаша кивал и мычал «ага» там, где это казалось ему вроде бы уместным, хотя его более заботила надвигающаяся собственная кончина, нежели то, что там говорил пилот.

Потом впереди показался остров со своей ужасно, зловеще, самоубийственно короткой посадочной полосой и раскинувшимся строением из красного дерева и полевых камней, и пилот бросил машину вниз, оставляя бедный, старый, изъеденный изжогой желудок Папаша где-то вверху над ними, и они с глухим стуком ударились о землю и затем каким-то чудом вырулили до остановки, все еще живые и невредимые, и Папаша мог снова начать верить, что Господь — это еще одно изобретение Сумасшедших Шляпников... по крайней мере до тех пор, пока ему не придется снова залезать в этот чертов самолет при возвращении.

— Великолепный день для полетов, а, мистер Меррилл? — спросил пилот, раскладывая для него трап.

— Прекрасный; — проворчал Папаша и широко зашагал вверх по тропинке, ведущей к дому, в дверях которого стоял, нетерпеливо улыбаясь, человек, бывший для него столь же лакомым, как индюшка в День Благодарения. Папаша обещал показать ему «самую дьявольскую штуку, с которой когда-либо приходилось встречаться», и у Седрика Маккарти был такой вид, словно он истомился в ожидании. «Он лишь взглянет для проформы, — подумал Папаша, — и сразу раскошелится». Через сорок пять минут Папаша возвратился на материк, почти не заметив болтанки, тряски и способных вызвать рвоту внезапных провалов в воздушные ямы. Это был сдержанный, задумчивый человек.

Он навел «Полароид» на Сумасшедшего Шляпника и снял его. Пока они ждали проявления фотографии, Сумасшедший Шляпник снял Папашу... И когда сверкнула вспышка, услышал ли тот что-нибудь? Услышал ли он низкое, угрожающее рычание той черной собаки или это было плодом его воображения? Скорее всего, показалось. Папаша в свое время заключил несколько изумительных сделок, а это предполагает наличие воображения.

И все же.

Седрик Маккарти разглядывал проявляющиеся фотографии все с тем же детским нетерпением, но когда они наконец проявились, вид у него был довольный, даже, пожалуй, немного презрительный, и Папаша уловил своим безошибочным чутьем, развивавшимся на протяжении почти пятидесяти лет, что никакие доводы, лесть, даже тонкие намеки на то, что у него есть еще один покупатель, готовый хоть сейчас купить аппарат, — ни один из этих обычно безотказных приемов не пройдет. Большая оранжевая надпись «СДЕЛКА НЕ СОСТОИТСЯ» вспыхнула в голове Маккарти.

Но почему?

Черт побери, почему?

На сделанном Папашей снимке было уже четко видно, что сверкающий предмет, который Кевин заметил в складках морды черной собаки, был зубом — правда, само слово «зуб» в данном случае не годилось даже с натяжкой. Это был КЛЫК. На том снимке, что сделал Маккарти, можно было увидеть краешки соседних зубов.

«У этого пса, мать его, рот — как медвежий капкан», — подумал Папаша. Невольно картина его руки в этой пасти всплыла в его сознании. Он представил, как собака не КУСАЕТ, даже не ПОЖИРАЕТ, а буквально КРОМСАЕТ ее, подобно тому, как зубья бензопилы кромсают кору, листья и тонкие ветви. «Сколько времени это займет?» — заинтересовался он и, взглянув в темные глаза, уставившиеся на него с заросшей морды, понял, что немного. А что, если собака вопьется в пах вместо этого? Что если...

Маккарти что-то произнес и ждал теперь ответа. Папаша переключил на него свое внимание, и если у него еще теплилась надежда на заключение сделки, то она тут же испарилась. Сумасшедший Шляпник *extraordinaire* прежде охотно потративший бы с вами полдня, пытаясь вызвать призрак вашего дорогого «ушедшего» дядюшки Неда, исчез. На его месте стоял другой Маккарти: расчетливый реалист, который двенадцать лет подряд входил в публиковавшийся в журнале «Фортуна» список богатейших людей Америки не потому, что ему посчастливилось получить в наследство кучу денег и честный, умелый персонал сотрудников, каковые ему оставалось лишь уметь использовать и приумножать, а потому что был гением в области проектов и разработок по аэродинамике. Он не был так богат, как Говард Хьюз, но и не выжил из ума, как Хьюз в конце жизни. Когда дело касалось психических феноменов, этот человек был Сумасшедшим Шляпником. Во всем остальном, однако, Маккарти был самой настоящей акулой, на фоне которой такие, как Папаша Меррилл, казались плавающими в грязной луже головастиками.

— Простите, — сказал Папаша, — я слегка замечтался, мистер Маккарти.

— Я сказал, что это очень интересно, — ответил Маккарти. — Особенно эта хитроумная передача изменения во времени от одной фотографии к другой. Как это делается? Фотоаппарат в фотоаппарате?

— Я не понимаю, на что вы намекаете.

— Нет, не фотоаппарат, — Маккарти говорил сам с собой. Он поднял аппарат и потряс им около уха. — Скорее, какое-нибудь устройство на роликах.

Папаша уставился на него, не понимая, о чем тот говорит... Единственное, что ему было ясно — это то, что СДЕЛКА НЕ СОСТОИТСЯ. Предпринять эту распроклятую прогулку на самолетике (скоро снова предстоит сделать то же самое), и все впустую. Но почему? ПОЧЕМУ? Он был так УВЕРЕН в этом человеке, который, вероятно, стал бы считать Бруклинский мост призрачным видением с того света, если бы вы сказали, что это так. Так ПОЧЕМУ ЖЕ?

— Пазы, конечно! — произнес Маккарти, довольный, как ребенок. — ПАЗЫ! Внутри корпуса находится замкнутый ремень на шкивах с определенным количеством пазов в нем. Каждый паз содержит экспонированную «полароидную» фотографию этой собаки. Последовательность снимков наводит на мысль, — он снова внимательно посмотрел на фотографии, — да, что собака, видимо, была заснята на киноплёнку, и «полароидные» снимки сделаны из отдельных кадров. Когда срабатывает затвор, фотография выпадает из паза и появляется на свет. Батарейка поворачивает ремень в позицию для следующей фотографии, и — voila!

Выражение удовольствия внезапно исчезло с его лица, и Папаша увидел человека, выглядевшего так, словно он добился славы и богатства, пройдя по растерзанным, истекающим кровью телам своих конкурентов... и наслаждался этим.

— Джо отвезет вас обратно, — произнес он. Голос его стал холодным и бесстрастным. — А вы молодчина, мистер Меррилл (этот человек, мрачно осознал Папаша, никогда уже снова не назовет его Папашей), — должен это признать. Наконец вы себя исчерпали, но долгое время вы водили меня за нос. На сколько вы меня надули? Все это было чепухой?

— Я не надул вас ни на цент, — решительно соврал Папаша, — я не продал вам ни единой вещи, в подлинности которой не был бы уверен, и я хочу сказать, что это же относится и к фотоаппарату.

— Вы мне противны, — сказал Маккарти. — Не потому, что я вам доверял, — я доверял и другим, на поверку оказавшимся обманщиками и шарлатанами. Не потому, что вы выманивали у меня деньги, — не так уж много я на этом потерял. Вы мне противны потому, что это из-за подобных вам научные исследования психических феноменов до сих пор находятся на средневековом уровне, над ними смеются, их отвергают как сферу деятельности исключительно помешанных и дураков. Единственное утешение состоит в том, что рано или поздно такие субъекты, как вы, обязательно исчерпывают себя. Вы становитесь алчны и пытаетесь всучить

всякую нелепицу, подобную ЭТОЙ. Проваливайте отсюда, мистер Меррилл.

Папаша держал трубку в зубах и спичку в дрожащей руке. Маккарти наставил на него вытянутый палец, и холодные глаза над ним сделали этот палец похожим на ствол ружья.

— И если вы будете вонять здесь этой мерзостью, — добавил он, — я прикажу Джо вырвать ее у вас изо рта и высыпать уголья вам в штаны. Поэтому если вы не хотите покинуть мой дом с горящей задницей, я советую вам...

— ЧТО с вами, мистер Маккарти? — заблеял Папаша. — Эти фотографии вылезали из аппарата не проявленными! Вы собственными глазами наблюдали, как они проявляются!

— Эмульсия, которую может состряпать любой ребенок из химического набора за двенадцать долларов, — холодно произнес Маккарти. — Это не тот катализатор-фиксатив, что используют люди из «Полароида», но что-то подобное. Вы экспонируете свои «полароидные» снимки или изготавливаете их из кинофильма, если это то, что вы сделали, и затем в обычной фотолаборатории покрываете их этой хреновиной. Когда они высыхают, вы заряжаете их в фотоаппарат. Когда они выскакивают, то выглядят как «полароидные» снимки, которые еще не начали проявляться. Абсолютно серые в белой рамке. Затем свет попадает на вашу самодельную эмульсию, вызывая химическую реакцию, и эмульсия испаряется, открывая фотографию, которую вы собственноручно сделали несколько часов, дней или недель тому назад. Джо!

Прежде чем Папаша успел сказать что-либо еще, он был схвачен за руки и не столько выведен, сколько вытолкан из просторной гостиной со стеклянными стенами. Впрочем он и не собирался ничего говорить. Хороший бизнесмен, помимо всего прочего, должен чувствовать, когда он проиграл. И все же ему хотелось крикнуть через плечо: «Когда у какой-нибудь тупой банды с крашеными волосами и хрустальным шаром, который она заказала в журнале «Фэйт», плывет по темной комнате книга, лампа или, черт побери, нотный листок, ты готов урнуться от восторга, а когда я показываю тебе фотоаппарат, который делает снимки какого-то другого мира, ты хватаешь меня за штаны и выбрасываешь вон! Ты и в самом деле сумасшедший, как шляпник! Ладно, хер с тобой! Свет клином на тебе не сошелся!»

И это было действительно так.

5 октября Папаша сел в свой поддерживавшийся в отличном состоянии автомобиль и отправился в Портленд, чтобы нанести визит Сестрам Пас.

Сестры Пас были близнецами-двойняшками, жившими в Портленде. Им было лет по восемьдесят, но выглядели они старше Стоунхенджа. Они беспрерывно курили сигареты «Кэмел» и делали это с семнадцати лет, о чем были рады сообщить вам. Они никогда не кашляли, несмотря на шесть пачек, которые совместными усилиями выкуривали каждый божий день. Их возили на прогулку — в тех редких случаях, когда они покидали свой построенный из красного кирпича в колониальном стиле особняк, — в «Линкольне-континентале» 1958 года выпуска, своей мрачной яркостью красок напоминавшем катафалк. За рулем этого транспортного средства сидела чернокожая женщина, немногим моложе самих сестер. Эта женщина-шофер была, видимо, немая, а может, дело обстояло несколько иначе: она была одним из немногих по-настоящему молчаливых существ, которых когда-либо создавал Господь. Этого Папаша не знал, да никогда и не интересовался. Он вел дела с двумя старыми леди около тридцати лет, все это время чернокожая женщина жила вместе с ними, по большей части проводя время за рулем машины, иногда моя ее, иногда кося лужайку или подстригая живую изгородь вокруг дома, иногда гордо шествуя к почтовому ящику на углу с письмами Сестер Пас к одному Богу известно кому (он также не знал, заходила ли чернокожая женщина вообще в дом и разрешалось ли ей это, но так или иначе, он не видел ее там ни разу), и в течение всего этого времени он не слышал, чтобы это удивительное создание разговаривало.

Особняк в колониальном стиле находился в районе Портленда под названием Брэмхолл, бывшем для Портленда тем же, чем был район Бикэн-хилл для Бостона. Об этом городе, в стране бобов и трески, говорится, что Кэботы общаются только с Лоуэллсами, а Лоуэллсы общаются только с Богом, но Сестры Пас и их немногочисленные оставшиеся в живых сверстники в Портленде хладнокровно заявили бы (и заявляют), что Лоуэллсы сделали частную линию связи спаренной лишь через несколько лет после того, как Дир и их сверстники в Портленде ее установили.

И, конечно, никто, будучи в здравом уме, не назвал бы их Сестрами Пас, глядя прямо в их одинаковые лица, равно как никто, будучи в здравом уме, не засунет свой нос в ленточную пилу, чтобы унять мучительный зуд. Они были Сестрами Пас, когда их не было поблизости (и когда человек, называвший их так, был совершенно уверен, что находится в компании, в которой нет ябедников), но их настоящие имена были мисс Эльюзиппус Дир и миссис Мельюзиппус Веррилл. Их отец, в стремлении объединить христианскую набожность с демонстрацией собственной эрудиции, назвал их в честь

двоих из трех близнецов, которые все стали святыми... но которые, к сожалению, были святыми МУЖСКОГО пола.

Собственно говоря, муж Мельюзиппус давным-давно погиб, еще в 1944 году, во время сражения в Заливе Лейте, но она с тех самых пор упорно продолжала носить его фамилию, что не позволяло выбрать самый легкий выход из положения и называть их обеих просто мисс Дир. Нет, вам приходилось тренировать произношение этих чертовых, способных сломать язык имен до тех пор, пока они не начинали выскакивать изо рта так же гладко, как дерьмо из намыленной задницы. Если вы хоть раз оговаривались, они затаивали на вас обиду, и вы могли потерять их как клиентов на целых полгода, а то и на год. Ошиблись во второй раз — и даже не трудитесь звонить им. Никогда.

Папаша, рядом с которым на сиденье лежал стальной ящичек с «Полароидом», вел машину, снова и снова проговаривая вполголоса их имена: «Эльюзиппус. Мельюзиппус. Эльюзиппус и Мельюзиппус. Ага. С ЭТИМ все в порядке».

Но, как оказалось, только с ЭТИМ и было все в порядке. Они проявили не большую заинтересованность в приобретении «Полароида», чем Маккарти... хотя Папаша был настолько потрясен той неудачей, что вступил во владения сестер полностью готовый сбавить десять тысяч долларов, или пятьдесят процентов от той суммы, что он вначале самоуверенно рассчитывал получить за фотоаппарат.

Пожилая негритянка сгребала граблями листья, обнажая лужайку, которая, невзирая на стоявший на дворе октябрь, все еще была зеленой, как сукно на бильярдном столе. Папаша кивнул ей. Та взглянула на него, точнее СКВОЗЬ него, и продолжила работу. Папаша позвонил, и где-то в глубине особняка отозвался колокольчик. «Особняк» казалось самым подходящим словом для жилища Сестер Пас. Хотя он был значительно меньше нескольких старых домов в Брэмхолле, постоянный полумрак, царствовавший внутри, визуально существенно увеличивал его. Звук колокольчика, казалось, РЕАЛЬНО разливался в глубинах комнат и коридоров, всегда вызывая в голове Папаши специфическую картину: пфвозка для трупов, проезжающая по улицам Лондона в год чумы, возница, не перестающий медленно и мерно звонить в колокол и кричать: «Выносите умерших! Выносите умерших! Ради Бога, выносите умерших!»

Сестра Пас, открывшая дверь секунд через тридцать, выглядела не просто мертвой, а словно забальзамированной, мумией, которой кто-то шутки ради вставил между губ тлеющий окуроч сигареты.

— Меррилл, — произнесла эта леди. На ней было темно-синее платье, волосы покрашены в тот же цвет. Она старалась говорить с ним, как аристократка с горловцем, который ошибся дверью, но Папаша видел, что она была на свой лад так же возбуждена, как этот сукин сын Маккарти; дело в том, что Сестры Пас родились в штате Мэн, воспитывались в штате Мэн и умрут в штате Мэн, в то время как Маккарти был родом откуда-то со Среднего Запада, где обучение умению и искусству быть неразговорчивым, очевидно, не считалось важной частью детского воспитания.

Где-то в дальнем конце коридора неслышно промелькнула тень, едва видимая через костлявое плечо сестры, открывшей дверь. Вторая. О, они были в нетерпении, будьте уверены. Папаша начал подумывать, не удастся ли ему все же вытянуть из них двенадцать штук. Может, даже четырнадцать.

Папаша знал, что мог бы сказать: «Имею ли я честь обращаться к мисс Дир или миссис Веррилл?», что было бы вполне правильно и вполне вежливо, но он уже имел дело с этой парочкой эксцентричных старых кошелок раньше и знал, что хотя Сестра Пас, открывшая дверь, и бровью не шевельнет, и ухом не поведет, а просто скажет, с какой из них он разговаривает, он, тем не менее, потеряет в этом случае по крайней мере тысячу. Они очень гордились своими странными мужскими именами и были склонны относиться более доброжелательно к тем, кто пытался, пусть безуспешно, произнести их, чем к тем, кто трусливо избегал этого.

Итак, мысленно проговорив краткую молитву, чтобы язык не подвел его именно сейчас, в нужный момент, он сосредоточился и с удовлетворением услышал, как эти имена так же беспрепятственно соскользнули с его языка, как расходится партия товара у торговца змеиным ядом: «Это Эльюзиппус или Мельюзиппус?» — спросил он с таким выражением лица, словно произнесение этих имен вызвало у него не больше затруднений, чем если бы их звали Джоан и Кейт.

— Мельюзиппус, мистер Меррилл, — ответила она. — Ага, отлично, вот он уже и МИСТЕР Меррилл, и он теперь окончательно поверил, что все пройдет так гладко, как только можно пожелать, но он ошибался, как только можно ошибаться. — Не зайдете ли?

— Премного благодарен, — ответил Папаша и вступил в мрачные глубины Особняка Дир.

— О, ГОСПОДИ, — произнесла Эльюзиппус Дир, когда фотография начала проявляться.

— Какая ЗВЕРЮГА! — сказала Мельюзиппус Веррилл тоном неподдельной тревоги и страха.

Пес ПРОДОЛЖАЛ становиться все ужаснее. Папаша должен был это признать, и было еще кое-что, особенно его встревожившее: казалось, что течение времени на фотографиях ускоряется.

Для снятия демонстрационной фотографии он усадил Сестер Пас на софу времен королевы Анны. Аппарат сверкнул своим ярким белым светом, превратив комнату на одно единственное мгновение из чистилища между страной живых и страной мертвых, где эти два старых реликта непонятным образом существовали, во что-то безжизненное и помпезное, как полицейская фотография музея, в котором было совершено преступление.

Но на проявившемся снимке не было Сестер Пас, сидящих рядом на софе в своей гостиной, словно одинаковые подставки для книг. На фотографии был черный пес, теперь повернутый так, что его морда была полностью обращена к аппарату и к фотографу, кем бы он ни был, рехнувшемуся настолько, чтобы стоять там и продолжать снимать его. Теперь все его зубы были видны в сумасшедшем смертоносном оскале, и голова его слегка хищно наклонилась влево. «Когда он прыгнул на свою жертву, — подумал Папаша, — эта голова продолжала клониться влево, преследуя две цели: укрыть уязвимую часть шеи от возможного нападения и занять такое положение, чтобы, когда зубы крепко сомкнутся в плоти, она могла снова повернуться прямо, вырвав огромный кусок живой ткани из своей жертвы».

— Он такой СТРАШНЫЙ! — произнесла Эльюзиппус, поднеся ссохшуюся руку к дряблой шее.

— Такой УЖАСНЫЙ! — почти простонала Мельюзиппус, прикуривая новый «Кэмел» от окурка предыдущего рукой, трясущейся так сильно, что она едва не поставила клеймо на потрескавшемся, в складках, уголке рта.

— Это совершенно НЕ-ОБЪ-ЯС-НИМО! — победно воскликнул Папаша, думая: «Жаль, что здесь нет тебя, Маккарти, самодовольная ты задница. Очень жаль. Вот две леди, обогнувшие мыс Горн в обе стороны несколько раз, которые не считают, что этот чертов фотоаппарат — дешевый балаганный трюк».

— Он показывает что-то, что УЖЕ ПРОИЗОШЛО? — прошептала Мельюзиппус.

— Или что-то, что ПРОИЗОЙДЕТ? — добавила Эльюзиппус таким же, полным благоговейного страха, шепотом.

— Не знаю, — сказал Папаша. — Все, что я знаю наверняка, это то, что я видал разные дикие штуки на своем веку, но никогда не видел ничего подобного этим фотографиям.

— Не удивительно! — Эльюзиппус.

— Для меня тоже! — Мельюзиппус.

Папаша уже совсем было приготовился начать подталкивать беседу в направление цены — это деликатный момент в ЛЮБОЙ сделке, но особенно щекотливый в сделке с Сестрами Пас: когда дело доходило до безжалостной коммерции, они становились осторожными, как пара девственниц, — каковой, насколько Папаша знал, по крайней мере одна из них и была. Он как раз решил начать с: «Собственно говоря, мне никогда и в голову не приходило продавать что-либо подобное, но...» (прием более древний, чем сами Сестры Пас, — хотя, как следует рассмотрев их, вы сказали бы, что, вероятно, ненамного, — но когда имеешь дело с Сумасшедшими Шляпниками, это ровно ничего не значит; в сущности, им НРАВИЛОСЬ слышать это, как маленьким детям нравится слушать одну и ту же сказку снова и снова), когда Эльюзиппус совершенно сразила его, сказав: «Не знаю, как моя сестра, мистер Меррилл, но я буду чувствовать себя неуютно, рассматривая то, что вы, возможно, хотите... — здесь последовала небольшая страдальческая пауза, — предложить нам в плане бизнеса, пока вы не уберете этот... этот аппарат, или что это за чудовищная вещь такая... обратно в вашу машину».

— Полностью согласна, — поддержала Мельюзиппус, вдавливая наполовину выкуренный «Кэмел» в пепельницу в форме рыбы, только что не ИСПРАЖНЯВШУЮСЯ окурками.

— Фотографии ПРИЗРАКОВ, — сказала Эльюзиппус, — это одно дело. В них есть определенное...

— ВЕЛИЧИЕ, — подсказала Мельюзиппус.

— Да! Величие! Но эта СОБАКА... — Старуха на самом деле задрожала. — Такое ощущение, что она вот-вот соскочит прямо с этой фотографии и УКУСИТ одного из нас.

— ВСЕХ нас! — уточнила Мельюзиппус.

Вплоть до этой последней фразы Папаша был уверен — может, потому, что должен был быть уверенным, — что сестры просто начали торговлю со своей стороны, причем в восхитительной манере. Но тон их голосов, столь же одинаковых, как их лица и фигуры (если **ВООБЩЕ** можно было назвать то, что у них имелось, фигурами), не позволял далее заблуждаться на этот счет. У них не было сомнений, что «Солнце-660» показывает какое-то паранормальное поведение... **СЛИШКОМ** паранормальное для того, чтобы подойти им. Они не вели торговлю, они не притворялись, они не играли с ним в попытке сбить цену. Говоря, что желают быть подальше от фотоаппарата и от того сверхъестественного, что он делает, они именно это и имели в виду, — и при этом они не позволили себе по

отношению к нему неучтивости (а именно так это называлось бы, по их мнению) предположить или даже ПОДУМАТЬ, что продажа этой вещи была целью его приезда.

Папаша оглядел гостиную. Она напоминала комнату старухи из фильма ужасов, который он однажды смотрел по своему видеоманитوفону, — дешевки под названием «Сгоревшие жертвы», где один старый здоровяк пытался утопить своего сына в бассейне, и при этом ни один из них даже не снял одежду. Комната той леди была заполнена, переполнена, буквально НАБИТА старыми и новыми фотографиями. Они стояли на столах и каминной полке в самых разнообразных рамках; они так плотно закрывали стены, что невозможно было даже определить, какой рисунок был на чертовых обоях.

В гостиной Сестер Пас до такого не дошло, но там все же было множество фотографий, может, добрых полторы сотни, а в такой маленькой и темной комнате, как эта, казалось, что их в три раза больше. Папаша бывал здесь достаточно часто, чтобы обратить внимание на большинство из них хотя бы мимоходом, а другие были ему знакомы и того лучше, поскольку именно он продал их Элюзиппус и Мельюзиппус.

У них было намного больше «фотографий призраков», как их называла Элюзиппус Дир, возможно, около тысячи, но, очевидно, даже они поняли, что комната такого размера, как их гостиная, была ограничена с точки зрения выставочного пространства, не говоря уже о вкусе. Остальные фотографии призраков были рассредоточены в других четырнадцати комнатах особняка. Папаша видел их все. Он был одним из немногих счастливицов, кому предоставлялось право на то, что сестры с простодушной напыщенностью называли «экскурсией». Но именно здесь, в гостиной, они хранили свои ЛУЧШИЕ «фотографии призраков», и лучшая из лучших привлекала взгляд уже тем, что стояла в гордом одиночестве на опущенной крышке расположенного у эркера кабинетного рояля «Стейнвей». На ней на глазах у полусотни шокированных участников похоронной процессии поднимался из гроба труп. Это была, конечно же, подделка. Десятилетний — черт побери, даже ВОСЬМИЛЕТНИЙ — ребенок понял бы, что это подделка. По сравнению с ней фотографии танцующих эльфов, так околдовавшие бедного Артура Конан-Дойля в конце его жизни, казались просто совершенством. Фактически, обведя комнату взглядом, Папаша увидел лишь две фотографии, не являвшиеся откровенными подделками. Они требовали более пристального изучения, чтобы понять, в чем кроется надувательство. И тем не менее эти две старые клячи, которые собирали «фотографии призраков» всю свою жизнь и

утверждали, что являются большими знатоками в этой области, вели себя, как пара девчонок-подростков на сеансе фильма ужасов, когда он показал им не какую-то там паранормальную ФОТОГРАФИЮ, а, черт побери, мать их за ногу, паранормальный ФОТО-АППАРАТ, который не просто выкинул однажды свой фокус и этим ограничился, как тот, что снял женщину-призрака, наблюдающую за возвращающимися домой охотниками на лисиц, но который делал это снова, снова и снова. И сколько же они потратили на весь этот хлам, который был сплошь ЧЕПУХОЙ? Тысячи? Десятки тысяч? СОТНИ...

— ...показать нам? — спрашивала его Мельюзиппус.

Папаша Меррилл заставил свои губы сложиться в то, что было, очевидно, по крайней мере сносным подобием его Дружелюбной Наивной Улыбки, поскольку старухи не выразили ни удивления, ни недоверия.

— Прошу прощения, уважаемые леди, — сказал Папаша. — Мой ум на пару минут совершенно затуманился. Полагаю, с каждым из нас такое случается, по мере того как мы стареем.

— Нам по восемьдесят три года, а НАШ ум так же ясен, как оконное стекло, — с нескрываемым неодобрением произнесла Эльюзиппус.

— СВЕЖЕВЫМЫТОЕ оконное стекло, — добавила Мельюзиппус. — Я спросила, есть ли у вас какие-нибудь новые фотографии, которые вы хотели бы показать нам... конечно, после того как уберете прочь эту ужасную вещь.

— Мы целую вечность не видели по-настоящему ХОРОШИХ новинок, — сказала Эльюзиппус, закуривая новый «Кэмел».

— В прошлом месяце мы были на съезде медиумов и гадалок Новой Англии в Провиденсе, — сказала Мельюзиппус, — и тогда как лекции действительно проливали свет...

— ...и возвышали...

— ...очень многие фотографии были ОТКРОВЕННЫМИ подделками! Даже десятилетний ребенок...

— СЕМИЛЕТНИЙ!..

— ...мог бы их разоблачить. Поэтому... — Мельюзиппус сделала паузу. На ее лице появилось выражение замешательства, выглядевшее так, словно оно могло причинить ей боль (поскольку ее лицевые мышцы давно уже атрофировались в выражения умеренного удовольствия и невозмутимой осведомленности). — Я в недоумении. Мистер Меррилл, должна признать, я слегка в недоумении.

— Я собиралась сказать то же самое, — сказала Эльюзиппус.

— Зачем вы ПРИНЕСЛИ эту ужасную вещь? — спросили Мельюзиппус и Эльюзиппус хором, полное созвучие которого портил только скрежет их прокуренных голосов.

Возникшее у Папаши побуждение сказать: «Затем, что не знал, что за трусливое старое дерьмо вы обе», — было настолько сильным, что одно жуткое мгновение ему казалось, что он это **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** сказал, и он внутренне сжался, ожидая, что сейчас в темных благословенных стенах гостинной раздадутся оскорбленные вопли, похожие на визг ржавой ленточной пилы, вгрызающейся в вязкий пучок смолистых сосновых веток, и будут становиться все громче, пока у всех поддельных фотографий в комнате не разлетятся вдребезги от вибрации стекла рамок.

Уверенность, что он высказал такую ужасную мысль вслух, длилась лишь долю секунды, но позже, возвращаясь к нему бессонными ночами, когда внизу сонливо шуршали часы (а «Полароид» Кевина Делевана бодрствовал, затаившись в запертом ящике стола), она пребывала с ним намного дольше. В те бессонные часы он иногда ловил себя на том, что жалеет, что НЕ сказал этого, и задавался вопросом: а не сходит ли он с ума?

В **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ** же его реакция была почти безупречной с точки зрения быстроты и житейски мудрого инстинкта самосохранения. Выматерив Сестер Пас, он получил бы огромное удовлетворение, но, увы, кратковременное. А польстив им — чего они и ждали, ибо всю свою жизнь купались в лести, словно в масле (что, впрочем, ни черта не помогло их шкурам), — он, вероятно, сможет продать им еще на три-четыре тысячи долларов разной дребедени, вроде «фотографий призраков», если им по-прежнему будет удаваться избегать рака легких, который, по меньшей мере, лет десять назад уже должен был предъявить свои права на одну из них, а то и на обеих.

И в конце концов в памяти Папаши числились и другие Сумасшедшие Шляпники, хотя и не так много, как ему казалось в тот день, когда он отправлялся в гости к Седрику Маккарти. Небольшая проверка выявила, что двое умерли, а один в настоящее время учился плести корзины в северной Калифорнии в шикарной психбольнице для неслыханно богатых людей, которые по тем или иным причинам стали неизлечимо душевнобольными.

— Вообще-то, — сказал он, — я принес этот фотоаппарат, чтобы вы, леди, могли взглянуть на него. Я хочу сказать, — заторопился он, заметив, что они оцепенели от страха, — что я знаю, как много у вас, леди, опыта в этой области.

Испуг сменился удовлетворением, сестры обменялись чопорными самодовольными взглядами, и Папаша поймал себя на том, что

жалеет о невозможности окунуть парочку пачек этого их чертова «Кэмела» в жидкость для заправки костровых зажигалок, воткнуть эти пачки в высохшие сморщенные задницы старых дев и чиркнуть спичкой. Вот тогда бы они подымили. Они бы подымили, совсем как засорившиеся дымоходы, вот что он хотел сказать.

— Я думал, вы могли бы дать совет, что мне делать с этим фотоаппаратом, вот что я хочу сказать, — закончил он.

— Уничтожьте его, — немедленно сказала Эльюзиппус.

— Я бы использовала динамит, — добавила Мельюзиппус.

— Сначала кислоту, а ПОТОМ динамит, — уточнила Эльюзиппус.

— Правильно, — подытожила Мельюзиппус. — Он опасен. Не нужно даже глядеть на эту дьявольскую собаку, чтобы понять это.

Она тем не менее взглянула; обе они взглянули, и одинаковые выражения отвращения и страха перекосили их лица.

— Такое ощущение, что от нее веет злО-О-Ом, — сказала Эльюзиппус голосом настолько зловещим, что он должен был бы вызывать смех, так она была похожа на школьницу, играющую роль ведьмы в «Макбете», но почему-то не вызывал. — Уничтожьте его, мистер Меррилл. Прежде чем случится что-нибудь ужасное. Прежде чем — может статься, заметьте, я говорю только «может статься» — он уничтожит ВАС.

— Ну-ну, — произнес Папаша, раздраженный вдруг возникшим у него помимо его воли легким беспокойством, — вы немного преувеличиваете. Это просто фотоаппарат, вот что я хочу сказать.

Эльюзиппус Дир тихо сказала: — А дощечка для спиритических сеансов, которая лишила глаза бедную Колетт Симинокс несколько лет назад, — она была всего лишь кусочком картона.

— По крайней мере, до тех пор, пока эти глупые, глупые, ГЛУПЫЕ люди не положили на нее свои пальцы и не разбудили ее, — еще тише сказала Мельюзиппус.

Больше, похоже, говорить было не о чем. Папаша взял фотоаппарат — за ремень, стараясь не прикасаться собственно к аппарату, хотя и говорил себе, что делает так только ради этих двух старых кошелок, — и встал.

— Что ж, вам лучше знать, — сказал он. Старухи самодовольно поглядели друг на друга.

Да, отбой. В результате — отбой... по крайней мере на данный момент. Но не все еще потеряно. На каждой улице бывает праздник, и ЭТО не сбросишь со счетов.

— Не хочу больше занимать ваше время и, конечно, не хочу причинять вам неудобства.

— О, не беспокойтесь! — сказал Эльюзиппус, тоже вставая.

— Нас так редко навещают в последнее время, — сказала Мельюзиппус, также поднимаясь.

— Отнесите его в машину, мистер Меррилл, — предложила Эльюзиппус, — а потом...

— ...возвращайтесь и выпейте с нами чаю.

— И ПОУЖИНАЙТЕ!

И хотя Папаша больше всего на свете хотел УБРАТЬСЯ оттуда (и сказать им буквально следующее: «Спасибо, нет, я хочу СВАЛИТЬ отсюда»), он отвесил им изысканный легкий полупоклон и в том же духе отказался. — С удовольствием воспользовался бы вашим предложением, — сказал он, — но, к сожалению, у меня назначена еще одна встреча. Я не так часто выбираюсь в город, как хотелось бы. («Если уж решил сказать одну ложь, то с тем же успехом можешь сказать их много», — часто говаривал Папаше его собственный папаша, и этот совет он усвоил накрепко). С деловым видом он взглянул на часы. — Я и так уже задержался. Боюсь, девушки, из-за вас я опоздаю, но полагаю, что я не первый мужчина, с кем вы сделали ЭТО.

Они захихикали и на самом деле покрылись одинаковым румянцем цвета очень старых роз. — Полно вам, мистер МЕРРИЛЛ! — произнесла Эльюзиппус, упирая на «р».

— Спросите меня об этом в следующий раз, — сказал он, растягивая рот в улыбке до тех пор, пока не почувствовал, что тот сейчас разорвется. — Заклинаю именем Сатаны, спросите меня в следующий раз! Просто спросите, и увидите, что я отвечу «да» быстрее, чем бегущая рысью лошадь сделает шаг!

Он вышел, и когда одна из них быстро закрыла за ним дверь («Может, они боятся, что от солнца их чертовы фальшивые фотографии призраков выцветут», — угрюмо подумал Папаша), повернулся и щелкнул «Полароидом» старую негритянку, которая все еще сгребала листья. Он сделал это, поддавшись порыву, подобно тому, как человек с подлинкой может, поддавшись порыву, свернуть на другую сторону проселочной дороги, чтобы убить скунса или енота.

Негритянка недовольно скривилась, приподняв верхнюю губу, и Папаша был ошеломлен, увидев в нацеленном на него пронзительном взгляде все признаки дурного глаза.

Он сел в машину и задним ходом быстро поехал по подъездной аллее. Когда задняя часть его автомобиля уже наполовину была на улице, и он обернулся, чтобы проверить, нет ли на дороге машин, его взгляд случайно упал на только что сделанную фотографию.

Она еще не полностью проявилась; у нее был апатичный, кроткий вид всех «полароидных» фотографий, которые еще только проявляются.

Тем не менее она уже была достаточно ясной, чтобы Папаша так и замер, вытаращившись на нее, а его очередной вдох прервался на полдороге в легкие, подобно ветерку, необъяснимым образом пропадающему в одно мгновение. Казалось, и само сердце его замерло на полустуке.

То, что представлял себе Кевин, теперь происходило на самом деле. Пес закончил поворот и начал свое неумолимое, предопределенное, неотвратимое приближение к аппарату и тому, кто держал его... постойте, но ведь сейчас ОН его держал, не так ли? ОН, Реджинальд Мэррион «Папаша» Меррилл, поднял его и щелкнул им старую негритянку в минутной досаде, словно отшлепанный ребенок, который разбивает выстрелом из своего пневматического ружья установленную на заборном столбе бутылку из-под газировки, потому что не может же он выстрелить в собственного отца, хотя в тот унижительный момент, сразу же после взбучки, когда задница горит, он с превеликим удовольствием сделал бы это.

Собака приближалась. Кевин понял, что произойдет дальше, и Папаша тоже понял бы, если б у него был случай подумать над этим, но такого случая у него не было — хотя с этого момента ему уже стало трудно думать о чем-либо другом, когда он думал о фотоаппарате, и эти мысли, обнаружил он, занимали все больше его времени — и во сне, и наяву.

«Она приближается», — подумал Папаша с тем ледяным ужасом, который, наверное, испытывает человек, стоящий в темноте, когда Нечто, Нечто невыносимо отвратительное, приближается к нему со своими острыми, как бритва, когтями и зубами. «О, Боже, она приближается, эта собака приближается».

Но она не просто ПРИБЛИЖАЛАСЬ; она ИЗМЕНЯЛАСЬ.

Невозможно было сказать, как. Его глаза нестерпимо болели, разрываясь между тем, что они должны были видеть, и тем, что они **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** видели, и, в конечном счете, единственное определение, которое он смог подобрать, было весьма неважным: впечатление такое, как если бы кто-то сменил объектив на фотоаппарате, поставив вместо нормального «рыбий глаз», и поэтому лоб собаки с комками спутавшейся шерсти казался одновременно выпуклым и покатым, а в ее кровожадных глазах словно замерцали мерзкие, едва видимые красные огоньки, похожие на искры, появляющиеся иногда в глазах людей от вспышки «Полароида».

Казалось, ТЕЛО собаки вытянулось, но не стало тоньше; если уж на то пошло, оно даже как будто потолстело, — но не за счет жира, а за счет увеличившихся мускулов.

И зубы ее стали больше. Длиннее. Острее.

Папаша внезапно поймал себя на мысли, что вспоминает сенбернара Джо Кэмбера, Куджо, — того самого, что убил и Джо, и еще этого старого пьяницу Гэри Первьера, и «Большого» Джорджа Бэннермана. Тот пес взбесился. Недалеко от дома Кэмбера он, как в ловушке, продержал женщину с маленьким мальчиком в их машине, и через два-три дня ребенок умер. И сейчас Папаша обнаружил, что спрашивает себя: не ЭТО ли самое они постоянно видели в течение тех долгих дней и ночей, заключенные в раскаленную духовку своего автомобиля; это или что-либо подобное — мутные красные глаза, длинные острые зубы...

Нетерпеливо загудел клаксон.

Папаша вскрикнул, и сердце его не просто снова забилося, а ВЫСТРЕЛИЛО, как мотор гоночной машины в «Формуле-1».

Его «Седан», все еще стоящий наполовину в подъездной аллее, наполовину на узкой городской улочке, объехал фургон. Водитель высунул из открытого окна кулак с торчащим вверх средним пальцем.

— Нако-ся, пососи, сукин сын! — завопил Папаша. Он снова дал задний ход и окончательно выехал на улицу, но так судорожно, что наскочил на бордюр противоположного тротуара. Он яростно закрутил руль (при этом нечаянно нажав на клаксон) и уехал. Но, проехав три квартала к югу, вынужден был остановиться и просто посидеть за рулем минут десять, ожидая, пока дрожь уймется настолько, чтобы он мог вести машину.

Ну и довольно о Сестрах Пас.

В течение следующих пяти дней Папаша носился по оставшимся адресам из списка, который он держал в уме. Запрашиваемая им цена, начавшись с двадцати тысяч долларов, которые он намеревался получить с Маккарти, и упав до десяти в доме Сестер Пас (хотя в обоих случаях он не настолько далеко продвинулся в бизнесе, чтобы упомянуть о цене), неуклонно понижалась по мере того, как он приближался к концу этого списка. Наконец у него остались только Эмери Чаффи и возможность выручить разве что две с половиной тысячи.

Чаффи представлял собой интереснейший парадокс: из всех Сумасшедших Шляпников, что знал Папаша, — а опыт его общения с ними был долгим и удивительно разнообразным — Эмери Чаффи был

единственным верующим в «другой мир», начисто лишенным какого бы то ни было воображения. То, что в его мыслях вообще находилось место для «другого мира» при таком складе ума, было неожиданно: то, что он ВЕРИЛ в него, было удивительно; то, что он платил приличные деньги, коллекционируя предметы, связанные с ним, было чем-то, что Папаша находил совершенно поразительным. Но дело обстояло именно так, и Папаша ставил бы Чаффи значительно выше в своем списке, если бы не тот досадный факт, что Чаффи был далеко не зажиточным человеком и не относился к тем, кого Папаша в мыслях называл своими «богатыми Сумасшедшими Шляпниками». Занимался он тем, что настойчиво, но безуспешно пытался распутать нити того, что в свое время было большим состоянием его семьи. Следовательно, запрашиваемая Папашей за «Полароид» Кевина цена еще раз значительно снизилась.

«Но, — подумал он, въезжая на своей машине в неухоженную подъездную аллею того, что в 20-х годах было одним из прекраснейших летних домов на озере Себейго, а теперь находилось в двух шагах от превращения в один из самых захудалых круглогодичных домов на озере Себейго (дом Чаффи в районе Брэмхолл в Портленде был продан в уплату налогов пятнадцать лет назад), — если кто-нибудь вообще купит это дерьмо, я полагаю, это будет Эмери».

Единственное, что действительно мучило его, — и мучило все больше и больше по мере бесплодного продвижения к концу списка — это момент демонстрации. Он мог ОПИСЫВАТЬ, что делает фотоаппарат, до посинения, но даже такой эксцентричный малый, как Эмери Чаффи, не выложит приличную сумму на основании одних только описаний.

Иногда Папаша думал, что совершил глупость, велев Кевину сделать столько фотографий, чтобы составить тот видеофильм. Но если рассуждать по существу, он не был уверен, что это имело какое-нибудь значение. Там, в том мире (ибо, как и Кевин, он начал думать о нем именно как о фактически существующем мире) время текло, и текло значительно медленнее, чем в этом... но не ускоряло ли оно свой бег по мере того, как собака приближалась к фотоаппарату? Папаша думал, что ускоряло. Сначала движение собаки вдоль изгороди было едва заметно; теперь же только слепой мог не увидеть, что с каждым нажатием на спуск затвора собака становилась все ближе. Заметить разницу в расстоянии можно было, даже щелкнув две фотографии непосредственно одну за другой. Впечатление было примерно такое, словно время там пытается... как бы это сказать, пытается ДОГНАТЬ здешнее время и синхронизироваться с ним.

Даже если бы этим все ограничивалось, было бы уже достаточно плохо. Но это было НЕ ВСЕ.

Это была не СОБАКА, черт побери!

Папаша не знал, ЧТО это было, но он знал так же верно, как то, что его мать похоронена на кладбище «Хоумлэнд», что это была не СОБАКА.

Он полагал, что она БЫЛА собакой, когда обнюхивала частокол, который теперь оставила в добрых десяти футах позади; она ВЫГЛЯДЕЛА как собака, хотя и исключительно злобная, что стало ясно, стоило ей повернуть голову так, чтобы можно было хорошенько рассмотреть ее физию.

Но теперь Папаше она казалась непохожей ни на одну тварь, когда-либо существовавшую на созданной Богом земле, а возможно, и в Люциферовом аду. Но еще больше его беспокоило то, что те немногие люди, для которых он делал демонстрационные снимки, словно не замечали этого. Они неизменно с отвращением говорили, что в жизни не видели более безобразной, более злобной по виду дворняги с помойки, но это все. Ни один из них не предположил, что собака в «Солнце-660» Кевина превращается в какого-то монстра по мере того, как приближается к фотографу. По мере того, как приближается к объективу, который, может быть, является своеобразными воротами между тем миром и этим.

Папаша снова подумал (как раньше Кевин): «Но он ведь никогда не сможет прорваться сюда. Никогда. Если что-то должно произойти, я скажу вам, что это будет, потому что это существо — ЖИВОТНОЕ, пусть чертовски безобразное, жуткое даже, вроде тех страшилищ, что мерещатся маленькому ребенку в спальне, после того как мама выключает свет, но все же это ЖИВОТНОЕ, и если что-нибудь произойдет, то вот что: будет последний снимок, на котором не видно будет ничего, кроме одного сплошного пятна, потому что этот дьявольский пес прыгнет, видно, что он именно это собирается сделать, и после этого либо фотоаппарат не будет работать, либо, если будет, снимки будут проявляться исключительно в черные квадраты, ибо невозможно снимать аппаратом с разбитым объективом или, если на то пошло, аппаратом, расколовшимся надвое, и если тот, кому принадлежит эта тень, кем бы он ни был, выронит камеру, когда дьявольский пес врежется в нее и в него, а мне сдается, что выронит, она, вероятно, упадет на тротуар и, наверное, разобьется. Ведь, в конце концов, эта чертова штука — всего лишь кусок пластика, а пластик и цемент вряд ли вообще ладят друг с другом».

Но тут Эмери Чаффи появился на своей трухлявой веранде, где с досок облупилась краска, и сами доски перекосились, и защитные

сетки на окнах приобрели ржавый цвет высохшей крови и зияли в некоторых местах дырами; Эмери Чаффи в блейзере, когда-то бывшем приятного голубого цвета, но теперь, после стольких стирок, ставшем невзрачно-серым, как униформа лифтера; Эмери Чаффи с высоким лбом, покато поднимавшимся все выше и выше и в конце концов исчезающим под теми немногими волосами, что на нем еще оставались, ухмыляющийся своей ухмылкой: «Это классно, очень хорошо, старина, очень хорошо, ну что?», — открывавшей огромные торчащие зубы и заставлявшей его выглядеть так, как, по представлению Папаша, выглядел бы Рехнувшийся Кролик, если бы у него даже блохи стали страдать катастрофической задержкой в умственном развитии.

Папаша взялся за ремень фотоаппарата (Боже, как же он успел возненавидеть эту вещь!), вылез из машины и заставил себя помахать рукой и ухмыльнуться в ответ.

Бизнес, в конце концов, есть бизнес.

— Вот этот вот безобразный щенок говорите вы?

Чаффи рассматривал снимок, который к этому моменту почти полностью проявился. Папаша объяснил, что делал фотоаппарат, и был ободрен проявленными Чаффи искренним интересом и любопытством. Затем он передал ему «Солнце», предложив самому снять то, что пожелает.

Эмери Чаффи, ухмыляясь все той же отталкивающей ухмылкой с торчащими зубами, повернул «Полароид» в направлении Папаша.

— Только не меня, — поспешно сказал Папаша. — Я скорее соглашусь, чтобы вы навели на мою голову дробовик, нежели этот аппарат.

— Продавая вещь, вы ее действительно продаете, — сказал восхищенно Чаффи, но тем не менее послушался и повернул «Солнце-660» к окну, из которого открывался красивый вид на озеро, изумительный вид, остававшийся столь же роскошным сейчас, сколь богатой была семья Чаффи в те годы, что начались после первой мировой войны — золотые годы, непонятным образом начавшие превращаться в медные приблизительно с 1970-го.

Он нажал спуск.

Фотоаппарат заскулил.

Папаша вздрогнул. Он заметил, что теперь вздрагивает каждый раз, когда слышит этот звук, — это скрежещущее поскуливание. Он попытался сдержать дрожь и, к своему ужасу, обнаружил, что не может.

— Да, сэр, чертовски ужасная тварь! — повторил Чаффи после изучения проявившейся фотографии, и, к мрачному удовольствию Папаша, его омерзительная кривозубая улыбка наконец исчезла.

Теперь было совершенно ясно: этот человек не видел того, что видел Папаша. Папаша был готов ко всяким случайностям и, несмотря на то что был поражен, сохранил на лице маску благодушного янки. Он был уверен: сделай Чаффи хоть малейшую попытку (что, казалось бы, надо было сделать) увидеть то, что видел Папаша, этот придурок поискал бы ближайший выход и вылетел бы прочь с максимальной скоростью.

Собака (ясно было, что это не собака, но ведь нужно было как-то ее назвать) еще не сделала прыжок, но была готова сделать это. Ее задние ноги, сведенные вместе, напоминали Папаше детскую машинку с мотором повышенной мощности, дрожащую, еле сдерживающуюся перед красным светом на светофоре.

Собачью морду больше нельзя было узнать. Она перекосилась, превратившись в кровавое пятно, напоминавшее один большой темный недоброжелательный глаз, ни круглый, ни овальный, какой-то расплывчатый, подобно размешанному вилкой желтку. Ее нос стал похож на клюв с двумя отверстиями, словно просверленными с двух сторон. Был ли там ДЫМ, идущий из этих дыр, подобно курившемуся вулкану? Может быть. А может быть, это был лишь плод воображения.

Папаша еще раз взглянул на черное убийственного вида существо, в шерсти которого торчали добрых две дюжины непокорных репейников, существо, у которого, если выразиться точнее, была не шерсть, а острые, будто живые шипы, и хвост, напоминавший средневековое оружие. Тень от одной ноги сделала большой шаг назад — очень БОЛЬШОЙ шаг, даже если учитывать, что солнце поднималось или опускалось (а оно садилось, Папаша был почти уверен, — оно садилось, и там наступала ночь, а не день).

Фотограф там, в том мире, наконец осознал, что объект съемки не собирается позировать. Он собирался есть, а не сидеть.

Съесть и, возможно, каким-то непонятным ему образом исчезнуть.

— А вы, сэр, — Чаффи говорил, делая на мгновение паузу, и создавалось впечатление, что он редко задумывается надолго, — а вы рыбак!

В памяти Папаша мгновенно всплыл образ Маккарти, который почти угадал его потаенные мысли, которые все еще терзали его.

— Если вы думаете, что это подделка... — начал он.

— Подделка? Ни в коем случае. Ни в коем... случае. — Улыбка Чаффи стала еще шире и омерзительнее. Он шутливо махнул рукой.

— Боюсь, мы не договоримся, мистер Меррилл. Извините, что говорю так, но...

— Почему? — Папаша закусил удила, — если вы не думаете, что эта вещица — подделка, то почему вы отказываетесь? — К своему удивлению, он услышал, как в его голосе постепенно появлялись нотки тихой ярости. Такого никогда еще с ним не было. А ведь ему показалось, что он сможет сбить вещицу с рук.

— Но... — Чаффи выглядел озадаченным, не зная, как выразиться поточнее, потому что ему было все ясно. В этот момент он был похож на вежливого, но не очень одаренного учителя начальной школы, пытающегося научить умственно отсталого ребенка завязывать шнурки на ботинках. — Но она ничего не делает, не так ли?

— Ничего не делает? — Папаша чуть не закричал. Он не мог поверить, что потерял над собой контроль. Что происходило с ним? Если точнее, что делал с ним этот сукин сын аппарат? «Ничего не делает? Вы что, ослепли? Он делает фотографии другого мира! Он делает фотографии, которые перемещаются во времени, независимо от того, где и когда вы их делаете в ЭТОМ мире! И это... это существо... этот МОНСТР...»

— Но это же просто собака, не так ли? — произнес Чаффи спокойно. В его голосе слышались нотки, которые вы используете, когда надо успокоить сумасшедшего, пока сестры не сбегают в кабинет за шприцами и успокоительным.

— О-о-ох, — выдохнул устало Папаша. — Конечно, собака, но вы сами заметили — чертовски ужасная тварь.

— Правильно, правильно, я сказал, — ответил Чаффи, слишком быстро соглашаясь. Папаша подумал, что если Чаффи улыбнется еще шире, нет никаких гарантий, что он не снесет полбашки этого идиота.

— Ну... вы же видите, мистер Меррилл... какую проблему представляет эта штука для коллекционера. Серьезного коллекционера.

— Думаю, что никаких, — сказал Папаша, мысленно пробежав по списку Сумасшедших Шляпников, казавшемуся вначале таким многообещающим, задумался.

Он отчетливо увидел кучу проблем, которые представит Полароид «Солнце» для настоящего коллекционера. Как, например, для Эмери Чаффи... Хотя, черт его знает, что он там вообще делает.

— Это почти фотографии призраков, — Чаффи говорил таким педантичным голосом, что Папаше хотелось удушить его. — Но это все-таки не фотографии призраков. Они...

— Но они **НЕНОРМАЛЬНЫЕ** фотографии.

— Я стою на своей точке зрения, — сказал Чаффи, слегка нахмурясь. — Но что же это за фотографии? Никто не может сказать, не правда ли? Человек может пользоваться только абсолютно нормальным аппаратом, а не таким, который снимает собаку, изготовившуюся к прыжку. Лишь одна из трех вещей может произойти: камера начнет делать нормальные снимки, как бы сказать, того, на что будет направлена; может перестать делать их вообще, тогда полностью закончится ее основная функция — фотографировать, документировать, если можно так сказать, эту собаку; или она будет продолжать делать фотографии этой белой изгороди и плохо ухоженного газончика. — Он сделал паузу и добавил:

— Я думаю, можно сделать 40 или 400 фотографий, но до тех пор, пока фотограф не поднимет фотоаппарат под соответствующим углом, чего не делал раньше, он будет видеть только нижнюю часть прохожего. Более или менее. — И вторя отцу Кевина, которого он и не знал, добавил:

— Простите, что я это говорю, мистер Меррилл, но вы показали мне такое, чего я никогда не видел: неопиcуемый и почти неопровержимый паранормальный случай, который по-настоящему довольно скучен.

Это поразительное, но явно искреннее замечание заставило Папашу не обращать внимание на то, что может думать Чаффи, и он вновь спросил:

— Насколько можно заметить, это всего лишь собака?

— Конечно, — сказал Чаффи, слегка удивленно, — беспризорная дворяжка, немного раздраженная.

Он вздохнул.

— И не надо, конечно, все воспринимать всерьез. Я имею в виду, что не знаящим вас, мистер Меррилл, не надо воспринимать все всерьез. Людям, которые не знакомы с вашей честностью и надежностью в таких вопросах. Понимаете, это похоже на шутку. И не очень удачную. Типа детской игры. Восемь волшебных шариков.

Две недели назад Папаша решительно бы восстал против такой идеи. Но это было до того, как его не просто попросили, а вышибли из дома этого ублюдка Маккарти.

— Хорошо, раз это ваше последнее слово, — сказал Папаша, поднимаясь и беря аппарат за ремень.

— Мне очень неловко, что вы проделали такой путь из-за такого пустяка, — сказал Чаффи, и его лицо снова расплзлось в ужасной улыбке — растянутые, резиновые губы и огромные зубы, блестящие от слюны. — Я как раз собирался сделать сэндвич с колбасным фаршем, когда вы пришли. Не хотите ли составить мне компанию,

мистер Меррилл? Можно сказать, у меня неплохо получается. Я добавляю немного хрена и бермудского лука, вот в чем состоит секрет, и потом я...

— Я пас, — печально сказал Папаша. Как и в гостиной Сестер Пас, единственное, что сейчас ему хотелось сделать, так это убраться отсюда куда-нибудь подальше от этого идиота. У Папаши было отчетливое чувство неприязни к тем местам, где он рисковал и проигрывал. — Я уже пообедал, вот что я хочу сказать. Надо отправляться в обратный путь.

Чаффи сладко улыбнулся:

— Любая работа окупается сторицей, — сказал он.

«Только не в последнее время», — подумал Папаша.

— Это жизнь, — ответил Папаша, выбираясь из сырого и холодного дома (Папаша вообще не мог представить, как можно жить в таком месте в феврале), пропахшего мышами и плесенью, пожирающей занавески и диванные покрывала. Он никогда не думал, что свежий октябрьский воздух, напоенный слабым запахом озера и сосновых иголок, может быть так хорош.

Он залез в машину и завел мотор. Эмери Чаффи, в отличие от одной из Сестер Пас, которая, проводив Папашу до выхода, быстро закрыла дверь за его спиной, словно боялась, что солнце может, коснувшись ее, превратить ее в пыль, словно вампира, стоял в дверях, улыбаясь своей идиотской улыбкой и, кажется, МАХАЯ на прощанье, словно провожая Папашу в дальнее путешествие.

И Папаша непроизвольно, так же, как это произошло со старой негритянкой, сделал снимок Чаффи и начинавшегося разваливаться дома, который был единственным напоминанием о величии его семьи. Он не помнил, как поднял аппарат с сиденья. Он даже не отдавал себе отчет, что держит камеру в руках и нажимает на затвор, пока не услышал визг механизма, высовывавшего фотографию, похожую на язык, облитый какой-то серой жидкостью. Звук, казалось, ударил по нервам, заставив их заныть; очень похожее ощущение, когда прикасаешься к чему-нибудь холодному или, наоборот, горячему.

Он кулаком ударил по кнопке бардачка, бросил фотографию вовнутрь и с такой силой закрыл крышку, что сломал ноготь.

Он резко тронул машину, едва не заглушив двигатель, затем чуть не снес старые ели, посаженные вдоль всего подъездного пути к дому Чаффи, и весь этот путь ему казалось, что Эмери Чаффи громко смеется ему вслед.

Его сердце гулко бухало в груди, а в голове кто-то, казалось, молотил кувалдой. Кровь пульсировала в висках.

Потихоньку он овладел собой. Пять миль — и маленький человек перестал колотить в голову. Десять миль (теперь он был на половине пути назад в Касл-Рок) — и сердце успокоилось. Он говорил себе: «Не следует смотреть на нее. Не следует. Пусть она там сгниет. Не надо вообще больше снимать. Пора признаться, что это чистый убыток. Пора сделать то, что нужно было разрешить сделать парню с самого начала».

Конечно, когда он достиг железнодорожного переезда, в предместьях Касл-Рока, откуда можно было увидеть западную часть Мэна и большую часть Гемпшира, он резко изменил решение, выключил мотор, залез в бардачок, не осознавая, что делает, подобно человеку, спящему на ходу. Фотография там, конечно, проявилась; химикаты, содержащиеся в этом обманчиво плоском квадрате, ожили и сделали свою обычную квалифицированную работу. Свет или темнота — для фотографии Полароида не было никакой разницы.

Собака теперь полностью припала к земле. Она полностью сжалась, словно взведенный до отказа курок. Как вообще могли ее губы закрывать эти клыки? Теперь она больше походила на неизвестный вид дикого кабана, чем на собаку. Взгляд на нее причинял боль не только глазам, он причинял боль разуму. У Папаши было ощущение, что он сходит с ума.

«Почему бы не избавиться от камеры прямо сейчас? — внезапно подумал он. — Ты это можешь сделать. Выйди, подойди и шмякни ее о рельсы. И все. До свиданья».

Но это было бы чисто импульсивное действие, а Папаша Меррилл принадлежал к племени рассудительных людей — телом и душой, вот что я хочу сказать. Он не хотел делать ничего опрометчиво, о чем позднее мог бы пожалеть и...

«Если ты не сделаешь это, то позже пожалеешь».

Нет, нет и нет. Человек не может противиться своей природе. Это было неестественно. Ему требовалось время на раздумье. Чтобы наверняка.

Вместо этого он выбросил отпечаток и быстро продолжил путь. Минуты две у него было ощущение, что он сможет выбросить фотоаппарат, но желание прошло. После этого он немного почувствовал себя самым собой. Благополучно добравшись домой, он открыл металлический ящик, вытащил «Солнце», порывлся еще раз в ключах, выбрал ключ от ящика, где хранил «особенные» вещи. Он начал запихивать аппарат внутрь... остановился, нахмутив брови. Образ чурбака для рубки мяса с такой отчетливостью встал в его сознании, каждая деталь была так прорисована, словно это была фотография.

Он подумал:

«Не важно, что человек не может обмануть себя, свою природу. Ты знаешь, дружок какое настало время — время сделать то, что нужно было разрешить мальчишке сразу».

Но другая часть его восстала, в ярости сжимая кулаки: «Я вложил деньги, черт подери! Этот ребенок разбил великолепный Полароид. Он, может, и не знал этого, но ничего не изменится в том, что я выкинул 135».

— Вот дерьмо на палочке! — возбужденно забормotal он. — Не так! Это не чертовы деньги!

Нет, они не были чертовыми деньгами. Он не мог допустить, что это вообще не деньги. Он не мог позволить себе это сделать: Папаша не имел возможности заняться большим делом, приобрести собственный особняк на проспекте Брэмхолл в Портленде и новый «Мерседес-бенц». Он никогда бы не купил этих вещей — он экономил центы и считал патологическую скупость не более чем хорошей американской бережливостью.

Но дело было не в деньгах, а в чем-то более важном, чем деньги: чтобы его не ободрали как липку.

Он положил всю жизнь, чтобы не быть ободранным, и в тех случаях, когда это случалось, он чувствовал себя как человек, в черепе которого кишат красные муравьи.

Взять хотя бы пример с проигрывателем Краута. Когда Папаша разузнал, что антиквар из Бостона — Донахью было его имя — получил на 50 долларов больше, чем должен был получить за граммофон Виктора-Граффа производства 1915 года (который на проверку оказался обычной моделью 1919 года), Папаша потерял 300 долларов, иногда замышляя различные формы мести (каждая еще более дикая и глупая, чем предыдущая), иногда кляня самого себя за глупость, говоря, что должен отойти от дел, если такой человек, как Донахью может его провести.

Случай с «Полароидом» въедался в него, как кислота, но Папаша еще не был готов отказаться от этого дела.

Пока еще нет.

— Идиот! — закричал на него голос. — Идиот, если хочешь продолжать!

— Чтoб я сдох, если брошу это, — пробормotal он злобно этому голосу, пустому темному магазину и часам, тихо тикающим, как бомба в сумке. — Чтoб я сдох!

Но это не значило, что он поспешит предпринять еще одно путешествие, пытаясь загнать этого сукиного сына, и, конечно, он не собирался больше делать им фотографии. Он считал, что в кассете

осталось еще три «пустых» карточки, а возможно, и все семь, но он не собирался быть тем человеком, кто все выяснит. Никогда.

Хотя все может произойти. Никогда не знаешь. Но ведь вряд ли аппарат, закрытый в ящике, причинит ему или кому-нибудь еще вред?

Папаша, оживившись, согласился с собой. Он положил аппарат внутрь, закрыл ящик, переложил ключи, подошел к входной двери и перевернул табличку с «ЗАКРЫТО» на «ОТКРЫТО» с видом человека, который разрешил-таки наконец одну надоевшую проблему.

ГЛАВА 10

Папаша проснулся в 3 часа ночи, покрытый липким потом, пытаясь взглянуть в темноту. Часы только что устало пробили положенное время.

Но не этот звук разбудил его, хотя это могли быть и часы, так как он спал не наверху в кровати, а в самом магазине. «Эмпориум Галориум» напоминал темную пещеру, заполненную неуклюже двигающимися тенями от фонарей на улице, горевших так, что их лучи, проходя через грязные оконные стекла, давали неприятное ощущение присутствия чего-то, невидимого глазу. Но не часы разбудили его, это была ВСПЫШКА.

Он ужаснулся, обнаружив себя стоящим в пижаме рядом со своим рабочим столом с «Полароидом «Солнце-660» в руках. Ящик был открыт. Папаша осознал, что хотя сделал лишь одну фотографию, его палец продолжал нажимать на кнопку, которая заставляла срабатывать затвор аппарата снова и снова. Он сделал бы намного больше снимков, чем один, торчащий из щели, но, к счастью, карточка была единственной, оставшейся в зарядной кассете.

Папаша начал опускать руки — он держал аппарат, направленный на дверь магазина, видеоискатель с маленькой трещиной был приоткрыт, словно спящий глаз, — и когда опустил их, они начали дрожать, а мышцы расслабились. Его руки бессильно упали, пальцы разжались, и аппарат с шумом упал обратно в «специальный» ящик. Фотография, которую он сделал, выскользнула из щели и задрожала. Она задела край открытого ящика, словно была готова последовать за аппаратом, затем другой край. И упала на пол.

«Сердечный приступ, — бессмысленно подумал Папаша, — сейчас у меня будет сердечный приступ».

Он попытался поднять правую руку, чтобы помассировать левую сторону груди кончиком пальцев, но рука не слушалась. Она

болталась, как мертвец, висящий на веревке. Мир качнулся и стал плохо различим. Звук часов (они опаздывали) постепенно затихал, отдаваясь дальним эхом. Боль в его груди утихла, казалось, вернулся свет, и он понял, что теряет сознание.

Он заставил себя сесть на вращающийся стул, стоявший около стола, и сам процесс опускания на стул, так же, как и опускание аппарата, поначалу не доставил ему хлопот, но уже на полпути сочленения, связывающие его бедра и икры, ослабли так, что он просто рухнул на стул. Ножка у стула немного покосилась и уперлась в корзину со старыми журналами «Лайф» и «Лук».

Папаша опустил голову. Прошло некоторое время. Он более или менее пришел в себя и поднял голову. В висках и подо лбом он ощущал постоянную тупую пульсацию, возможно потому, что кровь здорово прилила к голове, когда он долго держал ее в склоненном положении. Он почувствовал, что может встать, и понял, что должен сделать. Если эта вещичка заняла все мысли, она могла заставить его идти во сне, затем заставить его (его разум пытался восстать против этого глагола ЗАСТАВИТЬ, но не мог) сделать фотографии, а этого было достаточно. Он не знал, что из себя представляет эта штука, но одно было ясно: нельзя смиряться с ней.

Настало время сделать то, что он сразу должен был позволить сделать мальчишке.

Да. Но не сейчас. Он был измучен, обливался потом и дрожал. Он подумал, что мог бы отложить работу на следующий день и, забравшись вверх по лестнице в свою комнату, утихомирить этот мерно бухающий молот в голове. Он сможет сделать это — просто вытащить аппарат из ящика и шмякнуть его о пол, еще и еще. Но теперь, и надо было признаться себе в этом, — теперь он старается отстраниться от этого аппарата. На сегодня достаточно... Да он и не может причинить никакого вреда с этого момента, не так ли? Внутри не осталось карточек.

Папаша закрыл ящик и запер его. Затем он медленно встал, похожий больше на 70-80-летнего старика, и заковылял к лестнице. Он взбирался по ней, останавливаясь на каждой ступени, вцепившись в перила (не казавшиеся теперь надежной опорой) одной рукой, в другой держа тяжелую связку ключей на железном кольце. Наконец он добрался до верха. Когда дверь закрылась за ним, он почувствовал небольшой прилив сил. Войдя в спальню, он залез в кровать, как всегда не обращая внимания на особый запах, который идет от старого, испытывающего определенные затруднения человека, и лег. Он менял простыни в начале каждого месяца и считал это нормальным.

«Я не засну», — подумал он, и сразу: «Нет, ты заснешь. Заснешь, потому что ты в состоянии сделать это, потому что завтра возьмешь молоток и разнесешь эту чертову штуку на куски и наконец закончишь с ней».

Эта мысль пришла почти одновременно со сном, и Папаша проспал оставшуюся часть ночи без снов, почти без движения. Когда он проснулся, то с удивлением услышал, что часы, кажется, пробили лишний раз: восемь вместо семи. Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил взгляд на солнечные блики, косо падавшие на пол и стены, и понял, что действительно было восемь часов. Он проспал впервые за десять лет. Внезапно он вспомнил прошедшую ночь. Сейчас, при дневном свете, все происшедшее казалось менее таинственным. Действительно ли он потерял сознание? Или это была естественная слабость, происходящая со спящим, когда его внезапно будят?

Но, конечно же, все произошло на самом деле. Неяркий свет утреннего солнца не изменил основного: он бродил во сне, он сделал по крайней мере одну фотографию и сделал бы еще уйму таких, если бы в кассете были еще карточки.

Он встал, оделся и спустился вниз, собираясь осмотреть все в деталях, прежде чем выпить чашечку утреннего кофе.

ГЛАВА 11

Кевин думал, что его первое посещение двухмерного города Полароидсвилла будет и последним, но все оказалось не так. В течение тринадцати ночей этот сон повторялся чаще и чаще. Если случалось, что он не видел его в одну из ночей, то на следующий раз он снился дважды. Теперь он всегда знал, что это сон; каждый раз, когда тот начинался, единственное, что надо было сделать, так это попытаться проснуться, черт побери, разбудить себя! Иногда это удавалось, а иногда краски размывались, переходя в глубокий сон.

Теперь всегда он видел Полароидсвилл и никогда Отли или Хильдасвилл — две неуклюжие попытки сориентироваться на месте. И как на фотографии, каждый сон имел небольшое продолжение.

Сначала человек с передвижным лотком, который был наполнен лежавшими в беспорядке вещами... но большей частью часами из «Эмпориум Галориум», всем своим видом внушающие суеверный страх, не реальные, а просто фотографии вещей, которые были вырваны из журналов и невозможным, парадоксальным образом

свалены в лотке, который, как и фотографии, был двухмерен и, по идее, не имел пространства, чтобы вместить их. Но они там были. Старик сгибался, словно защищая, над ними и приказывал Кевину убираться. Только теперь он говорил еще: «Если ты не уберешься, я натравлю Папашину собаку на тебя! Вот увидишь!»

Толстая женщина, которая не могла быть толстой на плоской фотографии, но тем не менее была, появлялась следующей. Она появлялась, толкая перед собой собственный лоток, набитый фотоаппаратами «Полароид «Солнце». Она всегда заговаривала с ним, прежде чем он проходил мимо. «Будь осторожен, мальчик, — говорила она громким, но невыразительным тоном, словно была глухой. — Собака Папаши сорвалась с привязи и по дороге сюда разорвала трех или четырех людей на ферме Трентон в Капдервиле. Очень трудно сделать ее фотографию, но ты не сможешь сделать этого, пока не будешь иметь фотоаппарат». Она наклонялась, чтобы взять один, держа его как можно дальше от себя, он тянулся за аппаратом, совершенно не понимая, почему женщина решила, что он будет снимать собаку или почему он хочет... А может, он просто старается быть вежливым?

Они оба двигались с неизменной медлительностью подводных пловцов, как делают это задумавшиеся люди, и никогда не касались его; когда Кевин думал об этой части сна, он всегда вспоминал знаменитые фрески Господа и Адама, которые Микеланджело нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Каждый из них протягивал руку, пальцы тоже были вытянуты, и кончики пальцев почти касались друг друга.

Затем на мгновение женщина исчезала, потому что была плоская, и когда появлялась вновь, то была вне пределов досягаемости. «Хорошо, тогда вернемся к ней», — думал Кевин каждый раз, когда сон доходил до этого места, но не мог. Его ноги необдуманно и невозмутимо несли к ободранной белой изгороди, к Папаше и собаке... только собака больше уже была не собакой, а каким-то ужасным, непонятым существом, похожим на изрыгающего жар дракона, имевшим зубы и скрученный спиралью хвост дикой свиньи.

Папаша и Солнечный пес поворачивались к нему одновременно, и Папаша подносил аппарат — ЕГО аппарат (Кевин знал, потому что сбоку на корпусе был отколот маленький кусочек) — к правому глазу. Его левый глаз прищуривался. Его очки без оправы мерцали в тусклом солнечном свете, задранные на лоб. Папаша и Солнечный пес были в трех измерениях. Они были единственными объемными фигурами в этом убогом, вызывающим гадливость городе.

— Вот он! — кричал Папаша пронзительно страшным голосом. — Он вор! Ату его, мальчик! Вытащи кишки его наружу, вот что я хочу сказать!

И с последними выкрикнутыми словами Папаша нажимал на кнопку затвора, и холодная молния освещала день. Кевин поворачивался, чтобы убежать. Снова он двигался замедленно, как под водой. Он подумал, что если бы мог посмотреть на себя со стороны, он был бы похож на танцора из подводного балета: руки, поворачивающиеся, словно лопасти пропеллера, начинающего движение; рубашка, обвившая тело, туго натянувшаяся на груди и животе. В то же самое время он слышал, как рубашка с треском вырывается из штанов.

Потом он бежал так же, как и шел, каждая нога поднималась медленно и плыла сонно (конечно, сонно, как же еще, глупец) вниз, пока не ударялась в разбитый цемент тротуара, теннисные туфли сплющивались, принимая на себя его вес, вздувая маленькие облачка песка, двигавшиеся так медленно, что он мог видеть отдельные песчинки, крутящиеся, как атомы.

Он бежал медленно, конечно, и Солнечный пес, безымянный, бездомный, пришедший ниоткуда, но тем не менее существующий, медленно гнался за ним... но не ОЧЕНЬ медленно.

На третью ночь этот кошмар перешел в нормальный сон как раз в тот момент, когда Кевин начал поворачивать голову в тягучем, сводящем с ума медленном движении, чтобы посмотреть, насколько он был впереди собаки. Затем опустилась ночь. На следующую ночь сон повторился — дважды. В первом он повернул голову так, что смог увидеть улицу, по которой бежал, исчезающую в преддверии ада у него за спиной. Во втором (в этот момент будильник разбудил его — в легком поту, скрюченного словно эмбрион в дальнем углу кровати) он повернул голову достаточно для того, чтобы увидеть собаку в тот момент, когда она опустила передние лапы прямо в его следы, и заметил, как лапы выкапывают маленькие кратеры в цементе своими отросшими когтями... и из задней части каждой лапы существа торчал костяной шип, похожий на шпору. Красные мутные глаза существа уставились на Кевина. Его ноздри источали, раздуваясь, неясный огонь. «ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! Они высмаркивают огонь», — подумал Кевин, и когда проснулся, с ужасом услышал, как он снова и снова быстро шепчет: «...сморкаешься огнем, сморкаешься огнем, сморкаешься огнем».

Ночь за ночью собака нагоняла его, в то время как он спасался бегством, мчась по тротуару. Когда он оборачивался, он мог слышать настигающего его Солнечного пса. Он чувствовал догоняющее тепло

из его пасти и весь взмокал от ужаса, все чувства растворялись и немели. Он слышал, как лапы пса ударяются о цемент, сухой треск, визг разрушаемого цемента. Он слышал горячее отрывистое дыхание, шум воздуха, всасываемого через эти непомерно огромные зубы.

И в ту же ночь, когда Папаша, очнувшись, обнаружил, что он не только бродил во сне, но и сделал по крайней мере одну фотографию, Кевин почувствовал так же, как услышал тогда, в первом сне, дыхание Солнца, порыв теплого воздуха на своих ягодицах. Он был похож на знойный поток воздуха, который исходит от поезда метро, проносающегося мимо станции, на которой он не делает остановку. Он знал, что собака находится достаточно близко, чтобы броситься ему на спину, и это произойдет в следующее мгновение, он почувствует еще один выдох, теперь не просто теплый, а горячий, горячее, чем острый приступ изжоги, и потом этот оскаленный рот, похожий на живой капкан на медведя, погрузится в его плоть сзади, между лопатками, вырывая кожу и мясо из спины. И это только сон? Он так думал?

Он проснулся как раз в ту минуту, когда Папаша забрался на верх лестницы, дошел до своей комнаты и оставалось последнее мгновение перед тем, как он ляжет в постель. В этот момент Кевин проснулся, сел прямо, простыня и покрывало завернулись вокруг талии, тело покрылось испариной, живот, грудь, спина, руки были покрыты гусиной кожей. Казалось, и на лице появились пупырышки.

Будильник разбудил его в 7.30, как обычно в те дни, когда надо было идти в школу. Он обнаружил, что сидит в кровати с широко раскрытыми глазами. Внезапно все встало на свои места. Фотоаппарат, который он разбил вдребезги, не был его «Солнцем-660», вот почему он продолжал видеть тот же самый сумасшедший сон снова и снова. Папаша Меррилл, этот высохший философ и специалист по ремонту фотоаппаратов, часов и небольших электробытовых приборов, перехитрил его и его отца, как опытный мошенник — новичка в старых вестернах.

— Отец.

Он услышал, как дверь внизу резко закрылась, и вскочил с кровати. Двумя прыжками он достиг двери, оставаясь в пижаме, сообразил, повернулся, рванул окно настежь и завопил; «Папа!» — как раз в тот момент, когда его отец садился в машину, чтобы отправиться на работу.

ГЛАВА 12

Папаша выудил кольцо с ключами из кармана, открыл «специальный» ящик, вытащил аппарат и, еще раз проявив осторожность, взял его за ремень. Он посмотрел с некоторой надеждой на переднюю часть «Полароида», ожидая, что объектив разбился при последнем падении, что этот чертов глаз вылетел, если можно так сказать, но еще его отец любил говаривать, что всегда существует на свете дьявольское везение, как и в этом случае с аппаратом Кевина Делевана. Трещина на краю этой штуки увеличилась, но не более того.

Он закрыл ящик и, поворачивая ключ, увидел фотографию, которую сделал во сне, лежащую лицом вниз. Не в состоянии преодолеть искушения посмотреть на нее, подобно жене одного мифического героя, которая не смогла побороть желание взглянуть назад на Содом, он поднял ее своими тупыми, негнушимися пальцами и перевернул.

Собака-создание начала прыжок. Ее передние лапы едва оторвались от земли, но вдоль ее уродливого позвоночника и в связках мышц под покровом шерсти, словно под жестким волосом черной стальной щетки, он уловил кинетическую энергию, начинавшую высвобождаться. Ее морда и голова были видны не особенно отчетливо на этой фотографии, пасть зияла еще шире. Папаша словно услышал низкое, идущее из горла рычание, переходящее в рев. «Фотограф-тень», кажется, пытался отступить назад, но что бы это дало?

Дым бил струей из ноздрей и пасти, и еще больше этого дыма относил назад с краев ее открытой пасти в узкое пространство, где заканчивался ужасный частокот ее зубов. Найдется ли хоть один человек, который не отшатнется от ужаса, подобного ЭТОМУ, не попытается развернуться и убежать? Единственное, что мог сказать Папаша, взглянув на фотографию, это что у мужчины (конечно, это был взрослый мужчина, который когда-то был ребенком, юношей, но у которого аппарат был сейчас), сделавшего фотографию скорее рефлекторно, случайно нажав на кнопку затвора, не было никаких шансов. Мужчина мог бежать хоть вприпрыжку — оставалось лишь гадать, как он умрет: еще стоя на ногах или опрокинувшись на задницу.

Папаша скомкал в руке фотографию и положил ключи в карман. Он повернулся, держа «Полароид «Солнце-660», принадлежавший поначалу Кевину Делевану, который был теперь ЕГО собственностью, за ремень, и прошел на задний двор, намереваясь по пути

прихватить молоток. Когда он почти подошел к двери сарая, яркая, белая вспышка сверкнула безмолвно, но не перед его глазами, а внутри, в мозгу.

Он обернулся, в глазах было темно, как у человека, на время ослепленного ярким светом. Он прошел мимо стола, держа камеру на уровне груди, словно жертвенную урну или мощи. На полпути между столом и входом в магазин стояло бюро, заставленное часами. Слева от него находилась перекладина, где на крючке висели еще одни часы, имитация немецких часов с кукушкой. Папаша схватил их за крышку и сорвал с крючка, не обращая внимания на противовес, который мгновенно перепутался со второй цепью, и на маятник, сорвавшийся в тот момент, когда цепь накрутилась на него. Маленькая дверца под крышей резко приоткрылась; деревянная птичка выставила свой клюв и один испуганный глаз. Она издала единственный звук — КУ-КУ — словно протестуя против грубого обращения, и вновь исчезла внутри.

Папаша повесил аппарат за ремень на тот крючок, где были часы, затем повернулся и направился в глубь магазина во второй раз. Его глаза все еще ничего не видели. Он стискивал часы, покачивая их взад-вперед, не слышал дребезжания внутри и изредка повторяющихся странных звуков — словно птичка старалась вырваться наружу, не заметил, как противовес, ударившись о край кровати, оторвался и закатился под нее, оставляя след в лежавшей годами пыли. Он двигался бессмысленно, как робот. В сарае он на мгновение задержался, взял кувалду за ее гладкую рукоятку. Так как обе руки были заняты, ему пришлось локтем левой руки сбить щеколду с двери сарая. Он вышел на задний двор.

Он подошел к чурбаку для рубки мяса и поставил на него копию немецких часов с кукушкой. Некоторое время он постоял, глядя вниз, схватив кувалду обеими руками, с полностью отрешенным лицом, без единого проблеска мысли в глазах. Но какая-то часть его рассудка полностью думала за него. Эта часть его видела не часы с кукушкой, за которые теперь никто не дал бы и цента, она видела «Полароид» Кевина, верила, что Папаша, спустившись вниз, взял из ящика фотоаппарат, приволок его сюда, на секунду остановившись, чтобы взять молоток.

Это была та самая часть, которая позже позволит ему вспомнить... когда представится удобный случай, другую правду.

Папаша Меррилл поднял кувалду над правым плечом и с силой опустил вниз — может быть, не так сильно, как это получилось у Кевина, но достаточно, чтобы сделать дело. Удар пришелся как раз по крыше часов. Они даже не разбились — они БРЫЗНУЛИ;

кусочки пластмассы, сделанной под дерево, части механизма, пружины разлетелись повсюду. Но та часть разума Папаши, которая вспомнит позднее (когда будет подходящий момент, конечно), видела лишь куски аппарата, разбросанные вокруг.

Он сдернул кувалду с чурбака и некоторое время постоял, вперив бессмысленный взгляд в осколки. Птичка лежала на спине, ее крошечные деревянные лапки торчали вверх. Она была более мертвой, чем любая настоящая птица, и в то же время чудесным образом не поврежденной.

— Вот так, — пробормотал он, — хорошая работа.

Даже стоявший бы рядом с ним человек не расслышал бы его слова, но трудно было бы не уловить явное облегчение, слышавшееся в его голосе.

— Дело СДЕЛАНО. Не стоит об ЭТОМ больше беспокоиться. Что теперь? Табачок для трубки?

Но когда он зашел через 15 минут в аптеку, которая находилась в другом конце квартала, он попросил не трубочного табаку (хотя помнил, что именно это должен был сделать).

Он попросил кассету с чистой пленкой. Для «Полароида».

ГЛАВА 13

— Кевин, я опоздаю на работу, если...

— А ты не позвонишь? Можешь? Позвони и скажи, что задержишься, или это совсем невозможно? А если это очень, очень важно?

Мистер Делеван спросил осторожно: «Что-нибудь произошло?»

— Пожалуйста.

Миссис Делеван стояла в дверях спальни Кевина. Мег — сзади нее. Они обе с любопытством смотрели на мужчину, одетого в деловой костюм, и рослого мальчика, все еще не переодевшего свои короткие брюки.

— Я думаю, что смог бы. Но пока ты не скажешь, в ЧЕМ дело.

Кевин понизил голос и, покосившись на дверь, сказал: «Дело в Папаше Меррилле и в аппарате».

Мистер Делеван, который поначалу был озадачен только тем, что говорят глаза Кевина, теперь подошел к двери. Он что-то прошептал жене, та кивнула в ответ. Затем он закрыл за собой дверь, больше не обращая внимание на протестующее хныканье Мег, похожее на пение птички, которая расположилась на телефонном проводе за окном спальни.

— Что ты сказал маме? — спросил Кевин.

— Что это чисто мужской разговор, — мистер Делеван слегка улыбнулся. — Я полагаю, она думает, что ты захотел поговорить о мастурбации.

Кевин покраснел.

Мистер Делеван с интересом посмотрел на него.

— Ведь это не так, не так ли? Я имею в виду, что ты знаешь о...

— Знаю, знаю, — поспешно ответил Кевин; он не собирался говорить своему отцу (и был вообще не уверен, что подберет нужные слова, если бы даже этого очень захотел), что его поразил больше всего не тот факт, что не только ОТЕЦ слышал о мастурбации (это не должно было его удивлять, хотя удивило), но его МАМА была в курсе.

Ничего. Все это пустяки по сравнению с ночными кошмарами, с тем, что он наконец понял.

— Я о Папаше, я говорил тебе. И о кошмарах, которые мне снятся. Но больше всего о камере. Потому что Папаша украл ее, папа.

— Кевин!!!

— Я знаю, я разбил ее на кусочки на его чурбаке для рубки мяса. Но это был НЕ МОЙ аппарат, а ДРУГОЙ аппарат. Это еще не самое плохое. Самое ужасное в том, что он ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ, СНИМАЯ ФОТОГРАФИИ! Та собака готова уже выпрыгнуть. Когда это случится, я думаю, она убьет меня. В том мире она уже начала пры-ы-ы...

Он не смог закончить. Кевин снова удивил самого себя — на этот раз расплакавшись.

К тому времени, когда Джон Делеван успокоил своего сына, было десять минут восьмого, и он примирился с мыслью, что опоздал на работу. Что бы там ни было, это действительно потрясло ребенка.

В то время, когда Кевин дрожал и только набирал с всхлипыванием воздух в легкие, мистер Делеван подошел к двери и осторожно открыл ее, в надежде, что Мэри уведет Мег вниз. Она сделала это, приходящая была пуста. «Хоть кто-то на нашей стороне», — подумал он и вернулся к Кевину.

— Теперь ты можешь говорить? — спросил он.

— Папаша взял мой фотоаппарат, — произнес хрипло Кевин. Его красные глаза, еще влажные, близоруко вглядывались в отца. — Он взял его каким-то образом и пользуется.

— И это то, что тебе СНИЛОСЬ?

— Да... и я вспомнил кое-что.

— Кевин... тогда это был ТВОЙ аппарат. Извини, сын, но ТВОЙ. Я даже видел маленький осколок на боку.

— Он, видимо, как-то подменил его...
— Кевин, это, кажется, ерунда...
— Послушай, — Кевин говорил настойчиво, — ты меня ВЫСЛУШАЕШЬ?

— Хорошо. Да. Я слушаю.
— Я вспомнил, что когда мы вернулись обратно и он передал мне аппарат, чтобы разбить его... Помнишь?..

— Да...
— Я заглянул в маленькое окошко, где счетчик показывает, сколько еще осталось кадров. Он, папа, показывал «три»! ТРИ!

— Хорошо! И что из этого следует?
— Внутри была заряжена кассета! Я знаю, потому что помню одну из тех черных блестящих штучек, которые подпрыгнули, когда я разбил аппарат.

— Я повторяю: что из этого следует?
— В моем аппарате, когда я отдал его Папаше, не было кассеты. Вот что из этого следует. Я сделал 28 фотографий. Он хотел, чтобы я сделал еще 30, до полного количества — 58. Может быть, я купил бы еще, если бы знал, что он собирается сделать. Но, когда я испугался...

— Да, мне тоже немного было не по себе.
Кевин посмотрел на него с уважением:
— И тебе было страшно?
— Да. Продолжай. Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь.
— Я хотел сказать, что он просто сэкономил, но недостаточно — наполовину. Да он безнравственный СКРЯГА, папа!

Джон Делеван слегка улыбнулся.
— Это так, мой мальчик, — один из самых отъявленных, вот что я хочу сказать. Продолжай и заканчивай. Время летит.

Кевин взглянул на часы. Было почти 8. Никто из них не знал, что Папаша проснется через 2 минуты и начнет обычные хлопоты, большую часть из которых вряд ли верно вспомнит потом.

— Хорошо, — сказал Кевин, — все, что я пытаюсь сказать, так это то, что я не мог купить больше кассет, даже если бы захотел. Я потратил все свои деньги, купив три пачки. Пришлось даже занять доллар у Меган, поэтому я разрешил ей тоже немного поснимать.

— То есть, ты истратил все экспозиции? Все до единой?
— Да! ДА! Он даже сказал, что их было 58! В промежутке между тем, когда я отщелкал все фотографии, которые он хотел, и когда мы пришли взглянуть на то, что сделал он, я ничего больше не покупал. Фотоаппарат был ПУСТ, когда я его принес, папа. В маленьком окошке была цифра «0»! Я видел, я помню это! Поэтому,

если бы это был мой аппарат, как там могла появиться цифра 3, когда мы спустились вниз?

— Он не мог... — После этого его отец замолчал. Необычно мрачное выражение, столь нехарактерное для него, появилось на лице, как только он осознал, что Папаша МОГ сделать это, и правда состояла в следующем: он, Джон Делеван, не хотел верить, что Папаша мог так поступить, что никакой горький опыт не является настоящей вакциной против глупости, и если Папаша смог обвести его вокруг пальца, то почему бы это не могло произойти с его сыном.

— Не мог ЧТО? О чем ты думаешь, папа? Что тебя так поразило?

Действительно, кое-что его поразило. С каким желанием Папаша спустился вниз, взял фотографии, чтобы они могли внимательнее посмотреть на предмет, болтавшийся на шее собаки, предмет, оказавшийся галстуком Кевина, — тем самым последним подарком тетюшки Хильды с защипом в виде птицы, похожей на дятла.

«Мы могли бы спуститься с ВАМИ», — сказал Кевин, когда Папаша предложил принести фотографии. Но ведь старик вскочил, треща как цикада! Он что-то сказал, но мистер Делеван признался себе, что он едва ли заметил, ЧТО говорил или делал Папаша, потому что хотел снова увидеть эту чертову пленку. Папаше даже не надо было особенно утруждаться, хотя с трудом верилось, что старый сукин сын не был готов к этому, но если все обстояло именно так, он МОГ подняться вместе с ними, спуститься один и просто взять аппарат Кевина. Он мог подменить хоть 20 аппаратов на досуге!

— Папа?

— Думаю, он мог это сделать, — сказал мистер Делеван. — Но зачем?

Кевин смог лишь помотать головой. Он не знал зачем. Но уже то, что мистер Делеван верил, немного успокаивало. Может быть, честному человеку не надо учиться простой вселенской правде снова и снова, может быть, эта правда в конечном итоге становится частью его? Он захотел вслух сформулировать лишь один вопрос, чтобы найти на него ответ. Почему Папаши Мерриллы что-либо делают? Ради выгоды. Вот в чем была причина, основная причина, самая главная. Кевин хотел разрушить аппарат. После просмотра Папашиной видеопленки мистер Делеван был полностью согласен.

Из троих кто мог глядеть значительно дальше?

Конечно, Папаша, Реджинальд Мэрион, «Папаша» Меррилл.

Джон Делеван сидел на краю кровати Кевина, обняв своего сына за плечи. Теперь он встал. «Одевайся. Я спущусь вниз и позвоню.

Скажу Брандону, что, возможно, буду позже, но думаю, что не поеду».

Он уже мысленно разговаривал с Брандоном Ридом, но был не так уж погружен в себя, чтобы не заметить благодарность, вспыхнувшую на озабоченном лице его сына. Мистер Делеван слегка улыбнулся и почувствовал, как нехарактерное для него подавленное настроение спало и окончательно улетучилось.

— Я думаю, — сказал он, двигаясь к двери, — нам следует нанести визит Папаше Мерриллу. — Он взглянул на часы, стоявшие на тумбочке. Было десять минут девятого, и в «Эмпориум Галориум» кувалда обрушилась на копию немецких часов с кукушкой.

— Он обычно открывается в 9.30. К этому времени мы к нему и зайдем, я думаю. Если ты поторопишься.

Он сделал паузу, холодная улыбка тронула его губы. Он улыбался сыну:

— Думаю, ему придется объясниться, вот что я хочу сказать.

Мистер Делеван вышел, закрыв за собой дверь. Кевин быстро вскочил и начал одеваться.

ГЛАВА 14

Аптека Ла Вердьера в Касл-Роке была больше, чем просто аптека. Другими словами, мысль о том, что это была аптека, приходила только потом. Как будто кто-то заметил в последний момент, как раз перед церемонией открытия, что одно из слов на вывеске все же было «аптека», но только подумал указать кому-то из управления компании, что они недосмотрели и не исправили ошибку на вывеске, чтобы она читалась более просто и аккуратно: Супер... магазин Ла Вердьера.

Супераптека Ла Вердьера была чем-то большим, чем любой другой дешевый магазин. Последним настоящим дешевым магазином в городе был магазин Бена Франклина, представляющий собой длинную тусклую комнату с жалкими, усиженными мухами шарами, свисающими на цепях над головой и мрачно отражающимися в скрипучем, но всегда навоощенном полу. Он испустил дух еще в 1978 году, чтобы уступить место видеосалону, где по вторникам не достигшие 20 лет не допускались в заднюю комнату.

Ла Вердьер вмещал в себя все, что и старый Бен Франклин, но товары здесь просто купались в беспощадно ярком свете флюоресцентных полосок, которые придавали каждому товару, имеющемуся в ассортименте, свой собственный, лихорадочно-блестящий вид.

— Купи меня! — казалось кричал каждый предмет. — Купи меня, а то ты умрешь! Или твоя жена! Или дети! Или твой лучший друг! А возможно, и все вместе! Почему? Откуда я знаю. Я просто-напросто безмозглый предмет, лежащий на полке. Но разве это не то, что надо? Ты же знаешь, что да! Поэтому купи меня прямо... сейчас!

Здесь имелся пролет с приборами, два пролета с товарами для оказания первой медицинской помощи и лекарствами от всех болезней, пролет с видеокассетами с записью и без. Там имелся длинный стеллаж с журналами, которые сменялись книгами в мягких переплетках, разнообразными зажигалками под клавишной кассой и разнообразными часами под другой (третья касса скрывалась в темном углу, где работал в тени фармацевт). Конфеты и сладости, выпущенные специально к Хеллоуину, заняли весь пролет, предназначенный для игрушек. Игрушки не только вернутся туда, но и займут еще два пролета к тому времени, когда Хеллоуин плавно перейдет в Рождество.

В передней части магазина — демонстрационном зале — была открыта выставка работ персонала магазина, которая называлась «Осенний фотофестиваль».

Эта выставка состояла из корзины, переполненной разноцветными осенними листьями, которые вываливались из нее ярким потоком (слишком, может быть, широким для одной такой корзины, как заметил бы наблюдательный человек). Среди листьев лежали фотоаппараты «Кодаки» и «Полароиды» (среди последних несколько моделей «Солнца»), разного рода другие принадлежности: футляры, альбомы для фотографий, пленка, вспышки. Посреди всего этого изобилия стояла тренога — роза, напоминавшая машину смерти одного из персонажей Г. Уэллса, которая возвышалась над кудрявыми развалинами Лондона. Она как бы привлекала всех заинтересованных покупателей к надписи, что на этой неделе они смогли бы приобрести «Полароиды» и аксессуары к ним с Большой Скидкой.

В восемь тридцать того же утра, спустя полчаса после открытия Ла Вердьера, «все заинтересованные» состояли из Папаши Меррилла и его одного. Он не обратил никакого внимания на выставку, а промаршировал к единственному открытому отделу, где Молли Дурхэм только что закончила выкладывать часы на симитированное под бархат покрытие витрины.

«О, Боже, вот старый хрыч», — подумала она и поморщилась.

Обычно идея Папаши пикантно убить время заключалась в том, чтобы подойти к прилавку, где она работала (он всегда выбирал ее отдел, даже если там стояла очередь, и она заметила, что он выбирал

именно то время, когда к ней была очередь) и купить пакетик табака «Принц Альберт». Это была покупка, которую нормальный человек совершает за 30 секунд. Но если ей удавалось избавиться от хрыча за 3 минуты, она считала, что хорошо отделалась. Он держал деньги в потрескавшемся кожаном кошельке на цепи и, вытаскивая его из кармана с большим усилием, создавал (как казалось Молли) слишком много звона. Когда Папаша открывал его, кошелек всегда издавал скрипящий звук, и, ей-Богу, вы ожидали увидеть трепет моли, вылетающей оттуда, как мультфильмах о скрягах. В кошельке лежали беспорядочно скомканные бумажные деньги, которые выглядели так, как будто их уже нельзя использовать, словно они были болезнетворными микробами, а под ними находилось серебро. Папаша вынимал сначала один доллар, затем отодвигал остальные бумажки в сторону одним из своих толстых пальцев, чтобы добраться до мелочи под ними, — он никогда не давал два доллара, ха-ха, это было бы слишком быстро и поэтому не подходило ему, и затем он проделывал то же с мелочью. И все это время его глаза были заняты (когда не переключались на кошелек на секунду-другую, позволяя большей частью рукам находить нужную монету наощупь) тем, что медленно блуждали по ее груди, животу, бедрам и затем в обратном порядке к груди. И никогда не достигали ее лица, даже рта — той части тела, которой интересуется большинство мужчин; нет, Папаша Меррилл интересовался только нижней частью женского тела. Когда он наконец заканчивал (и не имеет значения, как долго это тянулось, Молли всегда казалось, что в три раза дольше, чем на самом деле) и убирался восвояси, ей всегда хотелось тут же убежать и принять хороший душ.

Поэтому она собралась с духом, надела свою лучшую улыбку, которая должна быть с ней в течение всего рабочего дня, и выпрыгнула за прилавком в то время, как Папаша приближался.

Она убеждала себя: «Он только смотрит на тебя, ребята всегда это делали с тех пор, как ты выросла», и это была правда, но этот взгляд был не таким. Потому что Папаша не шел ни в какое сравнение с теми парнями, которые смотрели на ее прекрасную и замётную суперстать десять лет назад. Отчасти от того, что он был старый, но не только. Дело в том, что парни могут смотреть на тебя, но некоторые, и их меньшинство, кажется, просто ощупывают тебя своими глазами, и Меррилл был как раз из таких. Его глаза, извивающиеся вверх и вниз по ее переду, пробивая себе дорогу к возвышенностям ее тела и затем соскальзывая и растекаясь по нему, заставляли ее жалеть, что она не одела монашескую робу или, того лучше, рыцарские доспехи.

Но ее мать говаривала: «Чего нельзя вылечить, должно быть с тобой, дорогая Молли»; и до тех пор, пока кто-нибудь не откроет способ измерить вес взгляда, чтобы отгородиться законом от тех грязных мужчин, молодых и старых, или пока Папаша Меррилл не окажет любезность всем в Касл-Роке и не умрет, ей придется примириться со всем этим.

Но сегодня ее ждал приятный сюрприз — по крайней мере так ей показалось. Обычно голодная оценка Папашиных глаз была на сей раз даже и не простым покровительственным взглядом: глаза были абсолютно пустыми. И даже не то, чтоб он смотрел сквозь нее или его взгляд чем-то поразил ее. Молли показалось, что он был очень далеко в своих мыслях, что его обычно проникающий внутрь взгляд не достиг ее, а проделав половину пути, иссяк — как у человека, пытающегося разглядеть невооруженным глазом звезду на другой стороне Галактики.

— Что вы хотите, мистер Меррилл? — спросила она, и ее ноги уже приготовились быстро развернуться на каблуках, чтобы достать пакетики с табаком.

С Папашей она всегда старалась проделать эту процедуру как можно быстрее, потому что, когда она тянулась и доставала, она ощущала его глаза, медленно и озабоченнодвигающиеся по ее заду, падая до ног и затем поднимаясь снова для окончательного зрительного объятия до того, как она обернется.

— Да, — сказал он спокойно и невозмутимо, как если бы он говорил не с ней, а с разменным автоматом в бане. Это было облегчением для Молли. — Мне несколько... — и затем последовало слово, которое она либо не расслышала, либо это была просто тарабарщина. «Если это была тарабарщина, — подумала она с надеждой, — возможно, первые несколько частей сложной сети сточных канав, дамб и водосливов, которую сработал этот старый козел против расширяющегося моря одряхления, наконец-то стали рушиться».

Это прозвучало, как если бы он сказал «туфильмако», а этого товара они не держали, разве что это было название какого-то лекарства по-латыни.

— Пленку, — сказал он так ясно и твердо, что Молли осталась даже более чем просто разочарована: она была убеждена, что он скажет как в прошлый раз.

А может, это у нее начинают рушиться дамбы и стоки?

— Какую Вам?

— Полароидную, — ответил он, — две штуки.

Она не вполне понимала, что происходит, но, без сомнения, старый грязный премьер-болван Касл-Рока был сам на себя не

похож. Его глаза не останавливались на какой-либо точке ее тела, а слова... они напоминали ей что-то, что ассоциировалось у нее с пятилетней племянницей Элен, но она не могла понять, с чем именно.

— Для какой модели, мистер Меррилл?

Фраза прозвучала изменчиво и артистично, но Папаша Меррилл даже не заметил этого.

После минутного раздумья, во время которого он даже не взглянул на нее, а только внимательно разглядывал упаковки сигарет поверх ее левого плеча, он отрезал:

— Для полароидного аппарата «Солнце» модель 660.

И потом, когда она сказала, что ей придется принести их из демонстрационного зала, ее осенило. У ее племянницы был игрушечный мишка панда, которого с целью, понятной, наверно, только детям, та назвала Полетт.

Внутри у Полетт был встроен электронный механизм с памятью, в которой хранились около 400 коротких простых предложений типа: «Мне нравится обниматься, а тебе?» или «Как жаль, что ты уходишь!». Как только вы нажмете Полетт поверх ее маленького пушистого пупка, после некоторой паузы следовала одна из этих милых детских фраз, воспроизводимых каким-то отдаленным незмоциональным голосом, и казалось, что своей интонацией он отрицает содержание слов. Элен считала, что Полетт чокнутая. Молли подумала, что в этом есть что-то жутковатое, и она ожидала, что Элен стукнет ей однажды в живот и панда удивит их всех (кроме тетушки Молли из Касл-Рока) произнеся то, что у нее действительно на уме: «Я думаю, сегодня, как только ты заснешь, я придушу тебя», или «У меня есть нож», или что-нибудь в этом роде.

В это утро Папаша Меррилл звучал так же как набитая панда Полетт. Его пустой взгляд был, без всякого сомнения, взглядом Полетт. Молли думала, что любая смена выражения его лица с похотливого на другое будет облегчением для нее. Она ошиблась.

Молли перегнулась через витрину, в первый раз совершенно не думая о том, как выпирает ее крестец, пытаясь найти то, что хотел старик как можно быстрее. Она была уверена, что, когда оглянется, он будет смотреть на что угодно, только не на нее. И в этот раз она была права. Когда она достала пленку и развернулась (задев пару листьев в одной из коробок), Папаша Меррилл все еще смотрел на пачки сигарет, как будто он производил инвентаризацию. Было достаточно секунды-двух, чтобы понять, что выражение его лица было не выражением, а взглядом просто божественной пустоты.

«Пожалуйста, убирайся отсюда, — молила Бога Молли. — Пожалуйста, возьми свою пленку и уходи. И чтобы ты ни делал дальше, не прикасайся ко мне. Пожалуйста!»

Если бы он дотронулся до нее в то время, когда он разглядывал ее, Молли наверняка закричала бы что есть силы. Почему кругом никого не было? Ну почему нет ни одного посетителя? Желательно такого, как шериф Пэнгборн, ну если он занят, то кого-нибудь еще? Она полагала, что мистер Константин, фармацевт, был где-то рядом в магазине, но отдел лекарств, казалось, находился в четверти мили, и хотя она знала, что он не может быть так далеко, он тем не менее находился слишком далеко, чтобы подоспеть к ней на выручку в случае, если старый Меррилл решит дотронуться до нее. А если предположить, что мистер Константин мог уйти выпить чашечку кофе у Нэна с мистером Китом из конторы? И чем больше она думала об этой возможности, тем вероятнее она ей казалась.

У старого осла какой-то сдвиг по фазе.

Она услышала свой собственный голос, отчетливый и воодушевленный. «Пожалуйста, мистер Меррилл». Она положила пленку на прилавок и сейчас же дернула за кассу, желая, чтобы та отделяла ее от него.

Древний кожаный кошелек показался из штанов Меррилла, и она неправильно пробила цену дрожащими пальцами, так что ей пришлось сбросить счет, чтобы пробить снова.

Он протягивал ей две десятидолларовые банкноты.

Они были всего-навсего мятые, оттого что лежали скомканными в тесном маленьком кошельке, даже, может, не старые, хотя выглядели старыми. Но это не могло остановить ее сознания. Она была уверена, что они были не просто мятые, они были мятые и вдобавок омерзительно липкие. Они были не просто старые. Слово это близко не подходило для их описания. Для таких экземпляров денежных знаков даже слово древний не подойдет. Это были доисторические десятки, каким-то образом отпечатанные до того, как родился Христос и был построен Стоунхендж, до того, как первый низкобровый и безшейй неандерталец вышел из своей пещеры. Они принадлежали к тому времени, когда сам Господь Бог был младенцем.

Ей не хотелось прикасаться к ним.

Но она вынуждена была дотронуться до них.

Старик наверняка будет ждать сдачу.

Крепясь, она взяла банкноты и быстро сунула их в кассу, сильно ударив палец, так что почти полностью содрала ноготь. Появилась боль, которую она сначала не заметила из-за состояния шока... Потом она, вконец измучив свое старательно работающее сознание,

отругала себя за то, что вела себя как глупая девчонка накануне своей первой менструации.

Но сейчас она сконцентрировалась только на том, чтобы положить деньги в кассу как можно быстрее и поскорее отдернуть от них руки, но даже позднее она помнила, какие они на ощупь. Ощущение было такое, что они шевелились и двигались под подушечками ее пальцев, как будто миллиард микробов огромных размеров, таких огромных, что их можно было увидеть невооруженным глазом, скользили вдоль них по направлению к ней, жажда заразить ее тем же, что было у него.

Но старик будет ждать сдачу.

Она сконцентрировалась на этом, губы сжались так, что смертельно побелели; четыре доллара по одной купюре никак, абсолютно никак не хотели выниматься из-под ролика, который прижимал их к ящику кассы. Затем десятицентовик, но — о Боже! — их нет; черт возьми, с ней что-то происходит, что она сделала, чтобы быть обремененной так долго этим странным стариком, когда сам он, казалось, спешил убраться отсюда.

Она выудила пять центов, чувствуя молчаливое, отвратительное, роковое присутствие его так близко от себя (ей казалось, что если она будет вынуждена поднять глаза, она увидит его еще ближе, перегибющегося через прилавок к ней), затем три цента, четыре, пять... но последняя монета упала обратно в ящик в отделение с пятицентовиками, и ей пришлось выуживать ее оттуда холодным, онемевшим пальцем. Она чувствовала, что пот выступил на затылке и на верхней губе. Затем, крепко сжимая монеты в кулаке и моля Бога, чтобы Папаша не протянул свою руку навстречу, ибо тогда ей придется прикоснуться к его сухой коже земноводного, но зная, каким-то необъяснимым образом догадываясь, что он именно так и сделает, она все же улыбнулась широко и воодушевленно, улыбкой Ла Вердьера. Она пыталась собраться с мужеством, убеждая себя, что это будет последнее, что она сделает, не обращая внимание на образ, который рисовало ее глупое, настойчивое воображение, образ той сухой руки, внезапно хватающей, как будто когти какой-то старой и ужасной птицы, не птицы-жертвы, нет, даже не это, а птицы-стервятника. И уговаривая себя, что не видела этих образов, совсем нет, она подняла глаза с улыбкой, кричащей с ее лица так же ярко, как крик убийцы в теплую тихую ночь, а магазин был пуст.

Папаша ушел.

Он ушел, когда она подсчитывала сдачу.

Молли трясло. Если бы ей понадобилось конкретное доказательство, что старикан был неправ, это был как раз подходящий случай.

Это было доказательство несомненное, бесспорное, ясное, как божий день: первый раз на ее памяти, да и на памяти всего города (она держала бы пари и выиграла бы его), Папаша Меррилл, который отказывался давать на чай даже в тех редких случаях, когда у него была необходимость обедать в местах, где не давали сдачи, покинул «поле боя», не дождавшись денег.

Молли попыталась разжать кулак чтобы выпустить четыре монеты по одному центу, десятицентовик и пять центов. Она с удивлением обнаружила, что не может сделать этого. Ей пришлось разжать кулак другой рукой. Сдача упала на стеклянное покрытие прилавка, и она сгребла монеты в одну сторону, не желая снова прикасаться к ним.

И она никогда больше не хотела видеть Папашу Меррилла.

ГЛАВА 15

Пустой взгляд все еще был на лице Папашы Меррилла, когда он покинул Ла Вердьера. Он держался и в то время, когда с коробочками пленок в руке он пересек тротуар. Затем это выражение сменилось на тревожную настороженность, как если бы он оступился и попал ногой в мусорную яму и остановился там, одна нога на тротуаре, а другая — среди разбросанных смятых бычков и пустых пакетов из-под картофельных хлопьев.

Это был другой Папаша, которого Молли бы не узнала. Хотя были люди, с которыми он имел дело и которые должны были знать его таким. Это был не Меррилл-развратник, ни мистер Робот, а Меррилл-животное, заведенное до предела. Этим он сразу же открыл свою сущность, которую редко демонстрировал на людях. Показывать свое истинное лицо на людях, по убеждению Папашы, было неразумно. Но этим утром он едва ли владел собой, и на улице не было никого, кто бы мог наблюдать за ним. А если бы кто-то был, то увидел бы не философа и даже не твердого торговца, а что-то вроде духа человека. В тот момент, не скрывая более своего истинного «я», Папаша был сам похож на странную собаку-бродягу, у которой была тяжелая судьба и которая сейчас остановилась посреди скотобойни глубокой ночью, с наостренными косматыми ушами, поднятой головой и налитыми кровью деснами зубов, показывающимися при малейшем звуке, доносившемся из крестьянского дома, и думает о ружье с его широкими черными дырами, похожими на перевернутую цифру 8. Собака ничего не знает о

цифре 8, но даже она может догадаться о неясных очертаниях вечности, если у нее достаточно отточенные инстинкты.

Через городскую площадь он увидел фасад цвета мочи «Эмпориума Галориума», стоящего несколько обособленно от своих соседей: пустого здания, в котором размещалась год назад Деревенская Прачечная, закусочная Нэна и «Вы шьете и шьете» — магазин готового платья, управляемый правнучкой Ивви Чалмерса, Полли, женщиной, о которой мы должны будем поговорить позднее.

Вдоль всей Лоуэрмэйн-стрит напротив магазинов располагались косые стоянки автомашин, и все они были пусты... кроме одной, на которой стоял «Форд стэйшн вагон», который Папаша сразу же узнал. Легкое биение его мотора было ясно ощутимо в спокойном утреннем воздухе. Папаша, вытащив ногу из помойки, осторожно убрался на угол Ла Вердьера. Там он остановился так же тихо, спокойно, как та собака, которая была настороже на бойне от малейшего звука, которым пренебрегло бы подавляющее большинство других собак, не столь старых и умудренных жизненным опытом, как эта.

Джон Делеван вышел из кабины своего автофургона. Мальчик вылез из салона. Они прошли к двери «Эмпориума Галориума». Мужчина начал нетерпеливо стучать в дверь, так сильно, что звук долетел до Папаши так же ясно и отчетливо, как звук мотора. Делеван минуту подождал, они оба прислушались, затем начал стучать снова, но на этот раз он уже колотил в дверь. И не нужно быть чертовым психологом, чтобы догадаться, что парень горячится.

«Они знают, — думал Папаша. — они догадались. Как хорошо, что я разбил эту чертову камеру».

Он постоял еще минуту, а затем проскользнул за угол аптеки, а оттуда к аллее между ней и соседним банком. Он проделал это так ловко, что легкости его движений позавидовал бы любой мальчишка.

Этим утром Папаша решил, что было бы разумнее вернуться домой через черный ход и как можно скорей.

После непродолжительного ожидания Джон Делеван начал бабанивать в дверь так отчаянно, причиняя боль своей руке, что стекло задребезжало и из щелей посыпалась шпаклевка. Именно боль в руке, дала ему понять, насколько он был зол. Не то чтоб это был неоправданный гнев: чем больше он думал обо всем этом, тем больше он убеждался, что Кевин был прав. Но то, насколько он разозлился, удивило его самого.

«Кажется, в это утро, я должен узнать о себе много интересного», — подумал он, и в этом признании было что-то школярское. Это позволило ему улыбнуться и расслабиться.

Кевин не улыбался и был напряжен.

— Кажется, случилось одно из трех, — сказал мистер Делеван своему сыну. — Меррилла либо нет, либо он не открывает дверь, либо он чувствует, что мы подогреты, и сбежал, прихватив твой фотоаппарат. — Он сделал паузу, а затем рассмеялся. — Мне кажется, есть еще и четвертое. Возможно, он умер во сне.

— Он не умер. — Кевин стоял, прислонившись к грязному стеклу двери, через которую ему страшно не хотелось проходить. Он прижался к стеклу, обхватив лицо руками так, чтобы солнце, поднимающееся с восточной стороны городской площади, не ослепляло, отражаясь от стекла.

— Смотри.

Мистер Делеван, закрыв глаза от солнца руками, прижал нос к стеклу. Они стояли так, бок о бок, спиной к площади, вглядываясь во мрак «Эмпориума Галориума», как самые преданные поклонники искусства оформления витрин.

— Да, — произнес он через несколько секунд, — похоже, что, убегая, он оставил свое дерьмо за собой.

— Да — но я не это имею в виду. Ты видишь?

— Что?

— Висит на стойке. Той, что у бюро с часами.

И в этот момент мистер Делеван действительно увидел: на стойке, на крючке висел полароидный аппарат. Ему даже показалось, что он увидел его отбитый край, хотя, вполне возможно, это была игра воображения.

«Но это не твоё воображение».

Улыбка сошла с губ, когда он понял, что начал чувствовать чувствами Кевина: фантастическая и убийственная уверенность в том, что какой-то простой и в то же время очень опасный механизм работал... и в отличие от часов Папаши, он работал четко.

— Как ты думаешь, может, он сидит наверху и ждет, когда мы уйдем? — Джон Делеван говорил громко, но он разговаривал сам с собой. Замок на двери выглядел новым и дорогим... но он был готов поклясться, что если один из них (лучше Кевин, он в лучшей форме) ударит дверь со всей силы, замок сделает в ней прореху. Он подумал вдруг: «Замок хорош только тогда, когда хороша дверь, в которую его вставляют: люди не думают об этом».

Кевин повернул вытянувшееся лицо к отцу. В этот момент Джон Делеван поразился лицу Кевина так же, как Кевин совсем недавно был поражен его лицом. Он подумал: интересно, как много отцов имеют возможность увидеть своих сыновей взрослыми мужчинами?

На него, так же как и на Кевина, нашло нечто, чему нельзя дать объяснения, и хотя этот момент был непродолжительным, он тем не менее не мог его забыть.

— Что? — хрипло спросил Кевин. — Что, папа?

— Ты хочешь покончить с этим? Тогда я приступаю.

— Не надо пока. Я не думаю, что нам придется это сделать... Я не уверен, что он там... но он рядом.

«Ты не можешь знать этого. Даже подумать об этом».

Но его сын действительно так думал, и он верил, что Кевин был прав. Между Папашей и им установилась своего рода связь? Будь серьезен. Он отлично знал, что это была за связь. Это был тот самый чертов аппарат, висящий там на стене, и чем дольше все это продолжалось, чем дольше он чувствовал, как работает этот механизм, тем меньше все это ему нравилось.

«Разбей фотоаппарат, разбей связь», — подумал он и сказал:

— Ты уверен, Кев?

— Давай обойдем дом. Попробуем зайти с заднего хода.

— Там ворота. Он наверняка держит их закрытыми.

— Тогда, возможно, придется перелезть.

— Ладно, — сказал мистер Делеван и последовал за сыном вниз по ступенькам за угол «Эмпориума Галориума» и к аллее, пытаясь по дороге понять, а в уме ли он?

Но ворота не были закрыты. Где-то по дороге Папаша забыл закрыть их, и хотя мистеру Делевану не нравилась идея перелезть через изгородь или падать с нее, в процессе чего, вполне вероятно, оторвав себе яйца, открытая дверь почему-то понравилась ему меньше. Тем не менее они с Кевином прошли во двор, настолько загаженный мусором, что его не могли даже скрасить опавшие осенние листья.

Кевин пробирался сквозь кучи отходов, макулатуры, тряпья, которые Папаша выбросил, но не потрудился вывезти на свалку.

Мистер Делеван следовал за ним. Они подошли к чурбану, на котором мясники обычно разделяют туши животных, приблизительно в то же время, когда Папаша выходил из двора миссис Алтеи Линден на Малберри-стрит, направляясь к офисам компании Вулф Джо Лумбер.

Позади крохотного дворика компании была высокая изгородь. В ней были ворота, которые были закрыты, но у Папаши был ключ. Он откроет ворота и ступит через них в свой собственный двор.

Кевин подошел к чурбану. Мистер Делеван догнал его и, поймав взгляд сына, подмигнул ему.

Он едва открыл рот, чтобы узнать, какого черта они тут делают, но тут же закрыл его. Он начал понимать в чем дело сам, без помощи

Кевина. Это было неправильно, неестественно, и он знал из своего горького опыта (в котором Реджинальд Мэрион «Папаша» Меррилл сыграл не последнюю роль), что совершать поступки импульсивно было прямым путем к неправильному заключению.

Сначала он подумал, что смотрит на остатки разбитой полароидной камеры. Нет, это конечно, его воображение, пытающееся найти рациональное зерно в повторении; то, что лежало вокруг чурбана, совсем не было похоже на остатки фотоаппарата, полароидного или какого другого.

Все эти приводные механизмы и маховики могли принадлежать только часам. Затем он увидел картонную птицу и догадался, каким именно часам. Он открыл рот, чтобы спросить Кевина, во имя чего понадобилось Папаше вынести часы с кукушкой и расколоть их. Он подумал еще и решил, что ему не нужно спрашивать. Ответ уже начал приходить сам собой. Он не хотел, чтоб этот ответ приходил, потому что он указывал на сумасшествие по большому счету, но это уже не имело значения; он пришел — и все.

«Тебе следовало повесить эти часы на что-то. Ты должен был их повесить из-за маятника. А ты на что повесил? Ну конечно, на крючок.

Возможно на крючок, торчащий из балки.

Наподобие той, на которой висел фотоаппарат Кевина».

Сейчас он заговорил, и его слова, казалось, долетали издалека.

— Что, черт подери, с ним, Кевин? Он что, спятил?

— Не спятил, — ответ Кевина тоже донесся как бы издалека, когда они стояли под чурбаном, смотря на приконченные часы. — Только слегка тронулся. Из-за фотоаппарата.

— Нам надо разбить его, — сказал мистер Делеван. Его слова, казалось, доплыли до ушей задолго до того, как они слетели с его губ.

— Еще рано, — ответил Кевин. — Сначала надо сходить в аптеку. Там особая распродажа этого вида аппаратов.

— Особая распродажа чего?

Кевин тронул его за руку. Джон Делеван взглянул на него. Голова Кевина была настороженно поднята, как у оленя, почуявшего дымок костра. В этот момент мальчик казался особенно красивым, он был просто божественно красивым, как молодой поэт в час своей смерти.

— Что? — резко переспросил мистер Делеван.

— Ты что-нибудь слышал? — настороженность медленно сменилась сомнением.

— Машина проехала, — сказал мистер Делеван. Насколько же он был старше своего сына? На 25 лет? Он был таким же в этом

возрасте? Он отогнал от себя эту странную мысль, стараясь держать ее на расстоянии вытянутой руки. Он отчаянно взывал к здравому смыслу, но нашел только его остатки. Прикидываться сейчас зрелым, здравомыслящим человеком было бы все равно, что надеть рваное пальто.

— Ты уверен, что это только машина?

— Да. Кевин, ты заведен до предела. Возьми себя в руки или... — Или что? Но он знал, и засмеялся, трясясь. — Или мы сейчас удерем отсюда, как два кролика.

Кевин задумчиво посмотрел на него, как человек выходящий из глубокого транса, и затем кивнул головой.

— Пойдем.

— Кевин, ты что? Что ты хочешь делать? Он, возможно, наверху, просто не отвечает.

— Я тебе потом объясню, когда придем. Давай. — И почти выволок своего отца из мусорного двора на узкую аллею.

— Кевин, ты что, хочешь вывихнуть мне руку? — спросил мистер Делеван, когда они находились на тротуаре.

— Он был здесь, — сказал Кевин. — Прятался. Поджидая, когда мы пойдем. Я почувствовал его.

— Он был... — мистер Делеван остановился, затем начал снова. — Хорошо... допустим, был. Не стоит ли нам вернуться туда и взять его за шиворот? — И, обождав:

— Где он был?

— По другую сторону изгороди, — сказал Кевин. Его глаза, казалось, поплыли. Мистеру Делевану это нравилось все меньше.

— Он уже был. И уже взял, что ему надо. Нам придется поторопиться.

Кевин уже сделал шаг по направлению к краю тротуара, чтобы пересечь городскую площадь к Ла Вердьера. Мистер Делеван поймал его за руку, как кондуктор безбилетного пассажира, пытающегося от него ускользнуть.

— Кевин, о чем ты говоришь?

И Кевин наконец сказал, взглянув на него:

— Оно приближается, папа. Пожалуйста. Это моя жизнь. — Он смотрел на отца, умоляя своим мертвенно-бледным лицом и обреченно плывущим взглядом. — Собака приближается. Это ничего не даст — вломиться в дом и разбить камеру. Уже прошло слишком много времени. Пожалуйста, не буди меня. Это моя жизнь.

Мистер Делеван сделал еще одно последнее усилие, чтобы не поддаться этому медленно наступающему сумасшествию... и потом уступил.

— Ну, ну, — сказал он, взяв сына за локоть и подталкивая его к площади. — Что бы это ни было, давай доведем дело до конца. У нас еще есть время.

— Не уверен, — сказал Кевин, и затем добавил. — Я не думаю.

ГЛАВА 16

Папаша поджидал за изгородью, подглядывая за Делеванами в щель: он положил свой табак в задний карман, чтобы освободить руки, которые у него то сжимались, то разжимались.

«Вы на моей территории, — шипел он на них в мыслях, и если бы его мысли обладали способностью убивать, он бы тут же прицелился и убил их обоих. — Вы на моей территории, черт возьми, вы на моей территории!»

Что ему следовало сделать, так это привлечь их по закону.

Это что ему следовало сделать. И он сделал бы это, если бы они не стояли сейчас над обломками фотоаппарата, который мальчишка разбил с благословения Папаши две недели назад. Может, ему и следовало предпринять какие-либо шаги, но он знал, как все к нему относятся в этом городе. Пэнгборн, Китон и все остальные.

До тех пор, пока им кто-нибудь не прижмет задницы и им не понадобятся деньги до захода солнца.

Сжатие, разжатие. Сжатие, разжатие.

«Они на моей проклятой территории, — повторял он в уме, — и я ничего не могу сделать! Они на моей проклятой территории, и я ничего не могу сделать! Черт бы их побрал! Черт бы их побрал!»

Наконец они ушли. Когда Папаша услышал скрип ржавых ворот в аллее, он воспользовался ключами от ворот в соседней пограничной изгороди. Он проскользнул через нее и побежал через двор к задней двери — побежал с таким беспокойным проворством для своих семидесяти лет, с одной рукой, хлопающей по правому бедру, как будто он старался превозмочь свой старческий ревматизм. В действительности Папаша никакой боли не ощущал. Он просто не хотел, чтобы его ключи или мелочь в кармане звенели. На случай, если Делеваны еще были где-то поблизости. А если бы это было так, Папаша не удивился бы этому. Когда ты имеешь дело с паршивцами, не знаешь, какие вонючие штуки они могут отколоть.

Он вынул ключи из кармана. Теперь они загремели, и хотя звук был приглушенным, он показался ему довольно громким. Он скосил глаза влево, чтобы убедиться, что сейчас выглянет овечья морда

отпрыска Делевана. Его рот скривился в тяжелой, напряженной ухмылке от страха. Никого не было.

Пока, по крайней мере.

Он подобрал ключ, вставил его в замок и вошел. Он был достаточно осторожен, чтобы не открыть дверь полностью, потому что петли бы заскрипели, если бы он попытался это сделать.

Зайдя внутрь, он задвинул засов диким рывком и затем вошел в «Эмпориум Галориум». Он мог бы пробираться по его узким, обрамленным веревками коридорам во сне... пробраться, хотя это, как и многие другие вещи, не занимало его мыслей.

Там было одно грязное маленькое боковое окошко, которое выходило на узкую аллею, по которой Делеваны прошли в его задний двор. Из него также был виден угол тротуара и частично город.

Папаша проскользнул к этому окну между кучами ненужных, не представляющих никакой ценности журналов, которые дышали своим пыльным желтым музейным запахом в темноту воздуха. Он выглянул из окна, посмотрел на аллею и увидел Делеванов, пересекающих улицу. Как раз под эстрадой. Он не стал долго провожать их взглядом и не пошел к другому окну, чтобы получше разглядеть их. Он догадался, что они направились в Ла Вердьера, а так как он там уже побывал, они обязательно спросят о нем. Что им скажет эта маленькая сучка? Что он уже был там и ушел. Что-нибудь еще?

Только то, что он купил две пачки табаку.

Папаша улыбнулся.

Этого недостаточно, чтобы повесить его.

Он нашел коричневый футляр, пошел назад, к чурбану, соображая, затем вместо этого вышел к воротам, ведущим в аллею. Если он один раз допустил промашку, это не значит, что он сделает это во второй.

После того, как ворота были заперты, он положил футляр на чурбан и собрал остатки разбитой полароидной камеры. Он старался все делать как можно быстрее, но на осторожность требовалось время.

Он подобрал все, кроме маленьких деталей, которые выглядели как мусор. Полицейская лаборатория могла бы идентифицировать эти остатки, разбросанные вокруг; Папаша видел в криминальной хронике по телевизору (когда он не смотрел фильмы сомнительного содержания по своему видеоманитофону), как эти молодцы-эксперты прошли через место совершения преступления со своими маленькими щеточками и пылесосами, и даже парой пинцетов, собирая вещи в маленькие пластиковые контейнеры. Но у шерифа Касл-Рока

не было ни одного из этих аппаратов. И Папаша сомневался, что шериф Пэнгборн смог бы уговорить государственную полицию, чтобы она послала свою — лабораторию, даже в случае, если самого Пэнгборна уговорят попытаться сделать это, — только ради того, что имела место всего лишь навсего кража фотоаппарата, а в чем, как не в этом, могли бы его обвинить еще Делеваны?

После того, как он обшарил двор, он вернулся в дом, отпер свой «специальный» ящик и положил туда коричневый футляр. Он запер ящик и положил ключи обратно в карман. Все было в порядке теперь. Он также знал все об ордерах на обыск. Очень не скоро Делеваны смогут затищить Пэнгборна в районный суд, чтобы получить на него разрешение. И даже если Делеван совсем свихнется и попытается это сделать, остатки камеры будут уничтожены навсегда задолго до того, как они попытаются повернуть это дело. Попытаться избавиться от осколков навсегда прямо сейчас будет более опасным, чем оставить их закрытыми в ящике. Делеваны могут вернуться и застать его как раз за этим занятием. Лучше подождать. Потому что они вернутся.

Папаша Меррилл знал это так же хорошо, как свое собственное имя.

Позднее, возможно, когда все страсти улягутся, он найдет в себе силы подойти к мальчишке и сказать ему: «Да. Правильно. Все, что ты думаешь, правда. А сейчас почему бы нам не забыть об этом и не притвориться, что мы друг друга не знаем... а?»

Мы можем себе позволить сделать это. Ты можешь и не согласиться со мной, по крайней мере вначале, но я уверен, что ты сможешь это сделать. Потому что, пойми меня, — ты хотел разбить этот фотоаппарат, потому что думал, что он опасен, а я хотел продать его, потому что думал, что он был ценным. Если повернуть в твою сторону (с твоей точки зрения), ты был прав, а я ошибся, и этим ты мне уже отомстил. Если бы ты знал меня лучше, ты бы понял меня — немного найдется людей в этом городе, которые бы слышали, что я сейчас говорю тебе. Меня просто выворачивает, и я говорю правду, но это не имеет значения, когда я не прав, и хочу думать, что я выше всего этого, и не имеет значения, насколько сильную боль мне это причиняет. И напоследок, мальчик, я сделаю то, что ты хотел прежде всего. Мы все живем на одной улице, и я думаю, мы должны не оглядываться назад. Что было, то было.

Я знаю, что ты думаешь обо мне, и я знаю, что я думаю о тебе, и никто из нас не проголосует за другого, чтобы тот стал генералиссимусом в ежегодном параде 4 июля, но это ничего: мы как-нибудь

это переживем. Я имею в виду вот что: мы оба рады, что этой чертовой камеры уже нет, и давай с этим покончим раз и навсегда».

Но для настоящего момента это не подходило. Им понадобится время, чтобы остыть. Сейчас они оба готовы разорвать его задницу в клочья, как... ну ладно, не все ли равно. Важно сейчас оставаться на месте, делая все как обычно и как ни в чем ни бывало, к тому времени, когда они вернутся.

Потому что они вернутся.

Но все в порядке. Все в порядке, потому что...

«Потому что все под контролем, — прошептал Папаша, — вот что я имею в виду».

Теперь он прошел к главному входу, перевернул табличку с надписью «Закррито» на «Открыто» (правда, потом он снова перевернул на «Закррито», сам не заметив как).

Хорошо, это было начало. Что потом? Делать вид, что все как обычно, не более и не менее. Он должен будет очень удивиться, когда они вернутся назад, с клубами пара, выходящими из-за воротников, готовые стоять насмерть на своем.

Таким образом... за каким же занятием они должны его застать, когда вернутся с шерифом Пэнгборном или без него? Его глаза остановились на часах с кукушкой, свисавших с балки, рядом с таким красивым бюро, которое он приобрел на распродаже недвижимости в Себаго месяц или шесть недель назад. Не очень красивые часы, приобретенные с пометками о продаже каким-то экономным человеком (по мнению Папаши). Люди, которые пытались быть экономными, были бедными, озабоченными людьми, идущими по жизни со смутным и постоянным чувством разочарования.

Тем не менее, если бы он сумел правильно завести их, он мог бы их продать какому-нибудь лыжнику, который приедет сюда через месяц-два и которому нужны будут часы в комнате, потому что последняя договоренность сорвалась, и который еще не догадался (и возможно, никогда не поймет), что следующая сделка будет не решением проблем, а именно проблемой.

Папаша почувствовал жалость к этому человеку, и, возможно, он поторгнется с ним или с ней, насколько это будет возможно, но он не будет разочаровывать покупателя.

Да. Поэтому он будет сидеть здесь, за своим рабочим столом, и суетиться над этими часами, пытаясь завести их, и когда Делеваны возвратятся, они застанут его за этим занятием. Может, даже к тому времени зайдут несколько перспективных покупателей; он мог только надеяться на это, так как было неподходящее время года. Посетители тем не менее будут. Важно, как это будет выглядеть.

Папаша подошел к балке и снял с нее часы, осторожно, чтобы не задеть маятник. Он понес их к своему столу, немного ударив. Он положил их и нащупал в заднем кармане табак. Это было тоже кстати.

Папаша хотел сделать себе маленькую трубку, пока он будет работать.

ГЛАВА 17

— Но ты же не можешь знать, Кевин, что он был здесь! — Мистер Делеван все еще продолжал слабо протестовать, когда они вошли в заведение Ла Вердьера.

Не обращая на него внимания, Кевин пошел прямо к стойке, где стояла Молли Дурхэм. У нее прошел позыв к рвоте, и она чувствовала себя гораздо лучше. Все происшедшее казалось теперь немного глупым, подобно тому как, увидев во сне кошмар, ты просыпаешься и думаешь: «И вот ЭТОГО я испугалась? Как я могла даже во сне допустить мысль о том, что ЭТО действительно со мной происходит?»

Но когда у прилавка появилось белое лицо младшего Делевана, она поняла, как можно бояться даже таких нелепых вещей, которые случаются во сне, поскольку она была вновь втянута в свой собственный сон наяву.

Дело было в том, что у Кевина Делевана было почти такое же выражение лица: казалось, что он был где-то так глубоко внутри, что когда наконец его голос и взгляд достигли ее, они казались почти рассеянными в пространстве.

— Здесь был Папаша Меррилл, — сказал он. — Что он покупал?

— Извините, пожалуйста, моего сына, — сказал мистер Делеван. — Он чувствует себя не совсем хо...

Потом он увидел лицо Молли и замолк. У нее был такой вид, будто она только что увидела человека, которому станок на заводе оторвал руку.

— Ой! — сказала она. — Ой, Боже!

— Это была пленка? — спросил ее Кевин.

— Что с ним случилось? — слабо спросила Молли. — Я знала: что-то произошло в ту минуту, когда он вошел. Что это? Он... сделал что-то?

«Боже праведный, — подумал Джон Делеван. — ОН ЗНАЕТ. Тогда все правда».

В этот момент мистер Делеван спокойно принял героическое решение: он полностью сдался. Он полностью сдался и предал себя

и то, что, на его взгляд, могло и не могло оказаться правдой, полностью в руки своего сына.

— Вот это, да? — продолжал давить на Молли Кевин. В его настойчивости она увидела упрек своим страхам и волнениям. — Пленка для «Полароида»? Оттуда? — Он показывал на витрину.

— Да. — Лицо у нее было белым, как фарфор; немного румян, которые она успела нанести в то утро, бросались в глаза и выглядели чахоточными горящими пятнами. — Он был такой... странный. Как говорящая кукла. Что случилось с ним? Что...

Но Кевин уже резко отошел к своему отцу.

— Мне нужен фотоаппарат, — бросил он. — Прямо сейчас. «Полароид «Солнце-660». У них здесь есть. Они ровно работают в особых условиях. Понимаешь?

Но несмотря на принятое решение, мистер Делеван еще не совсем избавился от последних навязчивых остатков здравого смысла. — Почему... — начал было он, но это было все, что позволил сказать ему Кевин.

— Я не знаю почему! — заорал он, и Молли Дурхэм застонала. Ей не хотелось, чтобы ее сейчас вырвало. Чего ей сейчас хотелось по-настоящему, так это просто пойти домой, прокрасться в свою спальню, лечь и закрыться с головой простынями.

— Но у нас должна быть камера, а времени уже почти нет, папа!

— Дайте мне один из тех фотоаппаратов, — сказал мистер Делеван, доставая бумажник трясушимися руками, не заметив, что Кевин уже устремился к витрине.

— Просто возьмите какой-нибудь, — она как бы со стороны услышала дрожащий голос, совершенно непохожий на ее собственный. — Просто берите и уходите.

ГЛАВА 18

На другой стороне площади Папаша Меррилл, который считал, что он мирно ремонтирует дешевые часы с кукушкой, невинный, как младенец на ручках, зарядил камеру Кевина кассетой с пластинками. Затем он закрыл ее. Камера издала при этом плачущий звук.

«Проклятая кукушка хрипит, будто у нее запущенный ларингит. Должно быть, шестеренка соскочила. Что ж, надо это сделать».

— Я щелкну тебя, — сказал Папаша и поднял камеру. Он прижался глазом к видоискателю, на котором была такая тонкая трещинка, что ее нельзя было заметить, даже если поднести видо-

искатель прямо к глазам. Камера была направлена на переднюю часть мастерской, но это не имело значения; куда бы вы ее ни направили, она всегда была направлена на одну и ту же черную собаку, не принадлежавшую к числу тех собак, появившихся, по воле Господа когда-либо в маленьком городке, названном (за неимением лучшего слова) Полароидсвилл, к появлению которого Он тоже не имел никакого отношения.

ВСПЫШКА!

Послышался все тот же плачущий звук, когда камера Кевина выдала новую фотографию.

— Вот, — сказал Папаша со спокойным удовлетворением. — Может быть, я сделаю больше, чем просто заставлю тебя говорить, птичка. Я имею в виду, что смог бы заставить тебя петь. Не обещаю, но попробую.

Папаша ухмыльнулся сухой безжизненной улыбкой и опять нажал на кнопку.

ВСПЫШКА!

Они уже прошли половину площади, когда Джон Делеван увидел безмолвный белый свет, заполнявший окна «Эмпориум Галориум». Свет был безмолвным, но вслед за ним он услышал, подобно ударной волне, низкий рокот, доходивший, казалось, до его слуха от антикварной лавки старика... но только потому, что лавка старика была единственным местом, откуда звук мог выйти наружу. Казалось, что он исходит из-под земли... или казалось, что сама земля могла быть единственным достаточно большим местом, способным приютить обладателя этого голоса.

— Беги, папа! — крикнул Кевин. — Он начал делать это!

Опять полыхнула вспышка, осветив окна подобно холодному электрическому разряду. За ней опять последовал находившийся ниже уровня слухового восприятия раскат, грохот звукового удара в аэродинамической трубе, звук невообразимо ужасного животного, пробужденного от спячки.

Мистер Делеван, неспособный остановиться и почти не соображающий, что он делает, раскрыл рот, чтобы сказать сыну, что такой мощный и яркий свет не может исходить от встроенной вспышки «Полароида», но Кевин уже побежал.

Мистер Делеван тоже побежал, отчетливо осознавая, что он хочет сделать: догнать сына, схватить его за шиворот и уволочь его прочь, до того, как случится что-то ужасное, не вмещающееся в его представления об ужасных вещах.

ГЛАВА 19

Второй снимок, который сделал Папаша, вытолкнул из щели первый. Он вылетел на стол, куда и приземлился с гораздо более тяжелым звуком, чем мог издать такой небольшой прямоугольник пропитанного химическими растворами картона. Солнечный пес заполнил теперь почти всю площадь кадра; на переднем плане была его невероятного вида голова, черные пятна глаз, дымящиеся, заполненные зубами челюсти. Череп казался вытянутым в форме пули или капли, поскольку собственная скорость пса и сокращающееся расстояние между ним и объективом убрали его из фокуса. Теперь были видны только верхушки острых прутьев ограды за ним; массивные покатые плечи этого создания занимали остальную часть кадра.

В нижней части кадра показался именинный галстук-бант Кевина, лежавший в ящике рядом с фотоаппаратом «Солнце» и отражающий неяркий солнечный луч.

— Я почти достал тебя, сукин сын, — сказал Папаша высоким надтреснутым голосом. Свет ослепил его. Он не видел ни пса, ни фотоаппарата. Он видел только безголосую кукушку, ставшую целью его жизни. — Ты будешь петь, черт бы тебя побрал! Я заставляю тебя петь!

ВСПЫШКА!

Третий снимок вытолкнул из щели второй. Он выпал слишком быстро, скорее как кусок камня, чем как картонный прямоугольник, и, упав на стол, пробил старую потертую конторскую книгу, и из-под находившейся под ней деревяшки посыпались щепки.

На этом снимке голова пса ушла еще дальше из фокуса; она стала напоминать длинную колонну из плоти, что придавало ей странный, почти трехмерный вид.

На третьем снимке, все еще торчащем из щели в нижней части камеры, казалось, что морда Солнечного пса каким-то невозможным образом возвращается в фокус. Это казалось невозможным, потому что она была настолько близко от объектива, насколько это было возможно; настолько близко, что казалась мордой какого-то морского чудовища прямо под хрупкой выпуклой поверхностью снимка.

— Никак не выходит эта проклятая штуковина, — произнес Папаша.

Его палец опять нажал на спусковую кнопку «Полароида».

ГЛАВА 20

Кевин взбегал по ступеням «Эмпориум Галориум». Отец догнал его, но не смог схватить ничего, кроме воздуха в одном дюйме от развевающейся полы рубашки Кевина, споткнулся и упал, выставив перед собой руки, соскользнувшие с верхней ступени на нижнюю.

— Кевин!

Мистер Делеван взглянул вверх, и мир опять на мгновение исчез в очередной ослепительно белой вспышке. Рев на этот раз был гораздо громче. Это был звук взбешенного животного, которое вот-вот вырвется из своей расшатанной клетки. Он увидел, что Кевин наклонил голову, прикрыл одной рукой глаза от белого сияния, застыв в этом стробоскопическом свете, как будто сам превратился в фотографию. Он увидел, как по витрине быстро, как ртуть, зигзагами расходятся трещины.

— Кевин, посмотри на...

Стекло вылетело наружу сверкающими брызгами, и мистер Делеван сам пригнул голову. Стекло шквалом пролетело мимо него. Он чувствовал, как стекло барабанит по его волосам, царапает обе щеки, но ни один из осколков глубоко не вонзился ни в юношу, ни в его отца: большая часть осколков рассыпалась в пыль.

Послышался хруст. Джон Делеван опять поднял глаза и увидел, что Кевин добрался до входа именно так, как он и предполагал, — высадив плечом дверь с уже выбитыми стеклами и пробив новым засовом старое, прогнившее дерево.

— **КЕВИН, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!** — выкрикнул он. Поднялся, опять чуть не упал на колено, так как ноги у него запутались, потом рванулся вверх и проскользнул вслед за сынок.

Что-то произошло с этими чертовыми часами с кукушкой. Что-то нехорошее.

Они все продолжали и продолжали отбивать часы — что было достаточно плохо, но это было еще не все. Они стали вдобавок тяжелее в руках у Папаши... и, казалось, становились невыносимо горячими.

Папаша взглянул на них и вдруг попытался издать вопль ужаса сквозь зубы, которые как будто были чем-то стянуты.

Он обнаружил, что ослеп, а еще он вдруг обнаружил, что то, что он держит, — вовсе не часы с кукушкой.

Он попытался ослабить смертельную хватку, с которой он сжимал фотоаппарат, но со страхом обнаружил, что не может разжать пальцы. Казалось, гравитационное поле вокруг камеры усилилось.

И эта страшная штука становилась все горячее. Серый пластик корпуса фотоаппарата между скрюченных пальцев Папаши с побелевшими ногтями уже начал дымиться.

Его правый указательный палец начал ползти вверх, к красной спусковой кнопке.

— Нет, — пробормотал он, а потом, уже с мольбой: — Ну, пожалуйста...

Его палец не обратил на это никакого внимания. Он добрался до красной кнопки и лег на нее как раз в тот момент, когда Кевин выбил плечом дверь и ворвался внутрь. Стекло на двери хрустнуло и разлетелось мелкими осколками.

Папаша Меррилл не нажал кнопку. Даже ничего не видя, даже чувствуя, как его пальцы начинают тлеть и обугливаться, он знал, что не нажал кнопку. Но когда его палец лег на нее, то гравитационное поле сначала, казалось, удвоилось, потом утроилось. Он попытался приподнять палец и убрать его от кнопки. Это было все равно что пытаться приподнять планету Юпитер.

— Брось его! — закричал мальчик откуда-то сбоку. — Брось его, брось!

— НЕТ! — вскрикнул Папаша в ответ. — Я хочу сказать, Я НЕ МОГУ!

Красная кнопка начала скользить вниз по направлению к контакту.

Кевин стоял, расставив ноги, склонившись над камерой, которую они только что принесли от Ла Вердьера; коробка от него лежала у его ног. Ему удалось нажать кнопку, которая открывала закрепленную на шарнире переднюю часть камеры, за которой скрывалась широкая щель для зарядки. Он попытался вставить в нее кассету с пластинками, но она упрямо отказывалась входить — фотоаппарат будто стал изменником, возможно, из сочувствия к своему собрату.

Папаша вскрикнул опять, но на этот раз слов не было, был лишь невыразимый вопль боли и страха. Кевин почувствовал запах горящего пластика и обугливающегося мяса. Он поднял взгляд и увидел, что «Полароид» плавится, буквально плавится в застывших руках старика. Его квадратный, напоминающий коробку силуэт постепенно принимал странную, горбатую форму. Стекла из видоискателя и объектива тоже каким-то образом превратились в пластик. Вместо того, чтобы треснуть или выскочить из все более теряющего форму корпуса камеры, они растягивались и свисали, как тянучки, превратившись в пару гротескных, как на трагедийной маске, глаз.

Темный пластик, нагретый до грязеобразного состояния, стекал по пальцам Папаши и тыльным сторонам его ладоней густыми ручьями, прожигая ходы в его плоти. Пластик прижигал то, что он выжигал, но Кевин увидел кровь по краям этих ручьев, сочившуюся из плоти Папаши и падавшую на стол дымящимися каплями, шипя, как раскаленный жир.

— Твоя кассета все еще в упаковке! — заорал отец из-за его спины, нарушив оцепенелое состояние Кевина. — Открой ее! Дай ее мне!

Отец потянулся сзади, толкнув Кевина так сильно, что чуть не сбил его с ног. Он схватил упаковку, плотно замотанную бумагой с фольгой, и рванул за край. Обертка слетела.

— ПОМОГИТЕ МНЕ! — завопил Папаша, и это были последние осмысленные слова, которые они оба от него слышали.

— Быстрее! — рявкнул отец, сунув упаковку со свежими пластинками ему в руки. — Быстрее!

Шипение горящего мяса. Стук капель горячей крови по столу постепенно, по мере того как открывались вены и артерии на пальцах и тыльных сторонах ладоней Папаши, напоминал уже не душ, а ливень. Поток горячей текущей пластмассы охватил его левое запястье, и находившийся там так близко от кожи пучок вен открылся и оттуда хлынула кровь, как из-под прогнившей прокладки, которая начала протекать в нескольких местах, а потом просто стала исчезать под напором постоянного пульсирующего давления.

Папаша выл как зверь.

Кевин опять попытался вставить кассету и сдавленно выругался, когда она опять не захотела вставать на место.

— Обратной стороной! — взревел мистер Делеван. Он попытался выхватить камеру у Кевина, но тот вырвался, оставив в руках отца только обрывок рубахи. Он вытащил кассету, и какое-то мгновение она задрожала в кончиках его пальцев, чуть не упав на пол, который, как он чувствовал, стремился собраться в кулак и разбить ее вдребезги, когда она упадет.

Потом он развернул кассету, вставил на место и защелкнул переднюю крышку камеры, криво свисавшую вниз, как существо со сломанной шеей, и закрыл замок.

Папаша заревел опять, и...

ВСПЫШКА!

ГЛАВА 21

На этот раз это было все равно, что увидеть как рождается сверхновая звезда. Кевин чувствовал, будто от него оторвалась тень и врезалась в стену. Возможно, частично это так и было, поскольку вся стена за ним моментально была опалена вспышкой и покрылась тысячами сумасшедших трещин, кроме одного участка, куда падала его тень. Его контур, четкий и бесспорный, как вырезанный из бумаги силуэт, был вытатуирован там с выступающим поднятым локтем, и даже тень руки, поднятой, чтобы поднести камеру к глазам, оставила там, сзади, свой отпечаток.

Верхняя часть фотоаппарата в руках Папаши оторвалась от корпуса с глухим звуком, подобным тому, как очень толстый человек прочищает горло. Солнечный пес зарычал, и на этот раз этот громовой раскат был достаточно громким, достаточно отчетливым, достаточно близким, чтобы задрожали стекла часов, а стекла зеркал и висевших картин рассыпались по полу, став в одно мгновение хрустальной радугой восхитительной и невероятной красоты.

На этот раз камера не стонала и не плакала; звук ее механизма был визгом, высоким и душераздирающим, как у женщины, умирающей в родовых муках. Прямоугольный снимок, высунувшийся из щелеобразного отверстия, задымился и начал коптить. Потом стало плавиться само отверстие, причем его края стали расходиться в разные стороны, напоминая зевок беззубого рта. На блестящей поверхности последнего снимка начал появляться пузырь, а сам снимок все еще свисал из расширяющего рта-отверстия, через которое «Полароид Солнце» давал жизнь своим фотографиям.

Пока застывший Кевин наблюдал за всем, глядя сквозь завесу из вспыхивающих, звенящих точек, которую последний белый взрыв поставил перед его глазами, Солнечный пес зарычал опять. На этот раз звук был слабее, в нем меньше ощущалось то, что он исходит снизу и отовсюду, но он был более смертоносным, потому что был более реальным, более здешним.

Часть растекающейся камеры отлетела назад большим серым комком, ударившись о шею Папаши Меррилла. Внезапно яремная вена и сонная артерия Папаши открыли путь разбрызгивающимся сгусткам крови, вырывавшейся вверх и в стороны ярко-красными спиралями. Голова безжизненно откинулась назад.

Пузырь на поверхности снимка становился все больше. Сам снимок начал трепетать в зевающей щели обезглавленной камеры. Его края начали растягиваться, как будто снимок теперь существо-

вал не на картоне, а на каком-то гибком материале, вроде нейлоновой ткани. Он ерзал в щели, и Кевин вспомнил о ковбойских сапогах, подаренных ему два года назад на день рождения, — как ему пришлось ерзать в них ногами, потому что они были немного тесноваты.

Края снимка уперлись в края щели, где они должны были бы закрепиться, но камера уже не была твердым предметом; она в действительности переставала напоминать то, чем она была. Края снимка вошли в края щели так же легко, как бритвенно-острые края заточенного с двух сторон хорошего ножа входят в мягкое мясо. Они прорезали то, что было корпусом «Полароида», роняя в тусклый воздух серые капли дымящегося пластика. Одна упала на старую ветхую пачку журналов «Попьюлар Меканикс» и прожгла в них коптящую, обугленную дыру.

Пес зарычал опять, издав злобный, уродливый звук, — голос существа, желающего лишь рвать и убивать. Только это, и ничего больше.

Снимок колыбался на краю прогибающейся, растворяющейся щели, похожей сейчас больше всего на раструб какого-то уродливого духового инструмента, а потом упал вперед, на стол, как камень падает в колодец.

Кевин почувствовал стиснутые пальцы у себя на плече.

— Что оно делает? — хрипло спросил отец. — Господи Иисусе, Кевин, что оно делает?

Кевин как бы со стороны услышал свой почти безразличный голос: — Рождается.

ГЛАВА 22

Папаша Меррилл умер, откинувшись на своем стуле за своим рабочим столом, где он провел столько часов: сидел и курил, сидел и чинил вещи, чтобы они могли поработать еще хоть немного и он мог бы продать безделушки бездельникам; сидел и ссуживал деньги порывистым и расточительным людям. Он умер, глядя в потолок, с которого теперь капала его собственная кровь, заливая его щеки и открытые глаза.

Его стул потерял равновесие и свалил на пол его распластанное тело. Звякнул кошелек и кольцо для ключей.

На его столе продолжала безостановочно покачиваться последняя фотография из «Полароида». Ее края развернулись, и Кевину показалось, что он ощущает какой-то неизвестный предмет, и живой

и неживой одновременно, издающий стоны из-за ужасных, непостижимых родовых схваток.

— Нам надо уходить отсюда, — выдохнул отец, вцепившись в него. Широко раскрытые безумные глаза Джона Делевана не отрываясь смотрели на эту расширяющуюся, шевелящуюся фотографию, которая теперь закрывала половину рабочего стола Меррилла. Она больше совсем не напоминала фотографию. Ее края вздувались, подобно щекам кого-то, отчаянно пытающегося свистнуть. Блестящий пузырь, который был уже в фут высотой, вздувался и подрагивал. Странные, невероятные цвета метались бесцельно по поверхности, которая казалась покрытой какой-то маслянистой испариной. Этот рев, полный разочарования, желания и отчаянного голода, снова и снова проникал в мозг, грозя разорвать его и ввергнуть в безумие.

Кевин вырвался от отца, разорвав рубаху на плече. В его голосе звучало глубокое, странное спокойствие: — Нет... оно тогда пойдет прямо за нами. Я думаю, что ему нужен я, потому что если бы ему был нужен Папаша, то оно уже заполучило его, а я все-таки был первым, у кого была камера. Но оно на этом не остановится. Оно возьмет и тебя тоже. Да оно и не может на этом остановиться.

— Ты не можешь ничего сделать! — закричал отец.

— Да, — ответил Кевин. — Но у меня есть один шанс.

И поднял фотоаппарат.

Края снимка достигли краев стола. Вместо того чтобы опуститься вниз, они завернули вверх, продолжая колыхаться и раздвигаться. Теперь они напоминали какие-то странные крылья, у которых когда-то были легкие, и теперь они мучительно пытались дышать.

Вся поверхность этого аморфного пульсирующего предмета продолжала вздуваться; то, что должно бы быть плоской поверхностью, превратилось в ужасную опухоль, ее шишковатые, изъеденные края источали струйками какую-то омерзительную жидкость. От всего этого исходил слабый запах зельца.

Рычание пса стало непрерывным — безысходный и яростный рев адского пса наводил на мысль о побеге, — а некоторые из последних часов Папаши Меррилла, будто в знак протеста, начали непрерывно бить.

Отчаянный порыв мистера Делевана бежать отсюда покинул его; он почувствовал себя охваченным глубокой и опасной усталостью, напоминающей смертную сонливость.

Кевин припал глазом к видоискателю фотоаппарата. Он лишь несколько раз участвовал в охоте на оленя, но он хорошо помнил, что это такое, когда наступает твоя очередь ждать в засаде с ружьем,

а твои товарищи по охоте идут через лес в твою сторону, нарочно производя как можно больше шума в надежде выгнать оленя из-за деревьев на открытое пространство, где ты поджидаешь; причем твой сектор огня представляет собой безопасный угол, проходящий перед людьми. Тебе не приходится волноваться о том, что ты можешь попасть в человека, тебе надо волноваться лишь о том, чтобы попасть в зверя.

Тогда было время, чтобы подумать о том, сможешь ли ты попасть в него, когда и если он появится. Было время подумать и о том, сможешь ли ты вообще заставить себя выстрелить. Было время и для надежды на то, что олень так и останется лишь предположением, так что испытание не состоится... и так оно бывало каждый раз. Единственный раз, когда олень был, в укрытии лежал друг отца Билл Роберсон. Мистер Роберсон вогнал пулю именно туда, куда нужно — между плечом и шеей, и они заставили егеря сфотографировать их рядом с оленем с двенадцатиотростковыми рогами, которым любому мужчине не стыдно было бы похвалиться.

— Могу поспорить, сынок, что ты жалеешь о том, что не твоя очередь была сидеть в пикете, точно? — спросил егерь, взъерошив Кевину волосы (тогда Кевину было двенадцать лет, ускоренный рост начался у него за семнадцать месяцев до этого, и уже год назад ему не хватало какого-то дюйма до шести футов... в общем, он был еще недостаточно взрослым, чтобы обижаться на человека, которому захотелось потрепать его волосы). Кевин кивнул, не выдавая своей тайны: он был рад тому, что не его очередь была сидеть в пикете, что не его ружье было виновато в этом выстреле... а если бы оказалось, что он обладает мужеством, чтобы выстрелить, за это он получил бы еще одну головную боль — застрелить зверя с первого выстрела. Он не знал, смог бы он набраться мужества выпустить еще одну пулю в животное, если бы не удалось убить его с первого выстрела, или сил, чтобы вести погоню по следам крови и парящему, уронуемому от страха помету, и закончить то, что он начал, если олень побежит.

Он улыбнулся егерю, кивнул, а его отец сфотографировал это, и никогда с тех пор не было никакой надобности говорить отцу, какая мысль скрывается за этими поднятыми бровями и под потрепывающей ладонью егеря: «Нет. Я не хочу этого. Мир полон испытаний, но двенадцать лет — слишком мало, чтобы стремиться к ним. Я рад, что это был мистер Роберсон. Я еще не готов к мужским испытаниям».

Но ведь сейчас он был один в укрытии, верно? И на него выходит зверь, ведь так? И разве на этот раз ему приходится иметь дело с

безобидным травоядным? Это была машина для убийства, достаточно огромная и необузданная, чтобы проглотить тигра целиком, и она собиралась убить его, и это только для начала, и он был единственным, кто мог остановить его.

Мысль о том, чтобы передать «Полароид» отцу, мелькнула у него в голове, но только на какое-то мгновение. Что-то в глубине души подсказывало ему правду: отдать фотоаппарат — это равносильно тому, что убить отца, а самому — покончить жизнь самоубийством. Его отец верил во что-то, но это было недостаточно определено. Камера не сработает для отца, даже если ему удастся вырваться из оцепенения и нажать кнопку.

Камера сработает только для него.

Поэтому он ждал испытания, пристально глядя через видоискатель, как если бы это был оптический прицел ружья, пристально глядя на фотографию, по мере того как она продолжала расширяться и делать этот переливающийся, разжижающийся пузырь все шире и шире, все выше и выше.

Затем стало происходить истинное появление на свет Солнечного пса. Казалось, что камера потяжелела и стала свинцовой, когда существо завывало, издавая звук плети со стальным сердечником. Камера задрожала у Кевина в руках, и он ощутил, как его потные скользкие пальцы просто хотят разжаться и отпустить ее. Он продолжал ее держать, уголки губ у него разошлись в слабой и отчаянной ухмылке. В глаз ему попала капля пота, моментально удвоив изображение. Он откинул голову, отбросив волосы со лба и с бровей, а затем опять приставил наблюдающий глаз к видоискателю, и в это мгновение «Эмпориум Галориум» наполнился громким рвущимся звуком, как если бы толстую ткань медленно разрывали пополам сильные руки.

Блестящая поверхность пузыря разорвалась. Оттуда вырвался красный дым, напоминающий выход пара из чайника, кипящего перед красной неоновой лампой.

Вновь послышалось рычание существа, в котором слышались злоба и желание убивать. Сквозь сморщивающуюся мембрану уже опадающего пузыря, подобно челюсти кашалота, появилась огромная челюсть, наполненная загнутыми зубами. Она рвала, жевала и грызла мембрану, поддававшуюся с резиновым, хлюпающим звуком.

Часы дико, бешено отбивали время.

Отец опять вцепился в него, и так резко, что зубы Кевина стукнулись о пластмассовый корпус камеры, и он был на волосок от того, чтобы выпустить камеру из рук и уронить ее на пол.

— Щелкни его! — закричал отец, заглушая рев существа. — Щелкни его, Кевин, если можешь его щелкнуть, ЩЕЛКНИ ЕГО СЕЙЧАС, Христа ради, оно собирается...

Кевин вырвался. — Нет еще, — сказал он. — Только не...

Существо взвизгнуло на звук голоса Кевина. Солнечный пес рвался оттуда, где он был, еще больше расширяя снимок. Пленка поддавалась и растягивалась со стонущим звуком. За этим опять послышался густой кашель разрываемой ткани.

И внезапно Солнечный пес поднялся, из дыры в реальность высунулась его черная, грубая, лохматая голова, напоминающая какой-то сверхъестественный перископ, состоящий из спутанного металла и блестящего, переливающегося стекла... Только вместо металла Кевин видел колыхающуюся остроконечную шерсть, а вместо линз были бешеные, яростные глаза существа.

Оно зацепилось шеей, колючки его кожи рвали края дыры, превратившейся в какую-то странную, напоминающую солнце с лучами, фигуру. Оно взревело опять, и тошнотворное желто-красное пламя вылетело из его пасти.

Джон Делеван отступил на шаг назад и зацепился за стол, заваленный толстыми экземплярами «Волшебных сказок» и «Фантастической вселенной». Стол опрокинулся, и мистер Делеван беспомощно свалился на него, причем ноги у него сначала подломились, а потом как бы ушли из-под него. Человек и стол опрокинулись со страшным грохотом.

Солнечный пес зарычал опять, затем неожиданно осторожно наклонил голову и потянул пленку, удерживавшую его. И она разорвалась. Существо гавкнуло и выпустило тонкую струйку пламени, которая подожгла пленку и превратила ее в пепел. Зверь вновь рванулся вперед, и Кевин увидел, что на его ошейнике был уже не зажим для галстука, а предмет в форме ложки, которым Папаша Меррил обычно прочищал свою трубку.

В этот момент юношу охватило полное оцепенение. Его отец вопил от неожиданности и страха, пытаясь оторваться от стола, на который он упал, но Кевин не обращал на это никакого внимания. Казалось, что этот крик доносится откуда-то издалека.

«Все нормально, папа, — думал он, еще тверже держа бьющегося, рвущегося зверя в окошке видеоискателя. — Разве ты не видишь, что все нормально? Все абсолютно нормально, папа. В любом случае все может быть нормально... потому что теперь он носит другой амулет».

Он подумал, что, вероятно, у Солнечного пса тоже есть хозяин... и его хозяин уже обнаружил, что Кевин — не легкая добыча.

И наверное, в том странном городке из ниоткуда под названием Полароидсвилл есть ловец собак; должен быть, иначе зачем ему приснилась толстая женщина? Именно эта толстая женщина и сказала, что ему надо делать, или сама по себе, или потому, что ловец собак привел ее туда, чтобы он смотрел и запоминал: двухмерная толстая женщина со своей двухмерной магазинной тележкой, заполненной двухмерными фотоаппаратами. «Будь осторожен, мальчик. Пес Папаши сорвался с поводка, и он довольно не... Его нелегко щелкнуть, но ты вообще этого не сделаешь, пока у тебя не будет камеры».

Но ведь теперь-то у него была камера. Полной уверенности не было и не могло быть никак, но по крайней мере у него была камера.

Пес помедлил, почти бесцельно поводя головой, пока его мутный горящий взгляд не остановился на Кевине Делеване. Его черные губы обнажили закручивающиеся спиралью кабаньи клыки, его пасть открылась, выставив на обозрение дымящийся туннель его глотки, и он издал высокий, душераздирающий, яростный вой. Старинные висячие шары, освещавшие по ночам жилище Меррилла, разбились один за другим, и вниз посыпались осколки матового, засиженного мухами стекла. Зверь рванулся, прорывая широкой, вздымающейся от дыхания грудью пленку, разделяющую миры.

Палец Кевина застыл на спуске «Полароида».

Зверь рванулся опять, и на этот раз выскочили его передние лапы, и эти уродливые костистые отростки, подобно гигантским шипам, скребли стол, ища точку опоры. Они проделали длинные царапины на поверхности твердого горного клена. Кевин слышал глухой царапающий звук его ходячих ходуном задних ног там, внизу (где бы это «там, внизу» ни находилось), и он знал, что это последние оставшиеся секунды, в течение которых зверь остается в ловушке и во власти его, Кевина; следующий судорожный рывок позволит ему взлететь над столом, и, освободившись из отверстия, в котором он сейчас извивался, он будет передвигаться быстро, как летучая смерть, перекрыв пространство между ними, воспламенив его одежду своим огненным дыханием за доли секунды до того, как вгрызться в его теплые внутренности.

Кевин очень отчетливо проинструктировал пса: — Скажи «сыр», мать твою.

И нажал на спуск.

ГЛАВА 23

Вспышка была настолько яркой, что для Кевина впоследствии это было непостижимо; и вообще, он едва мог все это вспомнить. Камера, которую он держал, не разогрелась и не расплавилась; вместо этого изнутри послышались четыре коротких, резких, ломающихся звука, по мере того как разлетелись линзы, а пружины сломались или просто испарились.

В последовавшем белом свечении он увидел Солнечного пса застывшим, как на качественном снимке «Полароида», с откинутой назад головой, с неподвижными извилистыми складками и впадинами его дико разлохмаченной шкуры, напоминающей сложную топографию сухой речной долины. Его зубы светились, но уже не слегка приглушенным желтым отливом, а отвратительной белизной старых костей в той стерильной пустоте, где вода перестала течь тысячелетия назад. Его единственный выпуклый глаз, лишенный безжалостной вспышкой темно кровавой радужной оболочки, был белым, как глаз мраморного бюста. Дымящиеся сопли вылетали из его светящихся ноздрей и растекались, подобно горячей лаве, по узким желобкам между его скошенной назад пастью и деснами.

Это было похоже на негатив со всех снимков «Полароидов», которые только видел Кевин: черное и белое там, где должен быть цвет, и в двух измерениях вместо трех. И напоминало это превращение живого существа в камень из-за неосторожного взгляда на голову Медузы.

— Конец тебе, сучий сын! — завопил Кевин сорванным истерическим голосом, и как бы в знак согласия застывшие передние лапы этого существа потеряли опору на столе, и оно стало исчезать — сначала медленно, а затем все стремительнее — в дыру, из которой оно появилось. Оно уходило со звуком грохочущих камней, как при оползне.

«Что я увижу, если подбегу туда и взгляну в эту дыру? — мелькнула у него мысль. — Увижу ли я тот дом, ту ограду, того старика со своей магазинной тележкой, уставившегося широко раскрытыми глазами на лицо гиганта, не мальчика, но Мальчика, смотрящего на него из рваной и обугленной дыры в подернутом дымкой небе? Меня туда засосет? Или что?»

Вместо этого он бросил «Полароид» и прижал к лицу ладони.

Только Джон Делеван, лежавший на полу, видел заключительный акт: изжеванная, мертвая пленка сморщивалась, собираясь в запутанный, но небольшой жгут вокруг дыры, смялась там, а затем провалилась (или была втянута) в саму себя.

Раздался громкий звук воздуха, перешедший из глубокого вздоха в тонкий свист чайника.

Потом пленка вывернулась наизнанку и пропала. Просто исчезла, как будто ее и не было.

Медленно поднимаясь на дрожащих ногах, мистер Делеван увидел, что последний входящий (или исходящий, подумал он, в зависимости от того, с какой стороны дыры смотреть) порыв воздуха втянул в дыру настольное пресс-папье.

Сын стоял посреди комнаты и плакал, прижав ладони к лицу.

— Кевин, — тихо окликнул мистер Делеван, обняв своего мальчика.

— Я должен был сделать снимок, — проговорил Кевин сквозь слезы, не отрывая от лица ладоней. — Это был единственный способ от него избавиться. Я должен был сфотографировать этого мерзкого пса. Вот что я хочу сказать.

— Да. — Отец прижал его крепче. — Да, и ты это сделал.

Кевин посмотрел на отца уже открытыми мокрыми глазами. — Вот так я должен был снять его, папа. Видишь?

— Да, — сказал отец. — Да, я это вижу. — Он опять поцеловал Кевина в горячую щеку. — Пойдем домой, сынок.

Он крепче сжал плечи Кевина, желая повести его к двери, подальше от дымящегося окровавленного тела старика (мистер Делеван подумал, что Кевин еще не разглядел его по-настоящему, но если они здесь еще хоть немного задержатся, то разглядит), но Кевин на какое-то мгновение воспротивился его попытке.

— А что люди скажут? — спросил Кевин, и его голос прозвучал настолько чопорно и невинно, что мистер Делеван рассмеялся, несмотря на свои потрепанные нервы.

— Пусть говорят, что хотят, — сказал он Кевину. — Они никогда даже приблизительно не узнают правду, да я и не думаю, что кто-нибудь будет очень сильно стараться. — Он помолчал. — Ты знаешь, что его никто особенно не любил.

— Я никогда не захочу и приблизительно знать правду, — прошептал Кевин. — Пошли домой.

— Да, пойдём. Я люблю тебя, Кевин.

— Я тоже тебя люблю, — хрипло сказал Кевин, и они вышли из дыма и вони старых вещей, про которые лучше всего забыть, в яркий свет дня. У них за спиной вспыхнула пачка старых журналов... и огонь быстро раскинул свои голодные оранжевые пальцы.

ЭПИЛОГ

Это был шестнадцатый день рождения Кевина, и он получил именно то, что хотел, — персональный компьютер «Уорд Стар»-70 и текстовый процессор. Эта игрушка стоила тысячу семьсот долларов, и раньше его родители не смогли бы позволить себе это, но в январе, через три месяца после заключительного столкновения в «Эмпориум Галориум», тетя Хильда внезапно тихо умерла во сне. Она действительно Сделала Кое-что для Кевина и Мег; и по-настоящему Сделала Очень Много для Всей Семьи. После того, как в начале июня завешание вступило в силу, Делеваны обнаружили, что они стали богаче на семьдесят тысяч долларов... и это после вычета налогов, а не до этого.

— Ого, вот это класс! Спасибо! — воскликнул Кевин и поцеловал мать, отца и даже свою сестру Мег (которая хихикнула, но, будучи на год старше, уже не сделала попытки стереть поцелуй; Кевин не смог определить, является ли такая перемена шагом в правильном направлении или нет). Большую часть второй половины дня он провел у себя в комнате, копошась вокруг машины и прогоняя текстовую программу.

Часа в четыре он спустился вниз и зашел в комнату отца.

— А где мама и Мег? — спросил он.

— Они пошли на ярмарку в... Кевин? Кевин, что случилось?

— Тебе лучше подняться наверх, — глухо произнес Кевин.

У входа в свою комнату он повернулся бледным лицом к не менее бледному отцу. Следуя за своим сыном по лестнице, мистер Делеван думал о том, что надо заплатить еще за что-нибудь. Ну конечно, надо. Разве он не узнал это от Реджинальда Мэриона «Папаши» Меррилла? Твои долги — вот что тебя мучает.

Но что ломает тебе хребет, так это проценты.

— Мы можем раздобыть еще один такой? — спросил Кевин, показывая на компьютер с откидным дисплеем, стоявший открытым у него на столе, бросая таинственный желтый луч света на поверхность стола.

— Не знаю, — сказал мистер Делеван, подходя к столу. За его спиной стоял мертвенно-бледный Кевин и смотрел. — Я думаю, если надо...

Он остановился, глядя на экран.

— Я врубил программу текстового редактора и напечатал «Стремительная рыжая лиса перепрыгнула через ленивого спящего пса», — сказал Кевин. — А из принтера вышло только это.

Мистер Делеван стоял, молча читая распечатку. Его руки и лоб похолодели. Там было следующее:

ПЕС ОПЯТЬ НА СВОБОДЕ.

ОН НЕ СПИТ.

ОН НЕ ЛЕНИВЫЙ.

ОН ИДЕТ ЗА ТОБОЙ, КЕВИН.

Ему опять подумалось, что исходный долг — вот что тебя мучает; а проценты — вот что ломает тебе хребет. В последних двух строках было написано:

ОН ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЙ.

И ОН ОЧЕНЬ СЕРДИТЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТЧАЯНИЕ	6
СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС	282

Литературно-художественное издание

Стивен Кинг
ОТЧАЯНИЕ

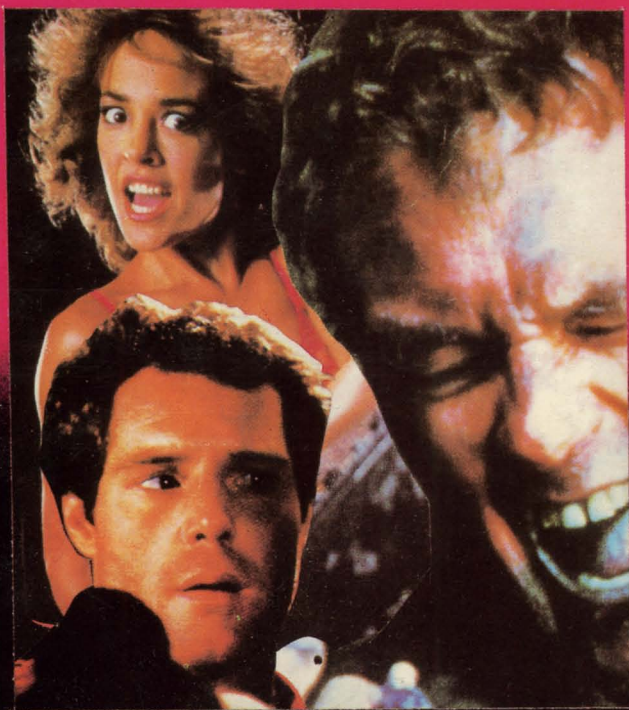
Выпуск 22

Сдано в набор 27.06.94. Подписано в печать 20.09.94 г.
Формат 60×88 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага книжно-журнальная.
Объем 27 п.л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз.

Издательство Сигма, Львов, а/я 25

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Львовской книжной фабрике "АТЛАС"
290005, г. Львов, ул. Зеленая, 20

СТИВЕН КИНГ



В этой книге опубликован
известный роман Стивена Кинга
«Отчаяние», по которому
был поставлен одноименный фильм,
получивший многочисленные
хвалебные отзывы критики.